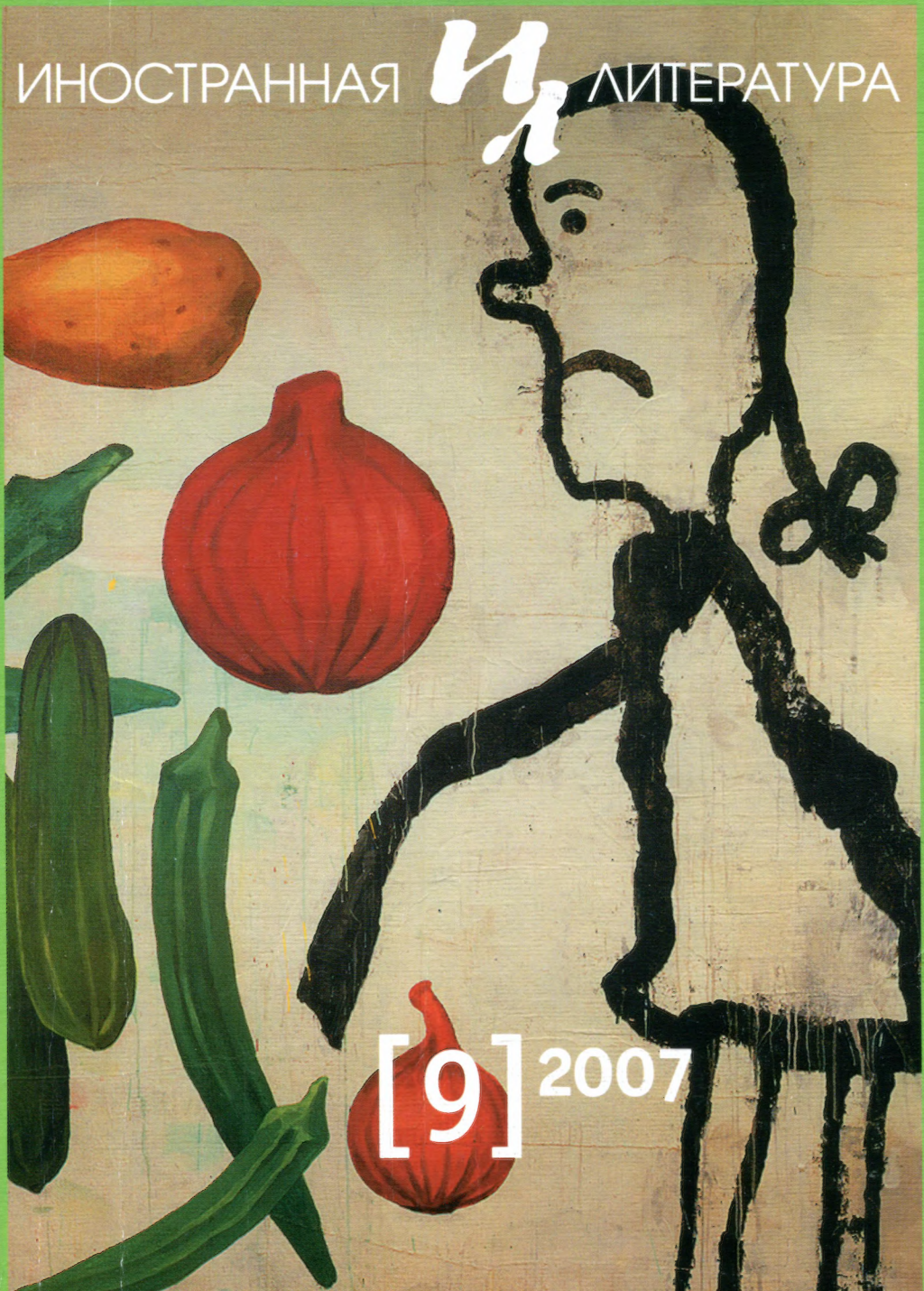
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[9] 2007

ПОВЕСТЬ СЕРБСКОГО ПИСАТЕЛЯ МОМО КАПОРА "ЗЕЛЕНОЕ СУКНО МОНТЕНЕГРО" / ПЬЕСА АНДЖЕЯ СТАСЮКА "НОЧЬ" / "ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ": "СОВРЕМЕННАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ПОЭЗИЯ. АНТОЛОГИЯ" / "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ" МАРКА ХАРИТОНОВА В РУБРИКЕ "CARTE BLANCHE"

Основан в 1891 году

"ИЛ" в 2008 году

"**Марш**" – роман автора знаменитого "Рэгтайма", американца ЭДГАРА ДОКТОРОУ; художественно-документальная хроника кровавых эпизодов Гражданской войны в США.

Роман хорошо известной нашему читателю английской писательницы МЮРИЕЛЬ СПАРК "**Не беспокоить**" с характерными для ее книг сатирой, пародией и бурлеском.

"**Либидисси**" немецкого прозаика ГЕОРГА КЛЯЙНА – притча о взаимоотношениях Запада и стран Третьего мира, написанная в жанре детективного романа.

Роман крупнейшего (и совершенно неизвестного у нас) современного английского прозаика АДАМА ТОРПА "**Правила перспективы**" о последних месяцах Второй мировой войны, об искусстве и о том, как трудно остаться человеком в бесчеловечные времена.

"**Теракт**" – роман одного из самых читаемых на Западе франкоязычных алжирских писателей ЯСМИНЫ ХАДРА о судьбе живущего в Израиле палестинца.

"**Двое бедных румын, говорящих по-польски**" – пьеса юной польки ДОРОТЫ МАСЛОВСКОЙ, в одночасье ставшей кумиром молодых читателей и в Польше, и в России. Ее герои, юноша и девушка, выдающие себя за румын-попрошаек, убегая от самих себя, от скуки и безнадежности собственной жизни, в алкогольно-наркотическом трансе колесят по дорогам Польши.

Главы из книг "**Спасенный язык**" и "**Факел в ухе**" австрийского прозаика и драматурга, лауреата Нобелевской премии ЭЛИАСА КАНЕТТИ – богатый яркими подробностями рассказ о детстве и юности будущего писателя.

Последняя книга КУРТА ВОННЕГУТА "**Человек без родины**" – автобиография и подведение итогов одного из крупнейших писателей Америки XX–XXI веков.

"**Современная смерть**" – острый и злободневный памфлет шведского писателя и публициста КАРЛА-ХЕННИНГА ВИЙКМАРКА об эвтаназии – о спорах, которые ведутся вокруг этого явления, и о том, что современное общество готово даже смерть поставить на службу выгоде.

Литературный гид "**Славомир Мрожек**" и специальные номера "**Сэр Артур Конан Дойл**" и "**Как наше слово продается**".

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

2007

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Момо Капор *Зеленое сукно Монтенегро. Повесть о Зуко Джумхуре и Осман-паше Сархоше.* Перевод с сербского Василия Соколова. Послесловие С. М. Иванова

82 Анджей Стасюк *Ночь.* Славяно-германский медицинский трагифарс. Перевод с польского Марины Курганской *Славяно-германский трагифарс.* Беседа Марцелы Богацкой-Вундлих с Анджеем Стасюком. Перевод с польского Марины Курганской

121 Мордехай Рихлер *Версия Барни.* Роман. [Продолжение.] Перевод с английского В. Бошняка

Статьи, эссе

236 Игорь Клех *Вокруг да около Шульца*

Из будущей книги

242 *Современная американская поэзия. Антология.* Переводы с английского. Вступление Евгения Бунимовича

Carte blanche

259 Марк Харитонов *Другая жизнь*

Письма из-за рубежа

266 Ксения Старосельская *Письмо из Гданьска*

Среди книг

271 Л. Н. Полубояринова *Мастер-класс Н. С. Павловой*

274 *Новый сеанс обратной связи.* Обзор писем на читательскую анкету, опубликованную в 2006 году, № 12

БиблиофИЛ

280 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Авторы номера

282

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Е. Ю. Леонова
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Момо КАПОР

Зеленое сукно Монтенегро

Повесть о Зуко Джумхуре и Осман-паше Сархоше[1]

Перевод с сербского Василия Соколова

Послесловие С. М. Иванова

Эта книга посвящается памяти
большого художника и друга
Зуко Джумхура (1921–1989)

Волчий Дол – обширное пространство, равниной разлегшееся под городом Билеча вдоль на четыре часа езды, а в ширину почти на три часа. Много там холмов и невысоких гор. Кроме многочисленных сопок, не счесть в долине и рощиц, по которым, собственно, эти земли и зовутся Волчьим Долом. В рощах этих зимними холодами поселяются и рыщут волки, которых сюда, в затишье, сгоняют с высоких безлесых гор сильные ветра (1876).

1

ВЕСНОЙ 1967 года Зуко Джумхур и я писали сценарий фильма "Зеленое сукно Монтенегро[2]".

Начинали мы работать примерно в восемь вечера, в моей маленькой мастерской, в благословенный миг, начинающийся с первым стаканчиком лозовачи[3], который, морщась, выцеживал Зуко.

© Подгорица, Октоих, 1999
© Василий Соколов. Перевод, 2007
© С. М. Иванов. Послесловие, 2007

Переводчик выражает благодарность Сергею Михайловичу Иванову за неоценимую помощь в освоении всех тюркизмов, что встречаются в тексте, и при подготовке сносок.

1. Сархош – пьяница (*турецк.; здесь и далее турецкие слова даны в русском написании*).
2. Итальянское название Черногории, принятое также в ряде других стран. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
3. Лозовача – сорт сербской виноградной водки.

Писанину мы заканчивали на рассвете, пьяные и вдохновленные тем, что нам удалось урвать у ночи. По завершении трудов я провожал Зуко домой, потому как боялся отпускать его одного. Мы орали под дождем и будили спящих обывателей. Мы проходили под струями поливальных машин, словно под ночными радугами. Я с нетерпением дожидался утра, чтобы прочесть написанное ночью. Наверное, это гениально!

Однако ночь — большая обманщица.

Мои страницы начинались аккуратно и разборчиво, но заканчивались нечитаемым шифром перепутанных букв:

Пашай678В (9пшжццгдфв) гмМрджори сцвл1% глгсказа...

Алкоголизированные пальцы отслеживали дух, но не букву! Лозовача действовала совсем как мескалин в экспериментах Олдоса Хаксли — творчество под воздействием наркотика. Ночами мы становились богаты; все наши денежные проблемы решены, потому как мы раскопали самый интересный в мире сюжет! Наконец-то я смогу купить старый двенадцатиметровый буксир "Оз", который я много лет мечтал превратить в плавучее ателье, совсем как у Клода Моне.

Но по утрам мы были подавлены и маялись похмельем, нас не покидали чувство вины и угрызения совести.

Мы брались за весла и гребли вдоль Ады Цыганлии (которая тогда еще была островом) на старой плоскодонке, у руля которой сидел отставной учитель литературы по фамилии Сабов, житель Ады без правой ноги. Алкоголь выходил из наших пор. Я каждый раз угадывал, был ли Зуко накануне вечером на дипломатическом приеме, потому как в этом случае пот его сильно отдавал "Johnny Walker"-ом, который в те времена был слишком дорог для того, чтобы пить его дома. На верхней оконечности Ады Цыганлии мы прыгали в Саву и плыли вниз по течению, а добрый Сабов сопровождал нас, направляя утлый челн по фарватеру. Вылезая на берег в нижней оконечности Ады, мы были уже здоровы, свежи и готовы к новым безумствам...

Потом я дешифровал рукопись, аккуратно перестукивал ее на машинке и, охладив напиток, ожидал Зуко, как Эккерман поджидал Гёте с очиненным гусиным пером.

Спеша вновь утонуть в вине и истории, Зуко расхаживал по мастерской и говорил, говорил, но мои пальцы, ударяя по клавишам, не поспевали за буйством метафор, нагромождением фактов, причудливостью судеб, фантастических сновидений, любви и жизнеописаний...

Ночь была его, день — мой!

Когда он говорил, казалось, что на плечо ему усаживалось прошлое, как пестрые попугаи садятся на плечи отставных капитанов дальнего плавания.

Впрочем, больше всего он любил возиться с маленькой обезьянкой Ольгой, которую ему подарили в Сингапуре. Он говорил, что ему приятнее бывать в компании с ней, чем с Сартром. Я спросил почему, и он объяснил, что Оленька может залезть по веревке на дерево, а Жан-Поль нет! Он регулярно присылал ей открытки из своих дальних странствий: "Мадмуазель Оленьке Джумхур, Белград, Васина ул., 14. Дорогая Оленька, пока ты как настоящая дама проживаешь в Белграде, я изображаю обезьяну перед телекамерами в Лиссабоне. Твой Зуко".

Он говорил: "Легко найти друга, чтобы поговорить. Трудно найти такого, с кем человек может помолчать..."

Курил много. Стоило сигарете догореть до середины, как он гневно давил ее в пепельнице и тут же зажигал новую. Дым у него шел даже из ушей.

Если писать у нас не получалось, мы отправлялись в долгие ночные прогулки по Белграду, накручивая огромные круги до тех пор, пока не начинали валиться с ног, и тогда ночь завершалась в какой-нибудь кафешке с приятелями. В дальних окраинных переулках он открывал мне тайны исчезнувших состояний, смены домовладельцев, запутанных человеческих отношений и всеобщей погибели. Он бежал от центра как от чумы, особенно от тех мест, которые входили в моду. В окружении известных и популярных людей он внезапно становился агрессивным. Но в плохо освещенных городских кварталах превращался в переодетого Харун-ар-Рашида: входил во дворы и без ведома их хозяев обнаруживал тайные проходы между садами, внимательно изучал бедные витрины в конце бульвара Революции, прежде называвшегося Александровским, пил кофе с жестянщиками, булочниками, полковниками в отставке, знаменитыми и неизвестными, уточнял исторические факты с отставными министрами и бывшими послами; посещал вдовиц в квартирах, забитых старьем, со следами утраченного благополучия, окликал по именам детей — и где бы он ни появлялся, у всех светились от радости глаза: для многих это был настоящий маленький праздник.

— Знаешь ли ты, что такое успех? — спросил он меня однажды. Я не знал, как-то не довелось узнать. — Успех, — произнес он, — это талант плюс информация!

Когда люди покидали его гостеприимный дом, он, низко кланяясь в дверях, говорил:

— Заходите еще! Нам с Оленькой будет очень приятно...

В его семье у всех были странные восточные имена: мать звали Васвия-ханум, жену — Везирой, дочь — Донизадой, а колли — Синдбадом.

Его настоящее имя было Зульфикар.

Даже посреди зимы он не надевал пальто. Спокойно шагал в клетчатом пиджаке, противостоя погоде. Завидев его на своем тротуаре одетым как на летнем приеме, занесенная снегом Князь-Михайлова улица[1] обретала силы противиться морозу. Он же противился погоде и временам года, всегда и всюду появляясь без головного убора.

Презирал шариковые ручки и фломастеры. Писал и рисовал исключительно авторучками особой формы, всегда наилучшей марки и благородного происхождения, очень толстыми (чтобы удобнее было держать), заправленными вместо чернил черной тушью.

Любил носить карманные серебряные часы старинной работы, с цепочкой поперек живота. Так он больше походил на старорежимных людей, сдержанных в эмоциях, чьи движения и жесты точно выверены. Словно он ужасно спешил как можно скорее состариться и избавиться от преходящих страстей, едва достигнет Возраста Мудрости.

Женщины никогда его особенно не привлекали. Я уверен, что он с бóльшим удовольствием провел бы ночь в разговоре с шефом обслуги папского нунция в Белграде, нежели с какой-нибудь прославленной красавицей.

В Белграде он говорил как чистейший серб, но стоило ему перейти мост на Дрине, как в ту же секунду превращался в боснийца, а в речь его роями врывались тюркизмы.

Ел он очень мало, но это "мало" следовало сервировать по-королевски. Батистовые салфетки, лучший английский фарфор со скачущими по нему викторианскими охотниками за лисами, хрустальные бокалы, скатерть с кружевной каймой и свечи в серебряных шандалах... Торже-

1. Знаменитая пешеходная улица Белграда.

ственные обеды, на которых я имел честь присутствовать, составляли обычно суп из говяжьих хвостов, голубцы в виноградных листьях и пирожки с мясной начинкой, политые особым соусом; на десерт же подавался хворост и сахарные торты, всё — произведения кухни благородной Васвия-ханум, вдовы известного белградского имама и уважаемого масона. Обед венчали лучшие французские коньяки и ликеры.

Зуко очень редко болел, но когда ему бывало плохо, ни за что не надевал пижаму. Ложился на незастеленный диван одетым, в джемпере и джинсах, с мокасинами у ложа, чтобы в любую минуту можно было убежать от доктора, если домашние тайком вызовут такового.

Его любили старики, дети и животные.

2

Чего это я так зациклился на Зуко Джумхуре?

Отчего бы мне не перейти к рассказу про Осман-пашу Сархоша?

Паша мертв.

Зуко мертв.

К чему спешить?

Впереди у нас вечность.

3

Следует упомянуть, что он очень редко ходил в кино, а телевизор не смотрел по той простой причине, что вечерами не бывал дома.

Я думаю, сценариев он написал больше, чем видел фильмов.

С отвращением отказался от моего предложения печатать "Зеленое сукно Монтенегро" на машинке — как обычно печатают сценарии: описание героев и действия (VIDEO) на левой, а диалог (AUDIO) — на правой половине страницы.

К счастью, он оказался прав! Скучно читать такие сценарии, даже когда их пишут титаны вроде Дзаваттини, Феллини или Бергмана.

Он придерживался классических приемов повествования, эдакая бородатая Шехерезада, и утверждал, что хотя в нынешние времена и придуманы разные электронные чудеса, в результате чего скоро любой сможет снимать фильмы, монтировать их и демонстрировать, тем не менее главное останется без изменения — что бы ни изобрели, всегда самой редкой и самой востребованной личностью будет тот, кто рассказывает историю и ведет линию сюжета собственноручно.

Когда в Почителе один молодой художник, рисуя некую девушку, пожаловался, что рисунок не вытанцовывается, поскольку нет хорошего карандаша, Зуко закричал на него: "Гвоздем! Гвоздем!" Много позже я понял, что он хотел сказать: чем ты ее ни проводи, линия беспощадно раскроет природу твоего таланта и чувственности.

И вот, пока мы писали рассказ про Осман-пашу и разглядывали в облаках табачного дыма движущиеся картинки, плавно переливающиеся одна в другую, мы чувствовали себя куда счастливее, чем если бы это была премьера нашего так и не состоявшегося фильма.

(Кстати, именно тогда Зуко сделал открытие, заключающееся в том, что одним и тем же количеством спиртного можно упиться в два раза быстрее, если в процессе потребления качаться в кресле-качалке. Кресло, между прочим, принадлежало мне. Позже открытие было усовершенст-

вовано, он понял, что напиваться можно в три раза быстрее, если, качаясь в кресле-качалке и прихлебывая из стакана, смотреть в окошко стиральной машины с крутящимся в ней цветастым постельным бельем.)

Нашей историей, которую мы, перебивая друг друга, с воодушевлением пересказывали по белградским ресторациям, заинтересовался один режиссер. Сибарит и барин старой закваски, Радош Новакович, будучи довоенным салонным марксистом, снимал тогда в основном патриотические фильмы про войну. Ему понравился рассказ про Осман-пашу, и к тому же он увидел в нем возможность через совместную продукцию вырваться из тесных рамок отечественной кинематографии и снять фильм в духе Рене Клера – в цвете, элегантно, непринужденно, легко, с горчинкой, которую начинаешь ощущать только после просмотра, когда облатка занимательности растает на дне желудка. Каждая страна, чьи представители появятся в "Зеленом сукне Монтенегро", делегирует своего актера, который будет играть на родном языке. Это стал бы своего рода маленький кинематографический Вавилон, прямо как гостиница "Локанда" в Цетине 1876 года, когда в ней пребывали консулы и наблюдатели, корреспонденты европейских газет, международные авантюристы и пройдохи и даже один заблудившийся поэт (Лаза Костич), а также Осман-паша Сархош, плененный после поражения в битве при Волчьем Доле.

Образ Осман-паши Сархоша был своеобразным тайным автопортретом Зуко. Мне же в фильме, как и в жизни, была отведена второстепенная роль.

Расчетливый и серьезный, когда речь шла о работе, Радош Новакович заставлял нас, словно талантливых, но ленивых учеников, поскорее закончить наш сценарий, будто предчувствуя, что недолго ему оставалось быть директором "Авала-фильма". Но как бы мы ни стремились к лавровому венку на каком-нибудь из фестивалей, нам куда больше нравилось просто писать вместе, собственно, жить в этой истории, которая, в основном благодаря гениальному пересказу Зуко, стала чем-то большим, нежели обычный отпечатанный на машинке текст. И вот, отправляясь на встречу с Радошем Новаковичем в ресторан "Трандафилович" на Чубуре, который был его любимым местечком, где официанты баловали знаменитого клиента, мы вдвоем по дороге придумывали не записанные еще сцены, чтобы оправдаться перед учителем Новаковичем – совсем как школьники, забывшие на кухне тетрадку с домашним заданием!

И все же настал час, когда "Зеленое сукно Монтенегро" оказалось написанным! Наш сценарий купил "Авала-фильм", и мы расстались, чтобы спокойно потратить каждый свою долю гонорара, который по тем временам был просто огромным.

Вскоре после этого Радош Новакович скончался. Незадолго до смерти он отвез свой экземпляр в Америку, и там его следы окончательно потерялись. Второй же навсегда исчез в пыльных шкафах-хранилищах гигантского распадающегося здания киностудии. Мы с Зуко напрочь забыли про сценарий, мирно желтеющий в какой-то коричневой папке вместе с моими брошенными рассказами.

По воле случая, двадцать четыре года спустя мне отдали эту папку. К несчастью, в сценарии не было первых пяти страниц!

Никто, кроме Зуко, не смог бы их восстановить!

Никто, кроме него, не знал тайных источников, в которых скрывалась больше ста лет эта история – все эти уже забытые литераторы, участники и свидетели, их мемуары, исповеди и путевые заметки, почти

исчезнувшие книги, изданные в конце прошлого века "тщанием самого автора", страстным читателем которых он был.

Обнародованный текст подействовал на наших общих друзей, ценителей и знатоков творчества Джумхура как разорвавшаяся бомба! Зуко, кстати, был известен как автор, который каждый свой текст публиковал по нескольку раз, под разными заголовками и в слегка измененном виде. Составитель собрания его сочинений, старательный господин Мирослав Прстоевич, впадал в отчаянье, когда убеждался в том, что половина одной книги Зуко легкомысленно переселялась в другую, с совершенно иным названием, с тем чтобы позже вынырнуть уже в форме путевых заметок в каком-нибудь бедекере или в богато иллюстрированной фотографиями документальной прозе. Найти неопубликованный текст Зуко – это было примерно то же, что открыть неизвестный рассказ Лазы Лазаревича[1]!

Чтобы написать эти первые пять страниц, мне пришлось бы вернуться в свои тридцать лет, а туда мне вовсе не хочется возвращаться, даже если это и станет возможным!

Пришлось бы также вновь полюбить кино, а эта любовь давно уже вся растаяла. Опять пришлось бы стать романтиком, притом достаточно глупым, чтобы тратить время на движущиеся картинки, а не на жизнь.

Как в "Замке" Кафки, где Страж уходит в тот момент, когда герой умирает перед воротами, потому что он здесь только для того, чтобы не дать ему войти внутрь, так и те, кто не позволял мне заниматься кино, уже ушли из кинематографии в отставку, смерть и забвение.

Сейчас, когда я могу войти в киностудию с парадного входа, – не хочется мне туда идти.

4

Хотя, по правде говоря, было время, когда мы с ума сходили по кино!

Получив образование в подвале кинотеки на Косовской улице, мы помнили каждый кадр из "Аталанты" Жана Виго или из немых фильмов Дрейера и Шёстрёма; Чаплин, Китон, Гриффит, Уэллс; ранние фильмы Карне, Брессон, открывший дорогу французской "новой волне", – все это беспрерывно звенело в наших головах, отравляя страстным желанием самим создать нечто подобное. Мы проглатывали каждый новый номер "Cahier de Cinema", попадавший к нам в руки с опозданием в несколько месяцев, писали сценарии и неустанно предлагали их глухим киностудиям, в которых властвовали полицаи и демобилизованные офицеры. Они, конечно, их отвергали, но с нами вели себя предупредительно, как со слишком умными и образованными детьми. В то время снимались исключительно партизанские фильмы и дешевые комедии. Официальные режиссеры и сценаристы боялись нас: наши познания в искусстве кино были намного серьезнее, чем их, что, вероятно, и служило причиной того, что в кино пускали всех, кроме нас!

Кинопроизводство и прокат они воспринимали как наказание, обижаясь на то, что бывшие товарищи устранили их из повседневной политической жизни. Они часто шептались, загадочно округляя глаза: если бы не случилось "это", они бы уже были членами Центрального Комитета!

Иногда, в минуты внезапного нетрезвого прекраснодушия, кто-нибудь из них проводил нас на закрытые показы; так нам удавалось посмо-

1. Лаза Лазаревич (1851–1890) – писатель, прозванный "сербским Тургеневым".

треть фильмы, которые впоследствии ни за что не будут закуплены. В уютных просмотровых залах, где цензоров обносили спиртными напитками, скучали гебисты и их примитивные жены. Часто они прерывали демонстрацию и требовали показать им другой фильм, особенно если картина казалась им слишком затянутой и заумной. Они скучали по советским военным фильмам, хотя боялись в этом признаться даже самим себе, потому что их партия была в ссоре с братской советской партией большевиков. Вот потому они, как и их Вождь, наслаждались вестернами и экранизациями оперетт с тенором Марио Ланца в главных ролях.

Мы заискивали перед ними и всячески затягивали процесс, лишь бы только они не прервали показ шедевра Рене "В прошлом году в Мариенбаде" или "Любовников" Маля. Они же были полудеревенскими диковатыми детьми, бывшими солдатами с нечистой совестью, и больше всего боялись выглядеть смешными на враждебной для них территории — в киномире. В их руках была драгоценная игрушка, с помощью которой создавались целлулоидные миражи, в то время как им хотелось делать нечто ощутимое и простое. Они боялись того, чего не могли понять, а понимали они очень мало.

Страна была герметически закупорена. На Запад выезжали только редкие любимчики, полупрофессиональные разведчики. Мир нашей мечты (а мы представляли его себе совершенно неправильно) был составлен из этих беспорядочно движущихся картинок в затемненном зале, и, самостоятельно творя его, мы чувствовали себя социалистическими копперфилдами.

Это было похоже на поездку в автобусе, когда в салоне звучат "Времена года" Вивальди и пейзаж за окном гармонично сливается с музыкой. Вы же все время опасаетесь, что шофер, хозяин дороги и звука, широкая спина которого неизменно маячит перед вашими глазами, повернет волосатой ручищей рычажок на панели и найдет какой-нибудь дерьмовенький музончик. Естественно, вы понимаете, что ваш страх оправдан, но ведь человек за рулем пока еще не уничтожил эту гармонию. И вот на́ тебе, именно это и происходит! Тогда вы плюете на все и начинаете заниматься искусством, за которое только вы один и несете ответственность — таким, чье таинство не может оборвать ничья рука!

И чего это меня потянуло писать вот эти страницы по прошествии стольких лет?

Зуко время от времени вспоминал о нашем сценарии и спрашивал, что с ним. Он все еще надеялся, что кто-то снимет по нему фильм и мы наконец-то разбогатеем. В последний такой раз, перед его смертью, я обещал отыскать текст. Оба мы верили в то, что наш сюжет — лучший в мире, что такая удача случается раз в жизни. Нам и в голову не могло прийти, что жизнь самого Зуко ничуть не менее увлекательна.

Вот потому и пишу я теперь эти строки, чтобы дух Зуко, растраченный на "Зеленое сукно Монтенегро", не исчез втуне.

К тому же сейчас это единственный способ вновь окунуться в дружбу с Шайтаном-эфенди, который научил меня самому важному в этой жизни.

5

Наш рассказ начинается пополудни 28 июля 1876 года на Волчьем Доле, одновременно с развалом побежденной турецкой армии; в злом пороховом дыму и в жа́ре кипящего дня, источаемом камнями Герцеговины.

Целых двадцать четыре года понадобилось мне, чтобы обнаружить источники истории Зуко, которую он так вдохновенно диктовал ночами, захваченный ею, на одном дыхании, прямо на мою пишущую машинку.

Это была книга "Балканские мемуары. 1858–1878" Мартина Джурджевича, политического пристава первого класса в отставке, бывшего дипломатического и почтового чиновника на австрийской и турецкой службе, очевидца битвы при Волчьем Доле и знакомца Осман-паши Сархоша, главного героя этого романтического повествования. Книга издана "тщанием самого автора" в Сараеве, в 1910 году, и от его манеры изложения многое перенял неподражаемый рассказчик Зуко.

"Ежели эти письменные мемуары встретят у многоуважаемого читателя такое же благожелательное отношение, какое они находили у слушателей, когда я многократно излагал перед ними отдельные эпизоды, сочту это наилучшей наградой за свой труд!" – пишет Джурджевич в предисловии.

Автор мемуаров, как и Зуко Джумхур, многократно рассказывал одну и ту же историю, пока не отшлифовал ее в устной форме на слушателях до такого совершенства, что уже не страшно было отдавать ее для дальнейшего распространения с помощью изобретения господина Гутенберга.

По свидетельству режиссера Боры Драшковича, Зуко обнаружил эти мемуары годом раньше (1966) и все лето таскал их с собой, читая в тени кафешки "Лиссабон" в Херцег-Нови, где любил сиживать в ранние утренние часы. Потом он уехал в Герцеговину, спасаясь от туристического сезона, который с ужасом в голосе определял восклицанием: "Мама, смотри, как я ныряю!" Один актер вспоминает, как по утрам похмельный Зуко спускался к Неретве, раздевался и садился в воду так, чтобы течение билось ему в грудь. "Слушай, он открывал рот и пропускал сквозь себя Неретву! Мне казалось, что он выпьет всю речку!" (Йосиф Татич).

Самые первые следы этой истории обнаруживаются в простенькой газетной заметке Зуко Джумхура под названием "Узник в Цетине".

"Вот одна из историй, рассказанных Осман-пашой. В последние годы своей жизни паша все чаще вспоминал Черногорию, битву при Волчьем Доле, и особенно – приятные дни, проведенные в черногорском плену в Цетине. Как и в прежних своих беседах с Тахиром-эфенди, он начал рассказ с поношения Мухтар-паши и всех его предков и потомков. Этот Мухтар-паша нанес ему в жизни много оскорблений и много причинил зла своими обвинениями, бывшими на деле чистейшими измышлениями и грязной ложью о том, что он, лив[1] Осман-паша, верный слуга падишаха и первый артиллерист турецкой империи, в Волчьем Доле был в стельку пьян и настолько не в себе, что едва не открыл огонь из всех орудий по своим войскам вместо черногорцев..."

Чтобы ввести в курс дела, минуя пять исчезнувших страниц "Зеленого сукна Монтенегро", мне следует ознакомить читателей с историческим фоном, на котором происходила эта знаменитая битва, без чего невозможно будет разобраться в судьбах главных героев.

Прежде всего господарь Черногории, князь Никола I Пе́трович Негош, окруженный народом и войском, зачитал манифест об объявлении войны.

"Цетине, которое помнит множество светлых и торжественных событий, не переживало дня более величественного... – свидетельствует

1. Бригадный генерал (*турецк.*).

князь в своих "Мемуарах". — Кроме огромного количества собравшегося народа, площадь в Цетине заполнила еще и армия, которая в тот же день выступила на границу с Герцеговиною".

"Черногорцы! — объявлял манифест. — Вот уже почти пять веков мощь турецкая гнетет большую часть народа нашего и опустошает наилучшие земли древней и великой державы сербской. Многократно народ наш восставал, дабы сбросить с себя оковы рабства, и опять терял силу, поскольку, расколотый и предоставленный самому себе, вновь попадал под тяжкое ярмо варварской мощи. Черногорцы, вот уже год прошел, как наш народ вновь поднялся, восклицая: 'Свобода или смерть!' Из соседней с нами Герцеговины пламя восстания перекинулось к братьям нашим в Боснию и к народу болгарскому, брату нашему и по крови славянской, и по кресту православному... И вот, герои мои, пробил тот великий час, когда до́лжно на деле подтвердить значение Черногории и когда исполнятся мечты наши и братьев наших... Черногорцы, в таких благоприятных обстоятельствах вступаем мы ныне в войну против Турции. Мурат захватил царство наше, у Мурата же его и отнять следует![1]"

Решающая битва произошла при Волчьем Доле 28 июля 1876 года.

"Противостоящие силы в этой битве были приблизительно равны, — пишет Джурджевич, — по двадцать тысяч с одной и с другой стороны. Командующими турецкой армией были: мушир[2] Мухтар-паша, ферик[3] Бошняк и командир артиллерии Осман-паша...

Мухтар-паша оставил шесть станов[4] армии в Билече, а с восемнадцатью станами и двенадцатью пушками за ночь совершил маневр. Войско он разделил на три колонны: в каждой под командованием Осман-паши четыре стана с двумя пушками. Мухтар-паша с девятью станами и семью пушками двигался им вслед, а перед турецкими войсками шли башибузуки[5] — кнутом или пряником мобилизованные жители с просторов Герцеговины...

Я стоял на холме подле секретаря Дабуа и смотрел через бинокль с целью разглядеть битву. Грянуло первое ружье, второе и третье, и тут загремели уже тысячи ружей, после чего раздались возгласы многочисленных раненых: 'Помоги, товарищ! Дай мне водицы'. Первого мертвеца я увидел застреленным прямо в лоб. Взвалили его на коня и увезли куда-то закапывать. Раздавались ужасные звуки ударов свинца о камень и свист пуль в воздухе. Князь стоял со своей свитой на каменистом пригорке (на западных склонах горы Кокот, где и поныне сохранились каменные шанцы черногорских позиций, с которых те двинулись в атаку на позиции турок на Ковчеге). Князь стоял, закутавшись в синеватую епанчу. Ружейная пуля пробила княжескую епанчу у колена, и воевода Петар Вукотич потянул его за руку со словами: 'Погибнешь, господарь, пойдем за камень, — добавив: — Не следует без нужды помирать!' Как раз тогда турки сняли с ослиной спины пушку и на скорую руку произвели четыре-пять выстрелов, но тут закончились у них артиллерийские припасы, после чего турецкие пушки палили все реже и реже. Артиллеристы, по правде говоря, что есть сил искали свои заряды, но главный припас, как уже было сказано мною, по недосмотру отправили на черногорскую границу. Тут среди черногорско-

1. Имеются в виду турецкий султан Мурад I (1319–1389), одержавший победу над сербами и черногорцами в битве на Косовом поле (1389), а также правивший в 1876 г. султан Мурад V.
2. Маршал (*турецк.*).
3. Дивизионный генерал (*турецк.*).
4. Зд.: крупное подразделение.
5. Зд.: солдаты нерегулярных подразделений турецкой армии (*турецк.*).

го войска пронеслась весть о том, что у турок кончился боеприпас, и командиры вскричали: 'В рукопашную!' Пиперский батальон прежде других выхватил ятаганы, вылетел из укрытий за камнями и с громкими криками устремился в атаку на турок. А когда вслед за ними и прочие черногорцы обнажили клинки, настала кровавая битва, лютая резня. Черногорец так ловко орудует своим кинжалом, что турок даже со штыком не смеет приблизиться к нему. Смертельный страх обуял турок, и побежали они назад, в Билечу, а черногорцы преследовали их, рубя налево и направо, вплоть до города, отстоящего в двух часах пути. Черногорцы стремились как можно больше господ настичь и зарубить, поскольку добыча станет богаче, вот их и отыскивали всюду, пробегая мимо простых турецких солдат безо всякого внимания, а те не смели даже замахнуться на черногорцев. Счастье было на стороне черногорцев, и они атаковали штаб-квартиру, где было четыре пушки и много старших турецких офицеров..."

6

Через сто пятнадцать лет после этой битвы, стоя под лунным светом на замерзшем Волчьем Доле, я вслушиваюсь в крики и хрипы застреленных и зарубленных, в шорох мечущихся по горячей земле обезумевших гадюк, в звуки бьющегося о камни металла, вдыхаю табачный дым, смрад обгоревших суконных порток и сернистую вонь пороха и пота.

Родное село моего отца, Мириловичи, лежит в непосредственной близости от Волчьего Дола. Четверо моих предков, Капоров, были в этом бою баръяктарами[1], имена их записаны в "Памятной книге битвы при Волчьем Доле". Один из них похоронен на сельском кладбище в Мириловичах, под голой горой Видушей, где покоится и мой отец. Уже сто пятнадцать лет, как на его кресте, вытесанном из серого песчаника, прижился лишайник. Прочих троих так и не нашли. Наверное, их останки растащили птицы и одичавшие псы, или же их тела изрубили на такие куски, что невозможно было опознать. Каждый раз, касаясь пористой поверхности каменного креста, под которым лежит Марко Капор, баръяктар, сквозь ладонь в меня вливается уверенность в том, что есть у меня право на этот рассказ. Дивное чувство охватывает меня — я не испытывал ничего подобного, касаясь пальцами витрины ювелирного салона "Тиффани" на углу Пятьдесят седьмой улицы и Пятой авеню в Нью-Йорке, хотя там тоже случались некоторые из рассказанных мною историй.

Предполагаю, что и предки Зуко Джумхура, герцеговинские мусульмане, злые коничане, также участвовали в этой битве, естественно, с противной стороны. А иначе эта волнующая история разве задела бы сердце моего друга? Я, честно говоря, верю, что любой сюжет найдет того, кому он предназначен, вроде как завет древнейших времен потомкам. Чего ради Зуко из множества иных тем заинтересовала именно эта?

В работе над "Зеленым сукном Монтенегро" я невольно представлял христианскую сторону, а Зуко — мусульманскую! Чем больше мы выпивали, тем больше мы сходились в том, что делаем друг другу в некотором роде одолжение; я старался открыть в образах турок как можно больше утонченности и достоинства, а Зуко в ответ наделял христиан чертами, присущими лишь прирожденным джентльменам.

1. Старший унтер-офицерский чин (*сербск.*).

7

Битва при Волчьем Доле завершилась поражением турок.

Они бросили много мертвых и раненых, пушки и все оставшиеся боеприпасы. Оттоманская армия потеряла восемь тысяч солдат. Погиб и весь штаб Мухтар-паши – сто шестьдесят офицеров и прочих командиров. У черногорцев было сорок восемь мертвых и семьдесят два раненых. Они гнали турок до самой Билечи, пока трубы не просигналили конец сражения и возвращение на исходные позиции в селе Врбица. После этого в знак победы из трофейного оружия был произведен двадцать один залп. Князь Никола устроил в тот вечер торжественный ужин в честь командира победоносного черногорского войска.

Что привлекало Зуко в Осман-паше Сархоше, этом знатном, обольстительном пленнике? Изучая мемуары Джурджевича, я обнаружил в них ключевой текст, не вошедший в наш киносценарий, однако объясняющий характер несчастного генерала, который будто был списан с современных антигероев: после того как его пленили и привели в палатку Джурджевича (которая стала его временным пристанищем), паша демонстрировал исключительное равнодушие к поражению, к собственной судьбе и к миру. И это не было смирением на восточный лад, но вежливой незаинтересованностью, более свойственной героям Пушкина, Байрона, Лермонтова или – в наше время – Альбера Камю.

"Осман-паша и некий юзбаша[1] отобедали в моем шатре и легли спать, поскольку были весьма утомлены. Его высочество приказали из пушек, что были отбиты у турок, сделать в знак радости двадцать один залп. Князь вошел в мой шатер, увидел, что паша спит, и произнес: 'Это обеспокоит нашего гостя, но ничего: нам следует веселиться! Стреляйте, черногорцы!' Загремели пушки, Осман-паша воспрянул и спросил: 'Что это?' Я ответил: 'Шенлук (веселие)!' – 'Им можно', – произнес паша, рухнул на постель и заснул".

Разве не так вел себя Плим в романе Анри Мишо "Спокойный человек", когда его приговаривали к смертной казни?

"'Приговор будет приведен в исполнение завтра. Осужденный, вам есть что добавить?' 'Простите, – ответил он, – я не следил за ходом дискуссии'. И вновь задремал".

Описание сна Осман-паши как бы косвенно подтверждает выдвинутое против него обвинение в том, что в битве при Волчьем Доле он командовал артиллерией в пьяном виде. Только нетрезвый человек может так сладко и глубоко заснуть под грохот двадцати одного орудия, отстраненно-вежливо одобрив перед этим факт празднования противником победы.

Дайте мне выспаться! Может быть, сама битва была просто сном?

"Ввечеру перед княжеским костром горели факелы, играл оркестр, а княжеские пажи разливали настоящее шампанское 'De souverain'..."

Французское шампанское на залитых кровью камнях 28 июля 1876 года.

В этом предложении тон и вкус нашей истории.

8

В небольшой пожелтевшей книжечке писателя, издателя и типографа Арсения Паевича "Из Черногории и Герцеговины. Воспоминания о бо-

1. Капитан (*турецк.*).

ях за национальное освобождение в 1876 году", вышедшей в Нови Саде сто лет тому назад, я нашел описание Волчьего Дола после битвы:

"Всюду видел я простых солдат, развертывающих платки и завязывающих рты и носы свои, дабы возможным стало двигаться далее. Мы то же самое еще прежде них принуждены были сделать, но едва стали нам мертвые турецкие тела встречаться, гниющими повсюду валяющиеся, наши кони начали головами мотать и пятиться, словно и они не могут ужасный смрад одолеть. Большего страху на своем веку видеть мне не доводилось, нежели в тот раз на этом поле. Голые, нагие тела человеческие, синие и вздувшиеся, ровно их миллионы пчел изъязвили, да к тому же во многих местах кожа на них от ужасного жара солнечного полопалась, и распались тела оные на части. Здесь человеческий труп без головы, там с головою, на которую даже глядеть страшно, а по телу – открытые раны от ружейных пуль и ударов ножа острого. Вон переломанные кости рук и ног валяются так, словно по ним фуры груженые проехали. А тут человеческую утробу псы разорвали и все кишки растащили. А сверху над всем этим кружат плотные, ужасные стаи черных воронов и иных стервятников, которые с ближних гор собрались сюда, будто на богатейшую трапезу, и пируют. Многие из солдат наших стреляли по ним из ружей своих, но эти стаи голодные улетать и не думали. Так им здесь хорошо было. Наблюдая эту картину, кровь леденящую, принуждены мы были в сторону взять, ибо возникали пред нами все бóльшие и все более ужасающие горы, и кони наши упирались, не желая везти далее. И даже когда далеко вправо на целые два часа отъехали, все еще нас смрад беспрерывно душил, и так мы им все надышались, что никто из нас не мог весь тот день ни единого куска проглотить. Да и на следующий день не в силах мы были избавиться от трупного духа, а еще больше – от самого вида невероятных ужасов битвы..."

Прибыв с женой и детьми из Загреба через Триест в Котор на комфортабельном итальянском пароходе, бросая по пути якорь в счастливых адриатических портах Задар, Шибеник, Корчула, Дубровник и Херцег-Нови, любознательный Мартин Джурджевич (оставив семейство в Которе) всего лишь день спустя оказывается в настоящем средневековом аду...

"Когда герцеговинский повстанец убивал врага, то отрезал ему голову и носил ее в сумке, чтобы продемонстрировать потом своему воеводе. Бывало, носил такую мертвую голову дня по три, по четыре, вместе с хлебом и луком, а проголодавшись, вытряхивал из сумы все вместе: голову укладывал перед собой, чтобы любоваться и разговаривать с ней, и давился черствым хлебом с луком, несмотря на то, что пища эта была перепачкана смердящей головою. Часто случалось, что кмет[1] узнавал на противной стороне своего агу[2] и, когда повстанцы мчались в атаку, кмет кричал своему аге: "Давай, дорогой ага, ко мне! Я тебя по-человечески ошехечу (сделаю мучеником за веру), и упаси тебя к другому в руки попасть, пытать станут! А я тебя аккуратно зарежу, как ты режешь курбан[3] для хаджийского байрама[4]!"

Битва при Волчьем Доле означала также определенный прогресс в тогдашнем ведении войны. Князь, например, строжайшим образом запретил своим воинам отрезать пленным туркам носы и уши, что они прежде весьма ревностно делали, приговаривая: "Это чтобы мы вас уз-

1. Зд.: крестьянин, в принудительном порядке обрабатывающий помещичью землю.
2. Зд.: феодальный землевладелец (*турецк.*).
3. Жертвенное животное (*турецк.*).
4. Самый большой мусульманский праздник (*турецк.*).

нали, если опять к нам заявитесь!" В качестве доказательства отваги надо было принести воеводе фески, шапки, ружья и сабли. Хроникеры битвы описывали марширующие колонны пленных турок, держащихся за носы в страхе, что их все-таки ненароком отрежут.

Добрый Мартин Джурджевич, ужаснувшись увиденным, записывает, что и "корреспонденты иностранных газет описывали эти страсти, а если кто читал английскую брошюру "The Horrors of Ost"[1], наверняка мне поверит!"

9

Страшный фон этой горской войны, на котором красуется неповторимый образ Осман-паши Сархоша, я рассмотрел гораздо позже, изучая мемуары и записки свидетелей и участников, — Зуко как будто специально скрывал от меня эти ужасные сцены. Вероятно, он с трудом переносил страшное поражение турок. Думать так заставляют его частые препирательства и скандалы в белградских кафе. Как только начинался разговор о сербах и турках (а в Белграде это по сей день частая тема застольных дискуссий), Зуко или уходил из-за стола, или ввязывался в перепалку, защищая Оттоманскую империю и ее цивилизацию, подчеркивая при этом древнее благородство и героизм. Один такой спор завершился знаменитой дракой в Писательском клубе, обретшей ныне уже очертания легенды. Разозлившись на коллег, поносивших турок, Зуко принялся кричать, что турки, придя в здешние края, "стряхивали вас с деревьев" и что во всех нас течет солидная доля турецкой крови, в чем виноваты наши легкомысленные прабабки. Говорят, тогда случилась жестокая драка, в ходе которой Зуко после удара (или толчка) знаменитого сербского поэта оказался под столом. Весь город гудел по этому поводу несколько дней, хотя стычка и завершилась миром — противники продолжили посиделки за одним столом...

В белградских нападках на все турецкое есть довольно много добродушной фамильярности. С течением времени турки стали нам кем-то вроде родственников. Но тем не менее мы почти не замечаем, как, вовсе не желая того, можем походя оскорбить людей другой веры. Сербы, например, часто употребляют метафору: "Прошел, будто мимо турецкого кладбища", — не задумываясь над тем, насколько им самим было бы неприятно, если бы кто-то, проходя мимо чего-то совершенно ничтожного, заметил, что "прошел, будто мимо православного кладбища"!

10

Вот как оно было!

"Решающего успеха достигли благодаря тому, что вначале последовала атака на позиции турецкой артиллерии, где скопилось множество начальников. У турецких офицеров не было знаков различия, потому трудно было определить, кто есть кто. Батареей командовал Осман-паша. Будучи окруженным со всех сторон, он храбро сражался, пока не погибли все, кто окружал его.

Черногорцы кричали ему: 'Сдавайся, господин!', хотя им и не было ведомо, кто он таков".

1. "Ужасы Востока" (*искаж. англ.*).

(Эта оговорка Джурджевича весьма многозначительно свидетельствует о врожденном благородстве Осман-паши. Несмотря на полное отсутствие регалий, соответствующих чину, пропахший пороховым дымом и оборванный, этот любимец Аллаха производит такое впечатление, что это замечают даже примитивные и воинственные горцы.)

"Осман-паша кричал им в ответ:

– Я не сдаюсь! Стреляйте в меня! – все еще держа в руке разряженный револьвер. "Стреляйте!" – потому как он предпочел бы погибнуть, но только не сдаться, как он сам мне впоследствии рассказывал.

Но черногорцы не хотели стрелять и уже повесили ружья на плечи, а один из них подскочил к нему, схватил за руку и вскричал:

– Ты мой!

Осман-паша ответил:

– Давай! Давай! Веди меня к своему господину, ты получишь хорошее вознаграждение!

Черногорец повел пашу к своему хозяину, расспрашивая по дороге:

– А не юзбаша ли ты?

– Бери выше! – отвечает паша.

– А не бинь-паша[1] ли ты?

– Выше бери!

– Значит, ты миралай[2]?

– Еще выше!

– Да ну уж не паша[3] ли ты?

– Повезло тебе – именно паша я и есть! – ответил Осман.

И тут черногорец принялся стрелять из ружей, на радостях, что ведет пашу, и запел: 'Какое счастье, пресветлый господарь мой, вот я тебе пашу веду!'

Размотал свой выцветший бедняцкий красный кушак и завязал его на шее у паши как знак пленения, и повел его, словно на поводу, к Князю Николе".

(Несколько позже личный врач князя Николы, Février, предложит Осман-паше медицинскую помощь, от которой тот вежливо откажется.)

"Осман-паша сказал Février'у, что он не ранен, – запишет позднее Джурджевич, – хотя позже он поведал мне, что получил незначительное ранение в поясницу, сзади..."

Вспоминаю: в ту ночь, когда взяли в плен Осман-пашу, Зуко напился до бесчувствия.

"Аллах акбар!"[4] – тихо воскликнул он в "Золотом бокале", прежде чем заснуть, опустив голову на руки.

11

Привязанный засаленным кушаком Луки Филипова, паша ошеломленно спотыкался о камни, на которых впервые в жизни проиграл битву. Лука был низкорослым, коренастым мужчиной с большими усами и сросшимися бровями и, судя по поношенной, тесноватой одежде, вдобавок ко всему – бедным. Позже, благодаря ему вся семья получит уважаемую фамилию Филипович, а еще их будут прозывать Ухватипашичами. Что-то радостно выкрикивая и постреливая

1. Майор (*турецк.*).
2. Полковник (*турецк.*).
3. Генерал (*турецк.*).
4. "Господь велик!" – традиционное мусульманское обращение к Всевышнему.

вая в воздух, он праздновал неожиданно свалившуюся на него славу и одновременно предупреждал прочих остервенелых ратников, что, если кто-то попытается отнять или убить его драгоценного пленника, он будет защищаться всеми доступными способами. В руках его находилась слава всех будущих потомков, Филиповичей! В его руках, следовательно, был не просто конец обычного красного кушака, но самый корень будущего генеалогического древа!

Паша оглядывал затихшее поле битвы...

"Лежат мертвецы повсюду, а черногорцы подбирают оружие и снимают с неприятеля все, что сгодиться может, и уносят. Схватились два черногорца за новую красную переметную суму, полную белого господского белья, и тянут один к себе, другой в свою сторону, так и разорвали суму на две половины, и каждый по своей половине унес. Еще один, опять же черногорец, плачет, потому как потерял где-то кошель с 1000 золотых лир (20000 крон), и пошел по следу своему: а вдруг найдется. Как потом стало нам известно, то были деньги полковника Главного штаба Шукри-бега (боснийца), который погиб в этой битве. Воевода Стево Радонич подошел ко мне и сказал: 'Нет, ты подумай, оставил я здесь сорок пленных турок, чтобы их черногорцы постерегли, пока я их Его Высочеству не отведу, а теперь ни одного в живых не вижу!'"

12

Вот еще одно свидетельство о пленении Осман-паши...

Воеводинец Арсений Паевич, оказавшийся в княжеском окружении, записал в своих воспоминаниях следующую историю:

"...И тут влетает первый радостный вестник и сообщает: 'Господарь! Вот ведут к тебе живого Осман-пашу!' — который и в самом деле некоторое время спустя является в сопровождении нескольких черногорцев и Луки Филипова из Пипера, который и пленил его. Лука Осман-пашу как раба *драгоценного* водил на своей бедненькой красной опоясочке, которую с себя снял и ею пашу привязал в знак пленения, так и привел его пред князя, нежась в лучах радости оттого, что ему сегодня такое счастье выпало. Когда Осман-паша предстал пред князем весь дрожа, от усталости ли или от страха, то князь протянул ему руку и усадил рядом с собой. И когда Осман-паша по-французски выразил ему свою признательность, князь продолжил с ним разговор на этом языке. Тут князь напоил шампанским и оделил табаком Осман-пашу, который теперь осмелел несколько и принялся рассказывать князю про Муктара и про турецкое войско в Билече, пока князь не прервал разговор, обернувшись к свите: 'Пора трогаться!' — и вся свита разом поднялась вслед за князем... Осману князь дал коня, потому как его пешком привели, и дал он ему те часы, что у него вместе с саблей отобрал тот, что пленил его".

Княжеский дворец в Цетине находится в непосредственной близости от старого монастыря и Билярды (которая получила наименование по первому бильярду в Черногории, разместившемуся в этом здании). У входа днем и ночью стояла дворцовая стража, а на высоком флагштоке развевался княжеский стяг. Между башней и Билярдой рос знаменитый раскидистый вяз, под которым князь Никола вершил летом правосудие, сидя на обычном табурете о трех ногах. Под этим же вязом в старые времена объявляли приговоры и казнили преступников, предателей и воров, и с тех времен пошла поговорка-предупреждение: "Смотри не попади под вяз!"

Под этим вязом князь, окруженный дворянами и перьяниками[1], наградил Луку Филипова из Пипера за геройство, подарив ему обширные земли в долине реки Зеты.

Но рассказывают, что Лука Филипов снова и снова приходил под вяз и вечно выпрашивал что-нибудь еще у князя, а если тот отказывал, Лука с упреком произносил: "А когда я тебе того привел, то сгодился!"

Он и денег ему дал на строительство дома, но когда Лука потребовал еще и волов землю обрабатывать, князь разозлился.

Говорят, он сердито отрезал: "Может, я тебе и вспахать должен?"

Ходят слухи, что перьяники в один прекрасный день, уже после того как Лука Филипов получил все, что просил, доложили, что он снова пришел, и князь спросил, чего ему не хватает теперь? Слуги ответили, что в этот раз не просит он ничего, просто пожелал увидеть господаря, вот и пришел аж с Зеты, потому что тот недавно приснился ему... Князь велел привести Луку под вяз.

— Бог в помощь, господарь! — смиренно приветствовал его Лука Филипов.

— И тебя пусть Господь без помощи не оставит, Лука! — ответил тот. — Чего тебе надобно?

— Ничего, благородный господарь, просто ты мне намедни во сне явился, вот и решил я тебя наяву повидать!

— Ну и как же я тебе приснился, Лука?

— А так, господарь, что подарил ты мне двенадцать дукатов!

Князь рассмеялся, вынул из кошелька несколько дукатов и протянул их Луке; тот их вмиг пересчитал и сказал:

— Здесь четыре дуката, господарь, а мне их двенадцать приснилось!

Тут князь обозлился.

— Лучше бы ты его и не поймал вовсе! — вскричал он. — Лучше бы мне терпеть рядом с собой сотню Осман-пашей, чем тебя одного!

13

Все свидетели сходятся в одном: Лука Филипов привел связанного Осман-пашу в шатер князя Николы, при этом присутствовали помимо личной свиты князя многие дипломаты и корреспонденты европейских газет.

Рассказывают, что револьверная и ружейная стрельба смешивалась с треском пробок, вылетающих из бутылок французского шампанского, которого никто не жалел.

Увидев связанного пашу, князь просто окаменел и несколько мгновений не мог произнести ни слова. Потом он быстро подошел к пленнику, развязал красный кушак на его шее и оттолкнул в сторону ополоумевшего от счастья Луку Филипова.

Очевидцы рассказывают, что они троекратно расцеловались. Они так давно не виделись...

Они не встречались с того счастливого весеннего дня во французской военной академии Сен-Сир, где учились в одном классе. Князь Никола как будущий господарь, а Осман-паша (тогда он еще не был Сархошем) в качестве единственного сына из богатой и уважаемой царьградской семьи.

1. Перьяники — солдаты личной гвардии черногорских князей.

"В тот июльский день была невыносимая жара. Камни сияли словно в песчаной африканской пустыне. Мухтар-паша бежал в Требине, откуда телеграфировал в Царьград, что Осман-паша виною всему несчастью, потому как был пьян. Мухтар-паша предполагал, что Осман-паша погиб, и потому возжелал перенести вину за поражение на того, кого уже не было в живых!

Паша был весьма возбужден и утомлен, когда его привели к князю.

– Воинское счастье, которое сегодня склонилось на мою сторону, принесло тебе, товарищ, такую судьбину... – встретил его господарь. – Но пусть она не гнетет тебя, ибо сражался ты геройски. Садись и отдыхай..."

Победитель и побежденный сели на ящики с боевым припасом и выпили по бокалу шампанского.

– Итак? – спросил князь. – Ты все еще продолжаешь утверждать, что атаковать ночью лучше, нежели ранним утром? Colonel Dispail[1] в Сен-Сире по этому вопросу держал твою сторону... И что же ты думаешь сейчас?

– Я думаю, что это шампанское недостаточно охладили, Ник! – ответил паша и с нескрываемым отвращением допил вино.

– Ты не ранен?

– Нет, просто устал немного...

– Пора! – воскликнул князь, и все поднялись. – Я думаю, ты извинишь, что я не могу уделить тебе больше времени. Но когда все это закончится, мы посидим спокойно и поговорим обо всем. А до того времени поручаю тебя воеводе[2] Вукашину, который поступил в Сен-Сир после нас. Он говорит на трех языках: выбери сам, на каком изъясняться с ним. Желаю тебе приятного пребывания в Черногории!

– Жаль, что не могу оказать тебе гостеприимство в Стамбуле!

– Кстати, у нас в Цетине всего один отель! – произнес князь, усаживаясь в седле. – Он не из тех, в которые мы захаживали в Париже, но, даст бог, появятся и лучше, и красивее...

– Спасибо тебе, Ник! – сказал паша, прихватывая с собой початую бутылку шампанского, совсем как постоялец, уходящий из закрывающегося ресторана в свой номер.

По спокойному, но все же осуждающему взгляду князя Николы было видно, что ему хорошо знаком порок старого товарища.

14

Используем для описания Цетине того времени старый бедекер Милана Павловича, который служил единственным путеводителем путешественникам, случайно оказавшимся в тех диких краях:

"В тогдашнем городе Цетине было, пожалуй, около трехсот домов и не более двух тысяч жителей. Две улицы пошире и несколько маленьких поперечных делили город на кварталы. Площадь посередине, две по краям города; вот и все Цетине!"

Авторы путевых заметок того времени никак не сходятся в описании столицы маленького княжества. Так, другой путешественник сообщает, что "Цетине – небольшой поселок с тысячью примерно жителей и двумя сотнями домов, скромно выстроившихся плечом к плечу вдоль единствен-

1. Полковник Диспай (*франц.*).
2. Воевода – высшее офицерское звание в Черногории XIX века.

ной широкой, длинной и прямой улицы... Дома в основном в два этажа, и в нижних этажах, у самой земли, помещаются лавки с разнообразным товаром, служащим к удовлетворению наинеобходимейших потребностей, мастерские по пошиву мужского и женского платья и прочие подобные заведения, а также несколько небольших ночлежек для черногорцев, которые по различным делам приходят в Цетине и останавливаются в них благодаря мизерным ценам. Над ними, в верхних этажах, живут люди со своими семьями, в основном государственные служащие и важные чиновники, зажиточные черногорцы, а также размещаются многие консульства с официальным персоналом, представляющим большие государства..."

После битвы при Волчьем Доле в Цетине было ровно столько же турецких пленных, сколько и жителей – тысяча! Пленники располагались за Билярдой, никакой охраны не было, и здесь им за государственный счет готовили пищу, не оскорбляющую их религиозные чувства: в основном рис с бараниной.

Приехав на площадь перед Билярдой, воевода Вукашин и Осман-паша Сархош увидели понурых турок, сидящих вдоль стены на собственных ранцах, некоторые из них, обмотанные окровавленными тряпками, лежали на плотно утрамбованной земле. Заметив пашу, все, кто был в состоянии, поднялись, встали по стойке "смирно" и не отрывали от него глаз, словно отдавая честь. Паша, не останавливаясь, бросил им пару пачек сигарет; они сначала взяли под козырек и лишь потом подобрали табак.

Спешившись и передав поводья черногорским ратникам, Вукашин и паша двинулись неспешным шагом.

– Во время пребывания в Цетине вы будете получать тысячу пятьсот форинтов... – сообщил Вукашин Осман-паше. – О-ла-ла! Можете оставить при себе вестового, если он жив, за вами также остается право на саблю, если это доставит вам удовольствие. Похоже, мой господин хватил через край с галантностью; как будто побежденные выиграли битву! Этому, конечно, нас в Сен-Сире не учили... Сигарету?

– Avec plaisir! – отозвался паша и взял всю пачку. – Ah, pauvre colonel Dispaill![1] Наверняка в тот день он был болен, и мы пропустили важную лекцию...

– И тем не менее дружеский совет, – продолжил Вукашин. – Это не осенние маневры в Провансе, а настоящая война! Исключительно, исключительно суровый мир. Вам следует озаботиться своим поведением...

Паша, занятый разглядыванием Цетине, – словно любопытствующий путешественник, а не военнопленный, – казалось, не слушал Вукашина.

– По такому случаю, – рассеянно произнес он, – постараюсь быть печальнее, нежели обычно.

– Напитки, разумеется, только по рекомендации врача.

– А есть ли здесь вообще врач?

– К сожалению, все они в данный момент заняты с раненьми.

– Какая незадача! Следовательно, дозы придется определять самостоятельно... À bientôt![2]

Паша вошел в здание, которое Мартин Джурджевич описывает следующим образом:

"Этот простой отель явно маловат для Цетине, но аккуратен и содержится в чистоте. Справа от входа располагается кафе со столиками и бильярдом, слева – обеденный зал, в глубине – кухня, коридор и лестница, ведущая на этаж. В отеле для гостей предназначено двадцать комнат, рас-

1. "С удовольствием!.. Ах, бедный полковник Диспай!" (*франц.*)
2. "До скорой встречи!" (*франц.*)

полагающихся вдоль коридора. Я получил комнату номер один. В комнате номер два поселился Велицкий-Божидаревич, в третьей полковник Tömel, в номере шестом отеля разместился плененный Осман-паша".

Зуко Джумхур обогатил это описание только ему свойственным европейским чувством сценографии, приобретенным каким-то чудом в гуще нашей первобытной жизни:

Отель "Локанда". Частично задрапированный коврами, с газовыми светильниками, олицетворяющими апогей века в деле комнатного освещения, напоминающими те самые в венском отеле "Sacher", однако холл, в который входит Осман-паша, оставляет впечатление весьма провинциальное, благодаря выцветшим шторам, третьеразрядным портретам, выполненным нищими чешскими бродячими художниками, потрескавшимся декоративным майоликовым тарелкам; не в последней степени и благодаря полумраку, который все равно не может скрыть потертость кресел, обитых дешевым плюшем. Мебель собрана с бору по сосенке. Если бы она не стояла именно в отеле, можно было бы подумать, что это лавка европейского старьевщика.

Что касается нашего главного героя, который в эту секунду входит в отель "Локанда", то и он выглядит не лучше интерьера, который на определенное время заменит ему домашний. Несмотря на высокое покровительство князя Николы, ведя ироничный диалог с воеводой Вукашином, Осман-паша, отпрыск древнего турецкого воинственного рода, с видимым отвращением исполнял роль представителя побежденной стороны. Сколько воли пришлось проявить ему, чтобы, будучи генералом все еще могучей империи, предупредительно-небрежно держаться с победителями! Но в том и состоит мудрость истории, что воспитанникам лицеев, будущим дипломатам, готовящимся к великим свершениям, лекции читают самоучки.

15

Послушаем, что рассказывает о положении Осман-паши в Цетине Мартин Джурджевич, его сосед по отелю "Локанда", комната номер один:

"Этот пленник жил по-господски. Когда его вместе с другими пленными перевели из Врбицы в Цетине, князь Никола написал княгине Милене, чтобы она как можно лучше обустроила ему пребывание в неволе: выдавать ему тысячу пятьсот форинтов ежемесячно, позволить свободно передвигаться по городу и носить на поясе саблю".

16

В холле "Локанды" его встретила большая толпа любопытствующих. Они хотели посмотреть на живого турецкого пашу.

Он легко, шаг за шагом, проходил вдоль шеренги, светившейся мстительными взглядами, не обращая никакого внимания на лица. В уголках его губ блуждала веселая угрожающая улыбка.

Красивая молодая женщина, иностранка, приподнявшись во втором ряду любознательных обитателей на цыпочки, увидела человека, совсем не похожего на тех, портретами которых украшались книги ее юности.

Это была мисс Марджори Эванс, красавица лет тридцати с роскошными рыжими волосами. Несколько лет подряд она ревностно сопровождала своего мужа, репортера лондонской "Таймс", в его захватывающих и рискованных путешествиях, готовя вместе с ним публикации и иллюстрируя их акварелями, ти-

пичными для английской школы батальной живописи. После его трагической гибели в Марокко она продолжила работать на ту же редакцию и, услышав о начавшейся войне, прибыла в Черногорию. Она была из тех женщин, что в состоянии бесстрастно наблюдать свирепые спектакли, разыгрывающиеся в Африке, Индии или Ирландии, следить за ними с любопытством охотника за бабочками или современной туристки, у которой эмоции не проникают глубже радужной оболочки глаза.

И все-таки встреча с Осман-пашой, с этой трагикомической личностью, отмеченной блудом и всеми прочими пороками, произвела на нее сильнейшее впечатление. Словно околдовал ее оттоманский воин, несущий на лице и во взгляде некий отпечаток необъяснимой загадки рожденного на Востоке мужчины.

Он, по правде говоря, ничуть не походил ни на Дизраэли[1]*, ни на Гамлета, которого мисс Марджори Эванс видела в театре.*

Просто-напросто он был похож на мужчину.

Военный средних лет, безуспешно пытающийся защитить престарелую империю.

Мисс Марджори всегда была равнодушна к блондинам – красивым, ухоженным, для нее малоинтересным; она преодолела тысячи и тысячи километров и в полной приключениями жизни имела возможность выбирать из брюнетов и шатенов, из побежденных и победителей. Что вообще это означало для дамы с Севера? Выбирать побежденного или победителя из мужчин с Юга? Она одинаково благоволила и к тем, и к другим. Ей нравилось жить в мире, где варвары все еще сражались друг с другом...

(Диктуя портрет мисс Марджори Эванс, Зуко неожиданно замер посреди мастерской. Он подошел к столу и молча налил себе стаканчик холодной лозовачи, прислушиваясь к шуму дождя, доносящемуся в открытую дверь. Выпил и вполголоса продиктовал мне несколько слов:

Полумрак.

В миг, когда он заметил мисс Марджори, погасло дневное светило, и в долине вспыхнул искусственный свет...

Мне стало ясно, что друг мой влюбился в рыжеволосую англичанку.)

17

Ночь за ночью я наблюдал, как мой друг все больше превращается в Осман-пашу Сархоша. Эта метаморфоза интересовала меня куда больше, чем фильм, который мы намеревались создать.

Перевалив через пятый десяток (как будто постарел не я, а кто-то другой), я вдруг накинулся на старые газетные вырезки, среди которых нашел свою старую статью про Зуко Джумхура:

"Летние месяцы я проводил в Сараеве, где жил мой отец. После бурных дней в белградской Академии искусств, после выставок, кинотеки, ипподрома, Ады Цыганлии и вечеринок на Брде, в эти два глухих каникулярных месяца я чувствовал себя окончательно выключенным из игры. Светская жизнь влекла меня с необыкновенной силой, а общество в Сараеве в середине пятидесятых сосредоточивалось исключительно в отеле 'Европа', точнее, в гостиничном кафе, где изредка можно было

1. Бенджамин Дизраэли (1804–1881), граф Биконсфилд, – английский писатель; премьер-министр Великобритании в 1868 и в 1874–1880 гг.

встретить оказавшихся здесь проездом знаменитостей, нездешних девушек и любопытствующих иностранцев.

Наконец, в один прекрасный день тут появился Зуко Джумхур, нервный, любознательный, прокопченный дымом несметного количества выкуренных сигарет... Не помню, как случилось, что я оказался его спутником в одной из ностальгических прогулок по старым сараевским кварталам, где он знал каждый дом, каждого ремесленника, мастерового и каждую старую хануму[1]. а также предания, блюда, истории падения знаменитых семей... Я весь день таскался за ним, смотрел, как он покупает старые ордена и сломанные часы, слушал, как расспрашивает о живых и мертвых... Сараево разворачивалось предо мной словно город из тысячи и одной ночи. Одинаково вежливый как с любезными людьми, так и со всеми пройдохами, нищими и бездельниками, З. Д., сам того не осознавая, преподал мне один из важнейших уроков жизни — как откапывать уснувшие города, засыпанные пеплом скуки и равнодушия.

Он был одет в потертые вельветовые брюки цвета меда и в клетчатую рубаху "McGregor". Но больше всего меня привлекала в нем борода, наверное единственная борода в те годы, если не считать православных священников и ходжей[2]. Носить бороду в то время было весьма рискованно — что-то вроде добровольной проказы. З. Д. носил бороду с невероятной дерзостью, соединенной с достоинством, но и с известным лукавством тоже. Он отпустил ее во время паломничества в Мекку и Медину, где, переодевшись арабом, смотрел на отрубание руки на площади в Джидде и где написал свою волшебную книгу 'Памяти одного квартала'. Сейчас, когда каждый имеет право на бороду и усы, трудно представить себе, как исключительно выглядело его лицо ходжи, вощеная кожа и темные всезнающие глаза, которые понимали язык мертвых слов..."

Сейчас мне понятна естественная связь между З. Д. и пашой: оба родились проигравшими, и Джумхур наделил чертами поражения их обоих.

Однако вернемся к "Зеленому сукну Монтенегро" и к восторженным светлым очам мисс Марджори Эванс.

18

Она протиснулась сквозь толпу в холле и приблизилась к паше, едва заметно поклонившись ему:

— Я корреспондент британской газеты "Таймс". Не скажете ли вы несколько слов для наших читателей в Англии?

– Спрашивайте! – произнес паша, остановившись на мгновение.

– Вы проиграли сражение, не так ли?

– Сражение проиграло меня...

– Однако в истории останется...

– Я принадлежу к народу, который и проигрывал, и побеждал...

– Мы, англичане... – выговорила мисс Марджори, заикаясь, – включая и мужчин, всегда были на стороне тех, кто...

– Я вынужден оставить вас! – сказал паша, по пятам которого следовал вестовой.

1. Госпожа (*турецк.*).
2. Ходжа — мусульманский священник (*турецк.*).

– Паша, могу ли я рассчитывать на интервью с вами?

– My lady?

– Понимать ли ваши слова как согласие или как отказ?

– Понимайте как – может быть!

19

Гостиничный номер выглядел довольно мрачно.

Зеркало, фаянсовый умывальник с ангелочками, кровать с никелированными шарами, застеленная пестрым покрывалом... Все это полностью отвечало духу маленькой свободной столицы страны, расположившейся у черта на куличках.

Вестовой паши развязал дорожные мешки и принялся развешивать одежду в небольшом шкафу резного орехового дерева.

На ночной столик он положил "Любовные истории" Мопассана. На обложке, исполненной в венском стиле девятнадцатого века, была изображена полуголая красавица в объятиях гусарского офицера.

Пока Осман-паша смотрел в окно на мощеную площадь и курил кто знает какую по счету сигарету, вестовой снимал с него простреленный и обгорелый мундир.

Неожиданно нахмурившись, паша повернулся к слуге и скомандовал:

– Смир-рно-о-о!

Тот замер от заставшего его врасплох резкого окрика.

Паша достал из шкатулки несколько больших орденов и торжественно приколол их к груди посыльного:

– Я должен был появиться в Цетине с этими побрякушками на груди. C'est la vie![1]

После чего сам встал по стойке "смирно", отдал честь и принялся насвистывать "Низамское прощание", популярный турецкий марш. Посыльный взялся вторить ему.

В дурно обставленном гостиничном номере два солдата отмечали свистом свое поражение.

20

В это время мисс Марджори в своей комнате пыталась оживить акварелью усталое лицо Осман-паши. Но поскольку это у нее никак не получалось, она поднялась и засмотрелась на пустынную площадь перед отелем.

21

В холле "Локанды" гусляр, окруженный посетителями, уже воспевал едва завершившуюся битву:

Вот и говорит ему Султан пресветлый,
Ты, Осман-паша, сынок мой славный,
Я доверил тебе сотню тысяч турок,
Все отборные свои войска тебе доверил,
Только чтобы сжег домов ты столько,

1. Такова жизнь! (*франц.*)

Сколько их на Цетине и нету!
Но король Никола не такой ведь,
Что иные короли в других пределах,
Как орел он на крыло поднялся
Перед войском, что на битву вышло...

Слушатели воодушевлены. Они аплодируют гусляру, который с закрытыми глазами напрягает голос, воспевая победу черногорского войска.

22

Когда немецкий барон Готлиб, благородный Готорф, в живописном тирольском костюме вошел в комнату паши, то застал его сидящим на кровати, ноги его были опущены в таз, их старательно отмывал вестовой, на груди которого сиял высший султанский орден – Хамедия.

Поклонившись, фон Готорф церемонно представился, делая вид, что совершенно не замечает этой интимной, типично восточной сцены.

– Я представляю державу, граничащую с вашей... Я имею в виду, что мою комнату отделяет от вашей всего лишь вот эта стена...

– И еще многое другое! – добавил паша.

– Я пришел просить вас быть сегодня вечером моим гостем...

– Чему обязан столь высокой честью?

– Я хотел бы стать свидетелем исторического ужина первого турецкого паши в Цетине. Вы не сможете отказать мне в этом!

– Первый живой турецкий паша в Цетине... – задумчиво повторил Осман-паша. – Да, это нечто...

Благородный барон Готлиб фон Готорф прибыл в Цетине, чтобы предложить князю свои открытия в области использования динамита в военных целях. Около трех недель он ставил среди голых каменьев эксперименты со взрывчаткой, которые взялся финансировать князь с целью заполучить мощное оружие для борьбы с турками. Этот барон, ведущий себя в обществе симпатично и сдержанно, страстный игрок и знаток вин, моментально расположил к себе недоверчивых во всем прочем черногорских воинов своими манерами, занимательными анекдотами и ловкостью за карточным столом. Во время пребывания Осман-паши в Цетине благородному Готорфу было лет тридцать, и примерно столько же городов посетил он, совершая в каждом из них аферы.

Отель "Локанда" в те дни просто кишел самыми различными представителями самых разных народов, классов и профессий... Об атмосфере, царившей в нем, лучше всего свидетельствует в своих мемуарах Мартин Джурджевич:

"...О полковнике Tömel'е я должен здесь еще кое-что добавить. Он был атташе австро-венгерской миссии в Белграде, а потом некоторое время военным атташе в Цетине. Tömel был чересчур серьезным человеком; общался только с князем Николой и с Министерством иностранных дел. Он все время что-то помечал в блокноте и переписывался с Веной. Все это были секреты, о которых черногорский двор мало что знал. В Цетине у него была большая комната рядом с комнатой Велицкого-Божидаревича. Tömel постоянно был занят своей писаниной, а у Божидаревича, опять же, была привычка шагать взад-вперед по своей комнате. Это мешало Tömel'ю, и однажды он, не постучав, растворил двери комнаты Божидаревича и вскричал: 'Разве вы не знаете, кто про-

живает в соседней с вами комнате? У меня полно дел, а вы мешаете мне работать!' Божидаревич отвечает ему: 'Вы – господин полковник австро-венгерского штаба. Я отдаю вам должное, но вы не смеете ничего приказывать мне, русскому дворянину. Немедленно покиньте мою комнату!' Моя комната, – продолжает Джурджевич, – была рядом с комнатой Божидаревича, и все это я слышал своими ушами!"

23

Паша и фон Готорф были единственными посетителями хорошо освещенного ресторана "Локанды".

– В отеле очень неплохие для военного времени вина... – заключил паша, с удовольствием осушая бокал.

– Вы вовремя попали сюда. Я ведь уничтожил почти все запасы бордо! – отозвался благородный Готлиб.

– Понимаете ли, я нахожусь в деликатном, если не сказать в тяжелом положении... Будучи сыном Пророка, я не только совершаю смертный грех, потребляя вино, но и грешу много лет, потому что вино это – "Lacrimae Christi"[1]!

Посыльный паши не позволяет усатому кельнеру ставить на стол напитки и еду, пока сам не попробует, после чего лично накладывает закуски своему господину. В остальном же вестовой обладает манерами великолепного maître d'hôtel'я, что сразу привлекает внимание барона.

– Ваш вестовой обслуживает просто профессионально... Это так редко встречается!

– Отель "Трапезунд" в Бурсе, которым он владел, тоже настоящий перл!

– У него был отель? Так почему же он с ним расстался?

– Из-за тройки тузов против каре королей...

24

В ресторан входит мисс Марджори Эванс, в безупречном вечернем платье, с темным шотландским пледом на плечах.

Барон Готорф поднимается ей навстречу и подводит к столу паши. Паша встает. Церемония знакомства...

– Вы все еще должны мне интервью... – мило улыбается Марджори.

– Я вообще весь в долгах, уважаемая госпожа...

– В каких же? Деньги?

– К чему говорить о грязных деньгах...

– Тогда что вы имеете в виду?

– Чувства...

Они усаживаются за стол с ледяными любезными улыбками на лицах.

25

В эту минуту в небольшой зал входит группа пестро одетых знатных черногорцев: кто-то в национальных одеждах, кто-то в цивильном. У многих из них за поясом оружие. В почти европейское общество они привели слепого старика с длинными висячими усами в сопровождении прекрасного светловолосого ребенка. Ресторан уже заполнен до

1. "Слезы Христовы" (*лат.*) – название сорта вина.

последнего стула. Звон сдвигаемых бокалов, перестук кубиков льда в серебряных ведерках для шампанского; сверкающие эполеты и оружие...

Приглушенный говор стихает в момент, когда старый гусляр, настроив инструмент, откашлялся и начал песню, не ведая ни о повлажневших глазах черногорцев, ни о равнодушии европейцев, ни об умеренном интересе мисс Марджори Эванс.

Пока перья на крыле растут орлином,
Не затихнет сказ о Волчьем Доле,
Про пашей трех и князя Николу,
Где и Пипер, Филипович Лука
С Осман-паши живого сабельку сымает...

– О чем он поет? – интересуется Марджори.

– В этот момент, уважаемая госпожа, я вхожу в народный эпос! – отвечает паша. – А если вы будете плохо себя вести, то войдете туда со мной...

Вот он руки ему ремешками вяжет
И приводит перед князя пред Николу...

В толпе собравшихся важно задирает нос Лука Филипов, которого все поздравляют, хлопают по спине.

Тут же пуля Поповича Джоки
Убивает ненасытного злодея,
Генерала подлого Селим-пашу,
Что зарезал стольких братьев наших.
Как с таким позором он смирился,
Несмотря что мать его – гречанка!
И герой наш Джока с головой Селима
Скачет на его коне прекрасном.
А в живых оставшимся всем туркам
Их султан в Царьграде главы рубит.
Провинились они все на Волчьем Доле,
Злится он на князя нашего Николу
И на черногорцев его тоже злится,
Что его державу подточили...

26

Осман-паша Сархош и Зульфикар Джумхур... Оба они были пленниками только начинающего развиваться общества; редкостные и дорогие игрушки в руках диких детей, привыкших к лапте и чижику. Всю жизнь З. Д. творил под руководством полуобразованных, недоучившихся чиновников среднего звена, которые возжелали иметь личных придворных шутов, поэтов, музыкантов и артистов. Собственно, он был заложником примитивной системы, которая не могла уразуметь утонченность его практически декадентского искусства, изукрашенного восточной филигранью. Потому он сумел так легко перевоплотиться в плененного Осман-пашу, который иронически улыбался, слушая песню о своем грандиозном поражении, стараясь одновременно как-то погасить резкий вкус бордо урожая 1874 года.

На пятнадцатой странице "Зеленого сукна Монтенегро" я обнаруживаю фразу:

Мисс Марджори и Осман-паша обмениваются долгим взглядом, который не значит ничего, но в то же время значит очень много.

(Словно я обнаружил "Маркизу, вышедшую в пять часов пополудни"!)

— Не кажусь ли я вам странным? – спрашивает паша.

– Как лев в клетке...

– Именно так я себя и чувствую.

Этот диалог происходит во время кратковременного визита фон Готорфа к столу черногорцев и дипломатов. Возвратившись к их столику, он произносит:

– Пресветлый паша, я отдаю себе отчет в том, что нынешние обстоятельства не лучшим образом складываются для вас, принимая во внимание печаль, которую вы ощущаете в связи с потерями в этом сражении, однако здесь есть люди, которые хотели бы убить время...

— Разве не достаточно было убийств?

– Я имею в виду – за зеленым сукном, если у вас есть настроение.

– За зеленым сукном? – спрашивает мисс Марджори.

– Как видите, опять мужские забавы! – объясняет паша. – Весьма сожалею по поводу интервью...

– Мои друзья спрашивают, как вы насчет в двадцать одно?

– Кучерская игра...

– Может, бильярд?

– У меня все кости ломит!

– Барбут? Баккара?

– Сегодня я бы с удовольствием в русскую рулетку!

– Покер?

– Возможно...

– Еще один маленький вопрос протокольного характера: кто к кому присоединяется? Гора к Мухаммеду или Мухаммед к горе?

– У вас есть решение?

– Если гора не идет к Осман-паше, то пусть светлейший паша прибудет в салон, на ничейную землю. К счастью, там есть круглый стол, так что никто не сможет сесть во главе его...

– Не имею ничего против!

Поднимаясь, паша вежливо кланяется мисс Марджори.

– Можно ли мне пойти с вами? Я приношу счастье в карточной игре.

– Увы, это невозможно! В последнее время я не в ладу со счастьем!

Через посыльного, который все время словно тень держится за его спиной, паша посылает слепому гусляру золотой.

В этот момент большинство посетителей встают из-за столов и направляются в малый зал, попасть в который можно только из ресторана.

Там зеленеет сукно...

27

– А умеют ли, воевода, турки в покера играть? – спрашивает один из сердаров[1].

– Нет, конечно, так что тебе их и учить!

– А скажи-ка, барон, – спрашивает другой черногорец фон Готорфа, – взлетит ли сегодня какая гора в небеса?

– Еще бы две-три этих, как это... – говорит третий сердар.

1. Зд.: сердар – глава клана в Черногории.

– ...эксплозии, – помогает ему благородный Готлиб.

– Точно, эксплозии! И у нас тут ровнехонько станет словно в Белопавличах!

– Сегодня я чуть не погиб в ходе собственного эксперимента! – жалуется барон. – Эта новая партия, полученная от господина Нобеля, никуда не годится! Лучше бы уж я занялся беллетристикой...

Представившись, за игорный стол садятся Осман-паша, русский князь Божидаревич, австрийский полковник Tötel и сербский генерал Белимаркович. (Замечательная возможность для Зуко Джумхура продемонстрировать отменное знание черногорской истории и положение дел накануне Берлинского конгресса вообще.)

Полковник Tötel, щелкнув каблуками, обратился к паше:

– Мы все здесь как одна большая семья... Мне все известно о вас, светлейший паша!

– Надеюсь, не совсем все?

– Мне выпала исключительная честь сидеть за одним столом с вами!

– Я здесь не хозяин, а просто гость не по своей воле...

– Не сказал бы, паша хазретлери[1]! – произносит русский князь Божидаревич. – Похоже, в Цетине вы вновь обрели Париж?

– На этот раз Альбион, князь! – спокойно отвечает паша. – И не моя тут заслуга. К сожалению...

– Удивительно не то, что Бог создал нас такими, – замечает генерал Белимаркович, – странно, что он нас такими свел вместе.

Официант приносит нераспечатанную колоду карт, ее вскрывает вестовой Осман-паши.

Раскуриваются первые сигары, вспыхивают искры в глазах игроков.

28

Четверть века спустя, исследуя источники этого рассказа Зуко, я нашел "Записки писателя" Сима Матавуля[2] и вновь перечитал их. Если бы "Зеленое сукно Монтенегро" снимал я, то начал бы фильм с описания, данного этим автором, который, прибыв в Цетине в день Воздвижения Креста Господня (1881), почувствовал, вероятно, то же самое, что и Осман-паша Сархош:

"Первые дни были ужасны во всех отношениях... Оказаться после возделанной природы Боки среди голых каменьев, после широких просторов морских в узкой и влажной долине, после компании общительных жителей приморских среди напыщенных и мрачных горцев, после чистоты, изобилия и дешевизны в полной противуположности всему этому — Господи, как тяжко то было! А также застал я там лачуги, место которым лишь в пустынных горах, рядом со строениями, что прозываются дворцами; первобытных людей с ничтожными потребностями и еще меньшим числом мыслей, полагающих себя ровней парижанам, или, справедливее выражаясь, с претензиями выглядеть парижанами; сельские привычки и таковой же образ жизни, наряду с только что привнесенными обычаями европейскими, феодальный дух наряду с духом девятнадцатого века... Поскольку уже в Цетине были и представители держав иностранных, как и владений австрийских, патриотизм требовал неотвратимо от каждого, дабы он скрывал пред другими свое недовольство таковой жизнию, что и совершa-

1. Ваше превосходительство (*турецк.*).
2. Сима Матавуль (1852–1908) — сербский писатель.

ли все те, кого я помяну этими строками... У воеводы Маши имел я возможность видеть неких из дипломатов, кои отличались от туземных граждан и от нас — пришельцев из соседних стран. В то время в Цетине пребывало постоянно четыре посольства: русское, цесарское, турецкое и греческое. В каждом служило не более трех человек. Французский и итальянский министры-резиденты зимовали в Дубровнике".

В "Локанде" Сима Матавуль усвоил правило поведения мудрого Любы Ненадовича[1]: "Говори, братец, о чем хочешь, только не о вере и не о политике, и ты никому не перебежишь дорогу".

Зуко Джумхур также придерживался этого золотого правила, но только в трезвом состоянии. Чем ближе подступал рассвет, тем глубже он утопал в опьянении и, соответственно, тем сильнее становилось чувство вины, и все чаще Зуко поминал Аллаха. "Аллах един!" Уже после полуночи он приводил святого исламского человека домой, на Васину улицу.

Однако вернемся к зеленому сукну и личностям, усевшимся за первую партию в покер, в которой Осман-паша утратил все, кроме выдержки.

Полномочный австро-венгерский посланник, полковник Tömel, – диктовал мне З. Д. прямо на машинку, — *много лет был императорским послом в Риме и Стамбуле. Он считался величайшим полиглотом во всем офицерском корпусе императорско-королевской армии. Прибыл в Цетине, чтобы самым серьезным образом предупредить князя Николу, что Австро-Венгрия не потерпит черногорских претензий на Герцеговину. В то же время он туманно намекнул, что вопрос Боснии и Герцеговины, а особенно положение христианского населения в этой отдаленной провинции Османской империи, не может и не будет решаться без центрально-европейских держав, и в первую очередь без Австро-Венгрии, которая в стремлении обеспечить свои интересы в случае нарушения равновесия на Балканском полуострове не станет руководствоваться ни интересами княжества Черногории, ни, точно так же, интересами княжества Сербии.*

"Цесарским представителем был печально знаменитый и всеми презираемый барон Tömel, — пишет Сима Матавуль, — настоящий библейский козел отпущения всех бед и зол черногорских; новые претензии, падение торговли, недоразумения с пограничным государством, прости господи, и неурожай, и град, и все прочие напасти погодные, почти все это приписывалось несчастному Tömel'ю, но более всего прочего — его злонамеренное влияние на воеводу Машу Врбицу, а следовательно, и на неправильное управление государственное..."

По манере держать себя, — описывает его З. Д., — *полковник Tömel более походил на дипломата, нежели на солдата. Тем не менее из-под обличья джентльмена время от времени вырывалось бешенство, более присущее зверю, загнанному в угол. Любимой игрой у него была баккара, любимым типом женщины – Марджори...*

В сценарии я вновь обнаруживаю "Маркизу, вышедшую в пять часов пополудни", на этот раз в облике "дыма, густого словно тесто", что в далеком 1967 году было изменено на "дым такой, хоть топор вешай".

Кельнер приносит новую, нераспечатанную колоду карт.

Сдает русский князь Божидаревич.

Он был великим славянофилом, — слышу, как диктует мне Зуко, в то время как я уговариваю его закусить хоть чем-нибудь. — *Этот человек объездил все Балканы, прекрасно знал все политические проблемы полуострова. Во время пребывания в Цетине он почти открыто враждовал с полковником Tömel'ем и*

1. Любомир Ненадович (1826–1895) – сербский писатель.

даже с сербским генералом Белимарковичем, которого совершенно обоснованно считал австрофилом и врагом России.

Белимаркович представлял сербское верховное командование при штабе князя Николы. В Цетине он чувствовал себя достаточно неуютно, потому что новости, поступавшие с сербского театра военных действий, никому радости не доставляли.

Во всем же прочем князь Божидаревич принадлежал к беспокойному сообществу авантюристов, которые просто не могут усидеть на одном месте. Белимаркович считал, что князь оставил Россию после череды любовных скандалов, возмутивших Санкт-Петербург и задевших некоторые имена в высшем обществе имперской метрополии. Князь Божидаревич – страстный игрок и великолепный кавалерист. В торжественные минуты он появляется в живописном казачьем костюме и в астраханской меховой папахе. В прочие же дни он носит белую офицерскую блузу Исаакиевского императорского полка.

"Можете представить себе, о чем беседуют несколько молодых человек, – пишет Матавуль, – которые в большей или меньшей мере познали прелести культурной жизни, а теперь находятся в горной котловине, отрезанные от всего мира, без газет, почти без книг, но в каждодневном общении с первобытными людьми! И можете представить себе, чему они только могут научиться и сколько узнать от человека, который знает Черногорию лучше любого черногорца, который объехал Европу и Америку, который известен в России как литератор, принадлежащий к кругу "русских идеалистов сороковых годов", за что и был сослан в Сибирь, чтобы голова его там немного остыла!"

Паша отрывается от игры и откладывает в сторону карты еще до объявления ставок. Похоже, сегодня ночью счастье отвернулось от него.

Приносят очередную нераспечатанную колоду.

Князь Божидаревич срывает обертку и передает ее паше, который тасует карты как истинный профессионал.

Новая сдача...

Напряжение, полное нетерпения, освещает зеленое сукно Монтенегро сильнее лампы.

Полковник Tötel смотрит сквозь князя Божидаревича, словно тот отлит из стекла.

В 1967 году, когда мы с Зуко писали этот сценарий, да и сегодня, в 1991-м, когда я опять возвращаюсь к нему, не хватает мне Борислава Михайловича-Михиза, страстного игрока и единственного человека, который сумел бы достойно описать этот волнующий кон. От рождения невезучий, как и Осман-паша, только он сумел бы распознать, действительно ли этот обаятельный турок проигрывает или же все глубже и глубже втягивает партнеров в собственную игру?

На окаменевшем, бледно-восковом и неподвижном лице Осман-паши ничего невозможно прочитать.

29

"Ваше сиятельство! – диктовал в своем кабинете князь Никола письмо Мухтар-паше. – Хотя большое число мертвых, павших в сражении, шестнадцатого числа сего месяца погребены нашей стороною, многие из них остаются еще на поле боя, особливо ближе к Билече. Будучи уверен, что и Ваше сиятельство стремится исполнить долг по отношению к сво-

им воинам, я готов принять вашего парламентария с целью условиться обо всем необходимом для этой церемонии. С прискорбием вынужден сообщить Вам, что среди погибших найдено мертвое тело турецкого генерала, в котором пленные опознали Селим-пашу, в отношении которого я распорядился организовать торжественные похороны со всеми надлежащими его чину почестями. С другой стороны, с радостью сообщаю вам добрые вести о бригадном генерале Осман-паше, который в решающий миг с величайшим хладнокровием останавливал бегство своих солдат. Паша ныне в Цетине. В то же время рекомендую Вашему вниманию просьбу паши переслать оставленные им вещи в его распоряжение..." ("Мемуары" Николы I Петровича Негоша, с. 377).

– ...переслать оставленные им вещи в его распоряжение, – заканчивает письмо секретарь князя.

– Чем занят этот несчастный? – спрашивает князь.

– Да вот он, играет в покер в "Локанде"!

– И как, выигрывает?

– Куда там! Спускает...

Князь улыбнулся и закурил сигару. Он сам готов был в этот момент присоединиться к Осман-паше, если бы его не удерживали неотложные государственные дела.

30

– Как долго пробудет паша в Цетине? – спрашивает Марджори воеводу Вукашина, составляющего ей общество в опустевшем ресторане.

В направлении прокуренного салона в глубине помещения непрерывно дефилируют официанты с откупоренными бутылками вина и чистыми пепельницами.

– Ну, это зависит... – отвечает воевода задумчиво.

– От чего?

– От многих вещей... Прежде всего от того, как будет развиваться война с Турцией. Далее, от мирных переговоров, да и от того, захотят ли турки послать выкуп за пашу.

– Меня всегда интересовало, сколько может стоить такой паша... Сколько вы запросили?

– Много...

– И как вы думаете, заплатят?

– Боюсь, турки с бóльшим удовольствием заплатят за то, чтобы мы оставили его у себя навсегда. Похоже, в Стамбуле его не очень-то любят после этой битвы. Его начальник, Мухтар-паша, полагая, что Осман-паша погиб, всю вину за поражение свалил на него. Дело идет к тому, что там ему готовят шелковый шнурок...

– Шнурок?

– Понимаете ли, турки не убивают своих пашей... Просто посылают им прекрасный шелковый шнурок, чтобы они сами свершили над собой казнь. И присылают его за проступки куда меньшие, нежели проигранная в пьяном состоянии битва!

– Разве он действительно был пьян на Волчьем Доле?

– Князь говорит, не более, чем обычно! А ведь они давно знакомы.

– Похоже, князь весьма расположен к нему. Он здесь, в Цетине, на исключительном положении...

– Я думаю, отношение князя к нему имеет сентиментальную подоплеку. Двадцать лет тому назад, когда они дружили в Париже, паша научил нашего государя многим вещам.

– Например?

– Ну, это не для дам...

– Но я журналист!

– Тем более не для журналистов! У государя такой маленькой героической страны не должно быть пороков!

Марджори под тающими свечами задумчиво поедает свой карамель-крем.

– Интересно, как это иностранная, типично англосаксонская игра попала в дикие края? С первого дня пребывания я каждую ночь наблюдаю, как ваши земляки играют в покер, словно у них это национальная игра...

– Покер весьма соответствует нашему характеру, госпожа. Во-первых, мы держим свою судьбу в собственных руках, мы бросаем ей вызов, противостоим, теряем, выигрываем...

– ...и блефуете, смею предположить?

– Так ведь это составная часть риска, не так ли? Только за столом можно увидеть, что из себя представляет человек!

– Скажите, когда покер попал в Цетине?

– Совершенно случайно мне известна дата: апрель 1860-го!

– Могу предположить, что в этот день князь вернулся после учебы во Франции?

– К сожалению, вынужден покинуть вас, госпожа Эванс! – прерывает разговор воевода Вукашин и, улыбаясь, встает из-за стола. – Я должен присоединиться к остальным...

31

Перед полковником Tötel'ем лежит кучка денег.

Вдруг с зеленого сукна соскальзывает мелкая монетка, не более четверти форинта.

Tötel нагибается, чтобы поднять ее, но денежка, похоже, закатилась в темноте под чей-то стул.

Осман-паша зажигает от пламени свечи банкноту в сто форинтов и вежливо подсвечивает полковнику Tötel'ю, чтобы тот поскорее нашел потерянную монетку.

32

Перечитывая эту пожелтевшую, случайно обнаруженную рукопись 1967 года, я заметил странную вещь: каждое действующее лицо в истории про Осман-пашу Сархоша описано так подробно, с такими мельчайшими деталями, которые, я бы даже сказал, не нужны ни режиссеру, ни художнику по костюмам. Отсутствует только один портрет – Осман-паши.

Когда я размышляю над этим, то становится все яснее, что сценарий мне диктовал не кто иной, как сам Осман-паша, который, занявшись прочими участниками драмы, совсем забыл нарисовать собственный портрет.

Уверен, тем, кто когда-нибудь все же решит снять этот фильм, будет полезно узнать кое-что о двойнике нашего главного героя, и потому из старых записных книжек выписываю несколько фраз, свидетельствующих о том, что к Зуко Джумхуру прилип имидж (image, или *амиджа*, как он любил говорить) сильно пьющего человека.

"В его личности как будто гармонично переплелись зачарованный странник Ходжа Насреддин, конрадовский лорд Джим, американский консул в Мексике из романа 'У подножия вулкана' Малкольма Лаури, согбенный хаджия, знатный господин австро-венгерского происхождения и рядовой человек из народа... Он умел тратить выигрывая и выигрывать растрачивая. Настоящий спокойный фаталист восточного типа, осененный Меланхолией, напоминающей сплин прошлого века. Что же касается его склонности к выпивке, то я полагаю, что в этом случае, как и с прочими наиболее одаренными представителями поколения Зуко, имело место чистой воды бегство в алкоголизм от тоталитарного режима недоучек, которые больше всего опасались показаться смешными и потому смотрели сквозь пальцы на выходки прославленных пьяниц.

'Восточная Европа полна пьяных мыслителей', — писал незадолго до падения Берлинской стены венгерский литератор Дёрдь Конрад.

Из всех талантов Зуко — великого рисовальщика (равного Георгу Гросу), писателя, путешественника и рассказчика — самым большим был тот, который встречается реже всего, — талант жить!

Во время скучного нескончаемого дождя в Почителе, когда все мы смертельно скучали за большим круглым столом в постоялом дворе каменной кладки, злясь, что не можем выйти на Неретву, Зуко спокойно попивал кофе, приговаривая: 'Аллах подарил вам этот день, и от вас зависит, что вы с ним сделаете. Станете ли вы наслаждаться им или потратите его впустую?'

Для него не было плохой или хорошей погоды.

'Всё нам дал Тот, наверху!' — говорил он, вытряхивая куски замерзшего в бутылке пива в запотевший стакан, а потом медленно пережевывая их.

И его отношение к здоровью и долгожительству было аналогичным. Однажды прекрасным зимним солнечным днем, когда он сидел с вышедшим на пенсию судьей Энвером-эфенди на берегу моря в Херцег-Нови, мимо их стола пробежал мелкой трусцой мужик лет шестидесяти в спортивном костюме и тапочках, потный и задыхающийся...

'Посмотри на дурака! — сказал Зуко. — Аллах отмерил нам в жизни определенное количество шагов, а этот спешит потратить их прежде положенного!'

И разве не демонстрирует его герой, Осман-паша, такую же фантастическую приспособленность к жизни, когда уже в первую или вторую ночь после проигранного сражения садится за зеленый стол, предварительно мимоходом, приличия ради, слегка шармировав прекрасную мисс Марджори?"

33

Игроков, увлеченных покером, прервал отдаленный звон колоколов, зовущих к заутрене...

Будто по молчаливому уговору, православные отложили карты.

– Пресветлый паша, мы все-таки христиане, – произнес князь Божидаревич, – и колокола призывают нас на молитву.

— Вас вышвырнут из храма Божия! – сказал паша. – Вы набили свои карманы моими золотыми...

Они расстались перед гостиницей в бледном свете зари, на опустевшей площади.

– К сожалению, я лишен возможности молиться! – сказал паша. – Наконец-то я попал в город, где нет ни одной мечети!

Пошатываясь после бессонной ночи, игроки растворились в утреннем тумане, а паша отправился на прогулку, вежливо улыбнувшись двум черногорцам, сопровождавшим его на почтительном расстоянии.

– Могу представить себе эту картину! – восклицал Зуко.

Черногорки, завидев пашу, закрывают деревянные ставни, будто по улице шествует Антихрист! Паша одиноко стоит посреди площади, не зная, в какую сторону податься. Здесь и дети, которые начинают швырять в него камни. К ним подбегает старый черногорец и гонит их прочь: "Как вам не стыдно, сукины дети! Вот подрастете – и убивайте его, если сможете, а сейчас – марш по домам!"

А в это время в ладанном тумане старой цетинской церкви, рядом с женщинами, закутанными в черные платки, рядом со стоящими на коленях старухами и священниками в позлащенных одеждах, в чаде свечей и в тяжелых испарениях кожаных постолов задумчивые игроки набожно откликаются на ектении. Особенно выделяется глубокий голос князя Божидаревича, который, по русскому обычаю, перекрестившись, каждый раз кладет земной поклон.

– Эту сцену мы могли бы назвать: игроки искупают грех перед Богом! – сказал мне Зуко Джумхур, рассовывая по карманам свои вещи: зажигалку "дюпон", авторучку, сигареты, очки для чтения...

Шел дождь.

(Неосуществленная мечта Зуко: камердинер в ливрее с глубоким поклоном открывает дверцу "спачека"[1] с опущенной брезентовой крышей и во время всей поездки держит над его головой зонт...)

34

Может быть, Осман-паша во время утренней прогулки поднялся и на Таблю над Манастиром? Видел ли он турецкие головы, насаженные на длинные жерди, видел ли, с каким укором смотрят они оттуда, с высоты, своими выпученными, налитыми кровью глазами?

Всего лишь короткая утренняя прогулка отделяла пашу от игорного стола, от очаровательной мисс Марджори и маленького европейского оазиса в "Локанде", от отрезвляющей действительности и назойливого гудения мух вокруг отрезанных голов его солдат...

"На Цетине в то время, – писал король Никола уже в изгнании, – не было иных разговоров, кроме как о турках и о войне. Стал бы я тогда предателем Родины, если бы пожалел турок?! Многочисленное войско и частые бои привели к тому, что люди с радостью отрезали вражеские головы и проносили их перед моими глазами, поднимаясь на Таблю, выше Манастира. Даже и не знаю, кого я жалел, турка или человека; да нет, больше человека, кажется мне. И когда пожелали мы подняться на Таблю посмотреть на головы, иные принялись издеваться, узнавая в этих головах каких-то знакомых им людей с дурной репутацией и некрасивыми лицами. Я этого стерпеть не мог, жаль мне было, что эту турецкую, или, иными словами, человеческую голову палит жаркое солнце, поливает холодный дождь или черные вороны клюют. Думал я о матерях их, об отцах и роде ихнем, и жалостью обливалось сердце мое. Отвратительно мне зло, кровь и любое несчастие..."

1. Дешевая модель "ситроена", внешне напоминавшая первый "запорожец".

Отрезанные турецкие головы проводили пашу пытливыми взглядами, и он вернулся к своей судьбе и к зеленому сукну — на этот раз бильярдному.

35

Бильярдные шары, похожие на отрубленные головы с картины Петра Лубарды "Битва при Волчьем Доле", с треском сталкиваются под сильным, профессиональным ударом паши, словно возвещая появление мисс Марджори Эванс, выплывшей из темноты зала с кием в руках.

Она исполнила великолепный карамболь, полный женственности и виртуозности.

– Хороший удар, – похвалил ее паша. – Кто вас научил?

– Мой муж.

– Завидую ему.

– Его нет в живых...

– И в этом ему завидую...

Мисс Марджори повторила удар.

– Я слышала, сегодня ночью вам не везло?

– Не впервые...

– Вы все еще думаете о сражении?

Вместо ответа желтый шар паши вызвал настоящий фейерверк, врезавшись в остальные и разогнав их по всем краям стола.

– Скажите мне: о чем вы сейчас думаете?

– Вы слишком непосредственны, чтобы понять это.

– Недооцениваете меня? Или вы полагаете, что женщины не проигрывают сражений?

– Когда женщина проигрывает сражение, – отвечал паша сквозь нежную улыбку, мягко пристукнув желтый шар кончиком кия, – мир готовится к появлению нового человека.

– Здесь, в Цетине, я записала прекрасную пословицу, – произнесла мисс Марджори, целясь в красный шар.

– И какую же?

– "Последний смеется слаще всех".

– Не думаю, что смогу когда-либо опять рассмеяться.

– Если человек не смеется, он умирает...

Они посмотрели друг на друга через стол. Паша попробовал улыбнуться, но у него получилась кривая усмешка, от которой по спине Марджори побежали мурашки. Перед ней стоял другой паша – неизвестный, отчаянный и спокойный, похожий на только что отлитый памятник поражению и злу.

– Вы весьма ловки! – сказал он, указывая на бильярдный стол.

– И даже еще ловчее, чем вы думаете!

– Вполне возможно...

Он ударил, намеренно промахнувшись.

– Ваша очередь...

– Правда? – посмотрела она на него большими голубыми глазами. – Разве теперь не ваш удар?

36

Отыскивая следы Осман-паши и Зуко в Цетине, я почти на полгода зарылся в исторические книги, которых избегал всю свою жизнь, полагая,

что нашей литературе хватает одного Иво Андрича[1]. Кстати, когда однажды З. Д. похвалил меня Андричу, а я при этом от стыда и благоговейного страха чуть не провалился сквозь потертый персидский ковер в его гостиной, он посмотрел на меня сквозь толстые стекла очков и сказал: "Поверьте, в моем возрасте писателей оценивают не по тому, как они пишут, а насколько крупным шрифтом их печатают! У меня, знаете ли, катаракта. Вас, к сожалению, печатают очень мелкими буквами, вот я и не читал ваших книг. Но я заметил, что вы очень хорошо рисуете..." Будь я почувствительнее, в тот же миг прекратил бы заниматься литературой. И тогда вам не довелось бы прочитать эти строки, набранные, надеюсь, двенадцатым кеглем, поскольку я и сам уже в тех годах, когда приходится со вздохом отказываться от книг, напечатанных петитом.

Листая хроники, истории, мемуары, каталоги, меню, воспоминания и записки, я случайно нашел стихотворение короля Николы "К турку", напечатанное в 1884 году в дубровницком "Словинце". Современники отмечают, что стихотворение перевели на французский и турецкий, а султану стих настолько понравился, что он в письме тепло поблагодарил поэта. "Мир политиков был поражен обменом комплиментами, случившимся в атмосфере почти откровенной вражды между двумя народами..."

Успокойся, львище старый,
Царь восточных вилайетов...
Что тебе тут не хватает,
Ты зачем народы душишь?
Все равно того не будет,
Чтоб ты веры крест порушил!..
...Битва страшная случится
Все равно на поле брани,
И пожаров свет тревожный
Заколышется в тумане,
Только сабли наши снова
Засияют в солнца зное,
Будем биться!.. А потом уж
Мы сочтемся, как герои!

Осман-паша Сархош, к которому непосредственно относится это стихотворение, не был настолько патетичен; непрерывно дымя длинными сигарильос, которыми его снабжал фон Готорф, он участвовал в бесконечной, казалось, партии покера. У него совершенно очевидно отсутствовало чувство ответственности перед историей (знал, что вскоре будет забыт!), он не баловался поэзией, и, что хуже всего, у него закончились деньги.

Марджори читала в своем номере, дождь поливал опустевшую площадь, игроки сменяли друг друга за зеленым сукном, а кучки золотых монет меняли хозяев под черной доской на стене, куда вестовой паши мелом заносил результаты игры.

Интересно, что все имена писались кириллицей. Только имя паши было изображено арабской вязью. Его долг, судя по доске, достиг пятидесяти наполеондоров. Едва кельнер отворил окна салона, дым повалил в умытое цетинское утро.

Паша спокойно посмотрел на партнеров и охрипшим от табака и алкоголя голосом произнес:

1. Иво Андрич (1892–1975) – сербский писатель, лауреат Нобелевской премии (1961).

– Надеюсь, господа простят, если им придется подождать пять-шесть дней, пока я не отдам долг чести? Я не сбегу! Впрочем, я и без того наиболее охраняемый человек в этом городе, не так ли?

37

На следующий день князь Никола устроил прогулку для дипломатического корпуса, иностранных корреспондентов и собственной свиты. Приглашен был и Осман-паша Сархош.

Он ехал рядом с мисс Марджори, почти касаясь ее коленом. Когда они поднялись на вершину голой каменистой горы над Цетине, англичанка протянула руку к линии горизонта:

– Что там?

– Прежде всего, море...

– А потом?

– Другие моря и империя, которая некогда гордилась хорошими офицерами и отличным пловом!

– И что с ней случилось?

– Остался один плов.

Марджори вытащила из походной сумки флягу и протянула ее паше:

– Французский коньяк... В утешение...

– Вы мой ангел-хранитель! – поблагодарил паша и дрожащей рукой поднял к губам фляжку, обтянутую марокканской кожей.

38

Зуко Джумхур, в отличие от Осман-паши, никогда не употреблял алкоголь до захода солнца. Впрочем, пил он отменно, с удовольствием, как настоящий бег[1]. Однажды он оказался в Норвегии, на съемках, в разгар белых ночей, и тщетно ожидал акшама (захода солнца), чтобы приступить к выпивке. Однако снаружи все не темнело. Его охватила настоящая паника... Друзьям пришлось плотно зашторить окна в гостиничном номере и создать тем самым искусственную ночь.

Он был настоящий господин. Целовал руки дамам даже в самом пьяном состоянии, презирал грубиянов и никогда не ругался.

39

"Река Зета богата рыбою форелью, – записал Мартин Джурджевич. – Во время нашего пребывания в Орловой излучине улавливали мы форель почти каждый день сетями и динамитом. В один прекрасный день и сами князь прибыли для упражнений в сем спорте. Они спустились из дворца со своею свитою к Зете, что удалена от дворца на триста примерно метров, чтобы наблюдать, как улавливают рыбу динамитом..."

Мисс Марджори и паша, не спешиваясь, также наблюдали за происходящим.

1. Зд.: господин (*турецк.*).

— Это исторический день! — бросил им на ходу фон Готорф, который, очевидно, играл главную роль во всем спектакле.

— Здесь, похоже, каждый день исторический! — со злостью прокомментировал паша.

— А в чем дело? — спросила мисс Марджори, вынимая из сумки записную книжку.

— Сегодня мы знакомили черногорцев с современным методом рыбной ловли! — провозгласил фон Готорф, которого сопровождал телохранитель князя с деревянным ящиком в руках. — Они слишком ленивы для того, чтобы ловить рыбу традиционным способом. Впрочем, рыбу они потребляют только в пост...

"...Он готовил динамитные патроны; тщательно оборачивал их прочной бумагою, обвязывал веревкою, облеплял глиною и крепил к верхушке патрона капсюль для зажигательного фитиля. Когда все было готово, с десяток телохранителей князя сбросили одежды и вошли в реку поглубже, где и бросили динамит..."

В сценарии "Зеленое сукно Монтенегро" на этом месте мисс Марджори отворачивается, чтобы не смотреть на голых усатых мужчин, — картина, напомнившая ей наброски и картоны Леонардо "The Battle of Anghiari"[1] в галерее Уффици во Флоренции, которую она посетила еще девочкой вместе с отцом, историком искусств.

"Динамит взорвался с подводным грохотом, и поверхность реки побелела от рыбьих брюх. И тут телохранители, плавая, посбирали всю рыбу. Таким же образом они поступили еще дважды, уловив около ста килограммов форелей".

Воодушевленные князь со свитой зааплодировали, а фон Готорф церемонно поклонился, как это делают актеры на сцене.

Третий взрыв был самым сильным, и белоснежный конь мисс Марджори испугался, встал на дыбы и помчался прямо по камням бешеным галопом. Паша бросился вслед и после бешеной скачки настиг его. Кстати, а бывают ли вообще фильмы, в которых герой не спасает красавицу, несущуюся на испуганном коне?

Он крепко взял коня за уздечку и с силой прижал мисс Марджори к груди. Князь Никола и его свита так и не увидели один из самых волнующих киношных поцелуев, совершенных еще до эпохального открытия братьев Люмьер.

40

В августе 1967 года Зуко и я в Цетине, во дворце короля Николы, превращенном в музей, обнаружили в узком боковом коридоре, соединяющем зал для приемов с комнатами прислуги, два небольших незавершенных полотна кисти Доментино Верочелло. Обе картины размером 30 × 40 см, масло, в дешевых рамах того времени, изображают Билярду и укрепления периода после битвы при Волчьем Доле. Площадь перед Билярдой почти пуста. На ней стоит всего лишь один человек, фигура которого (в отличие от стен и гигантского вяза) исполнена в мельчайших деталях. Человек этот, очевидно, офицер турецкой армии: в руке сабля, на голове высокая феска, худое лицо окаймляет черная борода.

1. "Битва при Ангиаре" (*англ.*) — флорентийская фреска Леонардо да Винчи; сама роспись не сохранилась.

Для обычных посетителей, если они вообще обратят внимание на картину в полутьме коридора и если разглядят мелкую фигурку мужчины, словно окаменевшую в де-кириковской атмосфере средиземноморской площади, – так вот, для них все равно навсегда останется тайной – что делает турецкий офицер в Цетине?

41

Имя автора этих небольших работ Доментино Верочелло – псевдоним шустрого левантинца Алеко Сакеланидиса, турецкого конфидента Тахир-бея, который под личиной живописца объехал многие европейские столицы того времени, выполняя деликатные поручения Второго отделения Генерального штаба Оттоманской империи.

Некоторое время он обучался живописи в Академии Святого Рокко в Венеции, но из-за педерастии и явной греховности в поведении был изгнан из города, чтобы вскоре объявиться уже в Вене, где целый год посещал классы профессора Алоиза Дедуччи и Франца Румпеля, старательно совершенствуясь в рисовании. Следующей остановкой был, естественно, Париж, где он слушает лекции профессора Леона Бона в Высшей школе искусств. К сожалению, этот живописец не смог на берегах Сены насладиться колористической революцией импрессионистов, потому как был... дальтоником! Все, чего лишила его природа, он восполнял рисованием, создавая "портреты, пейзажи, композиции, этюды человеческого тела с точнейшими абрисами форм и утонченными линиями..."

Великолепный ремесленник Верочелло, которому, с учетом его безобразной внешности, требовалось очень много денег для содержания молодых любовников, уезжает в Дамаск, а оттуда в Исфахан, где, благодаря своим действительно великолепным портретам, добивается благосклонности богатых торговцев, от которых и получил рекомендации для Стамбула.

В Цетине он прибыл из Италии с заданием не выпускать из поля зрения Осман-пашу, поскольку в Турции его ожидало наказание за проигранную битву. Оправданием пребывания в крошечной черногорской столице ему служило предложение князя Николы написать портреты членов его семьи и некоторых выдающихся воевод, священников, иностранных дипломатов и сердаров.

Уже с первой встречи Верочелло следовал за пашой словно тень. Он был терпеливым, хитроумным и опасным человеком, который все эти свои свойства успешно скрывал под хорошо продуманной и прочно зафиксированной на лице маской заурядного шарлатана. Паша, естественно, понял суть дела, поскольку в течение минувшего года неоднократно видел его в обществе начальников турецкой разведки. Вначале он был равнодушен к этому, как и к собственной судьбе, но постепенно стал замечать, как Верочелло старательно нарушает спокойное течение его жизни.

Однажды утром паша вдруг остановился за спиной художника, который старательно переносил детали укреплений за Билярдой на полотно, укрепленное на походном мольберте. Не испытывая особой любви к живописи (что, впрочем, запрещала ему и религия), Осман-паша заметил, что вновь прибывшего живописца в большей степени занимает фортификация, нежели игра светотени и палитра цветов. Художник обернулся, чтобы поглядеть на зеваку, и только тогда они узнали друг друга, и Осман-паша Сархош мгновенно понял, что эта встреча к добру не приведет.

В то утро Верочелло был одет небрежно, приметы его профессии бросались в глаза. Улыбка, которой он приветствовал турецкого офицера, скрывала болезненный, завороженный взгляд человека, подверженного извращенным страстям.

Той ночью в зеленом салоне "Локанды" Верочелло сидел на пристойном расстоянии от паши, который безуспешно пытался возвратить проигранные деньги.

Перед генералом Белимарковичем росла кучка золотых. Паша играл просто для того, чтобы играть, прикуривая дрожащие в пожелтевших пальцах все новые и новые сигарильос.

Пашу совершенно очевидно нервировало присутствие Верочелло, что совсем не мешало тому быстрыми движениями карандаша делать набросок за наброском в блокноте, который он держал на коленях.

Первый рисунок представлял собой эскиз раскачивающегося на ветру висельника, униформой напоминающего пашу.

Второй рисунок изображал человека ранга паши в кандалах.

На третьем рисунке офицер сидел под пальмой на крошечном пустынном острове...

Весьма удачные эскизы головы паши обрамлял плетеный шелковый шнурок.

Бросив мимолетный взгляд на рисунки Верочелло, паша оставил игру и поднялся. Игроки за столом с удивлением посмотрели на него.

Только Верочелло улыбнулся и захлопнул блокнот.

42

Мало кому ныне известный хорватский художник Фердо Кикерц, по прозвищу Кико, в письме, отправленном брату осенью 1876 года, оставил очень интересное описание Доментино Верочелло, он же Алеко Сакеланидис, он же Тахир-бей. Познакомившись с Верочелло сразу после битвы при Волчьем Доле, он попытался сблизиться с коллегой.

"Кикерцу под ателье выделили красивую просторную комнату в Старом дворце, Негошевой Билярде. Он написал портреты пятнадцати самых выдающихся черногорцев и черногорок, среди них митрополита, княжны Зорки и мать княжескую. Здесь он и получил прозвище Кико. Много лет спустя он с ностальгией вспоминал дни, проведенные среди черногорцев, признаваясь, что 'пребывание в Черногории было самым счастливым временем в моей жизни, когда жил я по-человечески, без убогой нищеты и непрестанного унижения...'"

Кикерц, кстати, сопровождал князя и черногорское войско по полям сражений Герцеговины. "Странно было видеть его в военном обмундировании, с ружьем на плече и с большой папкой эскизов и набросков под мышкой".

В упомянутом письме, которое хранится в архиве семьи Кикерца в Загребе, Кико описывает Верочелло как "человека чуть более метра ростом, не сильного, но легкого на подъем и с интеллигентным лицом, напоминающим Шекспира. Ему еще не было и тридцати, но лысина уже охватила темя, что он, однако не считает недостатком. Одежда его являет собою весьма комичную помесь современной и черногорской, к тому же еще он и небрежен, без чего невозможно представить себе настоящего художника. В речи его слышны дефекты, вместо простого *Л* произносит *ДЛ*. Цвет у него не самая сильная сторона, но в рисунке он демонстрирует настоящее мастерство. Как-то в Цетине у меня вдруг закончилась синяя краска, и я попросил Верочелло одолжить мне тюбик. Он крепко удивил меня, принеся в ателье... зеленую!"

В какой-то мере Верочелло был героем в Цетине, ибо обладал волшебной способностью "снять", "срисовать" каждого; это подтверждает

и Фердо Кикерц, бывший, помимо Верочелло, единственным художником в крошечной столице, затерявшейся среди гор.

Чешский журналист Йозеф Холачек, писавший о битве при Волчьем Доле в пражскую газету "Народне листы", в книге с длиннейшим названием "За свободу – картины и эскизы черногорских и герцеговинских боев против турок" (Нови Сад, 1881) рассказывает, как Кикерц рисовал портреты черногорцев, среди которых был некий капитан:

"Глазам капитановым представили целый ряд наиболее характерных черногорских типов. Капитан от удивления слова не мог вымолвить. Присел, склонился над рисунками и так смотрел на них, что, казалось, сейчас глазами их съест.

– Так я ж их знаю! – воскликнул он неожиданно и принялся смеяться. Далее он каждого назвал по имени и о каждом сказал, "годится" тот или "не годится".

– Такие они все маленькие, – продолжил он, – а я их всех хорошо знаю!

После этого он уставился на Кикерца. Лицо его горело, а глаза сияли. Видно было, что он страстно желает быть нарисованным, чтобы весь мир узнал про него и восхищался им.

Но вдруг он увидел среди прочих и свой портрет. Подскочил прямо:

– Нет, не смей, человече, бога ради, не надо!

– Успокойся, я докончу портрет.

– Нет, не хочу!

– Но почему?

– Стыдно мне.

– Ну что ты, прямо как ребенок!

– Ничего не могу поделать, стыдно мне. Погоди, пока я в боях отличусь. Вот тогда сам приду и попрошу меня красками нарисовать. Но меня большого надо будет намалевать, потому что я сильно отличусь!"

43

В августе 1967 года мы с Зуко побили мировой рекорд езды на "спачеке" с открытой крышей. От Белграда до Цетине мы добирались целых семь дней, потому что Зуко останавливался где только ему заблагорассудится – искупаться, покушать баранинки, навестить старых друзей, остудить арбуз в горной речке...

Отрезок пути в пятьдесят километров он на спор проехал на задней скорости, руля только левой рукой!

И в самом деле, каждый прожитый им день был красив и неповторим. Он был из тех редких людей, которые могли заметить, отыскать нечто совершенно незначительное, мимо чего мы равнодушно проходили годами, и сотворить из этого нечто целый миф, который позже радостно усваивали менее одаренные последователи.

Так вот, словно согбенный паломник, однажды летом он спустился в полуразрушенный, опустевший Почитель, в котором проживала одна-единственная старуха-травница, некая Чулуша, и уже на следующий год этот городок превратился в настоящее святилище для людей искусства. Он привел туда поэта Скендера Куленовича[1], днями напролет удившего форель, которую мы поедали вечером, а покойный Ника Миличевич – по

1. Скендер Куленович (1910–1978) – боснийско-герцеговинский поэт, академик.

моему мнению, один из величайших литераторов-рассказчиков – учредил на берегу реки Требижат, у села Струги, недалеко от Чаплины, настоящую летнюю перипатетическую философскую школу, точно такую же, какие бывали в античные времена. Река эта, кстати, самая красивая во всей Герцеговине; в ней человек может купаться и одновременно пить воду, а на мелководье хорошо охлаждать дыни или бутылки с лозовачей. Ее небольшие водопады прекрасно массируют тело, а заброшенный железнодорожный мост – идеальное место для прыжков в запруженную воду.

Но из Почителя сделали город-отель; здесь больше не подают кофе в джезвах и с рахат-лукумом, а новый персонал незнаком с привычками прежних, настоящих клиентов, которые спасли город от забвения.

Через несколько месяцев после того, как Зуко с несколькими друзьями в Белграде штурмом взял забегаловку, где напитки были дешевы, а обслуга любезна, в "Скадарлии" ввели обязательный ужин, а официантов переодели в смокинги! В старой части кафаны "Три шляпы" все еще висит люстра, которую он сделал своими руками из обычных стаканчиков для ракии. Когда свет зажигается, их не отличить от благородного резного хрусталя из Мурано.

В тот момент, когда общество, страстно желающее новенького, бросалось в открытое им местечко, он оставлял его, избегая восхвалений и благодарности.

И в самом деле, Господь Бог не поскупился в городе Конице, складывая 24 сентября 1921 года таланты в колыбель Зуко. Всю жизнь он стеснялся своих дарований, как бы извиняясь за них перед каждым, кто рядом с ним чувствовал себя середнячком.

В то лето я в первый и последний раз видел гостиницу "Локанда", точнее, что еще оставалось от бывшего перворазрядного европейского оазиса в диком краю. Запертая и заброшенная, она стояла призрачно пустая на цетинской площади, полная эха и паутины. Мы заглянули внутрь сквозь разбитые оконные стекла первого этажа. Из прогнившего пола знаменитого зеленого салона росло какое-то бледное чахлое растение. Здесь Осман-паша Сархош вел свой последний и важнейший в жизни бой. Пока мы пялились в темноту, из разбитых окон второго этажа вылетела стая испуганных птиц. Я был готов биться об заклад, что это были заколдованные души бывших постояльцев "Локанды", которых мы спугнули, пытаясь вырвать их из лап забвения и превратить в кинематографическую историю...

44

Паша, лежа в сапогах на софе, читал Мопассана, когда в комнату вошел вестовой. На полу, под рукой, стояла опорожненная до половины бутылка французского коньяка.

Посыльный развернул газету "Lloyd Triestino"...

"Английский пароход 'Сартория', – читал он, – ожидается в Которском порту через три дня. Пароход примет груз маслин и сушеной рыбы, после чего возьмет курс на Ливерпуль. Капитан парохода – Генри Уильям Эштон..."

Паша молча выслушал известие, отложил книгу и сделал хороший глоток из бутылки.

Он неплохо знал капитана дальнего плавания Эштона. Тот был широко известен почти во всех портах мира, от Шанхая до Бостона, как великолепный игрок. На его торговом пароходе, вооруженном на всякий случай десятком пушек

серьезного калибра, всегда бесплатно путешествовали несколько виртуозов карточного стола. Поговаривали, что капитан совершал иногда торговые рейсы в самые удаленные уголки земного шара исключительно ради того, чтобы сойтись за столом с каким-нибудь не менее славным игроком. Когда паша познакомился с ним, Эштон был склонным к полноте зрелым мужчиной за пятьдесят, обожавшим покер и бильярд.

– Кстати, я тут услышал хорошую шутку.

– А я даже не заметил, что они умеют шутить!

– Между нами, – сказал вестовой, – во всей Черногории существует всего лишь один анекдот, и они бесконечно, пока не полопаются от смеха, будут повторять его.

– Расскажи!

– Говорят, некий иностранец спросил у жителя Цетине, когда отправляется корабль в Котор.

– Ну?

– Тот ответил: "Примерно в полдень, если вода будет!"[1]

45

Когда вошел воевода Вукашин, паша в пустом зеленом салоне играл сам с собой в бильярд. Стулья торчали на столах вверх ножками.

Внимательно изучив расположение шаров, воевода взял кий и точным ударом послал шар в лузу:

– Похоже, вы меня искали, паша хазретлери?

Осман-паша ответил своим ударом:

– Я хотел рассказать вам одну историю...

Настала очередь Вукашина:

– Неужели вы не могли рассказать ее вечером?

– Нет.

– Так в чем же дело?

Паша оперся о кий:

– Как вам известно, я с войсками двигался через Солун. Там мы неделю ожидали погрузки, пока подтянутся отставшие и прибудет амуниция. Мы убивали время...

– Игрой в карты?

– А вы догадливы!

– Ваша очередь, паша хазретлери... – произнес Вукашин, указывая на шары.

Паша ударил.

– Был там и некий капитан Эштон, с английского парохода "Сартория"...

– Вы знаете английский?

– Посредственно. Но состояние можно проиграть и на родном языке!

– У вас не очень получается здесь, в Цетине?

– Не хочу обижать вас, но капитан Эштон – игрок мирового класса! Он настоящий мастер своего дела.

– А мы – провинциальные любители?

– Я этого не говорил.

– Но все-таки...

– Все в порядке! Везучие любители.

1. Цетине и порт Котор не соединены какими-либо водными путями.

– И в войне?

– И там.

– И это вы хотели рассказать мне?

– Это только начало.

– Вы отобрали деньги у капитана Эштона...

– Он обобрал меня.

– Сколько?

– Две тысячи золотых.

Вукашин присвистнул.

– Я остался должен ему тысячу пятьсот. Я думал быстро вернуться в Солун, но неисповедимы пути Аллаха! Вместо Солуна Господь отправил меня в эту гостиницу, где, как видите...

Паша бросил воеводе через стол свернутую газету "Lloyd Triestino".

– Через три дня пароход "Сартория" прибывает в Котор.

– Если я правильно понял, пресветлый паша, вы желаете вернуть долг чести?

– Эвет, эфендим![1]

– Но ведь деньги мог бы отвезти и наш человек. Вы не верите черногорцам?

– Верю. Но никто, кроме меня, не может вернуть их. Капитан Эштон обещал мне реванш.

– Очень жаль, но прогулки не получится. У нас еще нет ответа из Царьграда относительно вашего выкупа...

– Скажите, слово генерала империи имеет хоть какой-то вес в здешних краях?

– Имеет. Но в вашем случае решение зависит от государя.

– Он еще играет в покер?

– Время от времени. Но размеры ставок строго ограничены – не более дуката!

– А не смогла бы приехать в Котор моя жена с двумя невинными детками? Трогательное свидание с семьей, а?

– Уже лучше!

– Сколько дней вы смогли бы дать мне?

– Максимум пять.

– Но если я не вернусь?..

– Это повлекло бы за собой тяжкие последствия...

– Для меня?

– Увы! Au contraire, pour moi![2]

– Знаете, люди вроде меня иной раз возвращаются. Хотя я не стал бы биться об заклад...

– Ну, а я бы попробовал.

Вукашин ударил в последний раз и отложил кий:

– Следовательно, я должен испросить аудиенцию у государя...

– Да благословит вас Аллах, мой князь!

– Мой бригадир, паша!

Они раскланялись, и паша продолжил игру в одиночку.

46

"Пребывая в течение нескольких дней в Цетине, – писал Арсение Паевич, – я регулярно обедал и ужинал в "Локанде" за большим общим столом в компании служащих Красного Креста, и во главе нашей компании всегда садился пленный Осман-паша, который после Волчьего Дола, еще

1. Да, сударь! (*турецк.*)
2. Напротив, для меня! (*франц.*)

до моего приезда, просто породнился с русскими, в том числе и их женами, и даже любезно и мило изъяснялся с ними по-русски на протяжении всего обеда. Осман-паша был мужчина несколько выше среднего роста, сухощавый, с проседью, но все еще с очень черными волосами. Я только сейчас узнал, что он по происхождению черкес из города Шемахи невдалеке от Каспийского моря, знатного рода, владевшего всем этим городом и его окрестностями. И что семья еще в его детские годы перебралась в Царьград, где он изучил военные науки в тамошней Военной академии, выучил многие языки — арабский, персидский, русский, английский и французский, когда обучался во Франции, каковыми языками и пользовался, разъезжая годами как офицер турецкого Генштаба по различным европейским странам. Некоторое время был в Боснии, где прилично овладел сербским языком. Будучи образованным человеком с прекрасными манерами, он очаровал русских так, словно был одной веры и народности с ними. Все прочие турецкие офицеры были грубыми, неприступными, неотесанными, как настоящие турки, и никто с ними не то что не дружил — внимания на них не обращал. Солдаты днями напролет бесцельно шатались полями цетинскими, а охраняли-то их всего два-три князевых телохранителя. Из офицеров только Осман-паша был знаком мне по Волчьему Долу. Наблюдая неоднократно собственными глазами толпы турок на цетинском поле, я подумал однажды: вот поднялись бы сейчас из могил старые черногорские волки — Расланович, Томанович, Мандушич, Мичунович и др., которые разбивали некогда турок в пух и прах, да посмотрели бы на своих потомков, как они обходятся с ранеными и пленными турками, то левой бы рукой перекрестились на чудо эдакое..."

47

Человек исключительного дарования, Зуко Джумхур нисколько не заботился о своих рисунках. Деликатность не позволяла ему обращать на них слишком большое внимание и тщательно отслеживать их дальнейшие непростые судьбы после того, как они вышли из-под его пера. Рисунки для газет или иллюстрации к своим и чужим книгам исчезали сразу после сдачи в типографию и никогда больше в редакцию не возвращались. Их воровали, присваивали, дарили или теряли... В то время в "Политике" не было наборщика, который не обладал бы хоть одним рисунком Зуко. Некоторые редакторы собрали целые альбомы его произведений. У него же не оставалось ничего, кроме ощущения, что в любой момент он может вновь отдаться своему искусству.

Во время создания "Зеленого сукна Монтенегро" мы часто спорили, какой из литературных жанров наиболее долговечен. Я считал, что сценарий не может остаться в литературе как таковой, он для этого не самодостаточен. Это нечто вроде кулинарной книги, по рецептам которой режиссер сам сварит свою кинематографическую кашу, сладкую или солененькую, густую или жиденькую... В споре мы быстро переходили на живопись. Я полагал, что масло живет дольше рисунка, уговаривал Зуко вернуться к старой технике. Тогда я еще не понимал, что Леонардо не стал бы величайшим художником всех времен, если бы не оставил после себя пачки рисунков, таких свежих, будто он их только что закончил! Его полотна угасли и потемнели, их поверхность потрескалась, словно земля в засуху; скульптуры его в основном уничтожены,

знаменитая фреска, исполненная воском и пигментом, растаяла, а летательные аппараты и странные орудия остались в проектах...

"Посмотри на пирамиды! – говорил мне Зуко. – Даже их разъел песок пустыни. Ничто не вечно – даже вечные перья!"

48

Когда князь Никола целовал руку мисс Марджори Эванс при входе в голубую гостиную дворца, куда она явилась за интервью для своей газеты, эта красивая и отважная авантюристка даже представить не могла, какие неприятности навлекло на государя Черногории его джентльменское поведение в сугубо мужской столице.

"Как это так, наш князь говорит женщине: 'Целую ручки!', а ради красы ее готов хоть в гайдуки уйти! – писал в мемуарах князь, ставший к тому времени королем. – Выходит, наш князь покорен красотой. И женщины тоже к нему не равнодушны, он определенно нравится им. Скандал, да и только. Вот оттуда оно и пошло – злонамеренные наговоры, клевета и памфлеты. И как человеку оправдываться и исправляться, если неинформированные люди делают необоснованные выводы? И мои склонности, и мой вкус истолковывали односторонне, в дурном смысле".

Их взгляды скрестились над небольшим круглым столом со столешницей из пестрого мрамора. Мисс Марджори, несмотря на богатый журналистский опыт, не знала, как начать, и потому с радостью позволила князю курить во время беседы. Он привлекал ее каким-то необъяснимым образом. Глубокие темные глаза и смуглое лицо внушали доверие. Под одеждами воина крылось нечто бархатистое и чувственное – властелин жизни и смерти не мог до конца вытеснить затаившегося поэта, жаждущего нежности.

"Может, в другой жизни, если она будет?" – подумала мисс Марджори, глядя как загипнотизированная на князя, который, прочитав мысли, спросил, что именно ее интересует.

– Хотелось бы знать, сколько у вас сейчас денег в кармане? Мне всегда было интересно, носят ли вообще монархи при себе деньги?

Он от души рассмеялся, продемонстрировав два ряда крепких зубов:

– Об этом же недавно спросил меня один подданный! Подошел и спросил, сколько у меня дукатов в кошельке. "А ты как думаешь? – ответил я вопросом на вопрос. – Угадай!" – "Хорошо, – говорит он мне, – а ты признаешься, если я угадаю?" – "Да!" – "Обещаешь?" – "Обещаю!" – "У тебя двадцать талеров, да?" – "Нет!" – "Жаль, что у тебя нет таких денег!" – сказал он. "Спасибо тебе за сочувствие, – ответил я, – а ты возьми себе вот этот талер, у меня еще останется!" – "Тебе спасибо, но я не возьму, я ведь не денег у тебя просил, а просто знать хотелось, сколько денег у государя в кармане!"

49

Интересно, что такой же точно вопрос Тито задал Сократ.

После спектакля "Защита Сократа, его последние дни и смерть" Иосип Броз принял актера Любу Тадича в холле Национального музея в Белграде, переоборудованном по этому случаю в салон. Когда актер спросил вождя, сколько у того сейчас денег в кармане, Иосип Броз запа-

никовал и руками, усыпанными старческими пятнами, принялся ощупывать карманы...

— Черт побери, — сказал он, — так ведь у меня вообще нет денег! Как это так, почему у меня нет денег? — спросил он растерянных и перепуганных сопровождающих лиц.

Похоже, только тогда, благодаря простому вопросу, он понял, что живет в каком-то другом мире, полностью оторванном даже от денег.

— А почему ты спрашиваешь меня об этом? — повернулся он к актеру.

— Мне просто интересно, как вы станете расплачиваться, если завернете куда-нибудь на стаканчик, — ответил тот.

— И точно, черт побери! Как я буду расплачиваться? — повторил он, продолжая по-старчески беспомощно ощупывать свои карманы.

50

— Теперь, когда судьба восточных христиан находится в более крепких руках, я счастлив тем, что заключил перемирие с Оттоманской Портой, — ответил князь на первый вопрос мисс Марджори.

— В заявлении для палаты лордов британского парламента, — напомнила ему госпожа Эванс, — лорд Дерби[1] особо выделил последнюю статью протокола о перемирии, заявив, что она не означает, будто великие державы непременно употребят силу против Турции, если та не выполнит своих обязательств. Что вы думаете по этому поводу?

— Видите ли, my lady, Англия вместе с великими державами всегда выступала в защиту христиан. Но она не поддерживает политику, которая может спровоцировать войну с Турцией. Турция перед ней ни в чем не провинилась. Ваш посланник в Царьграде, его превосходительство Эллиот, предлагает status quo ante[2] для Черногории и Сербии, но отказывается признать автономию Герцеговины.

— А как смотрят на это ваши традиционные друзья — русские?

— Бог высоко, а друзей у нас нет! Россия, старый товарищ, охладела к нам, стала почти равнодушной... Наши добрые друзья русские, у себя дома весьма расчетливые и очень осторожные, склонные почитать свое начальство даже на большом удалении, приехав сюда, делаются заносчивыми и обходятся с нами как с порабощенным народом!

— Каковы ваши отношения с Австрией?

— Мы всегда сожалели о том, что она отобрала у нас Боку-Которску, но Австрия с готовностью примирилась с изменением формы правления в Черногории, то есть с тем, что из теократического она превратилась в светское государство.

— Насколько я понимаю, ваша светлость, вы довольно одиноки в Европе?

— Вот что я скажу вам: в жестоком грохоте боев в Черногории и Сербии вдруг стал слышен голос европейской дипломатии! Она несет ответственность за предыдущие кровопролития на наших землях, хотя и посещала нас с оливковой ветвью, как и теперь, когда восстание народа Герцеговины достигло апогея. Пребывая в вечном страхе от того, что Россия использует борьбу своих собратьев как повод для развязывания

1. Министр иностранных дел в кабинете Б. Дизраэли.
2. Прежнее положение (*лат.*).

агрессии против Турции, европейские державы, словно пожарники, по первому сигналу бросаются подавлять эту борьбу! Не говорите мне, пожалуйста, про Европу!

– Сколько лет вы провели в ней?

– Только во Франции около четырех лет. Я много читал и с удовольствием изучал французскую литературу. Я изучил всех классиков, а в мае 1859 года едва не убежал из школы в Италию к Гарибальди.

– Ваша светлость, как вы намереваетесь поступить с Осман-пашой?

– Он успел очаровать и вас?

– В некотором роде...

– Ценю вашу искренность!

– Говорят, когда-то вы были друзьями?

– Молодо-зелено! Два дикаря с краешка земли в столице мира! Там забывается разница в вероисповедании. Кроме того, было там заведение – "Café de Droit", напротив Пантеона, и газеты из наших далеких стран, которые только мы и читали. Я бы в Париже хоть с дьяволом подружился, так там было одиноко!

– Вас мучила ностальгия?

– Ностальгия – всего лишь слово. Я тосковал по родным горам, я должен был хоть с кем-нибудь поделиться своей болью...

– Как вы познакомились с Осман-пашой?

– Тогда он еще не был пашой, а я – князем. Париж он знал как никто другой! По воскресеньям мы нанимали фиакр и сажали рядом с кучером шарманщика. Отправлялись в булочную, брали побольше хлеба, затем – холодного мяса, копченостей, языков, два стакана и бутыль "анизетты". И вперед, подальше от крепостных стен, в чистое поле! Отпускаем фиакр, расстилаем на траве большое пестрое покрывало шарманщика и втроем по-братски закусываем и разговариваем... Добрый шарманщик понимал меня. Я лежал, закинув руки за голову, и смотрел на высокие облака, плывущие, как мне казалось, в сторону Черногории, и плакал, и вздыхал, и стенал... "Vous n'êtes pas gai, mon bon Monsieur?" – "Jouez, toujours, jouez!" А потом, на прощание: "À dimanche prochain, mon bon Monsieur?"[1] Случались и смешные вещи... Осман рассказывал мне, что много слышал о нас, черногорцах, о том, что мы маленький, но героический народ, однако кое-что он никак не мог понять. "В чем дело, Осман?" Почему мы такие жестокие и зачем сажаем их, турок, на колья? Их старики рассказывали им те же самые истории, что и наши – нам!

– Вы ничего не сказали мне о дальнейшей судьбе паши...

– Лучше я расскажу вам нашу национальную шутку; у вас, англичан, особо развито чувство юмора...

– Спасибо за комплимент, ваша светлость!

– Так вот, один человек в Цетине спрашивает другого, когда отходит пароход в Котор, и тот ему отвечает: "Примерно в полдень, если вода будет!" Вы тоже хотите в Лондон через Котор?

– Не прочь! Если вода будет...

На прощание мисс Марджори получила от князя Николы в подарок наполеондор.

– Примите этот небольшой дар как выражение моей признательности за то, что ваше талантливое перо не обошло вниманием нашу такую

1. "Вам грустно, сударь?" – "Играйте, играйте!" ... "До будущего воскресенья, сударь?" (*франц.*)

маленькую страну. Вам принадлежит весь мир, а у нас нет иного отечества, кроме этого, my lady!

Этот золотой на фоне фиолетового бархата, вставленный в овальную раму, будет до самой ее смерти украшать стену гостиной в доме 27 на Кингс-роуд.

51

Как-то раз на одном из приемов Зуко тоже получил дукат, от императора Хайле Селассие.

Шагая вдоль шеренги приглашенных, император увидел вощеное, почти абиссинское лицо Зуко, обрамленное черной бородой, остановился и вот так вот, запросто, взял да и подарил ему дукат.

Начиная с 1948 года, когда Зуко опубликовал свою знаменитую карикатуру, на которой Карл Маркс пишет "Капитал" под портретом Иосифа Виссарионовича Сталина, Тито демонстрировал исключительное расположение к нему.

Для нас, друзей Зуко, дворцовая сторона его жизни навсегда осталась тайной за семью печатями. Он не любил рассказывать об этом. Тем не менее мы замечали, что иной раз после крупных скандалов Зуко куда-то бережно прятали на некоторое время, но никаких последствий не было.

Однажды во время торжественного приема в честь Дня Республики он наткнулся на группу генералов и вдруг заорал, что они разукрасили себя почище новогодних елок, и попытался сорвать с них знаки Народных Героев — медали, которые сделал "этот мастер кича Антун Августинчич[1], зарабатывающий на их тупости!"

В другой раз он оскорбил президента Боснии и Герцеговины Джуро Пуцара (портреты которого, едва завидев их в официальных учреждениях, он тут же срывал со стен), во всеуслышанье объявив, что тот "попирает несчастную Боснию дольше, чем любой турецкий паша с дурной репутацией!" Я оказался случайным свидетелем этой сцены и просто окаменел от страха. Джуро Пуцар, человек, не отличавшийся высоким интеллектом, молчаливый и мрачный, с лицом профессионального палача, уволенного за выслугой лет, пытался довольно неловко обратить это в шутку. Тогда людей сажали за куда меньшие проступки — но пьяненький Шайтан-эфенди знал, что он неприкасаем!

За несколько лет до смерти Иосипа Броз Зуко пригласили на дружеский ужин в его герцеговинскую резиденцию.

Там он спросил у Тито, зачем тот позволил Брежневу ("этому здоровенному медведю") испортить такой замечательный белый костюм, проколов лацкан орденом Ленина.

Супруга Тито сказала, что у него есть еще несколько таких белых костюмов, так что Зуко со спокойным сердцем отвлекся на виски, противостоять которому он не мог...

Он не помнил, как завершился тот исторический вечер и как он вернулся домой.

По утрам он погружался в свою любимую амнезию — больше всего на свете не любил, когда ему напоминали о подвигах минувшей ночи. Для него "завтра" действительно было совершенно новым днем!

1. Антун Августинчич (1900—1979) — хорватский скульптор.

Вспоминая позднее этот знаменитый вечер, герцеговинский художник Воя Станич, "средиземноморский Иероним Босх" портовых депрессий и сновидений, рассказывал, что "Зуко сначала пожал руку Тито, после чего они расцеловались как старые друзья... Ужин начался с икры. Напитки все подливали и подливали. Блюд было много, и я заметил, что Тито ел гораздо больше других. На сладкое подали лебедя из мороженого. Как всегда, сначала обслужили Тито; он тут же отсек лебедю голову. А поскольку меня обнесли последним, мне досталось только шоколадное озеро. Я люблю шоколад..."

Зуко никогда не отрекался от Тито. Он говорил, что до смерти останется последним титоистом! Похоже, несмотря на идеологию, он больше всего ценил испанский протокольный церемониал при дворе Иосипа Броз; изысканные напитки, великолепные приборы, невидимые анимато-оркестры, исполняющие где-то в глубине попурри из оперетт Легара... Как "человек из прежнего времени", он испытывал ностальгию по Австро-Венгрии, скромный капрал которой стал императором Югославии! Поскольку ему не довелось пожить в Шенбрунне Франца Иосифа, посещения балканского двора его унтер-офицерского двойника доставляли Зуко огромное удовольствие. Наслаждаясь ритуалом, в таких случаях он соглашался надевать черный блейзер с вышитой золотом короной британского королевского флота, который шел ему просто исключительно.

52

Осман-паша раскладывал пасьянс, когда вестовой вывалил на стол несколько пригоршней золоченых пуговиц.

– Это все, что я сумел найти, – произнес он со вздохом.

Весь день он обходил пленных турецких солдат и офицеров, срезая с их мундиров пуговицы.

– Нарежь еще! – приказал паша, не отрывая взгляда от карт.

Посыльный вытащил из шкафа парадную форму паши и срезал ножом все пуговицы. Кучка на столе заметно выросла...

Услышав стук в дверь, паша быстро прикрыл мундиром пуговицы и поднялся навстречу воеводе Вукашину, который протянул ему небольшой кожаный мешочек.

– Пресветлый паша, это личный подарок князя вашей семье. Он желает ей счастья и благосостояния.

– Премного вам благодарен, дорогой бригадир!

– Один совет, если позволите.

– Вам – можно...

– Не ставьте деньги на пару дам. Мне кажется, так вы проиграете.

53

В тот же день Константин-паша, посланник султана в Цетине, дал аудиенцию мисс Марджори Эванс в своей временной резиденции – в номере гостиницы "Локанда", украшенном шкурами, оружием и шелками. Войдя в комнату, набитую вещами не хуже, чем царьградская антикварная лавка, она застала имперского посланника в противоестественно патетической позе, позирующим для портрета во весь рост.

Мисс Марджори хорошо подготовилась к встрече, изучив биографию этого царьградского грека, дослужившегося до высших чинов империи. В Стамбуле он

закончил Галата-Сарай и получил место в министерстве иностранных дел, а после недолгой службы в Париже и Лондоне вернулся в Царьград, где перешел в Кабинет великого визиря на должность секретаря Европейского отделения. Он был близким родственником Алеко-паши, генерал-губернатора Восточной Румелии с резиденцией в Пловдиве. Именно благодаря родству с Алеко-пашой он сделал стремительную карьеру. Порта направила его, одного из самых блистательных администраторов, в Сараево, а затем в Мостар – с намерением сделать его, христианина, мутасаррифом[1] в Герцеговине.

– Ваше превосходительство, что вы можете сказать о подписанном перемирии? – таков был первый вопрос мисс Марджори.

– Его светлость государь Черногории и Его Величество султан Абдул Хамидхан решили, что наши страны прекратят вражду и направят усилия на воссоздание разрушенного. Продуманные формулировки ставят соглашение на реальную основу, приемлемую для обеих сторон...

– Голову немного левее, ваше превосходительство! – заклинал Константин-пашу Верочелло. – Кончается время, скоро перестанут писать реалистические портреты. Видели бы вы только, что вытворяют в Париже эти сумасшедшие!

– А что они делают? – полюбопытствовала Марджори.

– Брызгают краской на полотно и называют это "импрессией"! Есть там один такой, Моне зовут. Со смеху лопнешь!

Верочелло, оскалив зубы, завыл как гиена, и паша прострелил его насквозь серьезным взглядом.

– Скузи... – прошептал художник и продолжил старательно выписывать бархатный воротник паши и прядь слипшихся волос, выкрашенных хной.

– Еще один вопрос, ваше превосходительство... Каково сейчас отношение к Осман-паше?

– Отношение к Осман-паше?..

– В настоящее время он подавлен и одинок.

– Мне жаль, ту lady! Но к этому есть причины...

– Какие же?

– В Стамбуле он не получит ни повышения по службе, ни ордена за проигранное сражение...

– Здесь говорят, что он сражался как настоящий герой!

– Здесь говорят одно, в Стамбуле – другое. Для него, конечно, важнее, что говорят в Стамбуле. А там считают, что он командовал, будучи вдребезги пьяным!

– Его казнят? – ужаснувшись, прошептала англичанка.

– Не надо преувеличивать... – успокоил ее Константин-паша тоном, не предвещающим ничего хорошего. – У вас есть еще вопросы?

– Благодарю вас, ваше превосходительство... – произнесла мисс Марджори, слегка поклонилась и, закрыв блокнот, покинула салон.

Паша вернул лицу зверское выражение, предназначаемое для портрета кисти Верочелло.

54

Вечером того же дня Осман-паша с двумя черногорскими ратниками, получившими задание сопроводить его к австрийской границе, покинул цетинскую долину. С решимостью и отвагой профессионалов три всадника пронеслись в обла-

1. Мутасарриф (*турецк.*) – правитель санджака, т. е. округа.

ке пыли мимо Баичких домов "по самой скверной дороге в мире". Провожал их только собачий лай.

Они расстались на австрийской земле "вблизи той крутой извилистой дороги, что в Котор ведет".

Паша в одиночку продолжил путь к лаковой поверхности моря, на которое уже пала легкая вуаль приближающейся ночи...

Словно в пушечный прицел, меж ушами своего коня он увидел под собой Котор.

55

Однажды мы с Зуко провели целый летний день, валяясь в саду у старого герцеговинского мусульманина.

Разморенные жарой, мы пили из филджанов сладчайший кофе и в основном молчали.

У старика был внук, которого Зуко время от времени заставлял лезть в ручей, протекавший через сад, и перекладывать в нем камни.

Когда мальчик исполнял указание, ручей начинал журчать иначе...

Вода меняла мелодию, и Зуко получал удовлетворение от того, что ручей не повторяется.

Пала ночь, мальчик ушел спать, а мы продолжили кейфовать и пить лозовачу, лишь изредка закусывая виноградинкой.

Я заменил мальчика, время от времени меняя положение камней в ручье.

Если новое журчание не нравилось, Зуко поднимался и устранял отдельные камни или же располагал их совсем иначе.

Всю ночь мы музицировали на потоке, остужая усталые ноги.

Древние японцы утверждают, что идеальная скульптура создается следующим образом: сначала фигуру в самых общих чертах вытесывают из камня, после чего бросают в горную реку и оставляют там как минимум на тысячу лет. То, что потом вынимается из воды, и есть идеальное произведение искусства!

Камни в ручье напоминали уменьшенные скульптуры Жана Арпа, они были такие же белые и округлые.

Хуже всего то, что я никак не могу вспомнить, где был этот сад с текущим по нему ручьем. Знаю только, что где-то рядом с истоком реки Буны, что двор был вымощен мелким белым булыжником, сквозь который пробивалась трава, что по стене ползала какая-то ящерица и что мы лежали под виноградом, из плодов которого и была произведена лозовача, которую мы пили. Посреди двора бил небольшой фонтан, на струе которого прыгал мячик для пинг-понга, подчиняясь неизвестным мне законам физики.

Старика звали Сулейманом, но Зуко называл его исключительно Чарли (в то лето все для него были — Чарли!).

Хоть убей, не могу вспомнить, где это было, потому что мы здорово выпили той ночью!

Ну и что делать теперь, четверть века спустя?

Как некогда камни, переставляю я сцены из той старой истории, чьи перепутанные страницы настигли меня спустя столько лет.

И рассказ про Осман-пашу журчит иначе.

Когда августовским вечером 1876 года одинокий Осман-паша спускался по извилистой дороге в Котор, усталый и пропылившийся в долгом пути, сгорая от желания еще раз попытать счастья за зеленым сукном, ему казалось, что, покидая дикие черногорские скалы, он возвращается в давно потерянный рай, пропитанный запахами рыбы и средиземноморской растительности, пронизанный светом и цивилизованной жизнью. Он возвращался к тому, о чем давно забыл...

"Весь городок Котор, — говорится в одном из путеводителей того времени, — и его три сотни домов расположены на небольшом пространстве, у самого подножия высоких гор, на дугообразном морском берегу, напоминающем широкий, окаймляющий море бордюр. Дома в основном высокие, в два этажа, а улицы такие узкие и тесные, что трудно дышать из-за неприятного запаха сырости, которую божие солнце никак не может высушить, потому что из-за высоких домов не в состоянии попасть в узкие расщелины улиц. К тому же летом тут солнце припекает словно в жаркой Африке, да еще со всех сторон почти город окружен мощными отвесными голыми скалами, от которых веет жаром как от вовсю топящихся печей. А над вершинами исполинских голых гор вечно сбираются темные облака, зачастую проливающие на Котор обильные дожди. И вот на этом узком пространстве проживают три тысячи душ, не считая войска, кое располагается как в городе, так и выше его, в крепости на каменистом холме. Если бы не было в Которе крепости, а в ней австрийского войска, путник чувствовал бы себя тут как в настоящем черногорском селении".

Проезжая верхом под балконом патрицианских палат на взмыленной черной кобыле, паша прислушивался к женскому смеху и отголоскам оркестровой музыки в портовых ресторанах — он вновь был в цивилизованном мире хорошо знакомых удовольствий и пороков.

На улице Курв блудницы всех возрастов и наречий отчаянно хватали его за сапоги и стремена, заклиная спешиться и провести с ними ночь. Он приметил несколько итальянских тратторий с рыбой, устрицами и бутылками вина на льду, а затем проехал мимо какого-то австрийского отеля, в который входили дамы в сопровождении офицеров и цивильных господ в цилиндрах. Он хорошо знал, что этот город, давно утративший в южной Адриатике свое значение, битком набит сомнительными личностями, работающими на всевозможные разведки, которые наперегонки старались разгадать намерения сторон, воюющих на залитых кровью черногорских камнях.

Усталый паша, по костюму которого невозможно было определить вероисповедание, национальность и профессию, появился на каменном которском молу и вскоре разглядел вдалеке стоящий на якоре пароход "Сартория" компании L.N.E.C. LONDON, призрачно покачивающийся на мертвой зыби залива. Потом он направился в "Капитанскую кантину", постоянное пристанище Уильяма Эштона.

Он застал его за столом в углу кантины, под макетом средневековой каравеллы. Поздоровавшись, капитан Эштон налил паше рому.

– Следовательно, пока мы не виделись, вы успели прославиться?

– Еще как! – ответил паша.

– Позволю себе заметить: если вы и дальше будете проигрывать эти маленькие, ничего не стоящие горные войны, то никогда не попадете в "Военную энциклопедию"!

– Потому Аллах и позволил мне проиграть битву...

– Sorry, my dear[1] паша!

– У меня есть кое-что для вас... – оборвал паша разговор, вынув из дорожного мешка кожаный кошель.

– Надеюсь, это не скальпы повстанцев?

Паша бросил перед собой мешочек, глухо звякнувший на столешнице:

– Тысяча пятьсот, мой долг вам! А сейчас я должен ехать обратно в Цетине. Меня отпустили под честное слово, только чтобы вернуть долг чести.

– Вы оскорбляете меня! – воскликнул Эштон, побагровев от гнева. – Заявляю вам, что не позволю ничего такого даже самому знаменитому паше!

– В чем, собственно, дело?

– Я никогда не принимаю денег без реванша!

Паша ненадолго задумался, потом процедил сквозь облако табачного дыма:

– Вы настаиваете на этом?

– Безусловно!

– В таком случае, когда буду иметь честь?

– Сначала я должен завершить более прозаические дела... – сказал Эштон. – Карантин, таможня, разрешение капитана порта. И только потом смогу предаться сладким порокам. Скажите, те, в горах, очень пострадают, если вы вернетесь не завтра, а послезавтра?

– Думаю, им не будет без меня слишком тоскливо...

– Завтра в десять вечера у мола вас будет ждать шлюпка с моего парохода. Лучше всего играть на борту, не так ли?

– Как скажете, капитан!

– На ужин – тушеная баранина. О'кей?

– Надеюсь, не английская?

Несмотря на шуточки и небрежный тон разговора, тоска душила пашу как каменная плита, которую так напоминали эти адриатические Содом и Гоморра.

Он встретил которское утро в гостинице "Бельвю", прокурив всю ночь на подоконнике, с которого рассматривал храм Святого Трифуна, построенный, по слухам, Стефаном Неманей.

На заре он увидал маленького человека в берете a la Rembrandt, устанавливающего под самым его окном мольберт и холст; насвистывая, он начал писать австрийскую крепость на холме.

Паша вздрогнул и, не снимая сапог, лег на неразобранную кровать.

57

Днем, прогуливаясь узкими которскими улочками, паша заметил в ювелирной лавке мисс Марджори.

– Я думаю, эти серьги вам очень к лицу... – сказал он изумленной англичанке, тихо зайдя ей за спину.

– Как вы здесь оказались? – прошептала она, не веря своим глазам.

– Путешествие с общеобразовательной целью, – засмеялся паша. – А вы?..

– Моя черногорская авантюра завершилась. Пришло время отыскать какую-нибудь другую войну.

– Каким пароходом отплываете?

– "Сарторией"...

1. Извините, мой дорогой... (*англ.*)

– Генри Уильям Эштон!

– Вы с ним знакомы?

– Сегодня вечером я у него в гостях...

– Я искала вас, чтобы проститься. Но только вы как сквозь землю провалились. Никто не захотел сказать, куда вы подевались!

– Простимся сегодня вечером. Никогда не поздно...

– Я велю доставить в каюту ваше любимое бордо...

– Вы уже выбрали, госпожа? – вмешался в разговор ювелир.

– Да, конечно.

Мисс Марджори открыла золотой медальон и протянула его ювелиру:

– Вы можете вставить сюда портрет?

Ювелир взял из ее рук миниатюру и поднес к глазам:

– Какой красивый мужчина!

– Могу ли я посмотреть? – спросил паша, протягивая руку.

– Нет! – воскликнула Марджори, но было уже поздно; старый еврей протянул миниатюру паше.

– Божественная техника! – произнес ювелир восхищенно.

Осман-паша побледнел.

Это был его портрет!

– Подарок от Верочелло... – кокетливо произнесла англичанка. – Как видите, вы тоже отправитесь со мной в путешествие.

58

Чуть позже паша наткнулся на Верочелло, который, стоя на пустынной площади, старательно срисовывал укрепления. Он остановился и с интересом принялся изучать работу художника.

– Красивый пароход "Сартория"? – спросил художник, не отрываясь от мольберта. – Жалко, что он не сможет отплыть, пока вы будете на его борту.

– Как же ты это устроил?

– Я пользуюсь авторитетом у капитана порта.

– А если я вовсе не хочу уплывать?

– Небольшая предосторожность никогда не помешает! Профилактика – великая вещь!

Паша сгреб в кулак широкий галстук художника и поднял его со складного стула. Верочелло моментально сменил злобу на притворную покорность с изрядной долей чисто женской ядовитости:

– В бою вы не были таким решительным, паша хазретлери... – злобно поклонился Верочелло вслед паше, когда тот, разозлившись на себя за несдержанность, уже зашагал прочь.

59

А вот еще один случайный камень, который, на первый взгляд, не имеет никакого отношения к руслу, в котором течет повествование про Осман-пашу...

Я принес этот камешек с другого конца Балкан, с горы над городом Алексинац; точнее, я вынул его из ворот перед церковью Святой Троицы в селе Верхний Адровац, куда меня однажды летом случайно приве-

ла дорога. Я осторожно опускаю его в струю этого рассказа, которая стремится влиться в иные судьбы, в историю...

Несмотря на упорные ультимативные требования великих держав не воевать с Турцией, Сербия, насчитывавшая чуть меньше полутора миллионов населения, поднялась против Османской империи, у которой тогда было около сорока миллионов подданных. И сербы не нашли на Балканах ни одного союзника! Тем не менее в Сербию стали прибывать русские добровольцы. В мае 1876 года в Белград приехал Михаил Григорьевич Черняев, посланник славянских комитетов. 15 мая он получил сербское подданство и был произведен в генералы. 18 июня объявили войну. 20-го выстрелила первая пушка.

28 июля Осман-паша был взят в плен при Волчьем Доле.

"Три десятка русских и столько же черногорцев составили в августе под командованием русского Кириллова так называемый 'отряд пластунов', – пишет в 'Дневнике добровольца' родоначальник сербской журналистики Пера Тодорович. – У этого отряда был черный флаг с белым черепом и скрещенными костями, как их изображают на могилах, и еще называли они себя 'легионом смерти'"...

"В среде людей, к которым принадлежал Сергей Иванович, в это время ни о чем другом не говорили и не писали, как о славянском вопросе и сербской войне... Резня единоверцев и братьев славян вызвала сочувствие к страдающим и негодование к притеснителям, – пишет Лев Николаевич Толстой в 'Анне Карениной'. – И геройство сербов и черногорцев, борющихся за великое дело, породило во всем народе желание помочь своим братьям уже не словом, а делом".

Я перелистываю эти страницы – там, где кончаются любовные похождения санкт-петербургского Дон Жуана Вронского и начинается история полковника Раевского.

" – Я, как человек, – сказал Вронский, – тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит. А что физической энергии во мне довольно, чтобы врубиться в каре и смять или лечь, – это я знаю. Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мне не то что не нужна, но постыла. Кому-нибудь пригодится...

– Вы возродитесь, предсказываю вам, – сказал Сергей Иванович, чувствуя себя тронутым. – Избавление своих братьев от ига есть цель, достойная и смерти и жизни...

Вронский крепко пожал протянутую руку Сергея Ивановича.

– Да, как орудие, я могу годиться на что-нибудь. Но, как человек, я – развалина, – с расстановкой проговорил он".

И так вот, вместе с профессиональными военными, славянофилами, увлекающимися натурами, героями и авантюристами, романтиками и фаталистами, ехал седьмого августа и полковник Раевский, послуживший Толстому прототипом Вронского – любовника Анны Карениной. Он нес на плечах крест проклятого изгнанника; из петербургских залов, освещенных тысячами свечей, он прибыл в страну Сербию, понимая, что никогда больше не вернется на берега Невы...

После бессонной ночи в которской гостинице "Бельвю" 20 августа 1876 года Осман-паша умылся и, насколько смог, привел в порядок свой серый редингот.

Примерно в то же время полковник Николай Николаевич Раевский приводил в порядок свою униформу и умывался водой из кувшина, который держал денщик.

Выйдя из гостиницы, Осман-паша дал портье золотой. Тот глубоко поклонился.

Полковник Раевский вынул из кармана золотые часы с цепочкой и отдал их денщику. Тот удивленно спросил, за что ему дарят такую дорогую вещь.

Раевский отвечал, что часы ему более не нужны. Он чувствует, что сегодня отправляется туда, где времени не существует.

В полдень 20 августа 1876 года Осман-паша случайно встретил мисс Марджори в которской ювелирной лавке, которая принадлежала Исааку Альбахари.

В момент, когда паша рассматривал свой миниатюрный портрет, полковник Раевский, насмерть сраженный турецкой шрапнелью, пал на шанцах у села Верхний Адровац.

Оба они пали на одном и том же месте – и Вронский, и полковник Раевский.

Один погиб в Сербии – другой все еще живет в романе яснополянского титана.

Они скончались в десятке метров от шанцев, на возвышении, где стоит теперь часовня, воздвигнутая в 1903 году графиней Марией Николаевной Раевской в память погибшего брата.

Таким образом, из оброненной фуражки Раевского возник храм Святой Троицы, возведенный из белого и красного гранита.

"Божественная техника", – сказал ювелир Исаак Альбахари.

60

– Похоже, вся "Локанда" переселилась в Котор! – сказал паша благородному фон Готорфу, когда тот вошел в "Капитанскую кантину".

Однако барону было не до шуток.

Он предложил Осман-паше побег. Есть надежные люди, которые перебросят его на небольшом паруснике на итальянский берег, откуда он направится в Абиссинию, где фон Готорф сделает его военным руководителем только что начавшегося мятежа. По словам барона, в Стамбуле Осман-пашу ждет смертная казнь. У него еще есть шанс опять начать военную карьеру, сохранить имя и репутацию.

Паша, молча выйдя из кантины, оставил его в полном недоумении.

61

Шлюпка с "Сартории" вынырнула из темноты и глухо стукнулась бортом о каменный мол.

Приняв пашу, шесть пар весел беззвучно окунулись в спокойную черную воду, и шлюпка бесшумно заскользила к центру залива.

Осман-паша вглядывался в напряженные лица гребцов.

Одна звезда сорвалась и упала в море.

Минувшей ночью он размышлял о смерти. Пытался подвести итоги и решил наконец, что у него было много красивых женщин и удач, больше, чем он заслужил, и вот Аллах, пожалуйста, подарил ему поражение. А человека, ни разу не потерпевшего поражения, нельзя считать зрелым... Он видел все чудеса света: прекраснейшие города и парки, моря и реки, пил лучшие вина, курил замечательные табаки и дурманящие травы, но во всем этом он участвовал всего лишь как равнодушный созерцатель собственной жизни, надеясь, что, может быть, окончательный смысл и из-

бавление в один прекрасный день найдет в вере, которая в конце концов принесет ему полный покой. Разве можно еще надеяться получить в этой жизни что-то, чего он не попробовал, не испытал, не коснулся, не присвоил или не отнял, не выпил, не истратил, не выкурил, превратив в дым?

Покой никак не приходил! Куран был все так же далеко, как и детство, прошедшее на берегу Каспийского моря в родной Шемахе, где в мейтефе[1] он заучивал наизусть суры, не понимая их сути.

Единственное, что еще могло вырвать его из многолетней спячки чувств, – игра. Ему казалось, что жизнь и мир для него теперь – судьбоносное зеленое сукно и только здесь все просто и ощутимо. Только за партией в покер можно встретиться с чудом. Он держал в руках выигрыши (которые не так уж и радовали его) и отдавал проигрыши, которые доставляли ему мазохистское наслаждение, чувствуя, что может в любой момент обратить приобретения и потери в победу и избавление. С картами в руках он был неприкасаемым хозяином жизни и смерти. Ничто не могло сравниться с этим!

– Мисс Эванс ожидает вас в своей каюте! – доложил старший помощник "Сартории". – Капитан Эштон просил сообщить вам, что партия начнется после полуночи, когда он вернется из Котора с другими гостями... Your luggage, your Excellency?

– I am a man with no possessions![2] – ответил паша с улыбкой.

62

В ванной комнате роскошной каюты, пребывающей в типичном для женщин беспорядке, мисс Марджори намыливала Осман-пашу, словно экзотического бородатого ребенка.

О чем они разговаривали после любви?

– Ты странно выглядишь без фески...

– Еще более странно я выглядел бы без головы!

– Как много времени мы потеряли!

– Черногория не создана для любви. В горах мерзко; любить на море...

– Почему бы тебе не отправиться со мной в Лондон? Капитан твой друг...

– Чем заняться паше в Лондоне? Поезжай со мной в Стамбул!

– Чем заняться корреспондентке "Таймс" в Стамбуле?

– Ну, например, любить пашу!

– Смею предположить, в гареме?

– Жен у меня гораздо меньше дозволенного верой.

– Любить пашу! Прекрасное занятие... Но что за удовольствие любить мертвого пашу? Разве тебе не надоели скитания и бессмысленные войны? Ты представляешь, как на все это смотрят в цивилизованном мире?

– Меня это не волнует...

– Шутки в сторону! Это похоже на сведение счетов между африканскими племенами. Ты выше этого. У тебя белая кожа, длинные пальцы... Ты знаешь, что у тебя руки музыканта?

– Или карманника?

– В конце концов ты вернул долг своему народу, рассчитался с ним. Ты создан для иных дел. Не могу представить тебя во главе толпы вонючих солдат, пропахших конским и собственным потом. Эти маленькие войны из-за никому не нужной каменной пустыни... Брось все и начни, наконец, человеческую

1. Винная лавка (*турецк.*).
2. "Ваш багаж, ваше превосходительство?" – "Я – человек без имущества!" (*англ.*)

жизнь! Если захочется экзотики, то в твоем распоряжении Британский музей. Там тоже можно полюбоваться азиатскими солдатами; правда, они набиты соломой...

– Поговорим о чем-нибудь другом...

– Когда отплывает пароход?

– Утром...

Сильный стук в двери каюты прервал любовь.

– Excellency! Капитан сообщает, что все готово!

Марджори зарылась лицом в покрывало, которое очень шло к ее роскошным рыжим волосам.

63

В "Воспоминаниях игрока" дубровчанин Нико Бенедетти Гради, полномочный представитель эфиопского императора Менелика, в главе, посвященной самым интересным партиям в покер, участником которых он был, отмечает, что в которской гавани в 1876 году он играл на пароходе "Сартория" с высокопоставленным турецким офицером, знаменитым Осман-пашой, который в течение одной ночи дважды предъявил полый флеш, а один раз – флеш-рояль! Эта партия началась где-то после полуночи, вспоминает Гради, а закончилась в семь утра, когда пароход "Сартория" поднял якоря, полегчав на целое состояние. Его превосходительство Нико Бенедетти Гради находился в Которе с целью вербовки опытных вояк для абиссинского императора.

В упомянутой партии сошлись Осман-паша, капитан Эштон, всемирно известный английский путешественник и фотограф-любитель сэр Хемфри Снайдерс, а также автор "Воспоминаний". Эта книжечка хранится в архиве города Дубровника (Бенедиктинский монастырь святого Иакова). Это, в сущности, что-то вроде любопытного руководства, написанного по-итальянски. Отпечатана в Новаре в 1880 году (Tipographia De Agostini – Novara). Особую ценность представляют "медальоны" – короткие занимательные биографии игроков того времени, с которыми Нико Гради познакомился во время своих путешествий по дипломатическим делам. Книга проиллюстрирована "тридцатью двумя картинками", на одной из которых изображены участники знаменитой партии в покер, точнее, только трое из них, поскольку снимок сделал сэр Хемфри. Фигуры Гради и капитана Эштона получились отчетливо, в то время как облик Осман-паши расплывчат, словно вокруг него сконцентрировалась туманная аура. Лицо его едва различимо, но взгляд будто пробивается сквозь таинственную дымку, возникшую, вероятно, из-за низкого качества фотографической пластинки. Однако отчетливо видна его правая рука с длинными пальцами, лежащая на колоде карт.

Паша играл в самый странный покер, который мне только доводилось видеть... – пишет Гради. – После раздачи карт он не прикасался к ним, они просто лежали на столе. Он поднимал ставки, не заглядывая в карты, будто видел их насквозь. Казалось, игра вовсе не интересовала его. За всю ночь он не прикупил ни одной карты... Все время много курил и много пил. В один прекрасный момент капитан Эштон попросил пашу открыть карты. Словно сомнамбула, внезапно вырванная из глубокого сна, он перевернул их, и мы увидели мечту каждого игрока – полный флеш! Чудо лишило нас дара речи. Паша же ничуть не обрадовался выигрышу в пятьдесят тысяч форинтов. Он только спросил еще од-

ну бутылку бордо, которую незамедлительно принесли. Когда утром мы поднялись из-за зеленого сукна, капитан Эштон обратился к паше:

– Вам придется найти новый кошель для выигрыша! – Он указал на кучу золотых перед везунчиком.

– Обойдусь старым! – ответил паша, после чего подошел к иллюминатору, открыл его и высыпал в море содержимое кожаного мешка, который всю ночь лежал перед ним на столе. Потом он вывернул его над столом, и на стол вывалилось несколько застрявших во швах солдатских пуговиц. А мы приняли их за золото! Конечно же, мы спросили, откуда у него столько пуговиц, на что получили следующий ответ: 'Турецкие солдаты, находясь в плену, по уставу Оттоманской армии не имеют права застегиваться на пуговицы!' После чего ссыпал огромные выигранные деньги в кошель и переметную суму. Щедро одарил корабельного офицера, распечатывавшего колоды карт, а также моряков, прислуживавших за столом.

– Скажите честно, как вы поняли, что выиграете сегодня ночью? – спросил его капитан Эштон.

– Есть очень простая теория, – отвечал паша. – Если на человека обрушиваются несчастья, то они продолжаются до тех пор, пока не доведут его до полного отчаяния. И тогда уже не может быть хуже. Только лучше! Это, господа, примерно то же, что коснуться ногами морского дна...

Еще он сказал, что на Востоке есть вещи, которые западный человек постичь просто не в состоянии. Одна из них – закономерности в человеческой судьбе.

– Человече, все твои битвы заранее проиграны! – закончил паша, пакуя дорожные сумы.

Сэра Хемфри весьма заинтересовала эта мысль, и он спросил пашу, кому она принадлежит, потому что хочет записать ее для памяти. Паша ответил, что автор ее – человек, написавший самую читаемую книгу в мире, зовут его Мухаммед, а книга называется – Коран.

В семь утра мы отплыли в Ливерпуль. Никогда больше я не слышал о везучем турецком паше, который, выигрывая, выглядел таким несчастным...

64

В то же время в Цетине, в "Локанде", бились об заклад, вернется или не вернется паша из Котора.

На стол зеленого салона выкладывались огромные деньги.

Кое-кто цитировал владыку Радо: "...Никто так не врет, как турчина!"

Однажды между воеводой Вукашином и полковником Tötel'ем вспыхнула ссора:

– С первого мгновения мне стало ясно, что вы находитесь здесь только для того, чтобы приуменьшить в мире значение нашей победы, равно как и ее цель – освобождение наших братьев вне пределов Черногории!

– Мне безразлично, что вы думаете, – парировал Tötel. – Но, отдавая должное вашей личной храбрости, вынужден одновременно сообщить вам, что Дом Габсбургов не станет равнодушно взирать на ваши претензии на Герцеговину!

Барон Готорф весело удвоил ставку, вывалив на кон новые золотые за возвращение Осман-паши.

– Кто ответит? – спросил он.

Присутствующие сделали ставки против него и воеводы Вукашина.

– Сербия и Черногория вступили в войну не для того, чтобы ограничить вашу монархию... – вмешался в разговор генерал Белимаркович, ставя против воз-

вращения паши. – Они стремятся вернуть собственные территории, которые принадлежат им по праву и были несправедливо отобраны у них!

– Я представитель императора и ваш гость! – спокойно произнес Tötmel, ставя золотые против возвращения паши. – Я не только не уполномочен, но и не должен вам объяснять некоторые вещи. Впрочем, это вопрос воспитания; вашего, я имею в виду... Удваиваю!

Благородный Готорф парировал, увеличив свою ставку в пользу паши также вдвое.

– Я полагаю, цесарь направил вас сюда не для того, чтобы учить нас хорошим манерам... – возразил Вукашин, покраснев от гнева. – Для этого он мог прислать в Цетине гувернантку или воспитательницу из пансиона для девочек!

Полковник Tötmel высокомерно улыбнулся.

– Я думаю, было бы слишком циничным посылать даму, пусть даже из низших слоев общества, в такую страну! – торжественно произнес он, после чего воскликнул: – Втрое больше за то, что паша не вернется! Я хорошо знаю, чего стоит слово турецкого офицера!

– Господин императорско-королевский полковник! – резко поднялся воевода Вукашин. – Мне кажется, кое-каким манерам вас мог бы обучить распоследний черногорский пастух!

– Господа, прошу вас, прекратите ссору! – вмешался Белимаркович. – Не пристало офицерам вести себя таким образом!

– Я прекращаю, – абсолютно спокойно произнес полковник Tötmel. – Мое достоинство не задето. Хочет еще кто-нибудь сделать ставки?

Большие деньги полетели на зеленое сукно, все против возвращения паши.

Только фон Готорф противился всеобщему мнению о чести турецкого офицера и поставил на нее все свои деньги.

Ставки достигли головокружительных высот, когда двери салона широко распахнулись.

В них улыбался смертельно усталый Осман-паша, с ног до головы запорошенный пылью черногорских проселков.

Барон, торжествуя, сгреб со стола деньги.

– Надеюсь, я не опоздал к вечерней сдаче? – произнес паша, похлопав по дорожным сумам, и дукаты отозвались в них глухим звоном.

– Почему вы были так уверены, что он вернется? – спросил Вукашин барона.

– Очень просто! – отвечал тот. – Я видел, как он выехал из Котора в Цетине, и обогнал его на полпути.

65

В эту третью подряд бессонную ночь паша вернул карточные долги и выигрывал бешеные деньги у каждого, кто садился за стол. Как будто он не мог уже никогда проиграть, даже если бы и захотел!

Прокуренные ночи тасовали разномастные колоды дам, валетов, королей, воевод, сердаров, консулов, европейских авантюристов и иностранных корреспондентов в круговороте азарта, блефа и звона талеров жизнь и мир сошлись здесь, за зеленым сукном посреди Монтенегро. Неподвижное, внушающее леденящий страх лицо паши, прокопченное дымом, алкоголем и поражением, не выдавало никаких чувств, кроме отвращения, залегшего в уголках губ. Его коротко стриженная борода заметно поседела.

"Я описываю приключения собственной жизни, и мне в голову не приходит критиковать хоть кого, просто я обо всем рассказываю так, как

оно и случалось... — вспоминает одну из тех ночей Мартин Джурджевич. — Поверенные в один день завершили дискуссию о перемирии, а ввечеру после ужина в специальной комнате гостиницы уселись за карты. За столом были Станко Радонич, Константин-паша, плененный Осман-паша и я, а с десяток господ болели за нас. И так мы загибали углы до трех пополуночи, и за игрою осушили достаточно бутылей легкого венгерского и шампанского..."

Сколько просидел Осман-паша за карточным столом, столько вестовой и простоял за спинкой его стула. Неслышный, прямой и аккуратный, стоило только паше протянуть руку, как он тут же протягивал полный бокал. Поскольку деньги скапливались на столе огромными кучами, в его обязанности входило собирать их и складывать в кожаную переметную суму, стоявшую у ног паши.

"Осман-паша был страстным картежником, игроком в трик-трак и бильярдистом; но в каждую игру он играл аккуратно и корректно. У него не было никаких занятий, разве что единожды в неделю он отправлял семье письмо в несколько строчек, в которых сообщал о том, что жив и здоров, что в Цетине у него все хорошо и чтобы они не беспокоились о нем. Дни и ночи напролет Осман-паша сидел в ресторане или играл, а больше всего ему нравилось гонять шары на бильярде (тридцать одно). Эти партии он разыгрывал с десятком партнеров при ставке в один дукат, и Осман-паша, ловкий бильярдист, выигрывал почти каждую вторую партию, набивая карманы дукатами. Черногорцы уже начали было роптать, потому как он отбирал у них большие деньги".

Четверть века спустя я обнаружил в записках Зуко об Осман-паше интересный отрывок, который лучше всего демонстрирует положение этого блистательного профессионала в обществе суетливых черногорских любителей:

"По правде говоря, он обильно угощал партнеров и болельщиков легкими венгерскими винами и французским шампанским, которого тогда хватало в подвалах цетинской гостиницы. Однако, похоже, этого было слишком мало за те деньги, которыми паша ежедневно набивал свою переметную суму. И здесь проявились человеческие зависть и злоба, и его, лива Осман-пашу, верного слугу падишаха, пленника князя и первого игрока в покер и бильярд в мощной Оттоманской империи, какие-то пакостники оклеветали перед государем и потребовали либо выпустить пашу из плена, либо погубить его, либо посадить под арест, иначе случится нехорошее. Князь оставил без внимания их жалобу, и клеветники продолжили играть с оклеветанным в тщетной надежде вернуть хотя бы часть своих денег. Конечно же, бывали дни, когда паша проигрывал, но именно они становились худшими для выигравших, потому что назавтра они уже точно оставались с пустыми карманами".

Искусный игрок, паша, конечно же, знал, что нельзя только выигрывать, потому позволял партнерам время от времени хоть немного отнять у себя, заманивая, по существу, опьяненных азартом черногорцев в тончайшие сети, где у них, запутавшихся в невидимых нитях порока и страсти, отнимал последний грош.

"На вечернюю партию собирались в определенное время в специальной гостиничной комнате, — записал Джурджевич. — В те времена не было иных забав, и если кто из нас не являлся, коридорные бегали по гостинице, пока не созовут всех".

Прилежный хроникер упоминает игроков, которым не повезло с Осман-пашой. В их число, помимо прочих, попали Константин-паша и

фатим-эфенди Марко Полянич, оба турецкие парламентарии, затем генерал Белимаркович, воевода Стева Радонич, русский консул Ионин и оба брата Аменковы. Младшему брату только что исполнилось двадцать лет, старшему – двадцать восемь. "Это были веселые люди и игроки", – записал Джурджевич. С ними был и русский Стременков, сын директора азиатского департамента; ему, страстному почитателю открытого американского покера, было лет тридцать.

Молодые и глупые, русские непрерывно ссорились и упрямились; особенно они злились, когда Осман-паша обыгрывал их в американский покер. Однажды ночью, после долгой и упорной партии в карты, братья, одетые в черногорские воинские одежды, поспорили, чье орудие убийственнее. Старший Аменков твердил, что боевая сабля лучше ятагана, младший придерживался противоположного мнения. Вот описание случившегося ранним утром в зеленом салоне "Локанды":

"Препирательство между ними достигло высокого накала и настолько обострилось, что братья решили сойтись в дуэли, причем старший бился бы саблей, а младший – ятаганом. Они и вправду сошлись, и младший порезал и порубил ятаганом пальцы рук своему брату, причем так несчастно, что лекари объявили о том, что они никогда больше не будут разгибаться. Этот случай вызвал ужас в Цетине, но в нем был и свой юмор: братья в тот вечер угостили все наше общество в гостинице отменным ужином с шампанским. Чтобы торжественно отпраздновать примирение после дуэли. В их честь и было обильное веселье".

– Кто сдает? – хладнокровно спросил паша после того, как дуэль закончилась и лекари увели старшего брата.

Поздно вечером, после ужина, была сыграна одна из наиболее волнующих партий, после которой Константин-паша вынужден был занять у Марко Полянича некоторую сумму, чтобы хватило прожить до возвращения в Мостар. По окончании этой партии Осман-паша наполнил дукатами и левую половину переметной сумы.

66

Нехорошее, о чем предупреждали князя черногорцы, все же случилось. После долгой и утомительной партии, когда один за другим отсеялись все игроки, Осман-паша остался один на один с полковником Tötel'ем. За стульями было много болельщиков, а в воздухе, если только то, чем они дышали, можно было назвать воздухом, ощущалось страшное напряжение.

Паша раздал карты...

– Играю! – произнес вполголоса Tötel.

– Играю... – эхом отозвался Паша.

Свидетели потом рассказывали, что паша после первой сдачи втрое повысил ставку, а Tötel – в девять раз, на что Сархош едва слышным, но совершенно спокойным голосом сообщил, что повышает ее в двадцать семь раз.

Три магические цифры в покере: три, девять, двадцать семь...

Наступила мертвая тишина. Всем было ясно, что эта партия больше, чем игра! Взгляд Tötel'я был исполнен ледяного презрения. Темные глаза паши прикрывала туманная пелена восточной тайны. За зеленым сукном Монтенегро столкнулись два мира: расчетливый Запад и иррациональный Восток. Иоганн Себастьян Бах и хриплый муэдзин с минарета провинциальной мечети. Раци-

онализм католичества и фатализм ислама. Лед альпийских глетчеров и дым кальяна...

После долгого молчания полковник Tötmel отложил карты. Он не решался платить в двадцатисемикратном размере. На руках у него был фуль – дама с тузами. Что было у паши – останется тайной на веки вечные, потому как он не хотел доставлять удовольствие Tötmel'ю, демонстрируя свои карты. Он равнодушно сбросил их в остаток колоды и перетасовал.

Посыльный паши элегантным жестом крупье собрал со стола деньги, которые покорно скользнули в растворенную переметную суму, оставив по себе лишь затухающий звон.

– Все дело в ловкости рук! – цинично пояснил Tötmel, изобразив пальцами, как следует тасовать карты. Эта фраза прозвучала как удар хлыста. Всем было ясно: полковник обвинил пашу в передергивании!

Никто и не заметил, как паша с молниеносностью рыси, хватающей когтями добычу, погасил сигарильос о толстую щеку Tötmel'я. Минуту спустя, как будто ничего не случилось, как будто он и не двигался со своего места, паша, скрестив руки на груди, разглядывал австрийского полковника, схватившегося за обожженную щеку. Уголек от сигарильос все еще дымился на его бриджах.

– Надеюсь, паша не откажет мне в удовлетворении, – сказал он, поднимаясь из-за стола. – Я пришлю секундантов!

Он повернулся и вышел из салона.

– Поступок не из умных, – повернулся к паше Вукашин. – Положение весьма затруднительное: следует учитывать, что вас еще не освободили. Если Tötmel убьет вас, мы не сумеем оправдаться перед обществом.

Паша все так же спокойно сидел над колодой карт.

– Вы будете моим секундантом? – спросил он, не поднимая глаз.

– Это может стоить мне карьеры...

– Могу ли я предложить себя в секунданты? – церемонно поклонился князь Божидаревич. – Я – живая энциклопедия дуэлей! Мне знакомы все способы умерщвления человека человеком!

– Премного вам благодарен! – отозвался паша.

На следующий день секунданты встретились в ресторане "Локанды". Непосвященному могло показаться, что несколько прекрасно воспитанных мужчин просто беседуют о погоде и политике.

Полковника Tötmel'я представляли сербский генерал Белимаркович и черногорский воевода Радонич, со стороны паши переговоры вели князь Божидаревич и воевода Вукашин.

Была достигнута договоренность, что дуэль состоится на Бельведере. По крайней мере, умирающему откроется прекрасный вид на Цетине. Что касается оружия, то решили драться на кинжалах. Поединок продолжится до первой крови, а начнется рано утром, когда на Бельведере никого не бывает.

67

Всю ту ночь Зуко сильно волновался.

Завершив писанину раньше обычного, мы спустились в Скадарлию[1], где нас кто-то пригласил к столику. Зуко, сколько ни пил, никак не мог напиться. Он сделался раздражительным, нервным и проявлял оче-

1. Белградская улица, на которой расположено много популярных ресторанов.

видную склонность к ссоре. Мы не задерживались надолго ни за одним из столиков: выпив по рюмке, направлялись к следующим друзьям-приятелям...

За столом одного властного человека, тогдашнего министра тайной полиции, где речь шла о законах, Зуко высказал свою знаменитую мысль о том, что "глупость есть величайшее вербальное преступление".

Автор исторических романов пригласил нас прийти к нему завтра на именины.

— Только Аллах Пегамбер знает, буду ли я завтра жив! — ответствовал Зуко.

Никто, кроме меня, не понял, до какой степени это было всерьез.

68

Было так.

Паша сбросил кафтан, завернул рукава белой сорочки и выбрал кинжал.

Полковник Tötmel взял второй. Щека у него была заклеена пластырем.

Едва секунданты успели выкурить по сигарете, как дуэль завершилась.

Полковник, хотя и был на голову выше паши, оказался беспомощным перед черноволосым скандалистом, что вертелся вокруг него как кошка.

Сначала он выбил у него из рук оружие и повалил на землю, но вместо того, чтобы прикончить полковника, паша кончиком кинжала сорвал со щеки Tötmel'я пластырь и сделал над ожогом небольшой надрез.

Все отметили, как он сказал ему, будто оказывая услугу:

– Я слышал, в вашей стране в моде шрамы от студенческих дуэлей. У вас будет целых два...

Повернулся и зашагал к своему коню. В этот момент на Бельведер вылетели охранники князя Николы.

– Что вы тут творите, люди? – закричал было их начальник, но, заметив воевод Вукашина и Радонича, успокоился. Вскоре верхом примчался бледный как полотно Верочелло. Он пригрозил, что донесет обо всем князю.

– Не переживай! – успокоил его паша. – Ты доставишь меня в Стамбул живьем!

Начальник охраны спешился и подошел к паше:

– Государь велел сказать, что ты можешь ехать куда угодно, паша хазретлери! Но чтобы никогда больше не появлялся в наших городах с войском!

Посыльный помог Осман-паше подняться в седло.

– Чего вы еще ждете, люди? – спросил начальник охраны.

– Ждем восхода солнца, – ответил князь Божидаревич. – Говорят, отсюда открывается великолепный вид на Скадарское озеро...

69

Вернувшись в гостиничный номер, паша с вестовым обнаружили пустую переметную суму. На ней лежало письмо. Посыльный прочитал его вслух:

"Мой дорогой паша хазретлери! Я знаю, что исчезновение денег не принесет вам большого разочарования, потому что, так или иначе, в Стамбуле вас ждет верная смерть. Мне же, напротив, они могут принести счастье. Я уезжаю в Абиссинию, и ваши дукаты пойдут на оплату английских ружей. В порядке воз-

мещения ущерба можете взять все запасы динамита, хранящиеся в моем номере. С уважением, Готлиб благородный Готорф, барон.

P. S. Я буду молиться за упокой вашей души".

Говорят, паша расхохотался так, что прохожие на площади замерли и обернулись к окну, полагая, что кто-то за ним сошел с ума.

Посыльный бережно прикрыл створки.

Потом он обратился к паше с просьбой позволить ему остаться в Цетине, которое, как он сказал, очень полюбилось ему.

После приступа истерического смеха Осман-паша впал в глубокое уныние. Он смотрел прямо перед собой, не замечая посыльного.

– Здесь, в "Локанде", требуется метрдотель, а я – единственный в городе человек, который не окунает палец в суп, подавая тарелку... – говорил тот, заканчивая паковать скромный багаж. – Я вам в любом случае более не понадоблюсь.

– Да поможет тебе Аллах! – рассеянно воспрял ото сна Осман-паша.

Посыльный поцеловал ему руку.

Дорожные мешки были уложены.

70

В холле "Локанды" группа вооруженных черногорцев и обитателей гостиницы окружила гусляра, слепого Новицу. Вот как это увидел Иосиф Холечек, сумевший даже записать несколько строф:

"Новица взялся за гусли, подтянул струны, весело ощупал украшения на грифе, попробовал голос, левую ногу поставил на ступеньку, гусли положил на левое колено, несколько раз прошелся смычком по струнам и запел. Голос его сначала казался слабым, не гибким, старым, как и сам Новица. Но чем дальше он пел, тем сильнее загорался, а голос становился все сильнее и полнее.

Ой, соколики, остановитесь в лёте,
Вы замрите, песнь мою услышав,
Крылья сизые пока свои сложите
И послушайте, что Новица расскажет
Вам во имя славных черногорцев!

Тут гусляр легко и элегантно поклонился публике, среди которой находился и Осман-паша, и, взявшись рукой за шапку, сдвинул ее немного на сторону. Дружина вслед за ним подхватила: 'Ах, во имя славных черногорцев!' И сразу наступила тишина. Было как в церкви. Ни сверчок не застрекотал, ни птица не запела. Правда, не потому, что птицы замерли в воздухе, чтобы выслушать песню Новицы, но только, видимо, из-за того, что небольших певчих птиц нет в Герцеговине, да и в Черногории тоже. Они не приживаются тут, потому что нет здесь семян и деревьев, к тому же хищные птицы пугают их...

Говорит герой Осман-паша наш Сархош:
Выйду я на битву с Тётel-паном!
Если Бог позволит мне и сила,
Я тогда снесу ему макушку,
И в крови его я искупаюсь,
Песье сердце из груди я вырву

И ему же в рот его заправлю!
Ну, а если счастья мне не будет
И меня убьет на поединке Tömel,
Братья милые, не мстите за меня вы...

Каждую строку сопровождал воодушевленный гул. Глаза сияли, щеки горели...

Говорит ему герой Осман-паша наш:
Ой ты, Tömel, цесарский служака!
С головою на плечах с двора ушел ты,
Без нее сюда же ты вернешься,
В час лихой на свет ты появился...

Паша прощался с друзьями и хозяевами.

— Кто знает, доведется ли нам еще встретиться, — сказал воевода Вукашин.

— Видимо, на том свете... — подхватил паша.

Гусляр Новица продолжал воспевать поединок с полковником Tömel'ем:

...Он поднялся и тотчас за нож схватился
И, шатаясь, за пашой рванулся.
Но паша наш словно сокол налетает
С плеч долой тут голову срубает,
И берет ее за чуб своей рукою,
И относит прямо к нам в Цетине...
И снимает с тела его саблю,
Доломан с плечей его снимает,
Одевается в богатые одежды,
Достает из ножен ножик вострый,
Им у шваба груди разрезает
И оттуда сердце вырывает".

(Переводчик с чешского, знаменитый Данчин, пишет по этому поводу: "Когда я начал переводить эту песню обратно на сербский, то сразу почувствовал, что не обладаю поэтическим даром и лирическими ощущениями автора; и тем самым легко, очень легко могу ввести в заблуждение уважаемых читателей, так как, будучи 'суховатым', потеряю из этого коронного произведения великолепные драгоценные каменья, а вместо них вставлю — фальшивку из стекла! Но все-таки я перевел; а чувствительный читатель пусть меня пожалеет за то, что иной раз я складывал строчки так, как это сделал бы на моем месте любой другой, поскольку не поэт я!")

71

Осман-пашу провожали все обитатели "Локанды", кроме Tömel'я. Он оставался в своем номере. Провожать собрались и все кельнеры, повара, портье и управляющий гостиницей. Паша одарил прислугу дукатами, оставшимися после кражи.

На прощание он расцеловался с воеводой Вукашином, который сказал, что государь надеется, что в следующий раз он появится в Цетине уже не как пленник, а как желанный гость!

Паша взлетел на коня и, окруженный черногорскими всадниками, выделенными для сопровождения до городской заставы, тронулся легкой рысью, постепенно исчезая в облаке пыли.

Они остановились на вершине горы.

– И куда вы теперь, пресветлый паша? – спросил командир отряда перьяников.

– В Котор! – отвечал паша.

– Вы слышали, как один в Цетине спрашивает, когда отплывает пароход в Котор?

– И что ему ответили?

– Около полудня, если вода будет!

Весело расхохотавшись, паша двинулся вниз по каменистой неровной дороге.

72

"Наутро отбыли из Цетине Константин-паша и Фатих-эфенди, а корреспонденты иностранных газет тоже начали разъезжаться, поскольку интереса для них тут больше не было и не имело смысла оставаться в Цетине на целых шесть месяцев перемирия. И командира из Медины отпустил князь, и многих иных пленников. Тут и русский консул Ионин, и сербский генерал Белимаркович отъехали каждый на свою родину. Белимаркович не снимая носил великолепные черногорские одежды. Немецкий барон Готорф за несколько дней до отъезда динамитом поднял на воздух каменный мост по дороге на Подгорицу, который турецкому войску в военных целях был весьма полезен, – пробравшись сквозь турецкие посты, он с великим риском все это дело произвел; но весь мост разрушить не сумел, а только частично, посередине, так что только пешие могли по нему пройти. Это туркам весьма большой вред причинило, и за то князь наградил его орденом св. Данилы. Этот же барон за день до отъезда своего сообщил мне, что направляется в Египет и в Абиссинию, потому как там скоро бунт начнется, а он страсть как любит, когда бунт происходит, особенно если у диких народов. Но он лгал мне, и тот молодой француз, что в лагере на Коритах назвал его 'chevalier d'industrie'[1], прав был. Барон Готорф накануне отъезда в гостинице всех угостил хорошо за ужином, впрочем, как и каждый день так поступал, всех присутствующих гостей шампанским обнес. А наутро уехал, не заплатив в гостинице по счету шестьсот франков. Я его два месяца спустя в Дубровнике видел, и он показал мне бумаги турецкого командира из Требине, по которым судя, он вступил в турецкое войско к Сулейман-паше; тот как раз занял должность начальствующего вместо Мухтар-паши над войском в Герцеговине против черногорцев. Я же, грешный, простился с Цетине и в обществе русского полковника Стременкова и двух братьев Аменковых выехал через Негуш в Котор..." (М. Джурджевич).

1. Проходимец, мошенник, авантюрист (*франц.*).

За первым поворотом дороги перед Осман-пашой, словно конная статуя, появился князь Никола. Какое-то время они ехали стремя в стремя.

– Что-то ты грустный, дружище Осман! – произнес князь после кратковременного молчания. – Разве ты не рад возвращению домой?

– Я думаю, было бы много лучше, если бы Tömel оставил меня лежать наверху, в Бельведере. Отсрочка только раздражает меня...

– К чему такие грустные слова?

– Ты сам прекрасно знаешь, Ник. В Стамбуле меня не ждет ничего хорошего...

– Спешимся, посидим немного? – предложил князь, и оба всадника свернули с дороги и привязали коней к низкорослому суковатому грабу. Присели на гладкую каменную плиту. Князь вытащил из-за пояса фляжку с коньяком и протянул паше:

– Может, всего одну сдачу, а? – спросил князь. – Как когда-то?

Паша, опустив голову, молчал.

– У тебя есть карты? – спросил князь.

– Ты когда-нибудь видел картежника без инструмента? – отвечал тот, вынимая из кармана редингота нераспечатанную колоду.

– Слышал, что я никогда не ставлю больше талера? – спросил князь. – Чтобы в азарт не впадать...

– Так как же ты поживаешь, Ник? – спросил паша, тасуя карты.

– Как тебе сказать? Какой был, такой и остался; что мое, то мое, и хорош! Никому не завидую, а если кто меня и поносит почем зря, то мне все равно; хвалить же меня, Бог свидетель, особо не за что. Но больше всего сожалею о том, что многогрешен аз.

– А кто не без греха?

– Ну-ка, глянем... – князь открывал карты не спеша, одну за другой, смакуя. Два талера лежали на камне, тускло отсвечивая на темно-зеленом мху.

– Отвечаю! – произнес паша.

– Отвечаю! – ответил князь. – Что у тебя, дружище Осман?

Паша выложил карты на камень.

– Четыре дамы. А у тебя?

– Ты проиграл! Каре королей.

– Покажи!

Князь открыл карты – у него было три короля.

– Где же четвертый?

– Вот он! – князь ударил себя кулаком в грудь и забрал два талера с камня, хохоча во все горло так, что эхо разнеслось по окрестным городам.

И в самом деле, князь Никола I Петрович Негош в 1910 году был провозглашен королем Черногории.

– Я знал, что выиграю у тебя через столько лет, так что приготовил для тебя в утешение небольшой подарок... – сказал князь и вынул бумажный свиток с печатями. – Это документ, подтверждающий, что Осман-паша героически сражался в битве при Волчьем Доле и что в плен он был взят одним из последних, когда закончились боеприпасы. Документ подписали все воеводы, участвовавшие в сражении при Волчьем Доле, и я, государь Черногории, князь Никола I Петрович Негош! Покажи это султану в Стамбуле, и тебе никто ничего не сделает!

Поклонившись, Осман-паша принял спасительный документ.

– Увидимся ли мы еще, дружище Осман? – обнял его князь.

– Один Аллах знает... – ответил паша на объятия.

Этот документ действительно существовал, он не был плодом фантазии моего друга Зуко Джумхура, об этом свидетельствуют строки доброго Мартина Джурджевича на 155-й странице "Балканских мемуаров":

"Дверь отворилась, и в комнату мою вступил Осман-паша, тут же присел на мою постель и сказал: 'Князь воистину великодушен ко мне; он мог продолжить держать меня в рабстве, но провозгласил свободу, так что я могу ныне идти куда угодно будет. Так что отныне я волен, а завтра пароходом отправляюсь в Царьград. Но я получил от его высочества и всех воевод еще и свидетельство тому, что при Волчьем Доле я храбро бился и не был вовсе пьян, как оговорил меня Мухтар-паша'. Более я никогда не видел Осман-пашу".

Он уехал в Котор.

74

Верочелло терпеливо ожидал его за столом перед "Капитанской кантиной".

Внешний вид и поведение его в корне изменились. Теперь перед пашой был человек со зловещим блеском в глазах, без альбома для эскизов под мышкой и без клоунской одежды – теперь это был человек на службе все еще могущественного султана, Тахир-бей.

– Опаздываете, паша... – произнес он сухо, извлекая из внутреннего кармана бумагу. Он протянул ее Осман-паше, а когда тот равнодушно глянул на нее и вернул, Верочелло официальным тоном сообщил, что он назначен сопровождать пашу на итальянском пароходе "Messina", который отправляется в Стамбул сразу после захода солнца. – Его величество султан с нетерпением ожидает вас...

– Недолго осталось! – пробормотал паша в бороду.

В сумерках, сопровождаемый Тахир-беем, он же Верочелло, паша добрался на шлюпке до парохода "Messina", на палубе которого кишмя кишели пассажиры. Две-три дамы с любопытством глянули на пашу, когда он появился в кают-компании, облаченный в парадную форму старшего турецкого офицера.

Тахир-бей убивал время, бросая кости.

Не в силах противиться их глухому стуку, паша спросил, не прочь ли он метнуть несколько раз кости с ним?

– С удовольствием! – отвечал тот. – Закон не запрещает азартные игры с заключенными.

Они выложили на стол золотые.

– Должен признаться, я всего лишь скромный любитель, – сказал Тахир-бей, – и теперь годы напролет буду хвастать, как играл со знаменитым Осман-пашой Сархошем...

– Бросай! – оборвал его паша.

В первом туре паша проиграл все деньги.

Во втором остался без золотых часов.

Потом спустил янтарный мундштук, инкрустированный золотой нитью, ордена и табакерку из филиграни.

Начинающим зачастую в игре везет куда больше, нежели умным!

– На что теперь будем играть, паша хазретлери? – любезно осведомился Тахир-бей, подбрасывая на ладони кости.

Паша протянул ему грамоту князя Николы:

– Сколько, по-твоему, это стоит?

Прочитав документ, страж присвистнул от удивления:

– В Стамбуле уверены, что ваше превосходительство руководили сражением в пьяном состоянии. Этот документ полностью меняет ситуацию...

– Сколько он стоит? – процедил паша сквозь зубы.

– Сколько стоит? Да всей вашей жизни и репутации! Но кто я такой, чтобы выразить это в деньгах?

– Сколько у тебя при себе?

– Едва ли наберется четыре сотни талеров, паша хазретлери...

– Достаточно! Бросай!

Жизнь паши бросили на зеленое сукно кают-компании парохода "Messina".

Раз.

Еще раз.

– Увы, пресветлый паша, вы проиграли... – произнес Тахир-бей, поднося свиток с печатями к пламени свечи. Когда бумага разгорелась, он прикурил от нее сигару и спокойно сделал несколько затяжек.

Паша оцепенело смотрел, как в огне исчезает последняя надежда на спасение.

Пароход равнодушно шлепал колесами по мертвой зыби Средиземноморья...

75

Зуко совершил последний шаг, дарованный ему Аллахом, 27 декабря 1989 года в номере отеля "Пляж" в Херцег-Нови.

– Ну, я пошел, Везира... – сказал он жене, взял ее за руку и умер.

В Херцег-Нови он провел последние двадцать лет жизни, после того как перенес удар в городе Мостар.

– Ерунда это... – промычал он мне в больничный телефон. – Просто ангел на лету коснулся меня крылом!

Он бросил в Белграде все, что имел, и жил, снимая жилье в благородных семьях Херцег-Нови, полностью отказавшись от всех благ и обладания чем-либо. Как и у Осман-паши Сархоша, у него было всего лишь несколько книг и небогатый гардероб. Ему предлагали дома, но он отказывался от них; даже опустевший дом Иво Андрича не захотел принять в подарок от города, заявляя: "Кто я такой, чтобы жить под крышей Андрича? Да, и вот еще: разве я смогу платить столько за отопление?"

Он был весьма набожным и ничуть не боялся смерти, говоря: "Нет смерти без Судного дня!"

Его как-то спросили, от чего человек умер один, а Зуко спокойно так отвечал: "Достали его нускольки!"

Что за "нускольки"? Он объяснил, что тому человеку годами твердили: "Ну сколько пить можно? Ну сколько еще гулять будешь? Ну сколько у тебя сил, чтобы жить такой жизнью?" Вот его и настигли "нускольки"!

Последний раз я видел его за два месяца до смерти, в Конице, на берегу Неретвы. Он никогда так разительно не походил на Осман-пашу: отсутствующий вид, темное лицо, с легким отвращением смотрел он на стремнину. Окруженный друзьями и отцами города, он выглядел как пленник мира, который он сам придумал и создал.

Было похоже, что ему больше некуда деться.

Я спросил, почему бы ему не перезимовать здесь, в отличной гостинице на берегу Неретвы, которую он так любит.

С деликатностью, дарованной ему от Бога, он объяснил мне, что его пригласили всего на десять дней и это время, к сожалению, истекло,

что он не хочет злоупотреблять гостеприимством хозяев, не хочет быть им в тягость...

В тот раз я сказал отцам города, что им гораздо дешевле содержать его живого, чем потом отливать в бронзе!

Есть люди, как Осман-паша, которые всю жизнь проводят в походах, путешествиях, в гостиницах, забегаловках и ресторанах. В Херцег-Нови приемной у Зуко стал пансионат "Лиссабон". Умер он в гостинице "Пляж", а в отеле в Конице мы собрались, чтобы проводить его.

Похоронили Зуко на старом мусульманском кладбище в Конице.

Райские гурии подхватили его душу и вознесли ее в синее небо над обледеневшими герцеговинскими кипарисами.

Аллах акбар!

Уходя с похорон, я думал о том, что больше никогда в жизни не пройду мимо чего-то равнодушно, как "мимо турецкого кладбища", потому что на таком же точно кладбище лежит мой друг, неугомонный Шайтан-эфенди...

76

Существует несколько версий судьбы Осман-паши Сархоша.

Одни говорят, что сразу по возвращении в Царьград его заточили в башню тюрьмы Депосито и там удавили шелковым шнурком. Другие утверждают, что он сам принял "ложечку белого порошка в стакане холодной воды, выпил его, как пьют горькое лекарство, и ушел из этого мира..."

Мартин Джурджевич, которому следует верить более прочих, отмечает вскользь, что "слышал, будто русские во время завоевания Карса в Азии взяли Осман-пашу в плен и увезли в Россию". Навсегда останется тайной, везло ли ему там в карты так, как в Цетине.

В маленьком рассказе Зуко Джумхура "Узник в Цетине" Осман-паша доживает до глубокой старости и делится воспоминаниями с неким Тахир-эфенди, которому особо расхваливает элегантность и безупречную чистоту цетинской гостиницы "Локанда". Вспоминает он и барона Готорфа, который, "как стало потом известно, был знатным авантюристом и мошенником, выдававшим себя за немецкого лейтенанта. В его отъезде не было бы ничего странного и интересного, если бы в то же утро не пропало содержимое переметной сумы с дукатами Осман-паши..."

На месте прежней скромной "Локанды", снесенной в 1980 году (плакали все жители Цетине), четыре года спустя воздвигли монументальный пятизвездочный "Гранд-отель". Я присутствовал на его торжественном открытии и остановился на несколько дней в апартаментах номер шесть, которые в прежней гостинице занимал Осман-паша Сархош. Каждую ночь в затемненном снек-баре жители Цетине играли в покер с приезжими. Я хотел распить бутылочку французского шампанского за помин души Осман-паши, но, когда я сделал заказ, официанты посмотрели на меня с удивлением — они вообще не держали шампанского, не говоря уж о французском!

За день до открытия великолепного здания я сидел на террасе, развалившись в плетеном кресле, и наслаждался неожиданно роскошным для этого времени солнцем.

— Откуда ты, дружище? — окликнул меня из-за соседнего столика старик, попивавший лозовачу и кофе по-турецки.

Я ответил, а он, заговорщически подмигнув, спросил, не намерен ли я из Цетине направиться в Котор? Я ответил, что мне это незачем, на что он принялся рассказывать историю про иностранца, который спросил, когда отплывает пароход из Цетине в Котор, а ему ответили: "Примерно в полдень, если вода будет!"

Я сходил в ближайший музей, чтобы еще раз взглянуть на знамя времен битвы при Волчьем Доле. Директор музея, высокий, костлявый, немолодой человек с ухоженными седыми усами, рассказал мне, что это наиболее изрешеченное пулями боевое знамя в мире. Теперь я уже не помню точно, но баллистики сосчитали, что на каждое отверстие от пули пришлось еще по сто выстрелов. Следовательно, рядом с этим полотнищем пролетело более чем десять тысяч пуль. Директор позволил мне прикоснуться к нему, открыв с этой целью стеклянную витрину, в которой знамя хранилось; его слава вошла через кончики пальцев в мое тело и, словно разряд электрического тока, пронзила его. Я поблагодарил директора, и тот проводил меня к выходу. Увидев, что я раздумываю, куда бы направиться, он спросил, не в Котор ли я случайно собираюсь, после чего поведал историю о всемирно известном путешественнике, который, очутившись в Цетине, спросил, когда отплывает пароход на Котор, и ему ответили: "Около полудня, если вода будет!"

Открывая "Гранд-отель", Цетине превзошло масштабами гостеприимства само себя, а невиданное пиршество побило роскошью все прежние городские рекорды. Вереницы стройных молодых официантов, одетых в смокинги, проносили перед телевизионными камерами истинные гастрономические чудеса: настоящих омаров на серебряных подносах, жареных фазанов и перепелок, ягнят на вертеле и розовых поросят с яблоками в зубах и горьким перцем в ушах, зубаток, огромных и уродливых, похожих на крылатые химеры из фантазий Иеронима Босха, а в конце двое парней в цепляющихся за толстые ковры, неразношенных и потому нестерпимо жмущих ноги лакированных туфлях, внесли огромного белого лебедя из мороженого. Повар, специально приглашенный по этому случаю, был не кто иной, как тот самый шеф кухни Тито в Игале, в далеком прошлом — профессиональный оперный певец. По случаю открытия отеля я брал у него интервью для черногорского телевидения, и он невероятно свежим старческим бельканто вновь взял непостижимые вершины высочайшего "до", что вызвало громогласные аплодисменты приглашенных. Мы беседовали о его поварской карьере, и, когда я в конце попросил рассказать какую-нибудь веселую историю, он откашлялся и начал, едва сдерживая разбиравший его смех:

— Приезжий в Цетине спрашивает мужчину, когда отправляется пароход на Котор, а тот ему отвечает: около полудня, если вода будет!

Во время пребывания в Цетине эту историю рассказывали мне также послушник из монастыря, учитель гимназии, торговка на базаре, двое случайных знакомых в забегаловке, а в самом конце — знаменитый городской шутник Видо Прателли, которого приволокли ко мне специально по этому случаю.

Внук славного Пипера, Луки Филипова, который в 1876 году пленил при Волчьем Доле Осман-пашу, все еще живет в Белграде. Зовут его Душан Филипович, но кличут просто — Филипеско! Ветеран войны, ее участник с 1941 года, этот старик семидесяти четырех лет ежедневно в полдень прогуливается по парку Ташмайдан с коллегами, тоже отстав-

ными офицерами, и часто рассказывает о деде Луке, кинжал которого хранит по сей день.

77

Князь, а позднее и король Черногории Никола I Петрович Негош правил целых пятьдесят восемь лет, но в 1916 году был изгнан из страны, в изгнании и умер. В 1990 году его прах из часовни в Сан-Ремо перенесли в Цетине, где и захоронили с наивысшими государственными почестями.

Тогда же впервые на родину своих предков приехал и его правнук, принц Никола II Петрович Негош, сын Михаила, внук Мирко.

На похоронах все обратили внимание на мужчину средних лет, весьма экстравагантного вида, смуглолицего, с почти скрывающей глаза челкой, который вежливо и стеснительно улыбался, пораженный, видимо, внезапным знакомством со своим народом, который так любил и уважал его прадеда. Принц Никола II, уроженец Франции — католик, регулярно посещает воскресные мессы в костеле.

На острове Свети-Стефан я удостоился чести и удовольствия общаться с принцем, который едва ли мог произнести хотя бы пару слов на языке предков. Архитектор по образованию, женатый на прекрасной марокканке Франсуаз, он производил впечатление рафинированного, я бы даже сказал декадентствующего интеллигента, проводящего жаркие августовские полуденные часы в закрытых апартаментах отеля за игрой на флейте. По скалистым берегам бывшего пиратского острова, по иронии судьбы превращенного в гостиничный рай, разлеталась прелестная тема из "Послеполуденного отдыха фавна" Клода Дебюсси. В часы сиесты Свети-Стефан превращался в гигантский каменный камертон на берегу Адриатики.

Принц спускался на пляж только в пять пополудни. Он входил в море спиной к пучине; он смотрел на голые серые горы, оставленные ему в наследство прадедом.

За горами бесновалась гражданская война.

Поддержанные Германией, Австрией и Венгрией, хорваты летом 1991 года решили истребить православие и напали на сербов в Краине. Герцеговинцы, как и в прошлом, поднялись на их защиту, на помощь пришли и черногорцы. Вместо того чтобы прекратить резню, западные державы принялись плести дипломатические интриги. Православная Россия, сама по горло в собственных бедах, воздержалась, осталась в стороне.

"Бог высоко, а друзей нет..."

На опустевшем пляже лениво возлежали потомки черногорских воевод и сердарей, осанистые цетинские игроки с международным авторитетом и золотыми, в палец толщиной, цепями на шее. Рядом с ними, завернутые в гостиничные полотенца, на всякий случай лежали пистолеты огромного калибра. Молодые люди неохотно, будто из-под палки, приставали к красивым иностранкам, загорающим в мини-купальниках без верхней половины.

Одиноко, с книгой в руках, лежала на пляже прекрасная рыжеволосая англичанка с конопатыми грудями и набухшими сосками, которые так любил, покусывая, целовать Осман-паша. Она отдыхала после пребывания на ближайшем фронте, с которого целых два месяца вела репортажи для телевизионной сети Би-би-си. Я несколько раз пообщался с ней на ходу, а потом как-то мы оказались за одним столом во время обеда

"Под маслинами". Она рассказала, что журналистика – традиционная для их семьи профессия и что прабабка ее тоже приезжала в эти края за информацией для британских газет. Она побывала и в Цетине, где правнук князя Николы, принц Никола II, организовал первое биеннале авангардистского искусства.

В то лето черногорцы с удивлением глазели на инсталляции из ржавого металлолома и рваной мешковины, на кучи раскрашенных камней, угля и разного дерьма, на пустые рамы для картин и каббалистические знаки на фасадах цетинских домов, дивясь принцу и его еще более странным гостям точно так же, как летом 1876 года крестились, глядя, как Фердо Кикерц по кличке Кико оживляет их лица на бумаге с помощью карандаша, а Верочелло "малюет маслянистыми красками".

Мисс Линда Вулф сняла для Би-би-си об этом большой репортаж под названием "Искусство войны". Интервью дал и принц Никола II, выступив за "демилитаризацию Черногории", что, на мой взгляд, прозвучало как призыв к дезактивации солнечной радиации.

Потом принц вернулся в Париж.

78

19 декабря 1991 года газеты напечатали письмо принца министру иностранных дел Черногории, в котором он отказывался от участия в торжествах по случаю 150-летия со дня рождения, 130-летия коронации в Черногории и 70-летия со дня смерти единственного черногорского короля Николы I Петровича Негоша, его прадеда. Возмущаясь "бессмысленной войной", принц призвал всех черногорцев "немедленно вернуться в свои дома", помянув "известия о черногорском участии в акциях, даже в военное время позорящих солдат, – грабежах и преступлениях в отношении невинных людей..."

79

Зимой 1991 года, когда война подошла к черногорским и герцеговинским границам, я побывал на Дубровницком фронте. Мы шли берегом сквозь прозрачный пейзаж, спаленный ненавистью, обласканный солнцем после легкого дождя, вдоль опустевшего шоссе, развороченного снарядами и танковыми гусеницами. Дома были сожжены. Кипарисы почернели. У самого Дубровника мы свернули на дорогу, идущую мимо взорванной бензоколонки у Дубца и уводящую далее в герцеговинские горы.

Немного не доходя до Билечи, я почувствовал, как меня захватывает стиль старого доброго Мартина Джурджевича, как вдруг захотелось говорить на диалекте и писать о незначительных событиях архаичным языком. Если в моего друга Зуко Джумхура вселился дух Осман-паши Сархоша, то почему бы духу скромного хроникера также не найти убежища?

Неподалеку от Волчьего Дола мы зашли в придорожный трактир, чтобы съесть по порции знаменитой тушенной с капустой печенки и нежнейшего постного филе на решетке. Хозяева любезно освободили нам местечко в прокуренном злым самосадом помещении, пропахшем вяленым мясом и терпким домашним красным вином, забитом вооруженными крестьянами и солдатами. И вот в один прекрасный момент в корчме стало так тихо,

что можно было услышать зудение комара. Во главе длинного дубового стола уселся молодой человек в обгоревшем, кое-где простреленном камуфляже. Он прислонил к ноге автомат "томпсон", а в руки взял дивные резные гусли, гриф которых украшали лики герцеговинских и черногорских владык, героев и поэтов, соединенные сплетшимися злющими змеями. Во весь голос он запел о битве при Волчьем Доле. После каждой строфы, когда звучал проигрыш, воодушевленные слушатели палили из автоматов в окна и двери, а некоторые — честное слово! — даже в закопченный потолок. Время будто вернулось на сто пятнадцать лет назад.

Ой, кровавый Волчий Дол наш,
Вечно сербы тебя любят!
Сербы любят, турки помнят,
Да и швабы тоже знают...

80

Я вышел подышать свежим воздухом.

Лунный свет чертил смертоносные знаки по спящему снегу Волчьего Дола.

1967–1992

Что было потом?

Полных четыре года бесновалась гражданская и религиозная война на географической карте рассказанной нами истории, куда более свирепая, нежели та битва, что произошла в 1876 году при Волчьем Доле и вокруг него. Автор этого рассказа о Зуко Джумхуре и Осман-паше Сархоше участвовал в войне в качестве корреспондента столичных газет и телевидения и своими глазами видел столько, сколько не может поместиться в одном романе.

Я ходил в горы с сербской армией, спал в землянках, в пастушьих хибарах и на голой смерзшейся земле, ел картошку, испеченную в золе лесных костров, открывая в осунувшихся, заросших бородами лицах солдат и офицеров все ту же древнюю тягу к войне, которую некогда обнаружил Мартин Джурджевич в горящих глазах ратников Волчьего Дола.

И вновь, спустя сто пятнадцать лет, молодые черногорские воины налетали с гор, в этот раз не на конях и не с ятаганами в руках, а на джипах с автоматическим оружием, и бились с латинянами и турками, которых никто больше не называл мусульманами — память предков напрочь стерла из сознания новое имя старых врагов. Так что турки вновь явились из тьмы веков. Сначала хорваты разрушили Житомыслический монастырь шестнадцатого века, после чего добровольцы из Герцеговины и Черногории осадили Дубровник, разрушив и спалив все, что было вне его стен. Эта осада, плод старой и долгой взаимной ненависти, была абсолютно бессмысленной с военной точки зрения, в ней чувствовался архаичный привкус средневековых баталий. Как в древние времена, бедный народ спустился с гор к морю, чтобы ограбить своих счастливых и богатых соседей. Опоздавшие на оргию волокли домой зачастую совершенно ненужную и бессмысленную добычу. В одном из сел недалеко от Никшича автор застал посреди двора авиационный трап с аэродрома в Чилипимах, по которому некогда спускались пассажиры трансконтинентальных

рейсов. На трапе было написано: JAT — DC-10 — WELCOME. На верхней ступеньке гордо кукарекал злой рыжий петух. В другом доме горянка, вся в черном, месила тесто для хлеба в неизвестно откуда доставленном биде. Забылись пианино и электрогитары, опять вернулись гусли и вошли в силу молодые гусляры, воспевающие войну.

Почтенный Мартин Джурджевич описывал, как черногорские ратники носили в переметных сумах отрезанные турецкие головы. В эту войну солдаты с обеих сторон играли в футбол отрезанными головами противников, а один вояка в Сараеве на своем "мерседесе" вместо номерного знака несколько месяцев держал голову убийцы своего побратима.

Некоторое время я состоял при командующем герцеговинскими войсками генерале Грубаче, в его штабе, и следил за передвижениями противника, обозначенными на расстеленных картах зелеными линиями. Так я познакомился с кровавыми рейдами кавалерийской бригады турок "Зуко Джумхур", которая оперировала между Брадиной и Невесине. Их отличала храбрость и кровожадность. Те, кто схватывался с ними в бою и оставался в живых, рассказывали, что исламские фанатики носили зеленые головные повязки с надписью "Аллах акбар". Я молил Бога, чтобы Он не дал мне попасть в их руки, и все время носил с собой пистолет, холодная сталь которого, прижатая к голой коже, успокаивала. Хотя такая смерть стала бы отличным финалом моего романа, но все-таки смерть от руки члена отряда, носившего имя Зуко Джумхура, была бы слишком абсурдной.

Чудесный город Почитель, который Зуко, открыв его однажды летом, поднял из развалин и превратил в колонию живописцев, опять в руинах. Однако на этот раз виной тому не время, а хорватская армия, захватившая его в бою с турками, хотя в этом городе над Неретвой никогда не проживал ни один хорват. Почитель, собственно, всегда принадлежал герцеговинским бекам Гавранкапетановичам, башня которых возвышается над долиной изумрудной Неретвы. Мы с Зуко каждый раз, оказываясь здесь, приходили к старухе Гавранкапетанович, чтобы получить от нее целебные чаи и бальзамы для больных друзей. Великолепная мечеть, которую мы столько раз рисовали и фотографировали, которую описал Ива Андрич в рассказе "На камне Почителя", как и старый мост неимара Хайруддина в Мостаре, разрушена хорватским генералом, неким Праляком, в прошлом неудачливым режиссером, причем разрушена до основания и превращена в груду камней. На башне Гавранкапетановичей водружен гигантский белый крест из камня, похожий на тот, в Долине павших у Эскориала в Испании, и крест этот виден со всех сторон той части Герцеговины.

Волчий Дол, летом зарастающий травой выше пояса, зимой сумрачный, хмурый и заледенелый, война пощадила, хотя она шла вовсю в каких-то десяти километрах, за горами Врбас и Кокот, на склонах которых в июле 1876 года прострелили пелерину князя Николы. По старой, идущей по его окраине забытой дороге, которую народ некогда называл "тропой шелка и табака", мы контрабандой доставляли из Черногории оружие для герцеговинской армии и горючее для ее автомашин и танков, подальше от глаз пограничников, таможенников и международных наблюдателей. Окрестные жители все еще ходят в знаменитую Бечкую пещеру, чтобы набрать холодненькой водицы из родника.

Озябшие и проголодавшиеся, после возвращения с передовой мы отдыхали в уважаемом доме семьи Уляревичей, в Врбице, где некогда

располагался штаб князя, прислушиваясь к грому тяжелых орудий, предвещающему новую историческую непогоду. Точно посередине врбицкого кладбища, где покоятся герцеговинские и черногорские ратники, погибшие в битве при Волчьем Доле, сегодня проходит граница между Югославией и Республикой Сербской. "А эти кости нам с улыбкой Бог простит!" Когда мы выходили на прогулку в скудные поля, рожавшие только белые камни, Йованка, мать поэта Радомира Уляревича (кстати, первого издателя этой книги), провожала нас до калитки и, как матери белградских сыновей спрашивают чад, тепло ли они оделись перед уходом, каждый раз напоминала нам:

– Дети, вы с собой что-нибудь из оружия взяли?

Под грудами камня, похожими на примитивные пирамиды, лежали давно упокоившиеся сербы и турки.

"Зеленое сукно Монтенегро" было популярно и с той, и с другой стороны. Однако самые радикальные сербские ратники упрекали автора за то, что он выставил турок в лучшем виде, нежели черногорцев. В жестоких спорах приходилось даже хвататься за пистолеты. Не знаю, обижались ли турки на то, как я изобразил их в книге. В эту войну я видел их только на расстоянии выстрела.

Откровенно говоря, литература для нас всегда настолько важна, что из-за нее можно даже лишиться жизни.

Меня часто спрашивают, на чьей стороне был бы Зуко, если бы дожил?

– Интересный вопрос! – отвечаю я. – Обещаю, что спрошу его, как только увидимся...

1999

Роман Момо Капора. Заметки историка

Я — историк, и передо мной стоит скромная задача — дать небольшой исторический комментарий к событиям, описанным в романе Момо Капора. Историк обязан быть объективным и при разработке того или иного исторического сюжета избегать его эмоциональных оценок. И тем не менее не могу не сказать о том ощущении щемящей боли, которое преследует меня с тех пор, как я перевернул последнюю страницу романа.

В моем сознании невольно всплывает удивительный по силе и выразительности художественный образ — огромное, раздирающее само себя на части, человекоподобное существо. Таким представил миру свое видение гражданской войны гений Сальвадора Дали. Для меня же в этом образе воплощаются и основное содержание, и основная идея романа М. Капора — трагедия распада поликонфессиональных, многонациональных государств, идея, которая в произведении югославского писателя выражается через судьбы и душевные муки его героев.

Более ста лет назад предчувствие гибели Османской империи, великого в представлении турок "Пакс Оттоманикум", выжгло изнутри душу офицера султанской армии — Осман-паши. (Его мы можем воспринимать как некий символ распадающейся империи.) Этот же огонь медленно сжигает и другого героя М. Капора, югослава Зуко Джумхура. Оголенные нервы художника и поэта не выдерживают соприкосновения с политической действительностью Югославии конца XX века. Жестокость, абсурд и цинизм войны, увиденные в романе глазами

османского генерала, многократно возрастают в представлении современного югославского художника. Такой война и воспринимается читателем.

И если искусство действительно призвано потрясать сердца людей, то в этом своем произведении М. Капор полностью реализует свою задачу. Мне остается лишь предложить читателю свой взгляд на основную фабулу романа, разворачивающуюся в двух взаимно пересекающихся исторических плоскостях — в период так называемого Восточного кризиса 70-х годов XIX века и в годы происходящего на наших глазах распада Югославии. При этом если о трагических событиях в Югославии конца XX — начала XXI века заинтересованный читатель может узнать из сообщений радио и телевидения, прочесть о них в газетных или журнальных статьях, то для осмысления ситуации на Балканах в 60—70-е годы XIX века ему будет полезна помощь историка.

Обратимся к центральной фигуре исторической части романа М. Капора — генералу турецкой армии Осман-паше. Почему он столь безучастен к своей собственной судьбе и к событиям на фронтах разгорающейся на Балканах войны? Возможно, это временный душевный кризис попавшего в плен офицера османской армии? Думаю, что нет.

Осман-паша знает, что Турция еще очень сильна. В начале 70-х годов XIX века Османская империя по праву занимала свое место в ряду великих держав того времени. По размерам входивших в ее состав территорий Азии, Африки и Европы (свыше трех миллионов квадратных километров) она стояла на шестом, а по численности многоязыкого населения (28 миллионов) — на восьмом месте в мире.

Турецкая армия, модернизированная, вооруженная и оснащенная по тогдашним европейским стандартам, насчитывала более 300 тысяч солдат и офицеров. Османский военный флот — гордость турецких султанов — состоял из 30 броненосных и 70 других боевых кораблей. Это был третий боевой флот Европы. Империя была сильна.

И в то же время Осман-паша ощущал, что разгром турецкой армии черногорцами 16 (28) июля 1876 года при Волчьем Доле — это начало конца великой империи. Вся военная мощь султанской державы была не в состоянии воспрепятствовать балканским народам в их борьбе за обретение собственной государственности.

Долгие годы, если не сказать десятилетия, официальный Стамбул пытался внушить христианским народам империи идею существования некой "единой османской нации". В духе доктрины османизма в Дунайском вилайете (провинции) в 60-х годах XIX века проводились административные и хозяйственные реформы, призванные показать заботу османских властей о благосостоянии своих подданных, как мусульман, так и христиан. Но даже самые просвещенные и реформистски настроенные политические и государственные деятели Турции того времени никогда не ставили под сомнение необходимость сохранения Османской державы как государства, объединившего под эгидой турок десятки больших и малых народов. Идея сохранения империи господствовала в сознании даже тех европейски образованных турок, которые в 60—70-х годах позапрошлого века готовы были бороться (и действительно боролись) против султанского деспотизма, за провозглашение Турции конституционной монархией. Имперское сознание было непреодолимо ни в умах османских политиков, ни в умах тогдашней турецкой новой интеллигенции — поэтов и драматургов, писателей и журналистов. Все они свято верили в османские ценности и были истинными носителями имперской идеи.

Но, с другой стороны, росло и национальное самосознание народов Балканского полуострова, которые давно уже задыхались в каменной клетке османской государственности. Ветры Великой французской революции принесли на Балканы идеи свободы и национального возрождения: сначала сербы (1804—1812), а

затем и греки (1821—1829) в крови и поту добились от турок частичного либо полного освобождения.

В дальнейшем другие балканские народы вырывают у турецких султанов права на самостоятельное развитие, и всякий раз это наносит жестокую травму османскому имперскому истеблишменту. Можно поверить, что османский султан Махмуд II (1808—1839) был близок к душевному расстройству, когда подписывал акт о Независимости Греции. В 60-х годах XIX века турецкие либералы, "новые османы", не раз обрушивались с критикой на османское правительство, которое было не в силах подавить очередное восстание на Балканах. Просвещенные деятели эпохи реформ, до поры готовые порассуждать о ценностях западной цивилизации, тут же превращались в средневековых "гази" — воителей за веру и имперское величие. Они были готовы оправдать любые жестокости османских властей в районах национально-освободительных движений.

От этого и устал Осман-паша, устал смертельно. Он генерал османской армии и, бесспорно, привержен имперской идее, но он же и человек, который в полной мере осознает, что Османская держава обречена. Война в балканских провинциях неизбежна, но она же и бессмысленна. Жестокость бесполезна. Нет сил, которые были бы способны спасти империю от распада. Вот почему его превосходительство Осман-паша — Сархош, то есть человек, сильно пьющий. И вот почему он безразличен к своему пленению, равнодушен к своей отправке в Стамбул, где его скорее всего ждет разжалование и смертный приговор. Ему нечего бояться, потому что он уже мертв. Он мертв, потому что в нем умерла идея империи.

Концовка романа не позволяет сказать, насколько верны эти предположения. Замечу только, что в реальной истории подобного рода ситуация действительно была, когда многие офицеры японской армии не смогли пережить крушение идеи великой Японии в годы Второй мировой войны. Конечно, сопоставления эти весьма условны, и все же...

Что касается самой Османской империи, то она на три десятилетия пережила личную трагедию одного из своих генералов. Восточный кризис середины 70-х годов XIX века до глубины потряс султанскую Турцию, империя потеряла значительные территории на Балканах, однако ее окончательный распад произошел лишь после окончания Первой мировой войны.

Канул в Лету и, казалось бы, навсегда ушел в небытие бывший "Пакс Оттоманикум". Но в истории ничто не исчезает бесследно. Вот и Османская империя постоянно напоминает о себе теми проблемами, которые не были решены в ходе истории всей этой огромной державы и в бывших отдельных ее регионах.

С. М. Иванов

Анджей Стасюк

Ночь

Славяно-германский медицинский трагифарс

Перевод с польского Марины Курганской

Это не пьеса, это сборник текстов для пения и декламации. Все, что написано — кроме заголовков, — должно произноситься на сцене, все входит в текст.
Нет здесь и четко обозначенных действующих лиц, кроме Души, мертвого Вора и Ювелира. Я понятия не имею, сколько должно быть врачей, сколько женщин, сколько бабок в хоре, сколько воров — приятелей убитого. Для меня они — голоса во мраке, во мраке ночи. Пропоют свое и замолкают. Еще должны кудахтать куры и выть собаки. Так мне это слышится.

Анджей Стасюк

Хор

Они брали солидный тяжелый автомобиль и въезжали в магазин сквозь витрину.
Забирали золото, серебро, бриллианты и возвращались в свои полудикие города на Востоке. "Гляньте! Гляньте! Уже едут!" Так кричали девушки, ожидавшие их возвращения, а еще — духóв, юбок с блестками и обитых кожей сидений в угнанных автомобилях.
И только потом их присутствие чуяли цепные псы, псы, стерегущие полудикие города на Востоке.
Здесь они оставляли свои машины открытыми посреди улиц и площадей и уходили к девушкам, в черное небытие ночи.

© by Andrzej Stasiuk, 2005
© Марина Курганская. Перевод, 2007

Но утром оживал страх. Поэтому они выскальзывали за дверь незаметно, возвращались к своим машинам и принимались колесить по улицам восточных городов. Как древние кочевники — сбившись в стаю, постоянно в движении, всегда начеку.
Стосковавшиеся по вещам бедняки — для них собственность всегда была чужой и никогда своей собственной.
Они развлекаются, сжигая бензин. Описывают круги — трусливо, не отъезжая далеко, чтобы не терять друг друга из виду. Подражают тому, что видели в телевизионных передачах, которые доходят сюда со всех концов света, в эти их восточные города с домами, похожими на старые шатры.

Они привозят с Запада бриллианты, потому что ничего другого там нет. Пригоняют автомобили, потому что Востоку от Запада больше ничего не нужно.
Автомобили доживают свой век в песках Монголии.
"Мерседес" счастлив — он должен наращивать производство. "Ауди" тоже счастливо, и "BMW" тоже, потому что на модели X5 ездит сын цыганского барона всей Молдавии.
Но больше всех счастлив "Мерседес", ведь остовы его машин, как чешуя, покрывают прекрасное тело Албании.

Они угоняли солидный тяжелый автомобиль и въезжали в магазин сквозь витрину.
Брали золото и серебро и возвращались в свои сонные города на Востоке.
Однажды из окна высунулся хозяин и застрелил одного из них.
Они не верили своим глазам. Ведь вещей, бриллиантов и автомобилей было столько, что те казались ничьими, брошенными, лишними, никому не нужными, почти что общими.

Потом, в темноте, сбившись в кучу и вслушиваясь в собственное дыхание, они шептали:
Смотри-ка, выстрелил...
Смотри-ка, смог убить...
Такого не забывают...
Чему их учили в школе...
Растили щенка от рождения...
А потом взяли да и убили...
И после содрали с него шкуру...
Если бы им не велели, они бы не убили...
А когда им велят, они сделают что угодно...
Они ничего не делают для души?..
Для души они слушают приказы...
А этому кто велел?..
Этот по велению долга...
Наверняка где-то было написано, что ему можно...
Или что он даже обязан...
Надо — значит надо, куда деваться...
Такого не забывают...
Впитывают с молоком матери...
И потом это в крови до конца жизни...

Что-то теперь с нами будет?..
Куда нам теперь податься?..
Откуда взять брильянты?..
Откуда — автомобили?..
Поедем к русским...
У них нет автомобилей...
Есть, но мало, и стерегут их...
Русский убьет на месте...
От русского жди чего угодно...
Бывает, ему просто лень...
А не лень — убьет со скуки...
Или развлеченья ради...
Или скажет, чтобы шли подальше...
Он считает, что всё можно...
Что ни сделай, всё едино...
По-любому, как было, так и будет...
Получится, как всегда получалось...

Поэтому у них так мало своих автомобилей...
Поэтому краденых им нужно много...
Для них краденый лучше своего родного...
Да, свои у них ни к черту...
Ломаются с ходу...
Хотя они пытались...
Хотя передирали...
Хотя делали точно такие, только хуже...
Там ломается все — знай завози снова...
Они думают, это что-то изменит...
Да...

А вот в русского тот стрелять бы не решился...
Русских они боятся...
Больше всего на свете...
Такого не забывают...
Отдали бы им все машины...
Увидят угнанный "мерс" в Москве и рады...
Или "бумер" в Петербурге...
О-о-о, русский украл! — восклицают...
На колени встать готовы...
Если б русский им велел, сами б отдали...
Кое-кто из них хотел бы походить на русских...
Да куда им...
Русским быть трудно...
Вот они и злятся...
Им кажется, они могут все на свете...
Но как русские они быть не способны...
Это надо умудриться — хотеть быть русским...
Им кажется, что русский всё может...
Что для него нет запретов...
Так им кажется...
Ведь русские, когда к ним пришли, делали, что хотели...

Такого не забывают...
Они сами хотели бы делать, что хотят, да боятся...
Русский сделает, что захочет, и они ему всегда прощают...
А как они тогда пришли к нам, только убивали...
Наших женщин они не хотели...
Стеснялись?..
Нет, удерживало чувство долга и отвращенье...
Был приказ — со скотом не совокупляться...
А вот когда русские пришли к ним, то делали с их женщинами то и это...
Сожительствовали и убивали?..
Это же русские...
У них можно и то, и это...
И стали они завидовать русским, и завидуют до сих пор, да...
Ведь такого не забывают...

Вот что шепчут они в темноте, отъехав на безопасное расстояние. Они прислушиваются к лаю собак в своих городах, и чужой страх служит им утешением. Девушки ждут их в темноте дверных проемов, но они проходят мимо, бросая на ходу: "Идите спать, курвы. Сегодня мы пьем одни за смерть убитого".
Потом выбирают темный-темный дом и берут грязную-грязную скатерть.
Ибо хотят почувствовать настоящее горе. Бросают свои машины, не выключив мотора.
Чтобы ждали их, как верные псы, и чтобы сгорал бензин, потому что и автомобили должны почувствовать горе.
Они пьют водку и запивают пивом. Пьют теплую водку и запивают прогорклым пивом.
Грызут и глотают стекло. Так они представляют себе траур, потому что не в силах поверить в смерть.

Мы не знали, что там можно сгинуть...
Почему нас не предупредили...
Незаметно, чтобы там умирали...
Ни-ни, никакой смерти...
Одна только обеспеченная жизнь...
Все начиналось от самой границы...
Даже старики смотрелись живо...
Розово-румяно...
Безмятежно...
Некоторые даже жирно...
Вокруг одни живые...
Умирают ведь только у нас...
Тогда воют собаки...
А там собаки сидят тихо...

Теперь бриллианты могут спать спокойно.
И владельцы машин пусть отойдут от окон.
Собственники — переведут дух.
Этой ночью ничего не случится. Пусть вся страна отдыхает.
Ей ничто не угрожает, ибо они оплакивают смерть, в которую не в силах поверить. Смерть для воров не существует.

Они ее не увидят, смерть прибудет в их город в запаянном гробу. И они будут прикладывать к нему ухо, прислушиваться, принюхиваться и стучать по серебристой крышке.

Глянь, гладкая какая...
Полированная будто...
Ничего через нее не слышно...
Будто ничего там нету...
Ничего не случилось...
Ничем не воняет...
Всё как раньше...
Блестит, как новый "мерин"[1]...
Нет, не как "мерин" —
Блестит... как у кобеля яйца...
Нет, как алюминиевое "ауди"...
Шикарные похороны...
Интересно, его положили голым?..
И целым? Его зашили потом ниткой?..
Когда "потом"?..
После того, как разрезали, чтобы проверить...
Может, он ненормальный, раз ворует...
Ну конечно, потом зашили...
Русские бы не стали...
Они и резать бы не стали — русского удивить трудно...

Итак, он возвращается героем. Запакованный столь надежно, что собаки не почуют смерти.
Они почуют лишь страх живых, запах холодного пота и завоют, потому что, когда человек боится, пес боится еще сильнее и припадает к стопам господина. Он возвращается пустой внутри, а значит, уже без страха. Из него вынули всё, и неизвестно, положили ли обратно. Он с Востока, так что могли и не положить. Эти, на Востоке, по-прежнему верят в гадание по внутренностям. Наверно, не положили — чтобы не потакать суевериям или чтоб нельзя было узнать судьбу. Он возвращается героем. Возвращается как святой. Не воняет. Девки останутся без дела, пока пацаны будут пить на серебряной алюминиевой крышке гроба вместо стола.
Взамен девок придут матери и бабки, ибо те ничего не боятся. Даже смерти не боятся, ведь они родились на Востоке.

Не надо ребятам туда ездить...
А куда же...
Здесь пускай ездят! Как Господь судил нам...
Покатаются и сразу назад, потому что бензин на исходе...
Да, так и есть... Там у них никогда не кончается...
Они ни разу не говорили, чтобы там он у них кончался...
Там его всегда хоть залейся. А сюда вернутся — сразу в баке пусто...
И приходят просить у бабки, потому как им не на что кататься...
Я не даю...
Потому что дура! Останутся — и так и будут гонять взад-вперед! Так и будут без конца занимать!

1. "Мерседес" (*жарг.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Та-а-а-а-а, для мужиков это хуже смерти...
Боже правый, ездили бы к русским...
Если б к русским ездили, как к этим, ни один бы назад не вернулся...
Я помню русских...
О боже... Как вчера всё было...
Пришли – курицу им давай...
Ну, мы ощипать хотели...
А они прямо в перьях сунули в кастрюлю...
Да-да! Пришлось объяснять, что надо сначала зарезать...
Что они, курицы не видали?..
Видали, да только им обратно на войну не терпелось...
Да, помню... у них на каждой руке по две пары часов было...
Это от спешки...
По восемь на каждого...
Перья всплывали наверх...
Я хотела дать им соль, но они отказались...
Сказали, нету времени, надо скорей *na zapad*.

Ах, эти старые добрые времена, их помнишь, как никакие другие. Жизнь делится на "до них" и "после". Кто помнит, как было, тот мудрый. Самые мудрые – женщины в черных платках и черных платьях. Они пережили мужчин, жили без них, и ничего – оказалось не страшно. Женщина, которая видела, как закапывают ее мужа или сына, становится отчасти мужчиной. Это старо как мир, и время над этим не властно. Женщина, способная убить курицу, меньше нуждается в мужчине и меньше боится смерти. Наверно, они носят черные платья, чтобы на них не было видно следов куриной крови.

А тех, других, помните...
Как вчера всё было...
Начищенные голенища...
Манжеты...
Стрелки на брюках...
Санитария и гигиена...
Здоровались...
Перечницу им подавай...
Помню одного...
Я тоже помню!..
И я!..
Их псы отказывались брать корм...
Словно и не голодные были...
Собаки всегда голодные...
Так они что, притворялись?..
Собаки притворяться не умеют...
Они могли их выдрессировать, чтоб притворялись...
Я испугалась, когда бросила ихнему псу, а он не взял...
Будто больной был...
Да не был он больной, по собаке сразу видно...
Да, больных собак они не держали...
Это у русских были больные...
И они их ели?..
Такого не помню...

А что ты еще помнишь?..
Красивых мужчин в начищенных сапогах...
Один выстрелил в мою маму, но у нее раньше ноги подкосились, и остались только следы от пуль на стене, а он пошел себе...
Дурак, что ли, был — подумал: убил?..
Когда убивал, не сомневался, что убьет, вот и пошел себе...
Да, они всегда были самоуверенные...
Им в голову не приходило, что можно промахнуться...
Что можно выйти в неначищенных сапогах...
Что обувь можно не чистить...
Что можно выйти в начищенных сапогах и не дойти...
Потому что нет ничего важней гигиены...
И чистоты...
Да...
Когда выпал снег и вода замерзла, они сразу грязными стали...
Стали похожи на русских...
И меньше уже убивали...
Из соображений гигиены...
Одно дело зарыть трупы летом, и совсем другое — зимою...
И у "тигров" гусеницы замерзают...
Что?..
Ах, ничего... Так тогда в утешение говорили...
И точно, когда не могли помыться, никуда уже не годились...
Да, и тогда они начинали воровать кур...
От них воняло, и они начинали бояться...
Помытый был герой...
А слегка провоняет — и сразу трус...
Грязный становился слабым...
Грязный не мог даже как следует стрельнуть...
Не помывшись, не могли попасть в ребенка...
Да... Помню — еле во взрослого попадали...
Что ты еще помнишь?..
Еще двух вещей они боялись...
Каких?..
Леса и болезней...
В лес носу не совали, и в дом, где больной, не заходили...
Да, ты права, убегали...
Если надо было войти в лес, они сперва его поджигали...
Если и убивали больного, то не заходя в дом...
Верили в микробов...
В леших и упырей...
Ну, что ты... В них только мы верим...
Они тоже верили и сперва поджигали...
Они что, думали — леший сгорит?.. Это ж глупо...
Глупо. Но они не могли иначе. Они думали, духи горят, как мясо...
В детстве им не объяснили...
Некому было...
Они ведь думали, что всё знают...
А потом, голубушка, они стали похожи на русских...
И перец у них кончился, и соли не стало...
Да, моя милая, и курицы-то украсть не могли толком...

Гонялись, гонялись, пробовали подстрелить, но в птицу труднее попасть, чем в ребенка...
Даже жалко их было... Воды попросят, мы выносили...
Некоторые пытались квитанцию нам выдать...
Странные были времена...
Жалко их было...
Бедные, думали, что духи горят...
И соль у них кончилась...
И перец...
Аминь...

Они впитывают в себя слова матерей, как когда-то их молоко. Вместе с молоком они вобрали память, она засела у них в костях. Все прошлое кружит у матерей в крови и живет в их телах, как древний эпос.

Вместо того чтобы угонять машины, мы могли бы сначала съедать их собак...
Тогда бы нас приняли за кого-то другого...
За пожирателей собак, всего-то...
Тогда бы мы гребли брильянты лопатой...
А они — как и не заметили ничего...
Видели бы в нас пожирателей собак...
Собакоедов в "ауди" и "мерсах"...
Псожирателей в золотых цепурах...
Да, я входил бы в магазин и брал все самое дорогое...
А они будто и не замечают...
Они бы видели только собачатину у нас в животах...
Кто знает...
Что — кто знает?..
Кто знает, вдруг бы они даже приняли нас за русских...
Точно, за русских, которым всё можно...
Можно жрать их собак и ездить на их машинах...
А как они узнают, что это русские?..
Они узнают русских по своему страху...
По тому, что хотели бы быть, как русские, и по тому, что никогда не будут...

Дуэт: тело — душа

Тесно мне тут, и душно, и скучно, и глухо. Пейте за мою душу. Я хочу слышать, как стучит стакан о металлическую крышку гроба и как вы малолетку посылаете в темноту за водкой. Я хочу слышать, как вы грызете стекло и как обсуждаете девок. Утром меня закопают в землю. Я уже чувствую, как у меня растут ногти, и хочу в последний раз услышать звуки жизни. У меня сквозная дыра в теле. Через нее входит холод и остается уже навечно. А вы тут рассказываете о русских, вместо того, чтобы привести девок к моему гробу, чтобы я слышал их смех. Плевать мне на русских. Я не видел лица того, кто меня убил, потому что он стрелял мне в спину. Но я не в обиде. Ведь я пришел ночью, когда он спал, и это не был рыцарский поединок. Теперь я труп и не знаю, где у меня душа, не знаю, была ли она вообще. В моем теле дыра от пули навылет, через которую заползает холод. Приведите девок и врубите музыку в своих машинах, потому что мне страшно быть трупом.

Ты и есть труп, а я — твоя душа, и теперь ты сгниешь. Это тебе наказание за то, что был дураком. За то, что думал, будто состоишь из одного тела, которое тебя спасет во всех переделках и из полного дерьма вынесет целым и невредимым. Ты был кретином и думал, что твое тело — нечто вроде "ауди" или "бумера". Я — душа и побольше твоего понимаю.

Приведите девок! Не хочу подыхать тут как труп!

Я — твоя душа, а ты давно уже умер, так что не ори. Будешь теперь разлагаться. Что-то вроде ржавчины станет тебя сжирать. Короче, попадешь в Чистилище. Ты помнишь хоть что-нибудь из школьных уроков религии? Рай, Чистилище, Ад? "Что касается некоторых менее тяжких прегрешений, надо думать, что до суда существует очистительный огонь" — так по крайней мере утверждает Григорий Великий в своих "Диалогах"[1], раздел четвертый, строка тридцать девятая.

И пусть из больших сабвуферов несется музыка, похожая на биение сердца...

Ты идиот. Мне неприятно тебе это говорить, поскольку я твоя душа, но мы, души, не можем лгать и молчать не можем. Ты идиот, ибо позволил себя убить, тыря швабское дерьмо. И поэтому будешь теперь ржаветь в Чистилище, как металлолом на свалке. Я уволена. Правда, я была твоей душой, но ты не хотел меня слушать.

Никогда я тебя, Душа, не слышал...

Потому что ты слушал свои сраные сабвуферы. И те, впрочем, краденые.

Я думал, это ритм сердца... А сердце почти что душа.

Кажется, сердце у тебя вынули, когда проверяли, что там внутри.

Вынули, но ведь, наверное, положили обратно...

А я б не была так уверена.

Они всё делают, как надо.

Вот именно: зачем трупу сердце? Ну, неважно — я хотела сказать, что сердце у тебя вынули, а меня — почему-то нет. В этом разница. Так что не надо меня путать с дерьмовым звуком сабвуферов. Если бы ты их не слушал, услыхал бы меня.

А что ты мне говорила, моя Душа, когда я тебя не слушал? Сейчас тихо, и у нас много времени. Скажи мне теперь.

1. "Диалоги" ("Dialogorum Libri"), написанные в форме бесед с дьяконом Петром, содержат духовное и нравственное учение папы Григория I Великого.

Поздно, да и не тихо вовсе. Твои дружки привели подружек и пооткрывали дверцы в автомобилях, чтобы звук летел в глубь ночи.

Но я ничего не слышу...

Ну что ж. Без меня внутри ты глух, как труп. А жаль, ведь в конце концов все это в твою честь.

Они там, и с подружками? В мою?

Да. Ты герой, потому что жирный шваб стрельнул тебе в жопу.

Для души ты странновато выражаешься.

Я же не "вообще душа", а твоя.

Вот именно... Не могла бы ты на минутку в меня вернуться?..

Что?

Ну, ненадолго... чтобы я мог услышать, как они там врубают музыку в мою честь...

Да ведь если я в тебя вернусь, ты воскреснешь! И что? Будешь слушать сабвуферы, принимая их за свое сердце? И после смерти останешься таким же дураком, как раньше? Будешь сидеть здесь со своими столетними бабками и привязанными во дворе собаками. И выходить из дома лишь затем, чтобы поправить телевизионную антенну, когда она собьется и перестанет принимать волны, на которых "мерсы" и "бумеры" живут вечно, не ржавея и возбуждая алчность даже в далеком Улан-Баторе?

В Улан-Баторе, скорей, какая-нибудь "тойота-лэндкрузер"... ну, знаешь, "легенда Японии", "надежность", и легче перегонять через Китай или через русских.

Как душа я не слишком-то в этом разбираюсь. Мне казалось, что лишь немецкие чего-то стоят. Все-таки за прошедшие годы я успела немного привыкнуть к твоим мыслям.

Ну, потому что это правда. Но оттуда далековато. Монголия — это Монголия. К тому же там нет дорог. Русский УАЗ — норма, а "крузер" или "патрол" — мечта. А кроме того, мне кажется, Душа моя, что граница, где заканчивается восхищение немецкой техникой, более или менее совпадает с границей, где остановили вермахт. Русские обожают миф о "мерсе" не меньше, чем миф о России как сверхдержаве.

Смотри-ка — всего два дня как умер, а уже начинаешь мыслить шире. История, политика...

Знаешь, Душа моя, я боюсь скуки... Как подумаю, что мне осталось только лежать, и думать, и разлагаться, и так до самого конца, то есть беско-

нечно, и что уже ни-ни, никаких удовольствий, никаких сабвуферов и восхищенных девичьих взглядов, никаких друзей...

Перестань, а то я расчувствуюсь и заплачу. Хотя, кажется, без тебя это как бы невыполнимо. Как говорится, ты "унес слезы с собой в могилу"... а при жизни не давал слабины.

Хватит издеваться. Мне и правда тяжело. Если б ты на минутку вернулась...

Ты, пройдоха медоточивый! Когда я была на месте, то была тебе не нужна, ты меня не слышал, на хрен была не нужна, это я-то! Собственная, единственная, неповторимая, бессмертная душа! А теперь желаешь воскреснуть, чтобы девок клеить? Как бы не так! Покаяние, покаяние и еще раз покаяние!

Какое покаяние? Ведь я ни в чем не виноват. Мне выстрелили в спину... К тому же из-за стрельбы мы ничего не взяли. Мы только хотели украсть. За это не убивают. Это не fair!

Еще как fair, в высшей степени fair. Ты любил деньги, бриллианты, дезодоранты и немецкую автомобильную промышленность больше собственной жизни...

Но ведь все любят...

Не стоит преувеличивать. Ты сам упоминал монголов.

Душа моя, да ведь они вообще ни о чем понятия не имеют. Что монгол знает о любви, что он может знать о черной "Х-пятой"? Цыганский барон всей Молдавии и тот больше в этом разбирается. Он ездит на "пятерке" к чукчам торговать теплым бельем, и ему приходится спать с их женщинами, потому что тамошние законы гостеприимства святы.

Ты знаком с цыганским бароном из Молдавии?

Ты забыла? Мы познакомились в Литве. Когда перегоняли "мерс". Но тот был не краденый, упаси бог. У албанцев по случаю купили.

Знаешь, кое-какие факты нашей общей жизни от меня, кажется, ускользнули. Время от времени меня тянуло вздремнуть. Особенно во время этих переездов с Запада на Восток и обратно.

Ну да, для женщин это, наверное, скучно.

А ты бы, конечно, хотел, чтобы душа была мужиком. Вы бы тогда воровали и гоняли на машинах с чистой совестью. И он, этот твой, прошу прощения, "душ" любил бы автомобили так же, как ты, так же жаждал бы обладать ими, со всеми их кожаными сиденьями, литыми дисками и что там у них еще. И тогда вы достигли бы бессмертия, потому что твой "душ" ни за что бы тебя не покинул. Так бы вы и колесили целую вечность.

Моя собственная душа насмехается надо мной...

Потому что ты ей изменил.

Я только делал то, что и все: желал и удовлетворял свои желания. У нас, ты же знаешь, даже у собак цепи короче, чем нужно, — из соображений экономии. А потом я приехал к этим и увидел, что желание обладать не грех: наоборот, у кого нет такого желания — тот просто, извини меня, недоделанный. Да, я крал, но тем самым освобождал место для новых бриллиантов и автомобилей, благодаря мне на свет появлялись новые "бумеры" и "ауди", благодаря мне процветали амстердамские гранильные мастерские, а черные братья спускались все глубже под землю в копях Претории и Конго. Я давал работу полицейским, журналистам, страховым агентам, не говоря уж о психоаналитиках, которым приходилось месяцами утешать пострадавших. Ведь лишиться "ауди ТТ" — почти то же, что потерять близкого человека. А подумай о другой стороне медали — о наших сонных городах на Востоке, где благодаря мне оседали эти чудеса техники. Подумай о Кишиневе и подумай о Тарту, подумай о внезапно пробудившихся желаниях. Конъюнктура начинается в голове. Они мне орден должны дать: и Bayerische Motoren Werke, и Mercedes-Benz AG, и Adam Opel — хотя последнего мы как раз старались избегать: он не пользовался спросом даже у русских. И правительство Бундесреспублики тоже должно дать мне орден. Ну, не правительство, так на худой конец МИД, ведь если у них там и есть что-то стоящее, так это "гольф" — "тройка" или "четверка", лучше черная и с тонированными стеклами. Благодаря этим моделям вся молодая братва оказалась на колесах, в результате чего узнала о существовании других стран. Раньше они думали, что есть только Россия. Лишь увидев "гольф", они поверили, что есть и Германия... А ты, Душа моя, говоришь об измене, обвиняешь меня в эгоизме, считаешь говнюком, в то время как я являюсь, пардон, являлся воплощением панъевропейских и общемировых идей... Представь, что я просто-напросто краденый автомобиль, который ты перегоняешь от одной границы до другой.

Я была права. Твоя душа должна была быть парнем.

Хор женщин

Не хотят, чтобы мы были с ними.
Боятся при нас плакать.
Хотят плакать одни.
Они думают, что идет война, и женщины лишние.
Для них все сводится к войне. Они как дети — хотят, чтобы им всё было позволено.
Или как педики. Война — изобретение пидоров. Чтобы никогда не расставаться. Жить и умереть вместе.

Воровать и попасться.
Позволить себя убить.
Из принципа, бескорыстно. Ведь если тебя убьют, ты ничего с этого не поимеешь.
Все поставить на кон и все потерять.

Типа им не больно и надо.
Привозят нам дезодоранты и трусики, типа к нам нельзя с пустыми руками.
Себе никогда ничего не покупают.
Думают, нам надо что-то дать.
А не дашь, мы не будем ждать.
В смысле — будем ждать другого. У которого дезодоранты и трусики лучше.

Они всегда считают себя хуже.
Что кто-то другой лучше.
Поэтому так поступают.
Отдают даром.
Чтобы ими восхищались, думали, они лучше.
Разбивают вдребезги и бросают.
Чтобы другие видели.
Потом им приходится ехать за новыми.
Да, воровать все равно что воевать.
Они никогда не берут с собой женщин.
Воровство — изобретение педерастов.
Они в восторге сами от себя.
И от своих машин.
Машина ничего не хочет.
Машина для них как собака.
Смотрит на них, глаз не сводит.
Так же, как и они на нее.
Они отдадут тебе брильянты, но автомобиль — ни за что.
Лучше разобьют, потом обольют бензином и подожгут.
Если у них украсть машину, они убить готовы.
Да, и автомобили, и они сами — изобретение педерастов.
Женщине они скажут "ты, курва", а "бэхе"[1] — никогда.
Лишь в машине они не чувствуют себя хуже всех.
Да, в машине каждый лучше всех, и вот тут-то их и подмывает разбиться насмерть.
Когда-нибудь так и случится.

Операционная. Врачи и тело

Вон он какой здоровенный, старый и жирный — нам нелегко придется. Надо будет туда добраться раньше, чем он совсем остынет.

Сейчас он вполне еще теплый. Наверное, из-за своего сала. Бывает, сало убивает, а бывает, помогает выжить.

В странном мы теперь живем мире.

Когда-то жир был что надо. Каждый хотел быть толстым. Это означало достаток и уважение ближних.

1. "Бэха" — название "БМВ" (*жарг.*).

Теперь так только у дикарей. Где-нибудь на Юге или на Востоке.

Я читал в газете, что этот имел немало. Практически он имел всё.

Ну, коли уж ему хватило на такую операцию, то действительно...

Четырехэтажный дом, шесть автомобилей и ювелирный магазин.

Писали, что он стрелял с третьего этажа.

На четвертый, наверно, уже не мог подняться.

Да, так оно и бывает: когда у тебя наконец появляется четвертый этаж, то уже нет сил на него подняться.

Он по-прежнему теплый... Даже вроде бы стал теплее?

Ну нет, уважаемые коллеги, у трупа не может подскочить температура. Труп остывает.

Вдруг он живой...

Труп? Коллеги, мы же немецкие врачи!

Ну, если и не живой, то все равно жить будет. Откуда донор?

Двадцать четыре года, худощавый, с развитой мускулатурой, высокий блондин, вполне ничего себе...

Откуда?..

С Востока. Угонщик автомобилей.

Braveheart[1].

Наверное, молдаванин. Оттуда в последнее время больше всего предложений. Каждый второй что-нибудь продает. У каждого второго шрамы спереди или сзади. Смотрится неважно, потому что режут осторожно, а зашивают кое-как.

Хорошо еще, что зашивают. Могли бы и так оставить. Вы же знаете, как там у них. Никакого уважения к человеческой жизни. Главное для них деньги. Если у кого-то осталась только одна почка, он уже не котируется на рынке.

Нет, он не молдаванин. Там нет автомобильных воров. Страна живет за счет экспорта органов своих граждан. В основном к нам, но и американцы берут кое-что.

1. Храброе сердце (*англ.*) – вероятно, отсылка к снятому в 1995 г. режиссером Мелом Гибсоном фильму, изобилующему жестокими сценами убийств. Прозвище Храброе Сердце принадлежит главному герою фильма.

Ах, бедные, бедные славяне. Вынуждены продавать поджелудочные железы и печень, чтобы сохранить свою самобытную культуру и загадочный язык. Интересно, всегда ли так было...

Молдаване не славяне. Конечно, внешне они очень похожи, но их язык относится к романской группе.

Ну, без дураков! Говорят по-французски и позволяют вырезать себе желчный пузырь на продажу?!

Уважаемые коллеги, приступим, иначе он у нас и вправду остынет. Донор с Востока, из Польши.

О господи!

Что?

О господи!

Что?

О господи!

Что случилось?

Он шевельнулся...

Ну, скажешь тоже...

Шевельнулся и продолжает шевелиться...

Он не имеет права!

Он втянул воздух...

А теперь выдохнул...

Он мертвый, но живой...

Ну нет, это уже какая-то Румыния...

Он пытается что-то сказать...

...Трансильвания...

Я не хочу, не хочу, не хочу такое сердце. Я всё слышал.

Блин...

Не должен был, потому что умер, но я слышал. От такого даже мертвый встанет.

Офигеть, вот это номер...

Учтите, я все слышу.

Извините...

Я хочу другое.

Исключено. Вы сейчас остынете, и мы даже с этим опоздаем.

Командир, это хорошее сердце. Я бы сам в вашем возрасте хотел бы иметь такое.

Braveheart!

Вот именно!

А немецкого у вас нет?

Это сложно. Раньше времени своего никто не уступит.

Шведского?

Увы...

Английского, голландского либо на худой конец французского или итальянского?

Нам очень жаль. Сейчас всё это поступает с Востока. Вам не холодно?

Нет. Даже как будто жарко. Наверно, от страха. Или от злости. Конечно, я преставился, но как вспомню то утро, совершенно не чувствую себя мертвым, а вроде бы просто не могу заснуть. Вижу, как они двумя этажами ниже посягают на мою собственность. Да что там посягают! Она уже у них! Они уже вошли и хватают все, что нажито честным, добросовестным трудом! Везде на полу стекло, и слышно, как они продолжают его бить, как разбивают все, что под руку попадется. Я видел это глазами души, видел осколки стекла вперемешку с бриллиантами... Жестоко, невыносимо... Этот страх, что все перемешается и потом уже никогда не удастся отделить одно от другого, стекло от камней, богатство от того, что не имеет цены, красоту от тлена. У меня слезы застилали глаза, и я не целился. Просто пальнул в ту сторону. Права собственности священны. Так нас учили...

Чем больше он говорит, тем больше разогревается...

Тем он живее...

В конце концов встанет и пойдет...

Мы так не договаривались...

Дадим ему наркоз и сделаем свое дело...

Он выговорится и сам заснет...

Да, человека иногда тянет поговорить с другим человеком...

...И мы верили, и будем на этом стоять[1]. Я ни в кого специально не целился. Я целился вообще, целился во всех тех, кто нарушает порядок! Если кому-то нужны бриллианты, он должен их купить. Или отправиться за ними в алмазные копи. В смысле позаботиться о покупке собственных копей, и тогда незачем будет зариться на чужое. Надо работать, преумножать богатство, а остальное приложится. Там, где нет собственности, ничего нет! Там люди едят из одной миски, как собаки! Так было и есть на Востоке. Там ничего нет, нет собственности, вот они и едут сюда, чтобы отбирать нашу и потом делать вид, что она их. Я ни в кого не целился, я целился вообще, во имя принципов, и вовсе не угрызения совести не дают мне спать спокойно... в смысле спокойно не жить...

Я делаю ему укол. Надоело...

Неизвестно, подействует ли.

С чего бы ему не подействовать?

Потому что все это очень странно... сверхъестественно...

В медицинском учреждении?

...Сам не знаю... Моя бабка родом с Востока...

А вы тут еще ко мне с этим чертовым польским сердцем!!! Всю жизнь человек платит налоги, делает отчисления, страховые взносы — и вот на́ тебе... Как я буду выглядеть, как посмотрю людям в глаза... Я, который дал клятву, что ноги моей не будет даже в Гэдеэр. Да кто он вообще такой?!

В смысле кто?

Этот трансплантат.

Донор?

Да. Донор.

...Он был... был... был...

Он был студентом!

...Да, студентом...

И что он, интересно, изучал?

1. Отсылка к знаменитому изречению Мартина Лютера "На этом стою и буду стоять".

...Он изучал... он изучал...

Он изучал германистику!

...Точно, германистику...

А, хорошо, очень хорошо. Там все должны изучать германистику. Жаль, что они раньше этого не делали, очень жаль. Ах, если бы им был доступен Гёте, коммунизм бы не привился. Теперь уже поздно, придется начинать сначала. Если бы они вовремя познакомились с Шиллером, мне не пришлось бы палить наугад. Да, изучение германистики на Востоке приведет к тому, что на наших улицах станет спокойнее. И снова, как когда-то, можно будет оставлять машины открытыми, с ключами в замке зажигания. А как выглядит этот донор?

Молодой.

Худощавый.

Двадцать четыре года.

Не пил.

Не курил.

Холост.

С развитой мускулатурой.

Стройный.

Блондин, разумеется.

Щетина густая, но брился ежедневно.

Каждый день менял трусы.

Руки мыл двенадцать раз, а зубы чистил после каждого приема пищи.

Ну, насчет рук вы, скорей всего, немного приукрасили, но, с другой стороны, кто знает, какие там у них руки. Там дети ползают на четвереньках гораздо дольше, чем у нас. Такова, к сожалению, статистика, и я сам видел по телевизору. Уже большие, ходили на четвереньках по кругу...

Наверно, они играли...

Наверно. Но у них, вы сами, господа, знаете, игры не похожи на наши, тут не разберешь. Как бы то ни было, германист — еще не немец.

Я бы, однако, хотел напомнить, что это ваше тепло не будет сохраняться вечно, и сейчас не время капризничать. Говорю вам как врач, кото-

рый в ответе за вашу жизнь. Сердце — это сердце, и попрошу не воротить нос.

Да, когда они без сознания, лучше работается...

А когда мертвые, еще лучше...

Золотые слова — одно удовольствие...

Ну хорошо — германист. Но ведь... кто его знает. Кем, например, были его родители? Кем была его мать? А бабка, а дед... То, что мы знаем о его чистых трусах — только часть правды. А вдруг его отец был лодырем? А мать — плохой хозяйкой? Дед — мотом, а бабка легкого поведения, тогда что? Наш германист мог преодолевать в себе свое прошлое силой воли, самодисциплиной, работой над собой, но почему теперь *я* должен это расхлебывать? Я, порядочный человек из хорошей семьи?

Ну надо же, он считает, что в результате трансплантации заразится чужим прошлым... сделайте ему какой-нибудь укол... прямо не знаю... пусть им займется анестезиолог, а потом пересадим ему сердце бобра или нутрии...

И тогда он всё бросит и станет плотником или лесорубом...

Или сердце немецкой овчарки...

Станет ночным сторожем...

Ах, давайте вошьем ему турецкое сердце, и пусть исполняет танец живота...

Или чешское ему пересадим...

Или македонское...

Герцеговинско-боснийское...

Сербско-черногорское...

Словацко-словенское...

Латвийско-литовское...

Эстонско-румынское...

Венгерско-молдавское...

Украинско-албанское...

Давайте вошьем белорусское...

Болгарское — пусть блеет, как овца...

Уважаемые господа хирурги, я просто боюсь. Нелегко быть ювелиром. Все может обесцениться в один миг. Я боюсь смерти, но боюсь и восточного сердца. Там до сих пор печатают странные деньги с портретами неизвестных древних варваров. Их короли, поэты и композиторы похожи на татаромонголов. Дети до четырнадцати лет ходят на четвереньках. Боюсь, как бы я после этой операции не раздал всё нажитое, что еще у меня осталось. Или того хуже — растранжирил на женщин и спиртное или же на вечеринки со случайными знакомыми. Да, господа хирурги, я испытываю настоящий страх, такой, как в детстве, когда рассказывали страшные сказки; я боюсь, как в детстве под одеялом, когда сон всё не приходит, боюсь и сам не знаю, откуда берется этот страх, но, скорее всего, он приходит, как всегда, с Востока, и поэтому я сказал себе, что ноги моей не будет даже в Гэдеэр...

Мы должны вшить вам бесстрашное сердце.

Но где такое сейчас найдешь?

Можно бы поискать у русских, но, к сожалению, время не терпит...

Если бы не это, можно бы и у китайских товарищей...

Тсс... тсс... кажется, уснул...

Спит?

Да.

Тогда за работу!

Даже не знаю...

Чего ты не знаешь?

Ну, ведь теперь получается, что мы действуем вопреки воле пациента.

Может, он ничего потом не вспомнит.

А если вспомнит?

И что? Велит вырезать?

Даже не знаю... Мир стал какой-то странный... Сам не знаю...

Хор

Да, мир стал какой-то странный.
На Восток потоком идут автомобили и бриллианты, на Запад — легкие и почки.
Автомобили часто бывают краденые, а органы иногда путешествуют в полном комплекте, вместе с обладателем.
Особенно женские. Женские тела обычно не разукомплектовывают.

Их нелегально вывозят целыми. Кому нужна разрезанная женщина, даже если ее потом красиво сшили?
Истинно говорю вам — никому.
Свое и то не отобьешь. Поистине женщина не машина.
Ее невозможно разобрать и собрать. Женщина должна быть в комплекте.
Мужчины из Молдавии посылают свои тела по частям. Одну часть в Лондон, другую — в Париж, третью — в Цюрих, четвертую — во Франкфурт-на-Майне. И таким образом весь человек оказывается в тех местах, где всегда мечтал побывать, поскольку зеленые холмы Молдавии не удовлетворяли его запросам.

Да, странный стал мир.
Ах, даже можно себе представить, как его тело собирается где-нибудь за круглым столом. Говорит по-французски, по-немецки или по-английски, ведет важные переговоры, например, на продовольственной ярмарке в Кёльне.
Не то чтобы это происходило сплошь и рядом, но случай вполне вероятный.
Тело встречает само себя, чует свой запах и слышит свои звуки. Части тянутся одна к другой, и господа или дамы, сидящие за столом, чувствуют необъяснимую взаимную симпатию. Словно когда-то разлученные и теперь чудом отыскавшиеся братья и сестры.
Печень, почка, легкое, поджелудочная железа.
Все изнашивается, надо менять. Спустить старую грязную кровь и залить новую, как масло в автомобиль, как тосол.
Женщины — другое дело. Женщин заменяют целиком. Они приходят в негодность быстрее, чем части тела. Печень работает пятьдесят лет. Женщина — три, четыре, пять, и ей уже нужна замена.
Да, мир стал какой-то странный.
Он стремится к равновесию.
Восток нуждается в вещах, а Запад — в свежей крови.
“Бумеры” за мясо.
“Ауди” за гипофиз.
“Гольф” за тонкий кишечник.
“Пассат” за толстый.
“Поло” за поджелудочную железу.
За “поло” — поджелудочную?
За поджелудочную — максимум “лупо”.
“Лупо” за поджелудочную?!
За “лупо” от силы — полное переливание крови!
Переливание за подержанный “гольф-тройку”, а не за нулёвый “лупо”!!!
Или за подержанную “корсу”! Да и то с тремя дверцами и с бензиновым двигателем один и две десятых!
Да за такую — шиш, а не переливание! Пересадку ушной раковины!
А как это “полное переливание”? Всю кровь забирают? Ничего не оставляют?
Наверное, немного оставляют. Или подливают, чтобы донор не высох.
И всё за “корсу” с маленьким устаревшим бензиновым двигателем...
Или за что-нибудь похуже...

А что может быть хуже?
Например, французские.
О господи! Вот фуфло! До чего же нужно дойти, что́ чувствовать в душе, чтобы за "твинго" отдать селезенку...
Или другие какие части за итальянское "уно"...
Да за "уно" разве что дырку в заднице...

Вещи, вещи, вещи текут в изголодавшиеся по ним города на Востоке.
Даже тамошние собаки уже едят искусственный корм из пластиковых мисок с надписью Chappi.
Вещи плывут как облака, плывут вместе с массами воздуха, плывут на Восток.
Здесь люди издревле, глядя в небо, гадали, не будет ли завтра дождя, который может погубить урожай на полях.
Сегодня они высматривают стиральные машины и холодильники, белые, как облака. Высматривают полотеры, наряды, постельное белье и занавески, подобные ангельским крыльям.
Потому что здесь привыкли всматриваться вдаль. Потому что сюда всё приходит издалека.
Потому что нужно терпеливо ждать. Так, как испокон веку ждали солнца или дождя.
Давайте же будем петь нашу песню, чтобы оттянуть конец, чтобы ожидание никогда не кончалось. Здесь, когда кончается ожидание, не остается уже ничего.

А в другую сторону, господа, идут потоком мясо и кровь.
Только мясо и кровь, потому что все остальное имеется на месте.
На месте нет лишь бессмертия, и его приходится импортировать.
Обложив льдом, в жидком азоте или в натуральном виде.
Здесь автозаводы, там плантации тел, то на то и выходит. Это похоже на давно утраченную, канувшую в Лету гармонию, Золотой век, когда для каждого было место под солнцем и каждый получал то, чего жаждал.
О, да! Я помню! Лев спал вместе с ягненком!
Волк — питался травой! А человек — плодами Древа жизни!
Так было, и так будет, когда наступит конец времен, как заповедано!
Исполнение желаний! Бессмертие!
Через двадцать, пятнадцать, десять лет у каждого китайца будет свой автомобиль!
Аллилуйя!
А у каждого немца — по морозильнику, полному запчастей!
Боже правый! Китайские ногти, волосы, сфинктеры и все, чего душе угодно. Ex oriente lux![1]
Несметное множество и непобедимая плодовитость!
Все, как Иов, будут отходить, насытившись прожитыми днями!
Полный морозильник сердец! А туда — подержанные "рено", трехлетние "опели", и вот уже яко на небеси и на земли!
Осанна, Осанна, Осанна!!!

1. Свет с Востока *(лат.)*.

Ты была права, Душенька. Зашьют мое сердце в этом жирдяе. Теперь я, кажется, все это вижу, вижу сверху. Будто лечу на самолете и смотрю в окно.

Ты же никогда не летал.

Нет. Некуда было и неоткуда. Ты сама видела.

Да. Там, где следовало бы быть аэродрому, по ночам грызлись собаки.

Да.

С таким сердцем, как у тебя, надо было красть самолеты и потом кому-нибудь их толкать. Например, русским. Они, по слухам, всё берут.

И ты, Душа, говоришь мне это?

Сердце вынули, одна только я у тебя и осталась. Хотела тебя утешить.

А вот войти в меня не хочешь.

Знаешь, есть принципы...

Знаю, знаю... Глянь, уже пересаживают... Сейчас зашьют, и привет.

Он снова будет жить.

Мне бабка говорила, что с ними бесполезно — все равно ихний верх будет.

И твое сердце вместе с ним.

И я должен этим утешаться? Да пусть бы его лучше со мной закопали. Или собак голодных накормили. Украли сердце...

Ты крал бриллианты. Нет вещи дороже.

Сердце дороже.

Ах, ты рассуждаешь, как славянин. И лицемер. Ты ему, как и мне, немного уделял времени. Да еще сигареты, кофе, водка, амфет, кокс...

Душа моя, но оно ведь тоже нуждалось в развлечениях. Сердце — это не душа. Оно все-таки как бы тело... Ну и к тому же я вроде его не слишком надорвал, раз его взяли.

Я имею в виду чувства.

Молодой был, чувств у меня было полно, и я не мог ни на чем остановиться.

Прекрасно сказано. Не мог ни на чем остановиться, и отсюда десятки проб и ошибок. Или сотни, не знаю, ведь я позволяла себе иногда покемарить со скуки.

Извини, но как раз начали зашивать... Ну точно рубаху какую. Потом отсоединят от него трубки, приборы, экраны, и он встанет и вернется в свой четырехэтажный дом любоваться на свои бриллианты... Извини, но не каждый день видишь, как собственное сердце исчезает в чужом теле...

Думаешь, когда он увидит эти свои бриллианты, то сердце у него забьется так же, как у тебя, когда ты на них смотрел?

Лучше не надо, в его-то возрасте может не выдержать. Не дай бог, в нем еще что-нибудь лопнет. Один раз он почти умер, теперь нужно себя беречь. Ты должна поговорить с его душой...

Переживаешь за него? Он же выстрелил тебе в спину.

Я за свое сердце переживаю!.. А кроме того, знаешь, после смерти человек начинает смотреть на вещи объективнее. Я бы тоже выстрелил в сукиного сына, который захотел у меня что-то отнять.

Что же, к примеру? У тебя почти всё было краденое.

Да ведь то, что я украл, уже мое! Вот только не надо, Душа моя! Объективность объективностью, а здравый рассудок не покидает даже трупа. Потому он и называется рассудком...

Ну ладно, ладно... Сейчас действительно уже поздновато учить тебя морали. Надеюсь, душа этого господина сумеет лучше справиться с твоим сердцем.

Ты правда думаешь, что мое сердце в этом борове останется хоть отчасти моим?..

Хочешь сказать, он примется нелегально перегонять через границу автомобили в Баку или Одессу, балуясь по дороге амфетом или коксом, не чувствуя ни страха перед русскими, ни уважения к ним, и будет колотить витрины где-нибудь в Детмольде или другом каком Брауншвейке, чтобы набить себе карманы бриллиантами и часами от десяти тысяч и выше, а потом заживет у себя на Востоке, в городе, где собаки воют на пустырях, смахивающих на аэродромы, поселится на пятом этаже панельного дома вместе с матерью и бабкой... Нет, я мало в это верю. Чересчур экстравагантная картина даже для славянской души, романтически признающей примат сердца над разумом... При всем уважении... Он не поедет в Баку...

Я бы хотел, чтобы как бы ездил. Мне это нравилось... Тысяча пятьсот километров за сутки... Мы брали в дорогу целые пачки десятидолларовых бумажек для русских гаишников, чтобы не приставали... И пистолет, на всякий случай. За границей становишься осторожным...

И все же вряд ли... Не в Тбилиси... От силы в Гэдеэр, в какой-нибудь Болтенхаген, а там как увидит на пляже лица пенсионеров из Ростока, так и подумает, что он в Москве. В смысле приключений я бы не особенно на него рассчитывала.

Жаль мне моего сердца, Душа моя...

Я понимаю. Но не расстраивайся. Скоро все закончится. Скоро ты совсем умрешь и уже ничего не будешь чувствовать. Ничего.

А ты?

Я? Я бессмертна. Я буду каяться. Буду блуждать. Раз не сумела уберечь тебя от греха, то буду блуждать по свету и смотреть, как другие развлекаются, пускаются во все тяжкие, крадут бриллианты, автомобили, покоряют женщин, а я, лишенная тела и органов чувств, буду, так сказать, лишь бессильным свидетелем.

Уж лучше быть полным трупом, чем бессильным свидетелем...

Наверное, ты прав.

Ты будешь навещать мое сердце?

Даю слово.

Черт, это похоже на прощание перед вечной разлукой. Черт, я сейчас заплачу, Душа моя...

Не совсем.

Что — не совсем?

Не совсем вечной. Ты католик.

Ну... допустим...

Мы, католики, верим в воскрешение тел.

Смотри-ка ты... забыл насмерть...

Операционная. Воскрешение

Уууаааххххххх... ууууууаааааххххххх...

Просыпается... тс-с... просыпается... тс-с...

Уууаааххххххх... ууууууаааааххххххх...

Лучше бы он спал...

Да. Мог бы ведь так спать и спать и при этом быть вполне себе живым. Одно другому не мешает.

Со спящими никаких забот.

Знай меняй им бутылки с растворами.

И измеряй температуру.

Давление.

Глюкозу.

Брей их.

Все хорошие, когда спят.

Им бы только спать.

...А этот, блин, просыпается... Прошу прощения...

Ничего, все знают, что у тебя бабка с Востока.

Так и есть...

Уууууааааааххххххх... Здравствуйте... Где я? Хорошо тут, но не пойму, где это я... Никогда раньше здесь не был.

Как вам сказать...

Говори прямо, давай, сынок, не в бровь, а в глаз.

Вы... вы...

Совершенно верно... коллега имел в виду...

Да, собственно, ничего не случилось...

Ну да, все белое, кругом чисто, тихо, и двери кто-то позапирал. Так я и знал, так я и думал, этого-то и боялся с самого начала и всегда такую возможность учитывал. Это входило в мои расчеты. Я в тюряге! Но если вы думаете, что я трухану, что я прогнусь, вы ошибаетесь, тут вы лажанулись конкретно. Можете поцеловать меня в зад, клал я на вас!

Конечно, вы совершенно правы, тем не менее вы, однако, как бы ошибаетесь...

Не хотелось бы быть невежливым, но, сдается мне, что ты гонишь, сынок. То есть темнишь. А ведь ты государственный служащий и не должен врать, поскольку тебя наняли на деньги налогоплательщиков...

Служащий?.. На деньги налогоплательщиков?.. Да за деньги налогоплательщиков мы можем максимум сделать промывание желудка, а не такое...

Какое?

Никакое, никакое, я к коллеге обратился, что, конечно, в высшей степени...

Что-то для охранников уж больно вы зашуганные.

Для охранников...

Да, для охры.
Не так я себе это представлял. Мне казалось, если есть преступление, то есть и наказание. Наручники, террор, преследования, псы без намордников, прессование, а у вас между тем такой вид, будто у каждого совесть нечиста.

А она у вас должна быть нечиста, так ведь?

То-то и оно!

А почему, собственно?

...В том-то и загвоздка... Собственно, где-то глубоко во мне засело ощущение, что я торопился жить и хотел умереть молодым, но все прегрешения, которые мне приходят в голову, довольно абстрактные. Короче, я точно знаю, что должен сидеть, но не знаю, за что именно. Просто у меня такое чувство, что я должен сгнить в тюряге, и горжусь этим.

Черт... Кто б мог подумать...

Ха! К тому же мне охота разнести вашу тюрягу к едрене фене, чтобы камня на камне не осталось! Собственными руками! Спалить!

Ничего себе... Какие-то Балканы в миниатюре у нас дома... Что за идиот сказал, будто это просто мышца... Будто пересадить ее — то же самое, что почку...

И любоваться на пламя, и, даже если меня на коленях будут умолять нассать в огонь, взять и не нассать!

Позвольте вам напомнить, что вы в немецкой клинике... пардон... тюрьме...

Е...ть их всех! Е...ть немцев! Сукины дети! Почти что все смахивают на пидоров. А бабы похожи на мужиков, хоть сейчас на войну! Тут только черные еще смотрятся более-менее. Остальные постоянно в кого-то рядятся, кто в итальянских безработных, кто в американских бандитов — не страна, а какой-то театр трансвеститов... Да, еще желтые. Эти

держат фасон. Что ни говорите, а я ни разу не видел на улице желтого в каком-нибудь дурацком прикиде. Нет, они маскарад не устраивают. Таскают на горбу свои валторны с виолончелями, реализуя перспективные планы. Только мой народ, будто люмпены какие-то, норовит выдать себя за непонятно кого. Ну точно как русские, как поляки, как гэдеэровцы! Ходят в спортивных костюмах с отливом, пьют пиво из банок и кидают их куда ни попадя! Скоро своего от русского не отличишь! Мое сердце этого не выдержит и разорвется, ведь оно помнит и другие времена. Я должен был родиться желтым. Или наоборот, черным. Но не повезло! И мне ничего не остается, как заделаться узником совести и податься на нары, чтоб потом подпалить эту вашу тюрягу... и любоваться...

...и не нассать...

...вы читаете мои мысли, молодой человек, пусть горит как можно дольше...

...наша страна, должно быть, вас страшно достала...

Что нам, черт возьми, с ним делать?

Ведь его нельзя сейчас выпустить.

Нам повезло: он и сам того же мнения.

Все в нем перемешалось.

Славянское сердце и германский разум...

Искренность, эмоциональность и критический склад ума...

С одной стороны — поджечь, а с другой — гражданская ответственность за будущее страны...

Родные подадут на нас в суд...

Они привезли нам ювелира...

А назад получат какого-то Бакунина...

Слава богу, что еще по-польски не заговорил...

А черт его знает, на каком он думает...

К счастью, мысли подслушать невозможно...

Мы должны его усыпить...

С какой целью?..

Пусть себе поспит... пусть проспится, вдруг все пройдет...

Действительно, как проспится...
Да-да, надо дать ему немного времени...

Потому что, если подумать, хоть сердце у него и польское, зато кровь немецкая, и как только она разойдется по самым дальним уголкам, вплоть до головы, в смысле до мозга, все должно прийти в норму...

Господа! Мы же врачи! Кровь может иметь Rh плюс, Rh минус, быть первой, второй, третьей группы, но кровь не имеет национальности...

Вот именно... скорее всего, так... а иначе получается какая-то дикость дремучая...
Но, с другой стороны, вы ведь сами невооруженным глазом видите: произошла странная, преудивительная и внезапная метаморфоза, явившаяся следствием пересадки обыкновенной, казалось бы, мышцы...

Давайте подбросим его психиатрам...

Прекрасная идея, жаль, невыполнимая. Тем более что он не с ума сошел, а просто несколько изменил мировоззрение...

Аминь. То есть ничего не остается, как сделать укол и положиться на целебное воздействие сна...

На всякий случай приготовьтесь — вдруг понадобится его держать...

Лучше б я работал врачом в Кишиневе...

Хор

Хор должен быть мудрее всех, потому что хор — он ниоткуда.
Участники хора — старики и старухи, которые уже однажды умерли.
Участники хора — духи, которые немало повидали на своем веку.
И еще — тела, которые немало перечувствовали.
Я б хотел, чтобы хор был мудрее своей песни.
Жизнь слишком сложна, чтобы доверить ее персонажам пьесы.
Персонажи умирают, сходят с ума или пропадают.
Кто станет ждать мертвого похитителя автомобилей и бриллиантов?
Кто — старика, которого лишило разума чужое сердце?
Собаки в далеком городе на Востоке.
Они узнают запах хозяина даже сквозь плотно закрытую крышку гроба.
И старухи ждут, для которых он навсегда останется ребенком.
Но кто же будет ждать богача, который презирает богатство?
Кто — толстосума, который раздаст свое добро?
Дни становятся короче и короче, и все дольше придется сидеть при свете.
Собаки, свернувшись в клубок, будут пережидать холода.
Запад ничем не отличается от Востока перед лицом смерти и безумия.
Во всяком случае, так должно быть. Остывают моторы автомобилей и меркнет блеск бриллиантов.
Именно об этом во все века поет хор свою песню.

О том, что происходит, когда действующие лица покидают сцену.
О том, что в конце наступает холод и меркнет самый яркий блеск.
О том, что кончается бензин и останавливаются часы за десять тысяч евро.
О том, что изобилие Запада никогда не утолит жажды Востока.
О том, что покой Востока никогда не избавит Запад от страха.
О том, что собаки чуют смерть хозяина за тысячу километров и воют.
Старухи в черных платках тоже ее чувствуют и плачут.
Об этом поет хор. О том, что, когда не станет старых женщин в платках, мы все будем умирать как собаки. И хора тоже не станет, ему не для кого будет петь.
Потому что — при всем уважении к животным — собакам не нужна песня. Собаки знают, кто они.
Собакам не нужен хор.

Зато люди и герои пьес нуждаются в нем испокон веку.
Они слушают его, и слушают, и слушают, и слушают, и слушают, и наслушаться не могут.
Потому что песни о помешательстве, нищете и смерти — самые любимые.
Песнь об угоне "мерседеса".
Песнь о врожденном воровском инстинкте.
Песнь о том, что они никогда не моются.
Песнь о том, что только и знают, что моются.
Песнь о кацапах, песнь о швабах, песнь о полячишках.
Песнь о том, что они боятся переходить на красный.
Песнь о том, что не боятся.
Песнь о том, что они не умирают, даже выпив три литра спирту.
Песнь о том, что их призвание — убийства и порядок.
Песнь о том, что они должны жить в рабстве. И о том, что вообще не должны жить.
И о том, что у них черное нёбо, и о том, что у ихних баб поперек, и о том, что их псы натасканы убивать, и наоборот, о том, что псы там подыхают с голоду на коротких цепях, и о том, что в чужой стране хорошо проводить отпуск, воевать или работать, но жить там все равно что медленно умирать — это если тебя сразу не прикончат! И не ограбят вдобавок!
Да что там ограбят! Выпотрошат с ходу!
Обманут при расчете!
Насильно женят на пидоре!
Обяжут жениться на лесбиянке!
Отравят своей едой!
После шестидесяти погонят на эвтаназию!
После семидесяти заставят просить милостыню перед костелом!
Принудят заниматься сексом с детьми!
Каждый день ходить на мессу!
Ну, тут уж вы все хватили...
Мы только хор, мы поем песни, чтобы успокоить смятенные души, ищущие ответа.
Мы лишь ответ, содержащийся в вопросе.
Мы лишь бредни, позволяющие вам заснуть спокойно.

Несмотря на то что кончается бензин, остывают моторы автомобилей, меркнет блеск украденных бриллиантов
и останавливаются часы.
Бредни, которые позволяют вам жить после пробуждения.

Больничная палата. Ночь. Кровать. На сцене двое. Один лежит, другой сидит рядом

Проснитесь... Проснитесь... Прошу вас, проснитесь... Я не могу громко говорить, вдруг кто-нибудь услышит и придет, а мне нельзя здесь находиться. Ну проснитесь же... У меня мало времени. Вы меня слышите?..

...Кто это? Что это?.. Никого нет... Сейчас ночь, никого и не должно быть, а я сплю... Кто это?.. Что это?.. Кто тут шепчет?.. Тихонько, как шепчет страх?.. Но ведь мне надо спать, здесь строгие порядки и сейчас ночь... Я должен спать...

Но вы уже проснулись. И это я. Я пришел, потому что моя душа ненадолго в меня вернулась. Вы знаете, я и не подозревал, что она у меня есть. Смешно, да?

Да. Я вас слышу... Но это как бы озвученный сон. Вы кто?

Как бы вам сказать...

Говорите прямо.

Я путешественник. Вернее, был им... теперь уж и сам не знаю. Путешествую на автомобилях и перевожу разные вещи. Чаще всего с Запада на Восток.

У вас есть любимая марка?

Что?

Марка автомобиля. И модель.

А, извините... Наверное, семисотый "BMW"... Так по крайней мере я думал раньше. То есть своего у меня никогда не было, но иногда я на нем ездил... А сейчас уж и не знаю... А у вас?

"Мерседес", парень. Класса S... Но не знаю, может, сменю его... Я теперь чувствую себя как будто моложе... Дай только выйду отсюда — куплю себе красную "корветту"... Глупо, правда? Буду в ней выглядеть как старый сивый лох...

Ну почему...

Да потому. Но мне насрать!.. Извините... Надо вести себя потише. Ведь все спят... Вы... ты, парень, однако же, не из этих...

В смысле?..

Ну, этих, которые тут спят, вы не отсюда...

Нет.

Вы лично ко мне пришли?

Да.

А зачем?

Я пришел вас навестить, у вас мое сердце.

Там... в груди...

...Его пересадили...

Кажется, до меня начинает доходить... Я спутал клинику с тюрьмой...

Да, малость...

А! Ты тот самый студент-германист! Ты мой донор!
"Я богословьем овладел,
Над философией корпел,
Юриспруденцию долбил
И медицину изучил.

Однако я при этом всем
Был и остался дураком.

В магистрах, в докторах хожу
И за нос десять лет вожу
Учеников, как буквоед,
Толкуя так и сяк предмет"[1].
Ну как? Нравится тебе?

Это?

Это Гёте!

Красиво... но я его, к сожалению, не знаю...

1. Гёте. Фауст. Первая часть. Ночь. Перевод Бориса Пастернака.

На лекциях ворон считал.

По правде, я даже не ходил.

Да я тоже учился так себе.

В вашем возрасте это уже незаметно.

Ах, если б ты видел, каким я был в молодости! Представь, я мог цитировать по памяти Гейне... Хотя он тогда был строго-настрого запрещен...

Поздравляю... Но и его я как-то упустил...

Тогда скажи, чем ты занимался.

Я угонял машины.

Господи боже мой... Будь добр, повтори...

Я угонял машины...

В школе?

Сначала только после уроков. А потом уже с самого утра...

Господи боже! Господи... Мое сердце... я не переживу... мое сердце... Что я несу... Не может же быть, чтобы я умер от разрыва сердца лишь из-за того, что это его сердце, и чтобы мое сердце не выдержало, узнав, что оно его сердце... Чушь какая... прямо самоубийство какое-то... Ты правду говоришь?

В моем положении я не имею права соврать, если б и захотел. За этим следит моя собственная душа. Сказала, чуть что не так, только я захочу вильнуть, она тут же меня покинет.

Сердце... душа... И это немецкая клиника? Ты какие крал?

В основном... в основном немецкие...

Ага! То-то! И вот что я скажу тебе, сынок: и правильно делал! Ты парень с головой! Да что тут разговаривать. Молодец! Если бы ты угонял французские, мне с тобой было бы не о чем говорить. Боже правый! Чтоб у меня в груди билось сердце похитителя "пежо"!..

...Двести шестого...

Точно... Или...

..."Ситроена-саксо"...

С языка у меня сорвал! Я бы сгорел со стыда. Перед самим собой. Да...

Раз или два было дело, пользовался, но только как средством передвижения. Потом мы их сразу бросали с ключами в замке зажигания... Ну, понимаете, берешь только, чтобы подъехать туда, где стоит какой-нибудь семисотый или, на худой конец, "пассат"...

Я тобой горжусь. Чувствую, как у меня сердце радуется... Какая, в сущности, разница — сделать филологический анализ Гёте или дёрнуть "BMW", несмотря на все его чудесные средства защиты...

Ну, знаете... все-таки... Мне кажется, пересадка оказала определенное влияние на то, что ваш... Гёте и "мерседес G"... как бы перемешались у вас в голове...

Ничего страшного, парень, это все ерунда... Вот если бы я Хайдеггера перепутал с "хёндаём"... Кроме того, я чувствую, как горячит меня твой юный пульс, чувствую, что мог бы встать и делать то же, что недавно делал ты: грешить, а то и совершить преступление из любви к немецкой автомобильной промышленности!

Мне бы не хотелось, чтобы мое сердце сгнило в тюрьме по вашей милости... Может, оно было и не самое умное, но и не такое уж плохое...

...Наверное, меня немного занесло... А вот, кстати... извини, как тебе без него?

Как-то пустовато внутри.

Ты говорил, у тебя там еще душа.

Да, но душа — это, кажется, другое. Моя бабка никогда не молилась за сердце деда, только за его душу, вроде бы душа была все же чуть-чуть важнее...

И благодаря ей ты сейчас жив? Без сердца?

Вроде, да. Во всяком случае, она так утверждает.

Да, вы, славяне, всегда были странные... Разговариваете с духами, пардон, с душами, точно какие-нибудь индейцы или цыгане... с душами, с духами предков... А потом вас губит любовь к немецкому автопрому...

Я и американский люблю, но трудно получить визу. Да и что там делать с ворованной машиной? В лучшем случае перегнать в Мексику. А вообще-то, возвращаясь к теме, — откуда вы знаете, что души нет и что она не отзовется, если вы, прошу прощения, кого-нибудь кинете, — может, она постоянно к вам взывает, да вы ее не слышите? Ну?

Ах, молодость... романтическая, и порывистая, и бескомпромиссная... Я сам таким был...

Тоже автомобили?

Тогда было другое время. Автомобилей было немного, но большие дела делались не только в автомобильной промышленности. Например, авиация. Взять хоть "Ю-87".

Что?

Sturzkampfflugzeug, еще стучит так...

А... Да, знаю, бабушка часто их вспоминала...

Тот звук, верно? Тот звук...

Да, точно... Что это было?

Гений, гений немецких конструкторов! Под крыльями мы прикрепляли пищалки, вроде тех, что в орга́не, и, когда самолет пикировал, они звучали почти как Вагнер!

Да, как орган... орган в костеле, да, бабка рассказывала, что все крестились каждый раз, как в костеле, потому что "юнкерсы" были намного хуже, чем "мессершмитты 109". Сто девятые только стреляли. Четыре пулемета калибра 7.92, однако, послабее будут, чем три плюс тыща кило бомб плюс, как вы сказали, этот Вагнер...

Да-а-а-а. Но "Эм сто девятый" — это массовое производство, целые серии удачных моделей... Если мне память не изменяет, свыше тридцати тысяч машин. Очень удачная конструкция, легко поддающаяся модернизации. Как "гольф" — первая модель, двойка, тройка, четверка...

Во всяком случае, бабка вспоминала, что, когда летел "Эм", достаточно было спрятаться, чтоб тебя нельзя было разглядеть, а когда "юнкерс" пикировал мордой вниз, то пощады не жди...

Что еще она вспоминала?..

Что вы были щеголи.

А еще что?

Как развевались белые кашне, когда вы ехали на своих "фольксвагенах-кюбелях". Бабка никогда раньше не видела белых кашне...

Это мы, наверное, ехали на Восток. Туда, где вечные снега, и кашне должны были служить маскировкой...

Вы сидели, расправив плечи, а они развевались на ветру... это она запомнила...

А что еще?

Да много, много чего, но я невнимательно слушал, теперь жалею. Не слушал, потому что мысли крутились вокруг угона автомобилей. Наверное, если бы я ее послушал, все сложилось бы по-другому...

Жалко... Я бы хотел, чтоб у меня были воспоминания... Кое-что я помню, но не уверен, было ли это на самом деле.

Тут гость начинает медленно укладываться рядом с лежащим на постели. Лежащий отодвигается, давая ему место. К концу оба лежат, прижавшись друг к другу.

А потом бабка говорила, что, когда вы уже возвращались с Востока, щегольство с вас соскочило.

Ну что ж...

Кур крали.

О, нет! Кур крали русские!

Бабка говорила, сначала вы крали, а русские уже потом — тех, что остались.

В голове не укладывается... кур...

Разница была в том, что русские варили с перьями, а вы ощипывали.

Вот, все-таки...

В смысле приказывали ощипывать бабке, тыча в нее пистолетом...

Я сожалею, но ты должен понять: русские были близко...

...Поэтому бабушка вас простила. Даже жалела вас. Такие щеголи в ту сторону, говорила, а в обратную будто бездомные какие...

Золотые слова, золотые слова, ужасно неприятно, совершенно не по плану...

...Но русских она тоже жалела. Говорила им: это есть кура. У куры есть перья, и сначала их треба вырвать. Но они ее даже не слушали, торопились очень. Забирали курицу, шли на Запад и прямо на марше передавали ее из рук в руки. Потом приходили другие, и еще, и еще...

...И еще, и еще, они выныривали из-за горизонта, и нам начинало казаться, что они бессмертны, что в их рядах никто не падает, наоборот, встают всё новые, и кое-кто из наших сходил от этого с ума...

...А когда кончались наручные часы, они забирали настенные, с кукушкой и маятником, и несли на спине, как вещмешки, и шли вслед за вами...

...Мы чувствовали их дыхание в ледяном воздухе. Оно отдавало сырым куриным мясом.

...И луком — так говорила бабушка...

...Ворованным, заметь, луком...

...Скорее всего...

...Их грузовики "ГАЗ шестьдесят семь Б" гнались за нашими "фольксвагенами-кюбелями"...

...У первых от силы двадцать пять лошадиных сил, а у вторых пятьдесят четыре...

...Но не забывай про вес! Вес! У русского ГАЗа тысяча двести двадцать килограммов, а у нашего едва шестьсот тридцать...

...Ну, и еще объем! У ГАЗа двигатель почти три с половиной литра! Бензиновый!..

...Да, чистая правда: к энергетическим ресурсам они относились точно так же, как и к людским...

...Ведь ГАЗ сжигает столько же, сколько эти их космические корабли...

Я могу немного подвинуться.

Не надо, так хорошо.

А одеяло? Нормально?

Нормально. Тепло.

Да, лето на дворе.

Середина лета, скоро начнет светать.

Будет день.

Нам надо поспать, пока он не наступил.

Да. Надо.

Конец

Славяно-германский трагифарс

Беседа Марцелы Богацкой-Вундлих с Анджеем Стасюком[1]

Перевод с польского Марины Курганской

Всё описанное в пьесе – правда?

Самая что ни на есть. Если всего этого пока не произошло, то непременно произойдет, потому что должно произойти — я уверен. Знаете, художественный вымысел сейчас в загоне. Люди любят слушать о том, что было на самом деле. Им хочется видеть только себя. Герои им больше не нужны. Они сами герои, и этого им достаточно. Поэтому я написал нечто в стиле реалити-шоу. Так мне по крайней мере кажется.

Но ведь в реалити-шоу не увидишь духов, душ, говорящих трупов...

Говорящих трупов — очень даже. Я видел как-то по телевизору — живые мертвяки, мертвее не бывает, а их трепотня — тоска смертная. Ну, а мне захотелось несколько оживить зрелище, вот и появились духи и души. Не знаю, как для вас, а для меня они в высшей степени reality. Моя бабушка часто говорила, что их видит. Я ничего не выдумал. Всё слышал собственными ушами. Какой смысл ей было лгать? Да, она иногда видела духов, они к ней приходили. Тридцать лет назад это было в порядке вещей. Духи входили в комнату, заглядывали в шкафы. Тогда я чувствовал себя каким-то недоразвитым, просто-таки дебилом, потому что их не видел, а бабушка видела. Я и посейчас так себя чувствую. Поэтому и пишу о привидениях, духах и душах.

Да, это очень по-славянски: история и духи. Прошлое и кающиеся души. Вечность как континуум времени.

История? Моя вторая бабушка была по этой части. Она помнила все. Например, помнила, сколько раз ее хотели расстрелять, помнила фасоны и цвет мундиров, помнила армии и военные части, даты и времена года. Когда ты еще маленький и у тебя нет воспоминаний, то такой запас, кладезь, такой массив чужих воспоминаний производит огромное впечатление. Словно узнаешь какую-то другую реальность, заглядываешь на тот свет. И тут у моих обеих бабушек было общее свойство — способность не удивляться. Одна воспринимала духов как нечто само собой разумеющееся, а другой виделись чем-то обыденным попытки то одних, то других ее расстрелять. Мне кажется, иногда бабушки оказывают на подростка большее влияние, чем родители. Я во всяком случае слушал

© Марина Курганская. Перевод, 2007

1. Беседа была опубликована в программке спектакля "Ночь", поставленного в Дюссельдорфском драматическом театре.

своих очень внимательно, веря каждому слову. Сейчас их уже нет, но я им по сей день верю.

Действие вашей пьесы, по крайней мере частично, "происходит" в Германии. Как вы относитесь к этой стране?

Ну да... конечно... Кто, как не я, должен быть знатоком. Я побывал примерно в сорока городах Германии, примерно в сорока немецких гостиницах, и мне нравится эта страна. Довольно хорошо я знаю и тамошние вокзалы. Во Франкфурте и Кёльне неоднократно пересаживался с поезда на поезд. Бывал в нескольких аэропортах. В аэропорту Дюссельдорфа мне однажды велели снять ботинки. У меня в Германии есть несколько приятелей и приятельниц — надеюсь. Но мое отношение к этой стране такое же сложное, как и к своему отечеству. И к Польше, и к Германии у меня одинаково сложное отношение, с той лишь разницей, что к Польше — с утра до ночи, а к Германии — время от времени. Когда я там бываю или когда переношу туда действие моей пьесы. Хорошо все же, что эта Германия есть. Господи! Что бы мы без нее делали? Без нее нам пришлось бы постоянно думать только о России. Согласитесь, довольно своеобразная перспектива. О России и об Америке. Это какое-то помешательство, какая-то паранойя, свойственная странам средней величины. И хорошо, что Германия есть, для нас это вроде ментальной терапии. Если человеку плохо, если у него проблемы с самоидентификацией, одолевают комплексы, он всегда может углубиться в размышления о Германии. Помогает. Мы братья по заморочкам, по двинутости, по комплексам. Славяне и германцы, поляки и немцы. Я пытался описать это в "Ночи", попробовал этого коснуться.

Вы сделали главным героем поляка – угонщика автомобилей...

И немецкого ювелира-убийцу...

Ну да. И ювелира. А не кажется ли вам, что это слишком провокационный ход, слишком очевидный – просто-напросто штамп?

Скорее всего, так оно и есть. Но суть в другом. Я хотел создать пьесу, зрелище, былину (не важно, как это назвать), картинку в лубочном стиле, где главное — пересуды, сплетни, выбалтывание всего, что за душой... Вот и получился такой спиритический сеанс пополам с сеансом психоаналитическим. Да...

Мордехай Рихлер

Версия Барни

С примечаниями и послесловием Майкла Панофски

Роман

Перевод с английского В. Бошняка

Книга 2
Вторая мадам Панофски
1958–1960

1

КАК я вздыхаю, вспоминая чудные давнишние деньки, когда, благодаря неожиданному приходу Мириам, я мог мигом сорваться со скучного производственного совещания моей "Артели напрасный труд"! Вот и Мириам: ждет меня в приемной, одной рукой придерживая Савла, прилепившегося на бедре, а в другой сжимая ладошку Майкла. Плечо оттягивает сумка с детской бутылочкой, пеленками, книжкой-раскраской, цветными карандашами, как минимум тремя машинками со спичечный коробок величиной, Йейтсом или Берриманом* в бумажной обложке и последним номером "Нью-Йорк ревью оф букс". Или вот она с извиняющимся видом ведет за собой бродячую собаку, которая то ли рылась в помойке на Грин-авеню, то ли дрожала в подъезде на улице Атуотера. А однажды утром привела изможденного подростка, который все время ежился и зажимался в постоянном ожидании удара, одновременно ухмыляясь искательно и коварно.

– Это Тимоти Хоббс, – представила его она. – Он из Эдмонтона.

– Привет, Тим.

– Драссс.

– Я обещала Тиму, что у тебя для него найдется работа.

– Какая еще работа?

– Тим спит не раздеваясь на Центральном вокзале, поэтому, боюсь, необходимо выплатить ему жалованье за неделю вперед.

Я пристроил Тима разносить письма, а заодно обслуживать ксерокс, несмотря на то, что он время от времени вытирал нос быстрым движением запястья. Исчез он к концу недели, вместе с сумочкой секретарши,

Продолжение. Начало см. "ИЛ", 2007, № 8.

* Здесь и далее "звездочка" отсылает к затекстным примечаниям переводчика.

калькулятором, электрической пишущей машинкой, бутылкой виски и моим недавно перезаправленным увлажнителем воздуха.

В другое утро Мириам привела беглую девчонку — мол, она без толку себя растрачивает, работая официанткой в грязной забегаловке, да еще и страдает от босса, который, не потрепав за грудь, мимо нее в кухне пройти не может.

— Мэри-Лу, — сказала Мириам, — хочет окончить компьютерные курсы.

В тот же день (я, можно сказать, не успел и глазом моргнуть) выхожу в полдень из офиса и вижу на парковочной площадке целую флотилию мотоциклов и велосипедов, брошенных там мальчишками курьерами и рассыльными. Оказывается, Мэри-Лу уже вовсю обслуживает пацанов в нашем недавно установленном — все так радовались! — грузовом лифте. Посыпались жалобы, и мне пришлось ее отпустить.

Мириам и теперь, насколько мне известно, по пятницам устраивает в их квартире день открытых дверей — приходят студенты Блэра, и она утешает обиженных и тех, кто оторван от дома. Девицам помогает с организацией абортов и свидетельствует в суде, защищая молодых людей, обвиненных в хранении наркотиков.

Сегодня я плюнул и не пошел в офис "Артели напрасный труд" — предпочел подольше поваляться в постели. Включил программу "По вашим заявкам", закрыл глаза и поплыл, представляя себе, будто Мириам здесь, со мною, под пуховым одеялом, греет мои старые кости. Этот голос я знаю насквозь — до последнего обертона. *Эге, у нее что-то случилось!* Прокрутив магнитофонную запись на ночь еще раз, я уже мог сказать это с уверенностью. Мириам нервничает. Наверное, опять поругалась по телефону с Кейт. Или лучше бы с Блэром. Возможно, настал черед старого Панофски сделать решительный ход. "Конечно, возвращайся домой, дорогая. Если я выбегу прямо сейчас, ранним утром я уже буду у твоего подъезда в Торонто. Да нет, не надо волноваться, как я доеду. Я же бросил пить! Ну да, ты права. Этим и объясняются перемены к худшему в моем характере. Да, я тоже люблю тебя!"

Хлопнув еще стопарик неразбавленного, я так расхрабрился, что действительно набрал код Торонто и ее номер телефона, но когда услышал, как она своим несравненным голосом сказала "алло", понял, что мое сердце вот-вот разорвется. И бросил трубку. Ну молодец, добился своего, подумал я. Блэр, видимо, где-то бродит, обнимая и целуя деревья или наклеивая плакаты "Общества защиты прав животных" на витрины меховых салонов. Мириам дома одна, в неглиже, и думает теперь, что квартиру прозванивал грабитель. Или сексуальный маньяк. Я напугал ее. Но звонить снова, чтобы успокоить, не посмел. Вместо этого налил себе еще стаканчик и понял, что не миновать мне очередной типичной ночи одинокого старпера, когда лежишь, взад-вперед перематывая ленту попусту растраченной жизни, в недоумении от того, как это ты *оттуда* попал — условно говоря — *сюда*. Как из трепетного отрока, который в постели декламировал "Бесплодную землю" Т. С. Элиота, получился престарелый распространитель телевизионного *дрека*[1], мизантроп, человеческий облик которого только и держится что на утраченной любви да на гордости за детей.

1. Дерьма (*идиш*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

БОСУЭЛЛ*: Но ведь человеку свойственно страшиться смерти, не правда ли?

ДЖОНСОН: Мало того, сэр! Вся жизнь есть не что иное, как борьба с навязчивыми мыслями о ней.

Свою первую работу, ставшую предвестником всех будущих прегрешений против хорошего вкуса, я получил на эстраде (гнусный Терри Макайвер, несомненно, сказал бы "в comedia dell'arte, где П. был приобщен к ремеслу мимикрии"). Меня наняли всего лишь продавать мороженое, шоколадки и орешки в "Театре варьете", где я ходил между рядами с подносом. Потом с шоу, звездой которого была Лили Сен-Сир, ненадолго приехал клоун Макси Пил, и тут мне выпал первый шанс.

— Эй, носатик, — окликнул меня Макси, — как насчет получать по два бакса за представление?

Моя роль заключалась в том, чтобы, когда подойдет очередь выходить на сцену клоуну Макси, кинуться на галерку и, прежде чем он успеет вымолвить первое слово, проорать: "Эй ты, *поц*, хрен моржовый!"

В наигранном испуге клоун Макси должен был устремить взгляд на галерку и в ответ крикнуть: "Слышь, пацан, а чего бы тебе не сунуть руки в карманы да за свой со всех сил не ухватиться?" Партер на это должен был отозваться диким гоготом, и Макси мог начинать пикироваться с первыми рядами.

Неделю назад, когда я был на очередном обследовании у Морти Гершковича, он вдруг радостно объявил:

— Смотри-ка, ты с прошлого года усох почти на полдюйма! — После чего он послал мне воздушный поцелуй и вонзил палец в резиновой перчатке в мою задницу.

— Трюфелей ты там не найдешь, — сказал я.

— Так пойдет дальше, надо будет делать на ней подтяжку кожи. И чем скорее, тем лучше. Помнишь Меира Лабковича?

— Нет.

— Да помнишь ты, помнишь! В параллельном классе учился. Большая шишка теперь в Ассоциации зоопарков и аквариумов. Он в школе первым стилягой был — брюки дудочкой, пиджак до колен... Вчера улетел в Цюрих. На пересадку почки. Они там закупают их в Пакистане. Кошмарных денег стоят, а куда денешься? А знаешь, какое новшество готовят для госбюджетных больниц? Свиные сердца для трансплантации. В Хьюстоне над этим уже вовсю работают. Ну и ответь мне теперь, что бы сказал на это Любавический ребе? Слабó тебе, Барни?*

В тот день я был у Морти последним пациентом, но не успели мы усесться в его офисе, чтобы от души на досуге потрепаться, как дверь распахнулась, влетел неистовый Дадди Кравиц и принялся все с себя сдирать и расшвыривать: кашемировое пальто — туда! белый шелковый шарф — сюда! Впрочем, этим и ограничился, в результате оставшись в шикарном смокинге. Едва удостоив меня кивком, он обратился к Морти:

— Нужна болезнь!

— Простите?

— Да не мне, жене нужна. Слушай, я ужасно спешу, она ждет в машине. "Ягуар", между прочим! Новейшей модели. Тебе бы тоже надо такую, Барни. Стоит денег, зато все штабелями укладываются. А жена плачет, понимаешь ли, слезы льет!

— Из-за того, что у нее нет никакой болезни?

Дадди объяснил, что при всех своих миллионах, при том, что он спонсор Монреальского симфонического оркестра, Музея изобразительных искусств, Монреальской центральной больницы и Макгилльского университета, при том, что ежегодно он жертвует чудовищные суммы на детские лагеря, до сих пор ему все никак не завоевать достойного с точки зрения жены места в вестмаунтском высшем обществе. Но сегодня, по дороге на благотворительный бал в пользу музея — "Клубника, знаете ли, и шампанское, но нас сажают там черт знает на каких задворках!" — так вот, по дороге, стало быть, его вдруг осенило.

— Должна же быть какая-то болезнь, о которой еще не наговорились; что-нибудь, ради чего я мог бы зарегистрировать благотворительный фонд, организовать бал в отеле "Ритц" с концертом, куда пригласил бы какую-нибудь знаменитую балерину или оперную певицу, — ведь, господи, не важно, сколько это будет стоить, зато все явятся как миленькие! Но это трудно. Мне объяснять не надо. Сам понимаю. Рассеянный склероз уже урвали. Рак — нечего и говорить. Паркинсона. Альцгеймера. Болезни печени и сердца. Полиартрит. Да что ни назови, всё растащили уже. Так что мне нужна какая-нибудь болезнь, которая еще свежа как майская роза, что-нибудь лакомое, вокруг чего можно хороводы водить — поднять большой шурум-бурум, а почетным председателем поставить генерал-губернатора или еще какого-нибудь мудня из высшего начальства. Сестру Кенни или там миссис Рузвельт, вы ж понимаете — и вот вам "Марч оф даймс"*. Полиомиелит — это был ужас какой-то. Полиомиелитом можно было кого угодно зацепить за живое — ведь дети! Насчет таких вещей люди просто сами не свои.

— Как насчет СПИДа? — предложил я.

— Ты не с луны свалился, Барни? Его уж давно оприходовали. Теперь в моде эта, как ее — ну, когда женщина заболеет, она начинает жрать, как свинья; жрет, жрет, потом два пальца в рот, и все обратно, — как эта болезнь называется?

— Булимия.

— Гадость первостатейная, но раз она была у принцессы Дианы, в Вестмаунте все от нее без ума. Черт, — вдруг сам себя прервал Дадди, глянув на часы. — Давай, думай, Морти, я опаздываю. Еще минута, и она начнет, как всегда, с клаксоном баловать. Она меня с ума сведет. Давай, удиви меня.

— Болезнь Крона.

— Что-то не слыхал. А это круто?

— Да в одной Канаде тысяч двести ею страдают.

— Блеск! Теперь твое слово. Расскажи про нее.

— Другое ее название илеит, или воспаление подвздошной кишки.

— Ты мне без терминов, пожалуйста! Ты давай рассказывай популярно!

— Приводит к скоплению газов, диарее, ректальному кровотечению, вызывает жар и потерю веса. Заболеешь — начнешь по пятнадцать раз в день в сортир бегать.

— Вот те на! *Рихтикер шванц*![1] Сейчас, звоню Уэйну Грецки*. Скажу: как насчет возглавить богадельню для пердунов? Мистер Трюдо, это Д. К. на проводе, у меня идея, как вам враз улучшить имидж. Не хотите ли стать членом попечительского совета богадельни — моя жена орга-

1. Хорошенькая херня! (*идиш*)

низует ее для людей, которые срут день и ночь? Эгей, все слышали? — вы приглашаетесь к моей жене на ежегодный Бал Засранцев! Знаешь, моей жене надо, чтобы это было, ну, как-то так, гламурненько. Ты вот что, Морти, рожай идею получше и приходи с ней завтра к девяти утра. Рад был повидаться, Барни. Мне жаль, что жена от тебя сбежала. Это правда? Она действительно удрала к парню помоложе?

— Н-ну да.

— Это у них теперь у всех в крови. Феминистки чертовы. Один раз поможешь ей вечером помыть посуду, и все: побежала учиться, дипломшмиплом — глядь, ей уже какой-то шибко резвый *штоссер*[1] на круп копытами влез. Барни, нужны будут билеты на хоккей или бейсбол, я твой. Звони, сходим, вместе перекусим. Ну вот, здрасьте пожалуйста, начала! Бип, бип, бип!

Только это я допил и собрался ложиться, звонит Ирв Нусбаум, спрашивает, видел ли я последние сводки опросов общественного мнения по поводу референдума.

— Сползаем, — говорит.

— Ну. И что тут нового?

Оказывается, его это радует. Он предвкушает, аж на месте подсигивает.

— Вот помяни мое слово, со дня на день косяком пойдут антисемитские инциденты! Я это печенкой чувствую. Кошмар!

Ирв только что возвратился из поездки по Израилю — "Общее еврейское дело" устраивает такие туры всем кому не лень.

— Я познакомился там с парнем по фамилии Пински, так он говорит, что знал тебя еще в Париже, когда у тебя горшка не было, куда пописать. Говорит, вы вместе провернули-таки парочку *гешефтов*. Если это так, бьюсь об заклад, что они не были очень уж кошерными.

— Они и не были. И как нынче Йоссель?

— Да ничего, крутит что-то такое с бриллиантами. Я наткнулся на него в "Океане", а это чуть не самый дорогой ресторан в Израиле. Он там накачивал шампанским какую-то новую русскую иммигрантку. Ничего такая поблядушечка. *Кетцеле претца*[2]. А потом уехал на "ягуаре" — значит, на жизнь зарабатывает. А! Вот: он еще велел спросить насчет какого-то парня, вашего с ним общего старого знакомого — какого-то Бигги или Бугги, я точно не помню, — мол, он тебе что, тоже такую же кучу денег должен, как и ему?

— У него какие-то известия есть от Буки?

— Да нет, говорит, получишь с него, как же! От мертвого осла уши. Дал мне свою визитку. Хочет с тобой связаться.

Спать я уже не мог. Мучила вина: ведь уже много лет я не пытаюсь связаться с Йосселем. Потому что он перестал быть нужным мне человеком? Неужто я в такое дерьмо превратился?

Черт! Черт! Черт! Знал бы заранее, что доживу до столь преклонного возраста (шестьдесят семь как-никак), предпочел бы заработать репутацию порядочного человека, джентльмена, а прослыл разбойником, который настриг бабла, производя телевизионный *дрек*. Быть бы мне таким, как Натан Боренштейн — вот действительно уважаемый человек! Врач-терапевт на пенсии доктор Боренштейн, которому теперь

1. Жеребец-производитель (*идиш*).
2. Киса принцесса (*идиш*).

уже, наверное, под восемьдесят (божий одуванчик, как называет таких моя дочь Кейт), ходит согбенный, в трифокальных очках, и почти всегда об руку с маленькой среброволосой миссис Боренштейн, своей ровесницей. Купив абонемент во "Дворец искусств" на концерты симфонической музыки, я подгадал так, чтобы сидеть сразу за ними, и хотя место рядом со мной сейчас пустует, я все равно держу его — на всякий случай. Когда свет в зале меркнет, они с миссис Боренштейн берут друг дружку под ручку, этак спокойно, сдержанно, а позже он руку высвобождает, открывает партитуру, следит по ней, подсвечивая фонариком, и удовлетворенно кивает или кусает губы, смотря по ситуации. В последний раз я видел их обоих на премьере "Волшебной флейты" в исполнении монреальской оперной труппы. Как всегда, я ориентировался на Боренштейна — хлопал одновременно с ним и воздерживался тогда же, когда и он. Больше всего во "Дворце искусств" женщин, разодетых в пух и прах, увешанных бриллиантами и прошедших через ринопластику, облучение углекислотным лазером, липосакцию и пластику живота. А Морти Гершкович говорит, что нынче у них сплошь и рядом еще и соевое масло в грудях. Кусаешь такую за сосок и что имеешь? Увы! — заправку для салата.

Я об этих Боренштейнах повадился даже кое-какую информацию собирать. Говорят, она в последнее время стала плохо видеть, так он ей после обеда читает вслух. У них трое детей. Старший сын доктор, работает в организации "Врачи без границ", ездит по Африке — туда, где больше искусанных мухами детишек со вздутыми животами. Еще у них дочь скрипачка в Симфоническом оркестре Торонто и сын физик где-то в Израиле — ммм — нет, не в Тель-Авиве, в другом каком-то городе. И не в Иерусалиме. В институте чего-то в городе каком-то — но не в Тель-Авиве и не в Иерусалиме. Вот вертится ведь прямо на языке. На "Г" начинается. "Институт Герцля"? [Институт Вейцмана в Реховоте. — *Прим. Майкла Панофски.*] Нет. Но что-то в этом роде. Да какая разница?

Однажды после концерта во "Дворце искусств" я осмелился подойти к Боренштейнам. Дело было уже на улице, они вышли и стояли в нерешительности. Дождь как из ведра. Гром. Молнии. Такая летняя мгновенная гроза.

— Простите, что вмешиваюсь, доктор, — начал я, — но я как раз иду на стоянку за машиной. Можно я предложу подвезти вас?

— Ну, мы были бы очень благодарны вам, мистер...

— Панофски. Барни Панофски.

Тут, смотрю, миссис Боренштейн напряглась и схватила мужа за руку.

— У нас уже заказано такси, — пискнула она.

— Ах да, верно, — сказал он смущенно.

На первой странице этой обреченной рукописи я намекнул уже — мол, из-за жуткой истории, что как горб будет преследовать меня до могилы, я стал отверженным. Но если уж быть до конца честным, то после того как меня оправдали и выпустили, некий особый круг мужчин начал проявлять ко мне повышенный интерес — этакие аристократы-англосаксы, от которых веет наследственными деньжищами; прежде они бы меня в упор не видели, а теперь наперебой ставят выпивку в отеле "Ритц": "За ваш успех, Панофски!" А то еще подойдет, по плечу хлопнет и без приглашения — плюх! — ко мне за столик в "Бивер-клабе": "По моему скромному мнению, вы такой урок им преподали — ы-ых! Всем этим

добрым самаритянам". А потом еще и позовет присоединиться к полуденной игре в сквош в их элитной компании: "Причем я не единственный, кто у нас вами восхищается!"

Некоторые из их кичливых жен, прежде находившие меня несносным, грубым, мрачным и непривлекательным мужчиной, теперь в моем присутствии просто млеют. Начинают бесстыдно флиртовать, простив мне даже низкое происхождение. Вы только представьте! *Аид*, обнаруживший страсть к чему-то помимо денег! Настоящий убийца, который спокойно расхаживает среди нас! "Вы на меня не обижайтесь, Барни, но я всегда ассоциировала вашу нацию скорее с 'преступностью белых воротничков', но уж никак не с такими делами, как — ну, вы понимаете". Я обнаружил, что эти женщины еще больше возбуждаются, когда я не очень-то и отрицаю, что совершил сие кошмарное злодеяние. В итоге я многое узнал о цивилизации наиболее богатой части Вестмаунта, о тамошних тревогах и заботах. Жена одного из партнеров адвокатской фирмы "Макдугал, Блэкстоун, Коури, Фрейм и Маруа" как-то пожаловалась: "Я, — говорит, — могу прийти в ресторан отеля 'Ритц' голой, Ангус даже бровью не поведет. 'Ты опаздываешь!' — вот все, что он мне скажет. Да, кстати: Ангус во вторник уезжает в Оттаву с ночевкой (если это, конечно, вам кстати), а я в такие дни запрещаю себе только одно — стандартную позу 'мужчина сверху'. О нестандартных я начитана. Как-никак вхожу в правление клуба 'Книга месяца'!"

Зато уж для людей достойных я как был, так и остаюсь неприкасаемым. К счастью, в Монреале их не так уж много.

Каждое лето Боренштейны ездят в Стратфорд (тот, что в Онтарио) на шекспировский фестиваль, и я там как-то раз оказался в ресторане "Чёрч" неподалеку от них. Миссис Боренштейн то и дело краснела, и я готов поклясться, что старик, державший руку под столом, вовсю заигрывал с женщиной, на которой женат скоро полвека. Я подозвал официанта и попросил его послать им бутылку "дом периньон", но лишь после того как я уйду, и не говорить, откуда она взялась. Затем я вышел под дождь, до слез жалея себя и ругая Мириам, меня бросившую.

В большинстве своем люди, которых я знаю, мне не нравятся, но они мне далеко не так отвратительны, как Его Бесчестие Барни Панофски. Мириам это понимала. Однажды, после весьма характерного для меня приступа пьяной ярости, которая побуждала меня снова искать спасения в бутылке "макаллана", Мириам сказала:

— Ты ненавидишь телесериалы, которые сам же производишь, и презираешь чуть не каждого, кто у тебя в них занят. Почему бы тебе не послать их к черту, пока ты не заработал рак?

— И чем мне тогда заняться? Мне еще нет пятидесяти!

— Открой книжный магазин.

— Как же я тогда смогу позволить себе гаванские сигары и коньяк V.S.O.P. или X.O.? И мы тогда не сможем ездить первым классом в Европу. И не сможем оплатить хорошее образование детей. И, наконец, мы ничего не сможем им оставить!

— Я не хочу на склоне лет оказаться лицом к лицу со злобным старцем, жалеющим о впустую растраченной жизни.

Ну вот, в конце концов и не оказалась — все верно! Зато теперь растрачивает собственную жизнь на герра доктора профессора Спаси-Ки-

та, великого защитника тюленей и агитатора за подтирочную бумагу непременно из макулатуры; на Хоппера, который раньше был Гауптманом и отбросил вторую "н" на конце настоящей фамилии, чтобы людям труднее было проследить его родственную связь с бандитом, убившим ребенка Линдбергов, а может быть, и с Адольфом Эйхманом, если как следует порыться в генеалогии.

Хватит.

Тема сегодняшней проповеди — доктор Боренштейн. Если принять за данность его безупречный вкус, то каково же было мое изумление, мой ужас, когда я в прошлую среду вечером увидел его вместе с миссис Боренштейн в четвертом ряду Зала имени Стивена Ликока — они пришли послушать, как Терри Макайвер будет читать свои мемуары "О времени и лихорадке"! Я-то не мог не прийти, но я скрывался в последнем ряду. Как этот претенциозный жулик читает свои произведения, я не слыхал с того несчастного раза, когда мы оба были на другой стороне луны, в книжной лавке Джорджа Уитмена. Но что же здесь, среди толпы пропагандистов канкульта, делает столь утонченная пара?

Представил Терри профессор Лукас Беллами, автор книги "Северный чин: эссе на темы культуры и ее места в постколониальной Канаде". Свой нескладный панегирик он начал с того, что Терри Макайвер не нуждается в представлении. Потом перечислил все регалии Терри. Литературная Премия генерал-губернатора. Медаль "Знак почета" Ассоциации канадских писателей. Орден Канады. "А также, — в заключение сказал профессор, — если существует такая вещь как справедливость, Нобелевская премия в не столь отдаленном будущем. Ведь, по правде говоря, если бы Терри Макайвер не был канадцем, он бы давно получил международное признание: его бы тогда не могли игнорировать империалисты от культуры в Нью-Йорке и снобы, что надзирают за литературным насестом в Лондоне".

Прежде чем приняться за чтение, Терри объявил, что он, как и многие другие писатели, подписал призыв запретить практику сплошных вырубок и объявить заповедником пролив Клейокуот в Британской Колумбии. "Сплошные вырубки, — сказал он, — ведут к обеднению видового разнообразия природы. Согласно оценкам, в день до ста видов животных вымирают из-за воздействия человека на окружающую среду, каковое приводит также и к глобальному потеплению", — вот уж что я, по простоте душевной, считал бы за великое благо для нашей родины! "Многообразие биологических видов — это наше живое наследство", — провозгласил он под аплодисменты, после чего попросил каждого подписать воззвание, которое билетерши пронесут по рядам. Я пришел с Соланж, она теперь постоянно меня сопровождает, а скоро и вовсе станет со мной бок о бок, влившись в ряды пенсионеров, но все равно продолжает носить короткие юбки, более подходящие женщинам возраста Шанталь. Я боялся, что в таком виде она будет выглядеть глупо, это меня огорчало — ведь я так высоко ее ценю, — но я не посмел и слова сказать. Соланж оказала мне честь, согласившись работать у меня режиссером, но все равно тосковала, ей хотелось быть в кадре, играть лирических героинь. Я не позволил ей дождаться момента, когда Терри станет дарить книги с автографами, быстро вывел из зала и увез обедать в "Экспресс".

— Зачем ты подписала это дурацкое воззвание, которое они послали по рядам? — спросил я.

– Какое же оно дурацкое? Жизнь диких животных действительно под угрозой.

– Ну, наша с тобой тоже. Впрочем, знаешь что? Ты права. А особенно беспокоит меня судьба гиен, шакалов, тараканов, гадюк и помоечных крыс.

– А нельзя было дождаться, когда я закончу есть?

– Вдруг из-за нашей халатности они все пойдут по пути динозавров?

– Ты на него уже вступил? – спросила она, и тут я словно поплыл куда-то, еле сдерживая слезы. Мы ведь сюда с Мириам ходили. Мириам, как томится по тебе мое сердце! Что ее угнетало нынче утром? Может быть, Кейт высказала ей по телефону осуждение за то, что она ушла от меня? Как же это Кейт посмела? *Чего-чего? Ну и правильно, лапушка ты моя! Напомни ей о том, чего она лишилась. Или нет, не надо.*

– Ау, ау, я зде-есь! – вернула меня к действительности Соланж, проведя рукой у меня перед лицом.

– Ты что – собираешься купить его книгу?

– Да.

– Но, Соланж, дорогая, там же нет картинок!

– Понятно. Опять собираешься разыгрывать милую сценку из серии "Все актрисы идиотки" – что ж, давай, вместе посмеемся.

– Прости. Я зря это сказал. Дело в том, что я знал Макайвера в Париже, да и с тех пор встречался с ним неоднократно.

– Ты мне это уже сто раз говорил, – сказала она с раздражением.

– И мы друг друга очень недолюбливаем.

– Ты чему больше завидуешь, Барни, – его таланту или его внешности?

– О, это ты меня здорово поддела. Но тут надо подумать. А скажи-ка ты мне – вот ты, умница каких мало, pure laine лягушатница, ведущая родословную, не ровен час, от les filles du roi[1], – как ты собираешься проголосовать на референдуме?

– Я всерьез подумываю сказать на сей раз "да". Среди квебекских патриотов и впрямь полно расистов, и мне это отвратительно, но уже больше ста лет эта страна выбивается из сил, а ее взнуздали и держат, все время пытаясь заткнуть квадратной пробкой круглую дыру. Конечно, риск есть и всем нам будет нелегко, но почему нам нельзя иметь свою страну?

– Потому что это разрушит *мою*. Твои предки сделали глупость. Надо было продать Квебек и оставить себе Луизиану.

– Барни, ты что – совсем уже? Нельзя так пить в твоем возрасте. И самого себя уговаривать, будто Мириам вернется.

– А сама-то хороша! Столько лет прошло, а до сих пор не выкинула одежду Роже. Это уже смахивает на извращение.

– Шанталь говорит, что в офисе твое поведение стало еще более предосудительным, чем когда-либо. Люди страшатся дней, когда ты появляешься. Потом, Барни, – тут она дотронулась до моей сморщенной, как у ящерицы, лапы, – ты вступаешь в тот период жизни, когда жить одному становится просто опасно.

– Что ты все намеками какими-то, Соланж? Говори прямо!

1. Чистокровная... королевских дочерей (*франц.*).

— Шанталь сказала, что в прошлый четверг ты диктовал ей письмо "Троим амигос", а когда пришел в понедельник, снова продиктовал то же самое письмо.

— Значит, опять напала забывчивость. Должно быть, с похмелья.

— В который раз уже.

— Раз в год меня обследует Морти Гершкович. Усыхаю, говорит. Если доживу до девяноста, ты сможешь повсюду носить меня в сумочке.

— Мы с Шанталь все обсудили. В случае, если твое здоровье ухудшится, ты всегда можешь переехать к нам. Мы отгородим часть квартиры железной сеткой, как это делают владельцы "универсалов", когда возят с собой собак. И время от времени будем бросать тебе туда *латкес*.

— Да лучше уж я к Кейт перееду!

— Мерзавец! Не смей даже думать об этом. У нее своих забот полон рот, семейная жизнь наконец налаживается. Только тебя ей и не хватало.

— Ты поступишь глупо, если проголосуешь "да". Я не хочу, чтобы ты это сделала.

— Не хочешь? Не много ли ты на себя берешь? Что бы ты сделал, если бы был молодым франкоканадцем?

— Ну, естественно, проголосовал бы "да". Но ни ты, ни я не молоды и не до такой уж степени глупы.

Когда я высадил ее у дома на Кот-де-Неж, Соланж не сразу отошла от машины.

— Пожалуйста, не пей сегодня больше. Езжай сразу домой и ложись.

— Именно так я и собираюсь поступить.

— Ну да, конечно, даже готов поклясться здоровьем внуков.

— Нет, честно, Соланж.

Но очутиться в пустой квартире, в кровати без Мириам, оказалось выше моих сил, и я поехал в "Джамбо", надеясь встретить там мэтра Джона Хьюз-Макнафтона или Зака. Как бы не так! Мне тут же сел на уши Шон О'Хирн, тяжело угнездившийся за стойкой на соседнем со мной табурете; его глаза уже горели пьяной злостью.

— Принесите мистеру П. выпить, — в промежутке между хрипами одышки проговорил он.

— Знаете что, Шон? Я вас искал. У меня для вас есть кое-что интересное.

— Ну-ну-ну-?

— Ваши люди перекопали весь мой огород, вы снова и снова посылали водолазов в озеро, взяли соскобы со всего, что было в доме, везде искали следы крови — ну в точности как показывают по телевизору. Но поскольку вы пустоголовые балбесы, никому не пришло в голову спросить, куда исчезла моя бензопила.

— Какого хрена. У вас ее никогда не было, мистер П. Потому что, если у вас в усадьбе появляется нужда в каких-то тяжелых работах, вы нанимаете для этого *гоев* вроде меня. Такой уж вы народ, да и всегда такими были.

— А откуда же тогда пустой крюк на стене гаража?

— Да идите вы с вашим пустым крюком. Меня вы им сейчас за задницу не уцепите.

— А что, если бы я сообщил вам, что на прошлой неделе я был в коттедже, рылся в коробке со старыми квитанциями, вдруг — глядь! — то-

варный чек на бензопилу, причем датированный четвертым июля тысяча девятьсот пятьдесят девятого года.

— Я бы сказал, что вы лжец и послал бы вас на хер.

Остальные посетители бара смотрели по ящику поздние новости. А там что ни день, сплошной референдум. Когда весь экран заполняла физиономия Проныры, подымался гогот, все начинали отпускать замогильные шутки, которыми только и оставалось теперь утешаться англоязычной части населения.

— Ну, и где же сейчас эта бензопила?

— Там, куда я ее забросил. Где-то на глубине четырех сотен футов лежит, бедолага, ржавая и совершенно для вас бесполезная через столько лет.

— Хотите сказать, что у вас хватило хладнокровия расчленить его?

— Шон, теперь, когда вы так прилипли ко Второй Мадам Панофски, почему вы на ней не женитесь? Я буду по-прежнему платить алименты. Я бы даже приданое за ней дал.

— Нет, чтобы такой человек как вы смог расчленить труп... это невозможно. Да и крови нигде не было. Так что кончайте вешать мне лапшу, старый олух.

— Конечно, крови не было, потому что я мог расчленить его, оттащив подальше в лес. Не забудьте: прежде чем вы, придурки, сообразили предъявить мне обвинение, у меня был целый день, когда я там сидел в коттедже один.

— У вас нездоровый юмор, вы это знаете, мистер П.? Во, гляньте-ка, вон он. Спаситель хренов.

Теперь на экране вовсю мельтешил кипучий Доляр Редюкс. "Не позволяйте себя запугать! — призывал он. — Не важно, что нам говорят сейчас! После того как вы проголосуете "да", вся остальная Канада прибежит к нам на полусогнутых!"

— Что ж, — сказал О'Хирн, — если это произойдет, и вы, и все ваши соплеменники на следующий же день сбежите в Торонто. А вот таким как я куда податься? Нда, влип так влип.

— Так я, между прочим, и сам собираюсь голосовать "да".

— Ну-ну-ну-?

— Уже сто лет как эту страну взнуздали и держат, пытаясь заткнуть квадратной пробкой круглую дыру. Вы намерены еще сто лет терпеть тут междоусобицы и рознь или лучше все-таки решить дело раз и навсегда?

Я был все еще не готов смириться с отсутствием в постели Мириам, поэтому машину бросил на парковке, поднял ворот пальто, чтобы не так продувал зверский ветер, предвестник наступающей шестимесячной зимы, и пошел бродить по утратившим былой блеск центральным улицам умирающего города, который по-прежнему люблю. Мимо заколоченных магазинов. На всех подряд бутиках ветшающей Кресент-стрит таблички: ЗАКРЫВАЕМСЯ, ПРОДАЕТСЯ, ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ. Гибнущее здание в стиле ар-деко, где когда-то помещался театр "Йорк", облюбовали бомжи. На витринном стекле магазина старой книги какой-то оболтус при помощи баллончика с краской вывел: АНГЛИЧАНЕ, FUCK YOU. Каждый фонарный столб на улице Сен-Катрин украшен плакатами с OUI и NON[1]. У зала "Форум" стояли лагерем нечесаные, дрожащие от

1. Да... нет (*франц.*).

холода подростки со спальными мешками — утром тут начнут продавать билеты на концерт каких-то "Бон Джови". Грязный, заросший старик с дикими глазами, бормоча себе под нос и толкая перед собой тележку из супермаркета, подошел к мусорному баку и принялся в нем рыться в поисках пустых банок, которые можно сдать в утиль. Из проезда за индийским ресторанчиком выскочила толстая крыса.

Мак-Барни зарезал сон*. Уже в кровати я пробовал одно средство за другим и все без толку. На сей раз, когда я добрался до миссис Огилви и запустил ей руки под свитер, пытаясь расстегнуть крючки кружавчатого бюстгальтера, она мне вдруг влепила затрещину.

— Как ты посмел! — говорит.

— Тогда зачем же вы на кухне прижимались грудями к моей спине?

— Да ну, еще чего. Это надо совсем быть никудышной, а я красивая женщина и получаю свое каждый вечер в спортзале от мистера Стюарта, мистера Кента и мистера Аберкорна, хотя и не обязательно в таком порядке. Я что, так низко пала? Стану я соблазнять какого-то еврейчика с улицы Жанны Манс, мальчишку-онаниста с грязными ногтями!

— Но вы оставили дверь в спальню открытой!

— Да. А ты даже тогда со своим мочевым пузырем не справлялся. Все пи́сать бегал. Всего четырнадцать лет, а уже проблемы с простатой. Не рак ли у тебя?

Сон все не шел. Тогда я поставил кассету своей жизни на перемотку и по ходу дела стал стирать неприятные моменты, внутренним взором их переснимая... Например, тот понедельник пятьдесят второго года: вот я вхожу в гостиницу на рю де Несль, вот консьержка стучит в окошечко своей выгородки, сдвигает стекло и напевно произносит: "Il y a un pneumatique pour vous, Monsieur Panofsky[1]".

Клара ждет меня к обеду. Почему бы и нет? Я захожу в ближайший гастроном и покупаю бутылку "сент-эмильон", любимого вина Клары. Обнаружив, что она беспробудно спит на кровати, а рядом на полу валяется пустой пузырек из-под снотворного, я сразу ее поднимаю, сперва усаживаю, а потом заставляю встать и ходить, ходить по комнате, пока не приедет "скорая". А после того как ей сделали промывание желудка, сажусь у ее ложа, беру за руку, глажу.

— Ты спас мне жизнь, — говорит она.

— Я же твой рыцарь.

— Да.

Тут вдруг наплывом ее разлагающийся труп, пустые глазницы, черви на груди, и вновь ко мне стучится кантор Чернофски.

— Такой взрослый мальчик, а собираешься писать в кровать? — вопрошает он.

Проснувшись, осознаю, что подошло время очередного писанья — надо с натугой выжимать из себя жалкую струйку, стряхивать без конца набегающие капли, а потом плестись назад в постель.

Полпятого утра. Проваливаюсь, и тут же меня переполняет радость: Бука! Он подходит и надо мной склоняется.

— Я знал, что ты в конце концов объявишься, — говорю я. — Но где же ты все эти годы пропадал?

— Петра. Нью-Дели. Самарра. Вавилон. Папуа. Александрия. Трансильвания.

1. "Вам письмо по пневматической почте, месье Панофски" (*франц.*).

— Сколько у меня из-за тебя неприятностей было, это не передать. Всё рассказывать — даже начинать не стану. Мириам, слышишь? Бука пришел! Поставь на стол еще один прибор, ладно?

— Как я могу поставить? Я ведь не живу здесь больше. Я ушла от тебя.

— Никуда ты не ушла.

— Ты что, забыл?

— *Ты портишь мне такой хороший сон!*

Тут я как-то неправильно переворачиваюсь. И в сон влезает Вторая Мадам Панофски. Опять бежит в слезах к своей "хонде" и кричит:

— Что ты собираешься делать?

— Что делать, что делать — убить его, вот что делать!

О, Всевышний! Мне за многое, за очень многое придется отвечать, но не сейчас, погоди. Ну пожалуйста, ну я очень-очень прошу!

И именно в этот момент начинает звонить телефон. Звонок, еще звонок, еще. *Случилось что-то плохое. С Мириам. С детьми.* Но то была плачущая Соланж.

— Сержа избили. Какая-то шайка мерзавцев, устраивающих расправы над голубыми.

— О нет!

— Он прогуливался по "Парку Лафонтен". Ему надо швы накладывать. И по-моему, у него сломана рука.

— Где он?

— Здесь.

— А куда смотрел Питер?

Питер, талантливый художник-сценограф, — постоянный спутник Сержа Лакруа. Они вместе живут в благоустроенной мансарде в Старом городе, и я даже однажды у них обедал. Стены выкрашены лиловым. Повсюду зеркала. И уж не знаю сколько, но что-то много шныряющих под ногами персидских кошек.

— Будь Питер здесь, такого бы не случилось. Но он на съемках в Британской Колумбии.

— Сейчас приеду. — Я повесил трубку и набрал номер домашнего телефона Морти Гершковича.

— Морти, прости, что разбудил, но тут произошел несчастный случай с моим вторым режиссером. Я повезу его сейчас в Центральную, но мне не хочется, чтобы он в приемном покое ждал два часа только для того, чтобы предстать в конце концов перед каким-нибудь интерном, который не спал уже тридцать шесть часов.

— Не надо в Центральную. Я встречу вас в больнице Королевы Елизаветы через полчаса.

Решив за руль не садиться, я взял такси и приехал к Соланж. У Сержа на голове рана, левый глаз заплыл, а явно сломанную кисть правой руки он поддерживал левой.

— И что тебя в твоем возрасте понесло шляться по парку? Знаешь ведь, как это опасно.

— А я думала, ты пришел помочь, — поджала губы Соланж.

Морти, который уже ждал нас в больнице, наложил на голову пострадавшего восемнадцать швов, ему сделали рентген и зафиксировали кисть в гипсе. Потом Морти отвел меня в сторонку.

— Пока он здесь, я хочу послать его на анализ крови, но он отказывается.

— Предоставь это мне.

После всех треволнений я привез Соланж и Сержа к себе домой. Сержа уложили в свободной спальне.

– Вот. Будь хорошим мальчиком и спи. Или мне, ложась в постель, надо запереться на ключ?

Он улыбнулся и стиснул мне руку, а я вернулся на кухню, где открыл для Соланж бутылку шампанского.

– Хорошо бы ты еще за Шанталь перестал волочиться, – сказала она.

– Да ну! Ты выдумываешь.

– Она ведь не знает, какой ты хулиган. Она такая беззащитная.

Я открыл холодильник.

– У нас есть выбор. Есть банка печеночного паштета. Могу подогреть *каша книшес*[1]. А еще, если жаба меня не задушит, могу разделить с тобой вот эту баночку икры.

2

Тени миссис Огилви.

В газете "Газетт" сегодня утром я обнаружил статью о хорошенькой учительнице музыки из Манчестера, которой теперь сорок один год и она обвиняется в том, что двенадцать лет назад соблазняла мальчиков в возрасте от тринадцати до пятнадцати из состава детского оркестра. Предполагаемые жертвы, у которых память проснулась после двухдневного семинара по противодействию жестокому обращению с детьми, рассказали судье, как она их, бедных, обижала. Один пострадал от нее после очередного урока игры на скрипке, когда он был в нежном возрасте четырнадцати лет. "Пенелопа легла на кровать и увлекла меня за собой. Она расстегнула блузку и разрешила мне трогать ее груди. Я расстегнул ей джинсы. На ней были красные шелковые трусы. Она залезла мне рукой в штаны. Я занимался с нею оральным сексом в течение двадцати минут. После этого она напоила меня чаем с шоколадными конфетами и сказала: 'Какой ты, оказывается, шалунишка!'"

В ходе другого инцидента, происходившего после рождественской вечеринки с возлияниями, по словам второго якобы пострадавшего, "присев на край кровати, Пенелопа сняла трусы. Расстегнула блузку, легла на спину, закрыла глаза и всем давала".

Судья распорядился прервать слушания по делу, поскольку предположительно имевшие место инциденты происходили давно и очень трудно теперь найти свидетелей и какие бы то ни было доказательства, которыми можно было бы подтвердить или опровергнуть показания учительницы, обвинения отрицающей. Оглашая вердикт, он сказал, что мальчики – ему это совершенно очевидно – не понесли никакого психологического ущерба, а напротив, участвовали во всем этом добровольно и "безмерно наслаждались происходящим". Зря только он не добавил для равновесия, что Пенелопа, конечно же, делала для приобщения юношества к музыкальной культуре несколько больше, чем Иегуди Менухин. Когда мальчики достигали пятнадцатилетия, интерес к ним у Пенелопы пропадал. К сожалению, то же самое было и с миссис

1. Пирожки с начинкой из гречневой каши с салом (*идиш*).

Огилви. Для меня этот жестокий удар был лишь отчасти смягчен тем, что я завел себе новую подружку — Дороти Горовиц. Дороти была моя ровесница и ничего такого мне не позволяла помимо обжиманий в гостиной на покрытой клеенкой софе или на скамье парка "Утремон", но даже и эти удовольствия были отравлены тем, как жестко она проводила политику зонирования. Дороти отдергивала руку как от огня, едва я попытаюсь направить ее ко вздрагивающему корню моей страсти, который выскакивал, как чертик из коробочки, потому что соответствующие пуговицы бывали заблаговременно расстегнуты.

Шел тысяча девятьсот сорок третий год. Армия фельдмаршала фон Паулюса уже подверглась разгрому в Сталинграде, американцы захватили Гвадалканал, а я разжился плакатиком с фотографией "голливудской наяды" Уильямс в раздельном купальнике в горошек и прицепил его к стене в своей комнате. Моя мать занялась тогда сочинением анекдотов (она отправляла их по почте Бобу Хоупу и Джеку Бенни) и реприз, которые тем же способом предлагала Уолту Уинчеллу, а мой отец уже щеголял в форме стража порядка. Иззи Панофски был единственным евреем во всей монреальской полиции. Вся наша улица Жанны Манс им гордилась.

А в настоящий момент, наскоро проглотив завтрак у себя дома в "Замке лорда Бинга", я решил воспользоваться тем, что Маккеев, живущих прямо подо мной, нет дома — уехали в свой загородный коттедж на озере Мемфремагог. Скатал в гостиной ковер и отодвинул портьеру, скрывающую огромное, до полу, зеркало, которого я немного стесняюсь перед посторонними, но оно мне совершенно необходимо. Затем я облачился во фрак, надел цилиндр и верные чечеточные туфли "капецио-мастер-тап", после чего сунул в CD-плеер диск с "Bye Bye Blackbird" в аранжировке Луи Армстронга. Не забыл, коснувшись шляпы, поклониться почтеннейшей публике с галерки и с тростью под мышкой для разминки сделал несколько проходок с разворотами, потом пару прыжков — хоп! хоп! — (уже лучше), после чего (а ну-ка, без помарочек!) прошелся в ритме ча-ча-ча: *каито, ай-яй-яй!.. Ун каито де ту корасон. М-та-та, м-корасон!* Выходит вроде бы! — а значит, можно попробовать и шимшам-шимми. Попробовал и рухнул, задыхаясь, в ближайшее кресло.

Ну вот, — подумал я. — *Приехали. Дыц, тыц... поц!* И в который раз решил понемногу завязывать с курением сигар, поеданием обвалянных в муке отбивных средней жирности, перестать наливаться пивом с "икрой из говядины" [Это называется "телячья икра". — *Прим. Майкла Панофски*] (вкуснейшая, надо вам сказать, штука, ее специально под пиво подают в "Экспрессе"), зарекся в три горла жрать коньяк Х.О. ...что еще? — "мраморные стейки на ребрышках" в заведении "У Мойши", ну, кофеин, это понятно — короче, надо лишить себя всего того, что стало мне вредно с тех самых пор, как я могу это себе позволить.

Да, так о чем бишь я? Ага. Год тысяча девятьсот пятьдесят шестой. Я давно уже вернулся из Парижа. Клара мертва, но еще не икона; у Терри Макайвера вышел первый роман, и литература еще могла бы пострадать от него куда меньше, если бы его сразил на взлете тоже какой-нибудь джентльмен из Порлока*; что касается Буки, то он главным образом вдарял по героину и каждый раз, когда оказывался прочно на мели, писал мне. Денег для него мне было не жалко, но я выкраивал их с трудом — как раз тогда я пустился в плавание по мутным волнам ТВ-индустрии, бился и барахтался, и никогда не платил по счетам до Последнего Уведомления. В довершение всех моих тогдашних трудностей я, как последний идиот, возобновил связь

с Абигейл, а она — господи ты боже мой! — сразу стала намекать, что готова уйти от Арни ко мне, прихватив с собою еще и двоих детей.

Одну секунду! Не переключайтесь. Перелистывая свой дневник читателя, я наткнулся на высказывание, очень уместное для того времени и той проблемы, в которой я тогда жутко погряз. Это слова Доктора Джонсона, написанные в 1772 году, когда ему было шестьдесят три: "Мой ум расстроен, память путается. В последнее время я с бесплодной настойчивостью пытаюсь направлять мысли в прошлое. Но я еще плохо владею мыслями; почти каждый раз какой-нибудь неприятный эпизод выбивает меня из колеи, лишая покоя".

Вот дальше и пойдет один такой неприятный эпизод, а начался он следующим образом. Однажды мой бухгалтер, гад и мерзавец Тед Райан, послал Арни в головной офис банка "Монреаль" с запечатанным конвертом, сказав, что в нем лежит подписанный чек на пятьдесят тысяч долларов. Но когда служащий банка вскрыл конверт, он нашел там фотографии голых мальчишек и приглашение на ужин при свечах к Арни домой. Осатаневший Арни разыскал меня в "Динксе".

— Есть кое-что, чего ты не знаешь. Каждое утро, прежде чем сесть на рабочее место, я захожу в сортир и меня рвет. У меня уже опоясывающий лишай завелся. Сидим с Абигейл вечером, смотрим по ящику игру "Стань миллионером", и вдруг я начинаю рыдать. При этом оправдываюсь — это, мол, я так, ничего. Ага. Ничего себе ничего! Барни, я твой друг, а он — нет. Ну ты вспомни, как в детстве-то было. Когда ты не мог решить на экзамене пример по тригонометрии, кто кинул тебе бумажку с ответом? Я и тогда был горазд в математике. А теперь? Сколько лет уже я для тебя жонглирую цифрами? Меня ведь за это и посадить могут, а я хоть слово сказал? *Выгони ты эту сволочь.* Я мог бы выполнять его работу, даже если одну руку мне привязать к заднице!

— Арни, я не сомневаюсь в твоих способностях. Но ты ведь не ездишь на морскую рыбалку в заливе Рестигуш с Маккензи из банка "Монреаль"!

— Да я в жизни не мог насадить червя на крючок, мне это противно.

— Ты что, не знаешь, как многим я рисковал, проворачивая то дельце с земельными участками? Там потонуть было — раз плюнуть. Арни, мне придется терпеть его еще год. Максимум.

— Я уже на детей кричу. А телефон звонит, так я дергаюсь, будто в меня стреляют. В три часа ночи просыпаюсь, оттого что еще во сне начал ругаться с этим юдофобом. Так ворочаюсь в постели, что бедная Абигейл не может глаз сомкнуть, поэтому раз в неделю ей приходится отсыпаться вне дома. По средам чего-то там накомстрячит, наготовит и едет со всем этим в Виль-Сен-Лоран. У Ривки Орнштейн ночует. Я не виню ее. Приезжает хотя бы отдохнувшая.

— Сколько я плачу тебе, Арни?

— Двадцать пять тысяч.

— Со следующей недели будешь получать тридцать.

Когда в среду вечером ровно в восемь приехала Абигейл, я произнес перед ней заранее заготовленную речь:

— Конечно, у меня никогда прежде ничего подобного не было, но мы должны принести себя в жертву ради Арни и ради детей. Я не смогу жить, зная, что обошелся с ним жестоко, и точно так же не сможет жить с этим женщина твоей редкостной красоты, ума и честности. А нам останутся наши воспоминания. Ну, помнишь, как у Селии Джонсон и Тревора Хауарда в фильме "Короткая встреча"*.

— Никогда не смотрю британские фильмы. У них у всех там такой странный акцент! Кто может понять их английский?

— Никто не отнимет у нас то чудо, что дано нам одно на двоих, но мы должны собрать все свое мужество.

— Знаешь что? Если бы у меня руки не были заняты, я бы тебе похлопала. Но у меня в них как раз каша и жареная грудинка, которые я готовила для тебя. На, — сказала Абигейл, пихая мне в руки кастрюльки. — Подавись!

Как только она ушла, хлопнув дверью, я подогрел грудинку, которая оказалась очень сочной, разве что чуть пересоленной. Зато каша была безупречна. А что, подумал я, вот бы нам перестать трахаться, но чтобы она продолжала мне готовить! ...Н-нэ. Она на это не купится.

В тот же вечер, хотя и несколько позже, затягиваясь "монтекристо", я вдруг сам себя удивил, решившись поступить с Арни справедливо и положить конец распрям в офисе. Проснулся с твердым намерением, пусть жертвуя собой, но стать мужчиной, решительным и исполненным благородства. Имитируя в мягких тапках чечеточную проходку, на радостях запел-заголосил: "Итси-битси, тинни-вини, желтый в крапинку бикини". [На самом деле песенка "Итси-битси" была популярна лишь в 1960 году. — *Прим. Майкла Панофски.*] Затем, сразу после долгого, обильно сдобренного алкоголем ланча в "Динксе", где я еще больше укрепился в своем решении, я пригласил Арни к себе в кабинет.

— Что-нибудь не так? — спрашивает, а у самого, смотрю, нижняя губа дрожит.

— Сядь, Арни, старый мой дружище, — расплывшись в милостивой улыбке, сказал я. — У меня для тебя новость.

Арни присел на краешек стула. Скованный. Потный. И страхом от него так и веет.

— Я тут обдумал твои проблемы, — продолжил я. — И пришел к единственно возможному выводу. Пристегнись ремнем, Арни, я выгоняю Те...

— Да хрена с два! — заорал он, вскочив со стула и брызгая слюной. — Я сам немедленно ухожу!

— Арни, ты не понял. Я вы...

— Да ну, неужто? Так убери эту ухмылку с физиономии. Он, видишь ли, сделал выбор, а я? А у меня своя гордость, и я сделал свой!

— Арни, послушай меня, пожалуйста.

— И не думай, бога ради, будто я не знаю, что за всем этим кроется. Иуда. Решил к моей жене клинья подбивать. Пытался надругаться над матерью моих детей! Она не осталась вчера ночевать у Ривки, приехала домой еще до полуночи и все мне рассказала. Христопродавец, ты подкрался к ней *у нас на кухне, на вечеринке в честь бар-мицвы Крейга,* и терся об ее... об нее... негодяй! Она отшила тебя, и теперь я должен за это расплачиваться. А, ты смеешься! Тебя это забавляет?

— Прости. Никак не удержаться, — сказал я, оставив всякие попытки подавить смех.

— Тебе так хочется посмеяться? Ладно. Помогу тебе, скажу такое, что вообще обхохочешься. У тебя нет ни одного сотрудника, который бы не подыскивал себе другую работу. Тоже мне большой босс. Хозяин борделя. Ты думаешь, ты — Дэвид Селзник, а тебя за глаза зовут Гитлер, а иногда Дин Мартин*. Не потому, что ты у нас такой красавец — ты урод каких мало, уж это не беспокойся, — а потому, что ты такой же пьяница, как и он. Ну что ты из себя представляешь? Нуль в квадрате. Твой папоч-

ка продажный полицейский, а мамочка и вовсе посмешище, *мешуга*, долбанутая от рождения. Помнишь, в тот раз, когда она получила письмо от Гедды Хоппер* с подписанной фотографией? – там он был ВПЕЧАТАН, ее автограф! А твоя мать совала им в нос каждому встречному-поперечному, и они не знали, куда прятать глаза.

– Ты копаешь себе глубокую яму, Арни.

– Франсина однажды ходила к тебе относить документы и говорит, что застала тебя в дурацкой соломенной шляпе, одетого валетом червей и к тому же в чечеточных туфлях. Ха-ха-ха. Фред Астер, дай глянуть на твои лавры. Дуп-диду-дидуп, выступает Джин Келли* Панофски! Ну мы и посмеялись над тобой! Так что сам туда же ступай, поц из давнего далёка, я передать тебе не могу, как я рад, что отсюда сваливаю.

И выскочил.

В ярости бросившись из кабинета, я попытался догнать Арни, но чуть не лоб в лоб столкнулся с Тедом.

– Это твоя вина, Тед! Ты уволен. С сегодняшнего дня ты здесь больше не работаешь.

– Что вы там такое бормочете? Хоть убей не разберу, только сдается мне, кто-то сегодня чуток перебрал.

– Ты у меня больше не будешь тут издеваться над Арни. Выгребай все из стола и убирайся.

– А как насчет моего контракта?

– Получишь жалованье за шесть месяцев, и дело с концом. Bonjour la visite[1].

– В таком случае я свяжусь с вами через адвоката.

Черт! Черт! Черт! Что я наделал? Я мог бы обойтись без Арни, от него только *лох ин дер копф*[2], но без крутых связей в *гоише* банке я пропаду! Перед внутренним взором сразу замелькали векселя, которые завалят всю поверхность моего стола завтра же утром. Отзывы займов. Комиссии, проверки. Всевозможные чиновники, роющиеся в бумагах.

– На что это вы все уставились? – рявкнул я.

Головы сникли.

– Ваш местечковый Гитлер подумывает о сокращении штатов. Миниатюризация в действии. [На самом деле слово "миниатюризация" вошло в язык только в сентябре 1975 года, когда "Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт" сообщила читателям: "Всякое *дальше, выше, больше* – в прошлом. Теперь все должно быть маленьким, еще меньше, совсем крошечным. Инженеры из Детройта называют нынешнюю тенденцию "миниатюризацией". Шесть лет спустя, когда в 1981 году разразился экономический спад и компании начали увольнять сотрудников тысячами, слово "миниатюризация" стало расхожим и в этом его смысле. – *Прим. Майкла Панофски.*] Так что, если кто-то здесь подыскивает себе другую работу – флаг ему в руки. А древко – знаете куда. Незаменимых у нас нет. Вы все тут одноразовые. Как туалетная бумага. Счастливо оставаться.

В жутком настроении, готовый провалиться сквозь землю от стыда за дикую сцену, разыгранную перед сотрудниками, я направился прямо в "Динкс" искать поддержки.

– У тебя выдался трудный день на работе, ми-илый? – спросил Джон Хьюз-Макнафтон.

1. Спасибо за визит (*франц.*).
2. Дырка в голове (*идиш*).

– Знаешь что, Джон? Эти твои шуточки совсем не так остроумны, как тебе кажется. Особенно когда ты с утра зенки залил. Как сейчас, – отбрил его я и двинулся в бар отеля "Ритц".

Было, наверное, часов восемь вечера, когда я оттуда вывалился, коекак влез в такси и поехал к Арни в его пустынный и еле обжитой Шомеди. Дверь отворила Абигейл.

– Ты что, посмел явиться сюда? – в ужасе прошипела она.

– Я к нему пришел, не к тебе, – сказал я, протискиваясь мимо.

– Это Говноед пришел, Арни. К тебе.

Арни выключил телевизор.

– Я уже побывал сегодня у адвоката и предупреждаю: то, что ты сейчас хочешь сказать, тебе надо говорить не мне, а ему. Потому что, по мнению Лазаря, у меня хорошие основания взыскать с тебя за моральный ущерб. Увольнение несправедливо.

– Но это ж ты сам уволился.

– Сперва ты его уволил, – сказала Абигейл. – Он так и написал в своем заявлении.

– Я сяду – не возражаете?

– Садись.

– Арни, я тебя сегодня не увольнял. Я позвал тебя, чтобы сказать, что я увольняю Теда, – сказал я и повторил по слогам: – Те-да.

– О боже! – простонал Арни, обхватил голову руками и стал раскачиваться.

– Не распускай нюни. У меня и так уже сегодня что-то чересчур долгий день.

– Ну и как?

– Что как?

– Ты уволил Теда?

– Да.

– Наконец-то, – сказала Абигейл.

– У вас тут какая-нибудь выпивка водится?

Арни кинулся к буфету.

– Вот – с *бар-мицвы* Крейга персиковая настойка осталась. Постой. Есть же еще что-то в бутылке виски "чивас регал".

– Да не пьет он "чивас". Он пьет – ах, да откуда мне знать? Что-то я ничего уже не соображаю. Несу сама не знаю что. Сейчас дам бокал.

– И что же будет теперь? – спросил Арни и опять стал раскачиваться, но уже с руками, зажатыми между ног.

– Ну, ты мне наговорил сегодня много резкостей.

– Я был не в своем уме. Я все беру назад. Абсолютно. Хочу, чтобы ты знал, что я восхищаюсь твоими величайшими достижениями. Ты мой учитель.

– Я сейчас умру, – пробормотала Абигейл.

– Арни, – сказал я, залпом проглотив виски, остававшееся в бутылке, – сейчас ты можешь сделать одно из двух. Либо ты увольняешься с выплатой годового жалованья, либо завтра с утра возвращаешься на работу. Обсуди это с матерью твоих детей.

– Скажи ему, что ты хочешь должность и зарплату Теда.

– Я хочу должность и зарплату Теда.

– Я слышал, что она сказала. Ответ – нет.

– Почему?

— Арни, ты слышал мое предложение. Обсуди его с Абигейл и дай мне знать, — сказал я вставая.

— Тебе не следует садиться за руль в твоем состоянии, — сказал Арни. — Подожди минутку. Я тебя отвезу.

— Я приехал на такси. Ты мог бы взять да вызвать мне еще одно, а? Сделай-ка это, Арни, пожалуйста.

Абигейл дождалась, когда Арни исчезнет в кухне, и говорит:

— *Мой керамический горшочек. И стеклянная миска.* Если обнаружится их отсутствие, он обвинит женщину, которая у нас убирает.

— Но я же не доел еще кашу, — сказал я.

3

23 октября 1995 г.
Дорогой Барни,

каждому свой альбатрос*.

С первого дня, как ты появился в Париже, трогательно неуклюжий, плохо образованный, бесцеремонный, было безоговорочно ясно (и мне, и другим, чьи имена я могу назвать), что тебя снедает зависть к моему таланту. Зависть завистью, но ты еще и подольститься ко мне пытался, симулируя дружбу. Меня, конечно, не проведешь. Но я сжалился над тобой и с интересом наблюдал, как ты червем вползаешь в доверие компании шутов гороховых, с лукавым самоуничижением претендуя на вакантную должность всеобщего бесплатного фактотума.

Для Клары — кошелек. Для Буки — пудель на поводке. Задним числом я, конечно, ругаю себя за потворство, потому что, не познакомь я тебя со всеми, бедная Клара Чернофски была бы жива по сей день, и жив был бы Бука, хотя последний — увы — куда большая потеря для наркодилеров, чем для беллетристического братства. Будучи наблюдателем la condition humaine[1], после происшедшего с Букой я иногда задаюсь вопросом, как ты можешь продолжать отправления своей жизнедеятельности, став виновником двух безвременных смертей? Но уж заснуть тебе, поди, трудновато!

Говорят, твой дед по матери был старьевщиком, и это, на мой взгляд, очень симптоматично, особенно в свете того обстоятельства, что ты — надо же, какая чудная симметрия! — кончил тем, что сделался поставщиком телевизионного хлама для hoi polloi[2]. Зная твой мстительный характер, я даже не удивился, что ты, фиглярствуя, назвал особенно порнографичный свой сериал "Макайвером из Канадской конной полиции". Как не удивлялся, видя твои страдания в "Зале имени Ликока", когда я читал при переполненном зале. Но какой же я глупец, что поверил, будто существует грязь, до которой даже ты не можешь опуститься. Поздравляю, Барни! Последний твой злобный выпад застал меня врасплох. Дело в том, что я прочел хулиганскую рецензию твоего сына на мою книгу "О времени и лихорадке" в газете "Вашингтон таймс". Бедный склеротик Барни Панофски! Годы порока сделали его таким немощным, что пришлось нанимать сына, чтобы тот выполнил работенку, за которую папаше взяться страшно.

Хотя я никогда не снисхожу до того, чтобы отвечать или даже читать критические разборы моих трудов (большинство из которых хвалебные, следует

1. Людских нравов (*франц.*).
2. Быдла (*греч.*).

отметить), в данном случае я счел себя обязанным написать литературному редактору "Вашингтон таймс", чтобы он себе отметил, что диатриба Савла Панофски инспирирована личной враждой ко мне его отца.

С уважением,

Терри Макайвер.

4

Сейчас вам может показаться, что меня опять куда-то заносит. Но нет. Это я специально. Мистер Льюис, наш классный руководитель, обожал читать нам волнующее, немеркнущее стихотворение Генри Ньюболта "Барабан Дрейка":

Если хоть один дон
Увидит Девон,
Я выйду из порта Рая!
И, врага удалив,
Очищу Пролив,
В боевой барабан ударяя.

Однако, как утверждает сегодняшняя "Нью-Йорк таймс", сэр Генри Ньюболт (что это? как можно?) был, оказывается, притворщиком. Ну да, строчил патриотические вирши, но уклонился от военной службы во время англо-бурской войны: его, дескать, миссия в том, чтобы, оставаясь дома, поддерживать боевой дух нации. Легенда же о боевом барабане Дрейка — и вовсе чистой воды фальшивка его собственного изобретения. А в действительности поэт, сам себя подававший как воплощение викторианских добродетелей, будучи женат, всю жизнь состоял в связи со свояченицей — в Лондоне трахал жену, а во время частых наездов в деревню — ее сестру. У. Х. Оден когда-то написал:

Время это злой палач
Тех, кто прям, кто мчится вскачь,
Да и красоты знаток —
Он уж ей отмерит срок!

Словесам — благоволит:
В песне жив любой пиит,
Будь он трус, чванливый хам, —
Ты воспой, и аз воздам!

Ну, может, так, может, нет. Однако мне ни разу в жизни не попадался писатель или художник, который бы не был саморекламщиком, хвастуном и продажным лжецом на поводу у трусливой алчности и отчаянного стремления к славе.

Хемингуэй, этот забияка и рубаха-парень, несмотря на присущий ему встроенный детектор лжи и дерьма, все свои подвиги на Первой мировой войне сочинил, сидя за машинкой. Милый дедушка Льюис Кэрролл, любимец многих поколений детворы, отнюдь не был тем человеком, на которого можно спокойно оставить десятилетнюю дочь. "Товарищ" Пикассо в оккупированном Париже вовсю заискивал перед

фашистами. Если Сименон действительно оттрахал десять тысяч женщин, я съем свою соломенную шляпу. Одетс стучал на старых друзей в Комитет по антиамериканской деятельности. Мальро воровал. Лиллиан Хелман врала так, что тошно делается. Приятный во всех отношениях Роберт Фрост на самом деле был форменный подлец и сукин сын. Менкен был оголтелым антисемитом, но в этом ему далеко до отчаянного плагиатора Т. С. Элиота; впрочем, я таких много могу назвать. Ивлин Во был карьеристом, а Фрэнк Харрис, думаю, так и помер девственником. Подвиги Жана-Поля Сартра в Сопротивлении весьма сомнительны, зато позднее он стал апологетом ГУЛАГа. Эдмунд Уилсон мухлевал с налогами, а сэр Стэнли Спенсер* был сущий жлоб. Лоуренс Аравийский всех книг в оксфордской библиотеке явно не перечитал. А Марко Поло к Китайской империи подходил, скорее всего, не ближе, чем это позволяют прогулки по пьяцца Сан-Марко. О чем речь! — были бы установлены точные факты, бьюсь об заклад, оказалось бы, что старина Гомер обладал стопроцентным зрением!

Я сбежал на территорию культуры, поехал в Париж в надежде обогатиться общением с чистыми сердцем, с "непризнанными законоустроителями мира", а домой вернулся с твердым решением никогда больше не иметь касательства ни к писателям, ни к художникам.

Кроме Буки.

После моего отбытия Буку видели то в Стамбуле, то в Танжере, то на острове у берегов Испании. Как его? Нет, не Майорка, другой. Крит? Да ну, что за глупости. Тот, который изгадили хиппи. [Ибица. — *Прим. Майкла Панофски.*] В общем, первое письмо от Буки я получил в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом, через два года после моего возвращения в Монреаль, и пришло оно из буддийского монастыря на острове, который прежде назывался Формоза [На самом деле это письмо от Буки пришло в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году, причем из Нью-Йорка, а не с Тайваня; Бука написал его, впервые побывав на рок-концерте. — *Прим. Майкла Панофски*], а теперь именуется как-то по-другому — ну точно как кока-кола, заново родившаяся под названием "кола-классик". Хрен с ним. В моем возрасте уже не обязательно держаться в курсе. Вот у меня в руках рекламная газетка, призывающая смотреть фильмы с участием очередного мрачного дылды в паре со старлеткой типа "груди на блюде", при этом и тот, и другая загребают по десять миллионов долларов за одно только появление в кадре, а я даже не знаю, как их звать. Судите сами. Женщинам, которые делались звездами экрана, раньше приходилось надевать на себя косынки и темные очки, чтобы их не узнавали на улицах, а теперь им для этого достаточно надеть хоть *что-нибудь*. И раз уж я так расшалился: вот понятия не имею, что такое "отстой", "умат" и "улет", а также зачем продвинутые молодые люди, собираясь в ресторан, говорят, что идут курить бамбук. И "аськи" у меня нет, и понять, кто такой Логин, я не могу, хоть тресни! И я не чатился онлайн, и никогда не буду.

Бука писал:

Человечество, вопиюще несовершенное, еще не закончило эволюционный виток. В далеком будущем — и по логике развития, и ради удобства — гениталии как мужчин, так и женщин воздвигнутся там, где у нас сейчас головы, а содержимое наших акротериев и прочих всяких куполов сползет туда, где прежде были органы пола. Это позволит молодым и старым вставляться, ми-

ную лирические преамбулы, утомляющие предварительные игры и неизбежную возню с пуговицами и молниями. Они обретут способность осуществлять, как советовал Форстер, "простое подключение" – прямо на перекрестке, пока горит красный, или в очереди в кассу супермаркета, или на скамье синагоги, в церкви... Выражение "факаться", или, как говорят люди благовоспитанные, "заниматься любовью", сменится на "оттолкнуться набалдашниками" – ну, навскидку: "Шел я тут по Пятой авеню, вижу, идет такая – "зю?" – типа ля-ля-фа в оба глаза. Что поделаешь, оттолкнулись набалдашниками".

Побочным следствием новой утонченной реальности станет то, что бордель или иной вертеп разврата, как запретное место, куда ходят удовлетворять низменные страсти, уступит место библиотеке – а как же: чтобы духовно общаться не абы как, а со всеми грамматическими удобствами, надо ведь будет расстегиваться и спускать штаны! Правда, под постоянной угрозой, что застукает спецотряд по борьбе с грамотностью. А новым социальным злом станет интеллигенция. Вспомнишь потом, где ты впервые об этом прочел.

Терри вернулся в Монреаль через год после меня, чтобы вступить в наследство; отцовскую книжную лавку превратил в пиццерию, но вот что удивительно, не устаю поражаться: когда мы впервые пересеклись (это было на Стэнли-стрит), мы ведь буквально бросились друг другу в объятья, радуясь случайной встрече, и, чтобы за нее выпить, вместе двинулись в "Тур Эйфель" в полной уверенности, будто когда-то были закадычными друзьями и вместе сучили лапками все те шебутные два года на левом берегу Сены. Битый час у нас ушел на всякие "а помнишь". Да как же я забуду вечер, когда мы всей компанией пошли на концерт Шарля Трене, а потом ели луковый суп на Центральном рынке! Или тот раз, когда в баре на Монмартре Бука сел за рояль, сделав вид, что он Коул Портер, и нас всех без конца поили бесплатно... Потом мы с Терри de haut en bas[1] прошлись насчет провинциального городка, куда – ладно уж, так и быть – соблаговолили вернуться, и насчет того, что улица Сен-Катрин, главная магистраль, которая когда-то казалась средоточием всего цивилизованного мира, теперь на наш взгляд что? – ла-а-ажа-лажалажа. Господи, подумал я, как же это я не замечал, что Макайвер-то, оказывается, в доску свой парень, да и про меня он в тот вечер, я уверен, думал то же самое. Я обещал позвонить – если не завтра, то послезавтра точно, и он заверил меня в том же. Но он не позвонил, и я тоже. Зря, наверное. Потому что, сделай один из нас первый шаг, я думаю, мы стали бы друзьями. Это была развилка, и мы на ней разошлись. Но это была не единственная развилка в моей жизни. О! Куда там.

Едем дальше. Лео Бишински поселился опять в Нью-Йорке – завел себе студию в Гринич-виллидже и успел уже стать предметом неудобочитаемой критики в самых recherché[2] художественных журналах. Да и великолепный первый роман Седрика Ричардсона своим появлением поверг критику в самый настоящий экстаз. Я впрямую, без всякой задней мысли послал ему хвалебное письмо, на которое он не ответил. Это меня задело. Все же мы когда-то были больше чем друзьями. И повязаны ого как крепко!

1. Свысока (*франц.*).
2. Продвинутых (*франц.*).

Он мне все: "Ну вы народ!.. Ну народ!.." И сует чуть ли не в нос, сует бедное сморщенное тельце, как будто оно из помойного бака выскочило и на него набросилось.

И все, больше я о Седрике не слышал, пока его фотография не появилась в "Нью-Йорк таймс" на первой полосе. Окровавленного, со сломанным носом, его поддерживали под руки двое ухмыляющихся толстожопых патрульных из полиции штата Кентукки. Он принял участие в попытке записать двенадцать черных детей в школу для белых, последовала драка, полетели камни, и ему досталось. За массовую драку вместе с ним было арестовано и десять белых. Что до меня, то, вернувшись из Парижа, где мне до смерти надоело гробить свою жизнь на всех этих дрочил от искусства, я твердо решил начать новую жизнь. Как это Клара когда-то сказала? "Когда вернешься домой, чтобы делать деньги (да куда ты денешься — с твоим характером), и женишься на приличной, понимающей в торговле еврейской девушке..." Что ж, пусть она за меня оттуда, с небес, порадуется, подумал я. С сегодняшнего дня у Барни Панофски начинается размеренная буржуазная жизнь. Загородный клуб. На стенах сортира карикатуры, вырезанные из журнала "Нью-Йоркер". Подписка на журнал "Тайм". Карта "Американ экспресс". Членство в синагоге. Атташе-кейс с цифровым замочком. И т. д. и т. п. и пр.

Прошло четыре года, и я вырос из торговли сыром, оливковым маслом, старыми "DC-3s" и краденными древнеегипетскими поделками, но все еще возвращался мыслями к Кларе, сегодня снедаемый виной, назавтра дерзостно освобожденный. Купил себе дом в монреальском пригороде Хемпстеде. Не дом, а само совершенство. Там было все: гостиная с уютным уголком на три ступеньки ниже уровня пола; камин, сложенный из природного камня; огромная, чуть не в рост человека, кухонная печь, мягкое освещение, кондиционирование воздуха, в туалетах сиденья и сушилки полотенец с подогревом, в подвале бар с водопроводом, внешняя отделка стен — алюминиевый сайдинг, в пристройке гараж на две машины, а в гостиной еще и венецианское окно. Восхитившись своим приобретением (так-то вот! — пускай теперь Клара в гробу перевернется), я обозрел его и увидел, чего не хватает. Немедленно пошел, купил баскетбольную корзину и пришурупил ее на должное место над гаражными воротами. Теперь оставалось лишь завести жену и пса по кличке Пират. Опять поворотный момент. У меня уже было 250 000 долларов в банке, но я продал все свои предприятия, выручив еще *мезумон*, после чего зарегистрировал ЗАО "Артель напрасный труд" и снял в центре города офис. Засим, не откладывая дело в долгий ящик, пошел искать недостающий член уравнения — так сказать, бриллиант в корону реба Барни. Это же всеми признано: одинокий состоятельный мужчина обязательно должен хотеть жениться. Да. Но хотеть — это еще не все. Чтобы добыть себе правильную Мадам, сперва я должен был заработать репутацию в приличном обществе.

С этой целью я решил просочиться в официальные, так сказать, еврейские круги, где и решают, кого считать столпом общества, кого подпоркой, а на кого надежда как на гнилой забор. Для начала я вызвался в добровольцы по сбору средств на "Общее еврейское дело", чем и объясняется мое появление однажды вечером в конторе у хитроватого, но явно не чересчур одухотворенного фабриканта одежды. На стене позади стола, за спиной коренастенького, улыбчивого Ирва Нусбаума была привинчена табличка "Человек года". Еще там висела пара бронзовых

детских ботиночек. Фотография Голды Меир с автографом. На другой фотографии Ирв был снят в момент, когда он от имени Друзей университета Бен-Гуриона в Негеве вручает Бернарду Гурски диплом доктора филологии. На пьедестале стояла модель шестиметровой яхты, которую Ирв держал во Флориде, — хорошее, правильное судно под названием "Царица Эсфирь" (в честь собственной жены, а не библейской Мисс Персия). А уж фотографии гадких и несносных его детишек валялись тут, там, сям, да и вообще повсюду.

— А вы не слишком ли молоды для этого? — спросил Ирв. — Обычно средства собирают люди... ну, скажем, более зрелого возраста.

— Чтобы хотеть внести свою лепту в развитие Израиля, человек не может быть слишком молод.

— Выпить не желаете?

— Да, неплохо бы кока-колы. Или содовой.

— А как насчет виски?

— Да ну! У меня весь день еще впереди, я так рано не пью, но вы пожалуйста, вы не стесняйтесь!

Ирв осклабился. Ну ясно: вопреки тому, что обо мне говорят, я не пьяница. Этот экзамен я сдал. И был зачислен на ускоренные тактические курсы.

— Сперва я доверю вам всего несколько адресов, а там посмотрим, — начал Ирв. — Теперь слушайте здесь. Правила игры. Никогда не посещайте объект в его офисе, где он, засранец, царь и бог, а вы очередной *момзер*[1], пришедший за подачкой. Куда легче навешать ему лапши насчет нуждающегося Израиля, встретив его в синагоге, но там его обрабатывать не надо. Дурной тон. Все равно что менялы в храме. По телефону назначьте встречу, и тут важнейшее дело — время дня. Завтраки отпадают: вдруг ему ночью жена не дала или было не заснуть из-за изжоги. Идеальное время — ланч. Выберите небольшой ресторанчик. Чтобы столы стояли как можно реже. Такое место, где не приходится кричать. И чтобы с глазу на глаз. Черт. В этом году у нас нехорошо. Сильно упало количество антисемитских выходок.

— Да-а. Какая жалость, — сказал я.

— Не поймите меня превратно. Я против антисемитизма. Но каждый раз, когда какой-нибудь гондон рисует на стене синагоги свастику или переворачивает надгробье на одном из наших кладбищ, люди становятся нервными, они звонят мне, и они таки сами предлагают! В общем, если в этом году так и дальше пойдет, вам надо будет ваш объект брать за шкирку и мордой его, мордой в Холокост. Освенцимом его по башке. Бухенвальдом. Тем, что в той же Канаде военные преступники до сих пор гуляют и в ус не дуют. Говорите ему так: "Вы можете поручиться, что такое не произойдет снова, даже здесь? — и куда мы тогда пойдем?" Израиль это наш страховой полис — вот вы им как говорите.

Мы снабдим вас кое-какой интимной информацией о доходах вашего объекта, и если он начнет плакаться, говорить, что у него нынче голый год выдался, вы скажете: чушь, и назовете цифры. Но не те цифры, с которыми он ходит в налоговую. Настоящие цифры. Скажете ему, что теперь, когда мы вступаем в сражение с этим долбофакером Насером, его вклад в нынешнем году должен стать больше. А если начнет юлить,

1. Негодяй (*идиш*).

вы его *буба-майсес*[1] не слушайте, а между делом вставьте, что в Элмридже (или где там его загородный клуб находится) все будут знать до цента, сколько он внес, и приток заказов к нему может пострадать, если станет известно, что он скупердяй. Кстати, я понял так, что вы занялись телевизионным бизнесом. Как помощь с кастингом понадобится, я к вашим услугам!

Помощь с кастингом? В джунглях шоу-бизнеса, кишащих доносчиками, мошенниками и ядовитыми змеями, я был как ребенок, которому шнурки завязывать и то помогать надо. Деньги утекали рекой, я ими как кровью исходил. Мой первый пилотный проект (его идею продал мне жулик, который клялся, будто он соавтор одной из серий "Перри Мейсона") был началом сериала про частного сыщика, у которого "свой, особенный кодекс чести". Этакий канадский клон Сэма Спейда*. Режиссировать фильм Национальный комитет по кинематографии прислал какого-то загнанного мерина, главную роль отдали актеру из Торонто, на которого можно было смело положиться только в том, что он будет пьян еще до завтрака. "Это наш Оливер", — говорил о нем его агент, утверждавший, будто тот отвергает предложения сниматься в Голливуде просто из принципа. При этом женщина, взятая на роль его подружки, оказалась его бывшей любовницей, о чем меня почему-то в известность не поставили, а она как увидит его при подготовке к съемкам какого-нибудь эпизода, так сразу в слезы. Результат получился невероятно, ошеломительно плох, так плох, что я не решался никому этот фильм даже показывать, но у меня он до сих пор на кассете, и, когда совсем одолевает депрессия, я его смотрю, чтобы посмеяться.

Я оказался таким ловким сборщиком пожертвований, что Ирв даже пригласил меня на свою серебряную свадьбу — ужин для избранных с танцами, происходивший в отдельном зале ресторана "У Руби Фу", где все были в вечерних платьях и смокингах, причем те, что в смокингах, все, кроме меня, зарабатывали столько, что с них можно было стрясать как минимум по двадцать тысяч долларов в год одних только пожертвований в пользу Израиля, не говоря уже о всякой прочей помощи общине. Вот там-то я и встретил мегеру, которая сделалась моей второй женой. Черт! Черт! Черт! И вот теперь мне шестьдесят семь лет, я стал усыхающим старцем, у которого с конца когда надо толком не течет, а так все время капает, но по сей день я не могу понять, как меня угораздило вляпаться в этот второй брак, из-за которого я беднею каждый месяц на десять тысяч долларов — и это еще без поправки на инфляцию. Подумать только: ее отец, этот чванливый старый боров, когда-то опасался *меня*, считая охотником за приданым. Оглядываясь назад и пытаясь найти хоть какое-то оправдание своему идиотизму, какое-то отпущение грехов, я стараюсь думать, что тогда это был просто не я, а пародирующий меня зомби. Притворяющийся удалым *гешефтмахером*, которого видела во мне и очень не одобряла Клара. Ох уж этот комплекс вины! Он заставлял меня пить в предутренние часы и бояться лечь, потому что во сне сразу возникнет Клара в гробу. Гроб, в соответствии с требованиями еврейского Закона, был сосновый и с дырочками, чтобы набег червей на чересчур юный труп произошел как можно скорее. Глубина — два метра. А там, на этой глубине, гниют ее груди.

1. Бабкины сказки (*идиш*).

"...За обедом сможешь потчевать друзей из 'Общего еврейского дела' рассказами о том, как жил с мерзкой гадиной Кларой Чамберс". И уж я теперь разгулялся, хлебал респектабельность *полным ротом*, чтобы доказать призраку Клары, что изображать приличного буржуазного еврейского мальчика я могу еще и лучше, чем она способна была себе представить. Иногда этак остановишься, на самого себя глянешь, и оторопь берет — ишь ты, лицедей какой, почему никто не аплодирует? В период молниеносного — всего один месяц — ухаживания за бомбой замедленного действия, которой оказалась Вторая Мадам Панофски, был, например, такой вечер, когда я повел ее ужинать в отель "Ритц", там пил чересчур много даже по моим меркам, а она без умолку щебетала о том, какую она при содействии знакомой декораторши интерьеров конфетку сделает из этой моей хемпстедской начиненной респектабельностью мышеловки.

— А как ты повезешь меня домой, — спросила она, — в твоем состоянии?

— Что ты, — ответил я и, чмокнув ее в щечку, сымпровизировал реплику, которую только моя "Артель напрасный труд" и могла бы принять к постановке: — Я никогда не прощу себе, если из-за моего "состояния" с тобою что-нибудь случится. Ты слишком дорога мне. Мы бросим мою машину здесь и возьмем такси.

— Ах, Барни! — что-то больно уж восторженно отозвалась она.

Вообще-то я зря написал: *Ах, Барни! – что-то больно уж восторженно отозвалась она.* Это я злобствую. И лгу. Правда состоит в том, что, когда я встретил ее, я был эмоциональным калекой и пил почти непрерывно, наказывая себя за то, что иду наперекор собственной природе, однако у Второй Мадам Панофски жизненной силы хватало на двоих, а кроме того, она очень хорошо чувствовала комическое и обладала остроумием совершенно особого, только ей присущего толка. Как и тот блаженной памяти старый блядун Хайми Минцбаум, она обладала качеством, которое больше всего восхищает меня в других людях, — аппетитом к жизни. Нет, больше того. Нацеленная в те дни на пожирание всего, что только можно употребить по части культуры, — а употребить она теперь могла хоть весь прилавок книжного рынка в Браун-Дерби, — она читала не переставая. Но читала Вторая Мадам Панофски не для удовольствия, а чтобы быть на уровне. Утром в воскресенье садилась за книжное обозрение "Нью-Йорк таймс" и прорабатывала его так, словно готовилась к экзамену. Отмечала только те книги, которые могут стать предметом обсуждения на светских мероприятиях; безотлагательно их заказывала и проглатывала с умопомрачительной скоростью: "Доктор Живаго" Бориса Пастернака, "Общество изобилия" Джона Гелбрайта, "Помощник" Бернарда Маламуда, "Одержимые любовью" Джеймса Гоулда Коззенса. Самым страшным грехом, с ее точки зрения, была пустая трата времени, в чем я вновь и вновь обвинялся, потому что стоило мне в баре расслабиться, и я мог на несколько часов сцепиться языками вообще неизвестно с кем. Помимо того, что и так слишком подолгу точил лясы с уволенными на пенсию хоккеистами, пьяными спортивными комментаторами и мелкими мошенниками.

Поехав на три дня развеяться в Нью-Йорк, мы остановились в "Алгонкине", поселившись в двух отдельных комнатах, на чем настоял именно я, — мне очень уж хотелось во всем следовать тому, что я считал правилами приличия. И я бы этой поездкой был вполне доволен, если

бы бродил где ни попадя, слонялся по барам и книжным лавкам, но она составила плотный график, в который впихала столько, что у нормального человека на это ушло бы недели две. В театр надо было ходить и днем, и вечером: "Двое на качелях", "Восход в Кампобелло", "Мир Сьюзи Вонг", "Эстрадник". То и дело ее расписание повелевало все бросать и мчаться куда-то на край света в магазин народных промыслов или в ювелирный салон, рекомендованный журналом "Вог". Несмотря на стертые ноги, утром она все равно в момент открытия первая врывалась в универмаг Бергдорфа Гудмана, оттуда спешила к Заксу и дальше, на Канал-стрит, в такие местечки, о которых знают только настоящие cognoscenti[1], — туда, где можно было буквально за гроши купить платья нового "мешковатого" силуэта от Живанши. Собираясь лететь в Нью-Йорк, она нарочно оделась в старое, чтобы весь этот гардероб без сожалений выкинуть в мусоропровод гостиницы, как только она купит себе первый новый наряд. И наоборот, в день нашего вылета обратно утром порвала все компрометирующие чеки с распродаж, оставив только те, которые услужливые продавщицы для нее сфабриковали, — например, чек на 39,99 долларов за стопятидесятидолларовый свитер. Когда садились в самолет, на ней было бог знает сколько пар белья и блузок, надетых одна на другую, а на выходе она с шуточками прошла мимо монреальского таможенного инспектора, вовсю флиртуя с ним en français.

Да, Вторая Мадам Панофски представляла собой образчик того человеческого типа, который все кому не лень высмеивают и поливают грязью, — этакая американо-еврейская фифа, но она каким-то образом добыла-таки нечто похожее на живой огонек из остававшейся от меня тогда полумертвой головешки. Когда мы встретились, она уже успела отработать сезон в кибуце и окончила Макгилл по специальности "психология", после чего пошла работать с трудными детьми в заведении при Центральной еврейской больнице. Они ее обожали. Она умела их рассмешить. Вторая Мадам Панофски вовсе не была плохим человеком. Если бы она не попала в мои руки, а вышла замуж за действительно, а не притворно приличного человека, она была бы сейчас образцовой женой и матерью. И не превратилась бы в озлобленную и страшно растолстевшую каргу, с головой ушедшую в "Нью эйдж"*, трясущуюся над какими-то кристаллами и без конца таскающуюся на консультации к контактерам. Мириам сказала мне однажды: "Кришна имел право разрушать, а ты, Барни, нет". О'кей, о'кей. Что ж, попробую ближе к истине.

— Ты слишком дорога мне, — что-то больно уж восторженно отозвался я. — Мы бросим мою машину здесь и возьмем такси.

— Ах, Барни, — сказала она, — я ведь знаю: все равно ты все врешь.

Ах, Барни, какой ты мерзавец! Когда пытаешься воссоздавать былые дни, ускользающая, неверная память — это как раз то, что надо. Картинки, виньетки... Какая-то сцена вдруг смущает. Вызывает приступ боли. Вот Бука прилетел из Лас-Вегаса — он там играл и в кои-то веки что-то даже выиграл; он будет моим шафером. За пару дней до церемонии я познакомил его с невестой, а потом мы вдвоем пошли в ресторан... — ч-черт! — это было в тот вечер, когда мне следовало быть на стадионе "Мэйпл лиф гарденс" в Торонто; "Монреальцы" побили тогда "Кленовые листья" 3:2, вырвавшись на два очка вперед в финалах Кубка Стэнли. Какую игру пропустил! В третий период вступили четверо против

1. Знатоки (*итал*).

пятерых и вдруг молниеносно — раз, два, три! — засадили три гола за шесть минут: Бакстрем, Макдоналд и Жоффрион!

— Не надо, Барни, умоляю, не делай этого, — насел на меня Бука. — Мы можем вот сейчас допить коньяк и ходу в аэропорт, а там первым же рейсом в Мексику, в Испанию, куда угодно.

— А-а, да ну тебя, — отмахнулся я.

— Она симпатичная, вижу. Сладкая женщина. Так заведи роман! Представь, мы завтра были бы в Мадриде. На узких улочках, разбегающихся от Пласа Майор, ели бы вкуснющие tapas. И cochinillo asado[1] в "Каса Ботин".

— Да черт возьми, Бука! Не могу же я уехать, пока не кончились финалы Кубка Стэнли. — И я с тяжелым сердцем полез в карман, показал ему два билета в первых рядах на следующую игру в Монреале. *На ту игру, которая состоялась как раз в день моей свадьбы.* Если "Монреальцы" выигрывают, у них в четвертый раз Кубок Стэнли в кармане, поэтому на сей раз, в виде исключения, я желал им поражения, чтобы я мог отложить медовый месяц и наблюдать дальнейшую борьбу, которая несомненно завершится потрясающей, великолепной победой.

— Ты как думаешь, Бука, — спросил я, — что, если мне после свадебного обеда выскочить на часок, и в "Форум" — может, я успею на третий период?

— Насчет таких вещей невесты весьма ранимы, — ответил он.

— Н-да, наверное, ты прав. Давай — за мое будущее счастье, а?

На праздновании серебряной свадьбы Ирва Нусбаума хозяин излучал радость.

— Ты видел сегодняшнюю "Газетт"? Какие-то негодяи насрали на ступенях синагоги "Б'ней Иаков". У меня телефон весь день разрывался. Потрясающе, да? — (Все это с подмигиваниями и тычками локтем.) — Ух, как ты к ней прижимаешься! Еще ближе прижмешься, придется мне вам тут комнатку свободную подыскать!

Игривая, чувственно пышная, источающая сладостные ароматы, моя будущая невеста не отстранялась от меня во время танца. Наоборот, сказав: "Мой отец на нас смотрит", прижалась еще крепче.

Лысый, будто полированный череп. Нафабренные усы. Очки в золотой оправе. Кустистые брови. Маленькие карие глазки-бусинки. Квадратный подбородок. Широкий пояс, врезавшийся в сытое брюшко. Глупый — куриной гузкой — ротик. И никакого тепла в точно отмеренной улыбке, с которой он снизошел до нашего стола. Он был застройщиком. Обладатель инженерного диплома Макгиллского университета, он воздвигал кварталы похожих на коробки от конфет офисных зданий и ульи жилых домов.

— Мы не представлены, — сказал он.

— Его зовут Барни Панофски, папочка.

Я взялся за его влажную, вялую крошечную ладошку.

— Панофски? Панофски... А я вашего отца не знаю?

— Нет, если тебя, папочка, не разыскивала за что-нибудь полиция, а ты от меня это скрыл.

— Мой отец инспектор полиции.

1. Рульку... жареного поросенка (*исп.*).

– Смотрите-ка. Нет, правда? А вы чем зарабатываете на хлеб?

– Я? Я телепродюсер.

– Помнишь ту рекламу пива "мольсон" – она такое чудо! Ну, та, которая тебя так смешит. Это продукция Барни.

– Ну-ну. Ну-ну. Там с нами сидит сын мистера Бернарда, он хочет потанцевать с тобой, мой птенчик, но стесняется подойти, – сказал он, твердо взяв ее за локоть. – Вы знаете Гурских, мистер...?

– Панофски.

– Мы с ними в большой дружбе. Пойдем, мой птенчик.

– Нет! – сказала она, высвободила руку и, сдернув меня с места, снова повлекла танцевать.

Есть такой гриб – ложный белый, знаете? Так вот, отец невесты оказался как раз из тех евреев, которые усиленно рядятся под аристократов-англосаксов. Этакий ложный белый англосакс-протестант. От кончиков нафабренных усов и до подошв оксфордских остроносых туфель. Для повседневной носки он предпочитал костюм в тонкую полоску с канареечно-желтым жилетом, тем более бьющим в глаза, что из его кармашка свисала золотая цепь от карманных часов, да еще и с брелком. Для загородных променадов – специальная ротанговая трость, а для тех вечеров, когда он предавался гольфу с Харви Шварцем, особые брюки – какие? – догадайтесь с трех раз: брюки-гольф. Зато, когда ждал гостей к обеду в своем особняке в Вестмаунте, надевал пурпурный бархатный смокинг и такие же тапки; так и ходил, все время поглаживая мокрые губы указательным пальцем, как будто всецело погрузившись в решение важнейших философских проблем. Его невыносимая жена – в pince-nez – звякала в маленький колокольчик всякий раз, когда общество готово было к следующей перемене блюд. Когда я впервые у них обедал, она указала мне на то, что я неправильно пользуюсь суповой ложкой. Показывая, как надо, она поясняла, чтобы мне легче было запомнить: "Суда плывут – куда? Суда плывут – сюда. Море у нас – где?"

Дамы, естественно, пошли пить кофе в гостиную, тогда как закадычным друзьям, задержавшимся за столом, подали портвейн, передавая графинчик справа налево, и мистер Ложный Белый предложил тему, которую стоит обсудить: "Джордж Бернард Шоу однажды сказал..." или "Герберт Джордж Уэллс пытался нас уверить в том, что... И что вы теперь на это скажете, джентльмены?"

Меня старый пень, конечно же, невзлюбил. В его оправдание должен заметить, что он был просто из тех отцов-собственников, которым сама мысль о том, что кто-то – пусть даже Гурски – трахает папину дочку, отвратительна (это я не к тому, что в тот момент мы так далеко уже зашли). Выражая дочери свое неудовольствие, он сказал: "Этот юноша разговаривает руками!" Он считал, что я этим и себя и всех вокруг невесть как компрометирую. Фи! – très[1] еврейская манера. "Знаешь, я бы не хотел, чтобы ты к нам его приглашала".

– Да ну? Что ж, в таком случае я от вас ухожу. Сниму квартиру!

Квартиру? У бедняги перед глазами, должно быть, тут же возникла страшная картина, как в этой квартире его драгоценную девочку будут насиловать утром, днем и вечером.

1. Очень (*франц.*).

— Нет, — воспротивился он. — Не надо от нас уходить. Я не стану тебе запрещать с ним видеться. Но мой отцовский долг предупредить: ты делаешь большую ошибку. Он выходец из другого monde[1].

Дальнейшее развитие событий показало, что он был прав, не желая дочери в мужья такого раздолбая, но мешать нам не стал из страха потерять ее совсем. Пригласив меня в свою библиотеку, он сказал:

— Не стану притворяться, будто ее выбор приводит меня в восторг. У вас ни корней, ни образования, к тому же ваш бизнес вульгарен. Но когда вы станете мужем и женой, мы с моей дорогой супругой, возможно, примем вас как равного, хотя бы ради счастья нашей любимой дочери.

— Что ж, вы мне все объяснили очень доходчиво и любезно, — ответствовал я.

— Пусть будет так, но у меня к вам просьба. Моя дорогая супруга, как вам известно, является одной из первых еврейских женщин, закончивших Макгилл. В группе набора двадцать второго года. Некоторое время она была президентом "Хадассы"*; ее имя вписано в Золотую книгу мэра. За ту работу, что она вела с британскими детьми, которые находились здесь в эвакуации во время последнего глобального конфликта, ее удостоил благодарности наш премьер-министр...

Да, но не раньше, чем она написала в его канцелярию, умоляя прислать официальную бумагу, которая теперь и висит в рамочке у них в гостиной.

— ...Она очень утонченная дама, и я буду признателен, если в будущем вы воздержитесь от уснащения вашей речи всякого рода словесными сорняками — во всяком случае, когда сидите за нашим столом. Полагаю, это окажется не слишком обременительно для столь благородного юноши.

Задним числом я понимаю, что и в нем было много такого, за что человека следует уважать. Например, во время Второй мировой войны он служил в танковых частях в чине капитана и дважды упоминался в сводках новостей с фронта. Это ведь как посмотреть. Такое признавать не очень приятно, но многие из тех, кто для либералов вроде меня не более чем мишень для насмешек — например, армейские полковники (у, туловища замшелые) или глуповатые выпускники частных школ, ставшие завсегдатаями пригородных гольф-клубов (до чего банальна их болтовня — просто уши вянут), — как раз и приняли на себя удар войны 1939 года, как раз они-то и спасли западную цивилизацию, тогда как Оден, этот будто бы бесстрашный борец-антифашист, сбежал в Америку, едва лишь варвары замаячили у ворот. [Работая над отцовской рукописью, я ограничивался корректировкой фактов, вписыванием недостающих имен, мест или дат в тех случаях, когда память его подводила, но тут мне случайно попалась книга Питера Ванситтарта "В пятидесятые" (Джон Мюррей, Лондон, 1995), и в ней мое внимание привлек следующий пассаж на с. 29:

В 1938 году один замшелый полковник, про которого мы, хихикая, говорили, что одну ногу он потерял при Монсе, вторую у Ипра, третью на Марне, а последние остатки мозгов ему вышибло на Сомме, вдруг возьми в разговоре со мной да и выдай: "Твой мистер Оден Гитлера, конечно, недолюбливает, но

1. Мира (*франц.*).

вот пойдет ли он со мной бить мерзавца?" Многие из тех, кого Оден высмеивал – полковники, дебиловатые выпускники частных школ, завсегдатаи пригородных гольф-клубов, скучные посредственности, благонравные, но тупые начальники – спасли западную цивилизацию. Теперь, когда стало известно, что, завидев варваров у ворот, Оден тут же отбыл в Америку, в моих глазах его репутация борца-антифашиста несколько пошатнулась.

Мне не хотелось бы считать, что к тому множеству грехов, за которые отцу предстоит ответить, следует добавить еще и плагиат. Все-таки я предпочитаю думать, что Кейт права, настаивая на том, что это добросовестное заблуждение. "Такого не может быть, – говорит она. – Наверняка папа, роясь в картотеке, ошибочно принял выписанную им мысль Ванситтарта за одну из своих собственных". – *Прим. Майкла Панофски.*]

Репутация моего тестя в деловом мире была безупречна. Он был верным мужем и любящим отцом Второй Мадам Панофски. Всего через год после нашей женитьбы заболев раком, все последние месяцы изнурительной борьбы с болезнью он держался с достоинством и показал себя не меньшим стоиком, чем любой из так восхищавших его героев Д. А. Генти*. Должен сказать, что мои отношения с семейкой Ложных Белых начинались не вполне удачно. Взять, к примеру, хотя бы момент знакомства с будущей тещей, состоявшегося в "Ритц гарденз" за ланчем à trois[1], организованным моей предусмотрительной невестой, которая накануне вечером не один час меня муштровала.

– Ты не должен перед ланчем пить больше одной рюмки.

– Ий-есть, сэр!

– И, что бы ты ни делал, ни в коем случае не насвистывай за столом. *Абсолютно чтобы никакого за столом свиста!* Она этого не выносит.

– Но я же и так никогда за столом не свистел!

К вящему нашему ужасу, супруге Ложного Белого не понравился уже сам стол.

– Надо мне было мужа попросить забронировать вам столик, – процедила она сквозь зубы.

Трудности начались сразу же, разговор не клеился, мадам Ложный Белый долго изводила меня тем, что требовала отвечать на самые нескромные вопросы о моих родителях, моем прошлом, моем здоровье и моих перспективах, пока я наконец не вытащил всех нас на более безопасную территорию: как раз только что умер Сесил Блаунт Де Милль*, и замечательно сыграл Кэри Грант в фильме "К северу через северо-запад", а еще вот-вот ожидался приезд Большого театра. Мое поведение было примерным – во всяком случае на четыре с плюсом, – пока она не сообщила мне, что ей несказанно понравился "Исход" Леона Юриса*. Тут я ни с того ни с сего принялся вдруг насвистывать "Марш конфедератов".

– *Он свистит за столом?*

– Кто? – насторожился я.

– Вы.

– Да никогда в жизни. Ёк-каламокала, неужели?

– Он не хотел, мамочка.

– Я извиняюсь, – сказал я, но, когда принесли кофе, я уже так разнервничался, что вдруг поймал себя на том, что вовсю насвистываю тог-

1. На троих (*франц.*).

дашний хит сезона: "Красная-ап — помада — тырыдыры — на воротничке". Стоп! — сказал я себе.

— Не понимаю, что на меня нашло, — сказал я окружающим.

— Я бы хотела внести свою долю в оплату счета, — проговорила моя будущая теща, вставая.

— Что ты, Барни об этом и слышать не хочет!

— Мы часто сюда ходим. Нас здесь знают. Мой муж всегда оставляет на чай двенадцать с половиной процентов.

А тут еще близился день, когда я должен был представлять моим будущим родственникам со стороны жены своего отца — ужас! Мать к тому времени была уже вне игры (хотя она и раньше моими играми не особенно интересовалась), угасала в частной лечебнице, едва ли что-либо соображая. На стенах ее комнаты висело множество фотографий — Джорджа Джесселя, Изьки Глотника, Уолтера Уинчелла, Джека Бенни, Чарли Маккарти, Милтона Берля* и братьев Маркс: Граучо, Арфо и — ну, вы поняли, этого, как его... [Чико. Но был ведь еще и четвертый брат — Зеппо, появлявшийся во многих фильмах. — *Прим. Майкла Панофски.*]* Вот, прямо вертится на языке! Пускай вертится. В последний раз, когда я приходил навестить маму, она сказала, что санитар все время пристает к ней, пытается изнасиловать. А меня она называла Шлоймиком — так звали ее умершего брата. Я кормил ее шоколадным мороженым в стаканчике, ее любимым, заверяя, что оно не отравленное. Доктор Бернштейн сказал, что у нее болезнь Альцгеймера, но вы, дескать, не волнуйтесь, она не обязательно передается по наследству.

Готовясь к визиту четы Ложных Белых ко мне домой, я вывел шариковой ручкой у себя на правой ладони большими буквами: НЕ СВ — напоминание о том, чтобы не свистеть. Купил правильные книги и разложил на видных местах: Гарри Голдена, биографию Герцля, фотоальбом "Израиль" и новый роман Германа Вука*. В кондитерской "Оделис" купил шоколадный торт. Поставил вазу с фруктами. Спрятал спиртное. Распаковал коробку с купленными утром жуткими фарфоровыми чашками и блюдцами и разложил приборы на пятерых, присовокупив к ним льняные салфетки. Все пропылесосил. Взбил подушки. Предчувствуя, что мать невесты найдет повод заглянуть и в спальню, я всю ее дюйм за дюймом обследовал, чтобы там не оказалось женских волос. Потом в третий раз почистил зубы, надеясь отбить алкогольный выхлоп. Когда мой отец наконец прибыл, миссис и мистер Ложный Белый вместе с их дочерью уже сидели в гостиной. Иззи был безупречно одет в костюм, который я подобрал для него в магазине "Шотландский горец", однако, в качестве жеста символического неповиновения, отец добавил к нему детальку от себя. Надел свою сногсшибательную фетровую федору с пришпиленной к ней нелепой разноцветной кистью, такой огромной, что она запросто сошла бы за метлу. Источал запах одеколона "олд спайс" и норовил предаться воспоминаниям о былых днях, когда он был постовым в китайском квартале.

— Мы были парни молодые, способные и быстро по-китайски всяких "мяо-сяо" нахватались. А вообще-то мы за ними по большей части с крыш приглядывали — что у них там на уме. И сразу видишь, где они курильню устроили: в доме все *провонят*, так они простыни сушиться на улице вывешивали. Ну-ка, Барни, будь другом, плесни-ка мне лучше виски, — сказал он, отодвинув чайную чашку от себя подальше.

– Да я даже не знаю, есть ли у меня, – натужно произнес я, делая ему страшные глаза.

– Ага, скажи еще, что нет угля в НьюкасТле, – сказал он, явственно произнеся довольно-таки лишнюю букву "т", – и снега в Юконе.

Что поделаешь, принес ему бутылку и стакан.

– А себе? Ты что – сегодня пить бросил?

– Не-не, я не хочу.

– *Лехаим*[1], – сказал Иззи и опрокинул в себя стакан; я смотрел с завистью. – Нам там и девчонки попадались – дурное дело нехитрое! Ох, бывали дни веселые... А теперь – Христос всемогущий! – возьмите среднюю франкоканадскую семью... не знаю уж, как сегодня, но в те времена у них было по десять-пятнадцать детишек, кушать нечего, и куда пойдешь? Вот они туда девчонок своих и посылали, а потом одна тащит за собой другую, и пошло-поехало, тут мы на хату с проверкой – понятно, да? – а там – Христос всемогущий! – четыре или пять китаёз и четыре или пять девок, причем главн' дело они как? – они ведь им курнуть давали, а то нет! Опиума тогда было хоть жопой ешь. Это я говорю про тридцать второй год, когда у нас на весь отдел был один автомобиль, двухместный "форд". – Иззи помолчал, потом хлопнул себя по колену. – Хы! Споймаем, бывало, пару жуликов – куда их деть? – мы их животами на капот и наручниками к стойкам лобового. Рррыммм, рррыммм – пое-ехали! Те так и едут на капоте, – понятно, да? – как дичь у охотников.

– Но там же мотор внизу, – сказала моя будущая супруга. – Им не горячо было?

– Да мы недалеко. Только до отдела. Потом, я что – шшупал? – усмехнувшись, сказал Иззи. – Это ж *они* так ездили!

– Я подумал-подумал, – не решаясь глянуть на будущих родственников, заговорил я, – ннн... наверное, я немножечко выпью. – И потянулся за бутылкой.

– Дорогой, ты уверен?

– Что-то меня познабливает.

Иззи повозил носом, похаркал горлом и сплюнул в новехонькую салфетку ком соплей. Хорошо хоть не мимо. Услышав какое-то звяканье, я искоса посмотрел на будущую тещу – чашка в ее руке ходила ходуном.

– Стал' быть, заарестуем парня и вниз его, в подвал: давай, раскалывайся – понятно, да?

– Но вы с подозреваемыми не были беспочвенно жестоки, а, мистер Панофски?

Иззи наморщил лоб.

– Без – чего?

– Без необходимости, – пояснил я.

– Да в гробу я видал с ними чикаться! Без этого никак. Абсолютно. Потом – поймите, это в природе человека: когда пацан молод да ему власть дадена, чтобы не бил по мордасам, – поди удержи его! Но когда я молодой был, я – нет, потому как помнил, что моя фамилия Панофски.

1. Будем здоровы (от *ивр.* "За жизнь").

— А лично вы — как *лично вы* заставляли подозреваемых давать информацию? — спросил мой будущий тесть, со значением глядя на дочь, как бы говоря ей: ну что, готова породниться с такой семейкой?

— У меня была своя метода, свои способы.

— Как время летит, — сказал я, многозначительно устремив взгляд на часы. — Уже почти шесть.

— Поговоришь с ним строго, предупредишь. А не заговорит — в подвал его.

— И что с ним делают там, а, инспектор?

— Ну, в комнату его, сами в другую, дверь на замок к хренам собачьим и давай стульями швыряться. Понятно, да? Ну, чтобы напугать его как следоват. Еще, бывало, на ногу ему каблуком наступишь — хрясь! А ну, колись, сволочь!

— А что бывает, если... вдруг женщина к вам туда в подвал попадет?

— Да чтоб я помнил... Что мне скрывать, я вам как на духу: не помню я такого, чтобы женщину били, как-то случая не представилось, но если парень из себя крутого корчит, бывало что — о-го-го!

— Пап, передай-ка мне бутылку, пожалуйста.

— Дорогой, стоит ли?

— Или вот еще случай был. В пятьдесят первом году. Поступило сообщение, что какие-то подонки бьют студентов-ортодоксов из ешивы на Парк-авеню — знаете, ходят, бородатые такие? За одно то, что евреи. Ведь эти подонки — они как? Вас увидят или меня — они еще подумают, потому что на лбу у нас не написано, евреи мы или нет, виду мы особо не показываем, но когда они таких ряженых видят — тут уж ясный пень... В общем, поймали мы их предводителя — такой был бычара-венгр, только что с корабля сошел, — и привез я его в семнадцатый отдел глянуть поближе. На нем башмаки были — огромные, тяжелые, у-ух! Ну, запер я дверь — как, говорю, тебя звать-то? Пошли вы все (это он мне говорит) туда-то, говорит, и туда-то. А акцент! — мама ро́дная! По-английски еле можахом. Ну, я ему как шандарахнул! Падает. Вырубается. Христос всемогущий! Я думал, он у меня тут богу душу отдаст. Стал ему первую помощь оказывать. А в голове мысли — вы, наверное, догадываетесь какие. Вы только представьте: ЕВРЕЙ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ УБИЛ... — но это ежели помрет. Так что вызвал я ему "скорую"... Откача-али.

И тут — Иззи как раз вытирал рот тыльной стороной ладони, готовясь перейти к следующему случаю, — я почувствовал: все, хана, пора принимать экстренные меры. И начал свистеть. Но на сей раз из уважения к будущей теще я насвистывал нечто культурно-приемлемое: "La donna è mobile", арию из "Риголетто". Подействовало: из дома испарились не только тесть с тещей, но и будущая супруга. Бежали в панике, а Иззи и говорит:

— Ну, поздравляю. Очень милые люди. Такие сердечные. Интеллигентные. Мне очень приятно было с ними общаться. А я как?

— Думаю, ты произвел на них неизгладимое впечатление.

— Это хорошо, что ты пригласил меня посмотреть на них. Я же не зря старый сыщик. У них денег — куры не клюют. Это я́ тебе говорю. Сынок, требуй приданое!

Эй, нани-нани — вот, выхватил для смеха из сегодняшней "Глоб энд мэйл":

**"ВЕРНАЯ" ЖЕНА УБИВАЕТ МУЖА
И ПОЛУЧАЕТ СРОК УСЛОВНО**

После 49 лет брака забота о больном — "слишком тяжкое испытание"

Верная 75-летняя жена, убившая тяжело больного мужа перед самым празднованием их золотой свадьбы, вчера вышла на свободу из зала уголовного суда в Эдинбурге.

Бедной страдалице дали два года условно после того, как она призналась, что в июне прошлого года задушила мужа подушкой, собираясь затем покончить с собой с помощью чрезмерной дозы снотворного. Суд принял во внимание то, что они с мужем были "преданными и любящими супругами" в течение сорока девяти лет. Однако, когда с муженьком, с этим хамом, который всегда думал только о себе, случился обширный инфаркт, наложившийся на хроническую почечную недостаточность, его жене стало слишком трудно о нем заботиться, и она впала в депрессию. Ц-ц-ц, бедняжечка! Ее адвокат [В Шотландии адвокат, выступающий в уголовном процессе, до недавнего времени назывался стряпчим, а после реформирования судопроизводства официально именуется адвокатом-солиситором. — *Прим. Майкла Панофски*] объяснил, что уход за мужем в последнее время становился для нее "все более неподъемной ношей". "В ночь убийства, — сказал он, — муж пытался встать с кровати, она велела ему снова лечь, а он не подчинился. Тогда она ударила его и, когда он упал, положила ему на лицо подушку, причинив смерть от удушья". Вице-председатель высшего уголовного суда Шотландии сказал, что он удовлетворен приговором, ибо было бы неправильно в данном случае подвергать ее наказанию, связанному с лишением свободы. "Этот случай по-настоящему трагичен, — сказал он. — Бывает, что оказываешься в ситуации, совладать с которой неспособен. Совершенно ясно, что преступление, если таковое при этом совершается, происходит в период умственного помрачения либо депрессии, вызванной перенапряжением".

Сия трогательная история любви и верности, вышедшей этим престарелым битникам боком, напомнила мне об одном из немногих оставшихся у меня приятелей септуагинариев, и я в тот же вечер пошел на Вестмаунт-сквер, купил коробку бельгийских шоколадных конфет и отправился с визитом к Ирву Нусбауму, которому хотя и стукнуло уже семьдесят девять, но он все так же бодр и по-прежнему активно занимается делами общины. Ирв (дай бог ему здоровья) постоянно пребывает в страхе за судьбу нашего народа, но сейчас его больше заботит референдум. Не далее как вчера самый оголтелый из атакующих защитников Проныры предупредил les autres[1], что если мы в массовом порядке проголосуем против, то нас накажут.

1. Всех прочих (*франц.*); зд.: всех нас.

— Что ж, это хорошая новость, — прокомментировал Ирв. — Тем самым наш болван побудил еще тысячу нервных евреев взяться за чемоданы. И спасибо ему. Но пусть они лучше выбирают Тель-Авив, чем между Торонто и Ванкувером.

— Ирв, ну что с тобой делать! До чего же ты злобный старикашка!

— А ты вспомни, как в дни нашей молодости юные пепсоглоты [Слово "пепсоглот" является бранным. Это жаргонное наименование франкоканадцев. Считается, что они за завтраком пьют пепси-колу. — *Прим. Майкла Панофски*] маршировали по Мэйн-авеню, скандируя "смерть жидам", а газету "Девуар" нельзя было читать — возникало впечатление, будто ее редактирует Юлиус Штрайхер*! Ты должен помнить: в те времена были закрытые отели в Лаврентийских горах, куда евреев не пускали ни под каким видом, а в здешние банки евреев и кассирами не брали, пусть у тебя даже жена нееврейка, все равно. Мы, как идиоты последние, жаловались, изо всех сил боролись с дискриминацией! А теперь вот задним числом вдумайся, и, если тебя тоже волнует судьба Израиля и выживание еврейского народа, тебе станет ясно, что антисемитизм — это перст Божий!

— И что? Ты полагаешь, надо провоцировать погромы?

— Ха-ха-ха. Ты что думаешь, я шучу? Мы теперь в моде, нас чуть не везде берут с распростертыми объятиями, и молодым уже нет резона жениться на *шиксе*. Ты оглядись вокруг! Евреи появились в правлениях банков, в Верховном суде и даже в федеральном правительстве. Харви Шварц, эта марионетка Гурского, сидит в сенате. Самая неразрешимая проблема с Холокостом в том, что он сделал антисемитизм неприличным. Впрочем, сейчас весь мир стоит на голове! Ну вот к примеру: если ты сейчас пьяница, это что? Это болезнь. Если ты убиваешь собственных родителей, подкрадываешься к ним сзади с двустволкой и сносишь им головы, как те двое ребятишек из Калифорнии, тебе что нужно? Понимание. Перерезаешь горло жене и гуляешь на свободе, а почему? Потому что ты черный. Извини, пожалуйста, я оговорился — ты афроамериканец. Ты гомосексуалист? — ну ладно, хорошо, таки чего же ты от нас-то хочешь? А! — ты хочешь, чтобы на тебе женился рабби!.. Когда-то о любви не смели говорить впрямую, а теперь знаешь, что вынуждено прятать свой лик? Антисемитизм. Слушай сюда, дружище, не для того мы пережили Гитлера, чтобы наши дети ассимилировались и еврейский народ исчез. Вот скажи ты мне, как ты думаешь, Дадди Кравиц и на этот раз сумеет выйти сухим из воды?

— Использование закрытой информации в коммерции — трудно доказуемая вещь.

(Последний раз я встретил Дадди в аэропорту Торонто, он шел в сопровождении блядчонки-секретарши.

"— Эй, Панофски, вы в Лондон? Сядем вместе!

— Да я вообще-то сперва в Нью-Йорк лечу, там на 'конкорд' пересяду, — сказал я, торопливо добавив, что плачу за билет не я, платит Эмси-эй*.

— Ты думаешь, я не могу себе позволить лететь 'конкордом'? Вот *шмук*[1]! Летал я на нем! Летал, и мне не понравилось. В этот 'конкорд' садишься, а там одни мультимиллионеры. Такое не по мне. Д. К. лучше по-

1. Дурень, тупица (*идиш*).

летит первым классом в семьсот сорок седьмом, с вылетом прямо из Монреаля, чтобы можно было пройти в хвост через клуб и эконом-класс: пусть все эти засранцы, которые на меня сверху вниз поглядывали, увидят, какой я крутой, и подавятся".)

— Я даже надеюсь, — продолжал тем временем Ирв, — что эта их хренова "Парти Квебекуа" наконец выиграет референдум и устроит хороший переполох среди евреев, которые здесь еще остались. Только я советую им на сей раз отправляться в Тель-Авив, Хайфу и Иерусалим. Да. Пока Израиль не заполонили черные Ефиопляне или эти новые русские иммигранты, которые в большинстве своем никакие даже и не евреи. Каково, а? Семьсот пятьдесят тысяч русских иммигрантов! Израилю самому уже грозит сделаться очередной *гоише* страной. Но несмотря ни на что израильтяне это единственные антисемиты, на которых мы еще можем рассчитывать. Давай смотреть в лицо фактам: ведь они ненавидят евреев диаспоры. Заговори ты там на идише, тебя тут же головой в унитаз засунут: "А, ты, видимо, очередной еврей из гетто!" Я столько лет жизни на них угрохал, столько денег собрал, через вот эти руки прошло по меньшей мере пятьдесят миллионов долларов, а приезжаю к ним, и мне говорят, что я плохой еврей, потому что не послал туда своих детей жить и воевать с арабами!

Заметочка в коллекцию капризов судьбы.

Моя первая жена Клара никаким другим женщинам не уделяла ни секунды, а в загробной жизни оказалась феминистской святой, зато Вторая Мадам Панофски, *йента*[1], которая до сих пор из кожи вон лезет, чтобы посадить меня в тюрьму за убийство, — так вот она действительно превратилась в воинствующую феминистку. Я за ней приглядываю и узнал, например, что каждый Песах она объединяется с шестью другими брошенными женами, этакими современными Боадицеями*, и они вместе устраивают чисто женский седер. Начинают с того, что пьют за Шехину — согласно каббале это женская ипостась Всевышнего. Вздымая вверх поднос с мацой, они поют:

Вот блюдо Седера. Блюдо Седера плоско,
И женщина плоска, как это блюдо,
Она пейзаж истории не застит...

Потом идут такие слова:

Почему матерям в эту ночь
Так горько?
Они лишь готовили, мыли, стирали —

Не ели. Они подавали, служили, но не

Славили Бога. Потом
Им читали о предках-отцах;
Где наши матери, где?

1. Болтунья, сплетница (*идиш*).

Грозные воительницы, сочинившие сию пародию на пасхальную агаду*, убеждены, что Мириам, сестру Моисея, только пинали и шпыняли, несправедливо забыв о ее заслугах. Почему, например, в Книге Исхода нет упоминания о колодце Мириам? Да вырезали его, вон он — валяется на полу в монтажной! Зато в устном предании говорится, что это Мириам надо сказать спасибо за то, что сынов Израиля по всей пустыне сопровождал колодец со свежей, вкусной водой. А когда Мириам умерла, колодец высох и исчез.

Дочь рабби Гамалиэля сказала: "Есть гнев в наследии нашем. В пустыне Мириам и Аарон упрекали Моисея: 'Одному ли Моисею говорил Господь? не говорил ли Он и нам?'[1] И сошел Господь в облачном столбе, и вот, Мириам покрылась проказою, как снегом, Аарон же не пострадал. С Мириам поступили как с дурной дочерью, которой отец плюнул в лицо и выгнал на семь дней из стана, пока не будет ей даровано прощение".

Ах, Мириам, Мириам, как томится по тебе мое сердце! Плюну я в лицо Блэра, в твое же — никогда.

Сегодня у Мириам день рождения. Ее шестидесятилетие. Будь она со мной, ей бы подали завтрак в постель. Было бы редереровское шампанское "кристаль" и белужья икра, не говоря уже о шестидесяти длинноченковых розах и шелковом пеньюаре — элегантном, но весьма игривом. И, может быть, еще то дико дорогое жемчужное колье, что я видел в салоне "Биркс". Не то что Герр Профессор Доктор Хоппер, который небось — и-эх! — расщедрится на набор химикатов для определения степени загрязненности воздуха. Или на пару практичных туфель, изготовленных без использования кожи животных. Нет, вот — придумал. Он подарит ей записи песен китов. Ха-ха-ха.

Я договорился с кем-то встретиться за ланчем, но не могу вспомнить, где и с кем. Звонить Шанталь, чтобы она сверилась с записями, рука не подымается — она и так уже из-за моих частых провалов памяти поглядывает на меня с подозрением. И напрасно, беспокоиться совершенно не о чем. В моем возрасте это дело обычное. Взял, звякнул в "Хуторок под оливами", спросил, не заказывал ли я у них столик. Не заказывал. В "Экспрессе", в "Ритце" — тоже нет. Тут позвонила Шанталь.

— Я звоню, чтобы напомнить вам, что у вас встреча сегодня за ланчем. Вы помните где?

— Разумеется, помню. Что за развязный тон!

— А с кем?

— Шанталь, я могу взять и уволить тебя — в два счета.

— Встретиться вы должны с Норманом Фридманом в гриль-баре "У Мойши" в час дня. Если я не путаю. Может быть, с моей матерью, но тогда "У Готье". Но раз вы сами все помните, значит это не важно. Пока-пока.

Норман Фридман когда-то был в числе тех двухсот с лишним гостей, что собрались на моей свадьбе в отеле "Ритц-Карлтон". Смокинги, вечерние платья. Бука вусмерть обдолбанный, равно как я вусмерть злой — еще бы: пропадает дорогой билет на стадион "Форум". Черт! Черт! Черт! "Монреальцы" того и гляди четвертый раз подряд отхватят Кубок Стэнли, а я этого не увижу! Но сделать я ничего не мог: когда до

1. Четвертая книга Моисеева. Числа. 12:2.

меня дошло, что происходит накладка, отложить свадьбу было уже невозможно. Между прочим, вспомните: в тысяча девятьсот пятьдесят девятом году сборная Канады была лучшей хоккейной командой всех времен. Представьте: Жак Плант на воротах, Дуг Харви, Том Джонсон и Жан-Ги Тальбо держат оборону, а впереди Морис и Анри Ришары, Берни Жоффрион, Дики Мур, Фил Гойетт, Эб Макдоналд и Ральф Бэкстрем. Но — увы! — в финале "Монреальцы" оказались без их лучшего организатора и стратега. Большой Жан Беливо неудачно упал во время третьей полуфинальной игры против Чикаго и выбыл на весь остаток сезона.

Нас мгновенно провозгласили мужем и женой, я поцеловал супругу и кинулся в бар:

— Какой счет?

— Пару минут назад Маховлича удалили за подножку, и Бэкстрем забил. [Бэкстрем забил на пятой минуте. В атаке участвовали Жоффрион и Мур. — *Прим. Майкла Панофски.*] Так что один—ноль, но это еще только начало первого периода. Им здорово не хватает Беливо, — проинформировал меня бармен.

Среди такого количества совершенно не знакомых мне людей я чувствовал себя не в своей тарелке, настроение было — кому бы в глаз дать. и вдруг все переменилось. Раз и навсегда. "Гори, маскарадный зал! Здесь нищий во мгле ослеп", — пропел когда-то оглушительным басом Говард Кил. [На самом деле это пропел Эзио Пинца в мюзикле "Зюйд-вест", который шел на Бродвее четыре года и девять месяцев. — *Прим. Майкла Панофски.*] Напротив меня в толпе стояла женщина, красивее которой я не видел в жизни. Черные как вороново крыло длинные волосы, влекущие голубые глаза, стройная, с кожей цвета слоновой кости, в голубом коротком пышном платье из многослойного шифона, и вдобавок двигалась с поразительной грацией. И — о, это лицо, эта несравненная красота! Эти нагие плечи. При взгляде на нее я почувствовал укол в сердце.

— Кто та женщина, которой что-то втолковывает Меир Коэн? — спросил я Ирва.

— Фу, бесстыдник! Или ты хочешь сказать, что тебе через час уже надоело быть женатым? Положил глаз на другую женщину?

— Не смеши меня. Любопытствую, вот и все.

— Не помню, как ее звать, — почесал в затылке Ирв, — знаю только, что Гарри Кастнер пытался подкатывать к ней — что-нибудь с полчаса назад, — и уж что там она ему сказала, неизвестно, только он стал весь белый. У этой девушки острый язычок, доложу я вам. Ее родители умерли, и с тех пор она живет в Торонто.

Сама красота, она стояла одна, но что-то ее насторожило. Меир Коэн отставлен, и уже другой соискатель спешит к ней с бокалом шампанского. Поймав на себе мой взгляд, увидев, что я уже и шаг к ней сделал, она потупила голубые глаза — такие, что за них и умереть не жалко, — повернулась ко мне спиной и двинулась по направлению к кучке гостей, среди которых стоял этот мерзавец Терри Макайвер. Смотрел на нее не я один. И тощие, с костистыми спинами, и толстомясые, с перетяжками от корсетов, чьи-то жены — все мерили ее неодобрительными взглядами. Тут ко мне вернулась Вторая Мадам Панофски — кончился танец, который она танцевала с Букой.

– Твой друг такой печальный человек, такой ранимый, – сказала она. – Надо нам что-нибудь сделать, как-то помочь ему.

– Ему ничем не поможешь.

– Тебе, по-моему, следует подойти, поговорить с твоим другом Макайвером. Мне кажется, ему одиноко.

– Да пошел он!

– Тш! *Вон за тем столиком позади нас – мой дедушка.* Но ты же сам Макайвера пригласил!

– Терри ходит на все мои свадьбы.

– Что? Мило, смешно, молодец. Почему бы тебе не выпить еще? Твой отец уже напился; если он опять начнет рассказывать случаи из служебной практики, моя мать сгорит со стыда.

– Слушай, скажи-ка мне, а кто та женщина, к которой только что подошел этот придурок Гордон Липшиц?

– А, та... Тут у вас не выгорит, мистер Сердцеед. Вы для нее не кандидат. Нет, правда, сделай что-нибудь, уйми отца. Вот, сунь это в карман.

– Что это?

– Чек на пятьсот долларов от Лу Зингера. Не люблю занудствовать, но мне кажется, пить тебе уже хватит.

– Что значит – я для нее не кандидат?

– Да то, что знала бы я, что она почтит нас своим присутствием, я уж конечно устроила бы встречу с оркестром. Ты собираешься мне сказать, что находишь ее привлекательной?

– Ну конечно нет, дорогая.

– Могу поспорить, что у нее туфли сорок второго размера, да и то жмут. Ее зовут Мириам Гринберг. Моя сокурсница по Макгиллу. Она была стипендиаткой и старалась соответствовать – еще бы, плату за обучение ей было бы не потянуть. Ее отец работал на фабрике, а мать брала шитье от закройщика. Выступает как пава – скажите пожалуйста! – а ведь выросла в квартире без горячей воды на Рашель-стрит. У моего дяди Фреда когда-то было несколько таких квартир; он говорит, легче вышибить воду из камня, чем квартплату из некоторых таких вот съемщиков. Умудряются сбежать прямо посреди ночи. В суд подавать? Бесполезно. Дядя Фред меня обожал. Говорил: пышечка ты моя, вот украду и съем. Сокурсники-мальчишки хотели сделать Мириам Королевой зимних балов. Ей-богу, не пойму – не такая уж она симпатичная, особенно ноги, но это был бы первый раз, когда Королевой выбрали еврейку. Она сказала "нет". Бесс Майерсон не отказалась стать "Мисс Америкой", ее это не унижало, но она... что ж, она ведь не была – гм-гм – интеллектуалкой. Не устраивала демонстраций из того, что читает "Партизан ревью" и "Нью рипаблик", а эта придет, в аудитории на стол выложит – смотрите, что́ я читаю! Ну как же! А я думаю, что, если заглянуть к ней в комнату, нашелся бы там и "Космополитен". Как-то раз у нас там был дебютный концерт молодого скрипача – сейчас не помню, как его фамилия, – так она в том же самом своем будничном черном платье долларов максимум за тридцать (это еще если в хорошем магазине покупать) вышла на сцену его аккомпаниатору листать ноты. Тоже мне цаца. Переехала сейчас в Торонто, хочет на радио устроиться. Ну, с ее голосом надежда есть. Твой отец опять в бар пришел. Говорит с доктором Мендельсоном. *Сделай что-нибудь.*

– Как, ты сказала, ее фамилия?

– Гринберг. Тебя познакомить?

— Нет. Пойдем потанцуем.

— Смотри, бармен тебе что-то сказать хочет.

— Ах, да. Я же велел ему, если возникнут проблемы... Извини. Я на минутку.

— Кончился первый период, — сказал бармен. — Наши ведут три–ноль. По голу у Жоффриона [Жоффрион забил на четырнадцатой минуте. Атаку подготовили Бэкстрем и Харви. — *Прим. Майкла Панофски*] и у Джонсона. [Джонсон забил на семнадцатой минуте с подачи Бэкстрема. — *Прим. Майкла Панофски.*] У их вратаря уже поджилки трясутся.

— Да, но боюсь, как бы наши не перешли теперь к обороне — "Кленовые" сейчас как нажмут! Маховлич и Дафф могут еще здорово наломать нашим бока.

Вырулив с невестой в круг танцующих, я всячески старался вести ее так, чтобы оказаться ближе к Мириам, танцевавшей с Макайвером. Подобраться удалось вплотную, я даже аромат почуял; вдыхал, запоминал. "Джой" — причем самая чуточка, легкий намек, по одному прикосновению к вискам, под коленками и к подолу платья, как я узнал впоследствии. Однажды, годы спустя, лежа с Мириам в постели, я вылил рюмку коньяка ей на грудь, стал слизывать и говорю: "Ты знаешь, если бы тебе, коварная, действительно хотелось завлечь меня в сети прямо в ту мою свадебную ночь, тебе следовало не 'джоем' прыскаться, а Эссенцией Мясной Коптильни. Возбуждает до безумия, а главное, все под рукой — ингредиенты продаются в 'Кулинарии Шварца'. Я бы все смешал, аромат нарек бы 'Нектаром Иудеи' и взял копирайт на название". А тогда, на свадьбе, я с разгону налетел на Мириам, сказал "Извините", и тут Вторая Мадам Панофски говорит:

— Чтоб я не видела больше, как ты бегаешь узнавать у бармена счет матча. У нас сегодня свадьба или что? В конце концов это оскорбительно!

— Я больше не буду, — соврал я.

— Твой папочка подсел к столу рабби. О, мой бог, — простонала она, подталкивая меня в ту сторону. Но было поздно. За длинным столом сидело человек двенадцать, в том числе рабби с женой, Губерманы, Дженни Рот, доктор Мендельсон с женой, кто-то еще, кого я не знал, и все пребывали в полном шоке, а пьяного Иззи Панофски неудержимо несло.

— Вот когда меня на мораль бросили, — во всю глотку вещал он, — тут я их поближе узнал, понял, стал' быть, что такое мадама. Некоторые прямо такие — о! — парижанки и очень даже ничего. А девушек в каждом заведении бывало человек по двадцать, двадцать пять, не меньше; ты приходишь, мадама открывает дверь и говорит: "Les dames au salon" — понятно, да? — и они все выходят, выбирай, кого хошь.

— Разрешите напомнить вам, что за столом присутствуют женщины, — сказал рабби своим приторным голоском.

— Да ну? Мне кажется, им уже больше двадцати одного. *И это еще мягко сказано!* Шучу, шучу, девочки. Всю ночь никто из нас не выдерживал, это ж такой, понимаешь ли, хоровод начинался, такой калейдоскоп — вы меня поняли, да? А в некоторых из этих борделей даже и мебель имелась приличная.

— Папа, можно тебя на два слова?

— Грязь? Да вы с ума сошли! Рабби, вы могли бы там кушать с пола! А какие кровати — о! — и всех, знаете ли, систематически... Вы меня по-

няли, да? А в комнату дают такой большой кувшин, таки они его тебе там первым делом моют!

– Папа, невеста хочет потанцевать с тобой.

– Что ты меня перебиваешь!

– Прошу прощения, – сказала жена рабби, вставая из-за стола; за нею неохотно последовали еще две дамы.

– Между прочим, в те времена это стоило доллар за палку, а всякое там мыло, полотенце и тому подобное было за счет девчонки, так что сплошь и рядом она вроде и поработала, а все равно остается должна заведению. Потом еще разносчики разные там ходили – хитрованы, – по ходу дела продавали всякую всячину. Кстати, доктор, как, вы сказали, ваша фамилия – Мендельсон?

– Бесси, ну иди же сюда, с тобой хотят потанцевать.

– Постойте, постойте... ну да, Шмуль Мендельсон! Мы звали его Стоячок, потому как – хотя что я буду вам объяснять? – подмигнув, осклабился мой отец. – Был такой один разносчик. Не ваш ли папаша?

– Иду-иду, – отозвалась Бесси.

В конце концов я все же поднял отца со стула и препроводил в бар, где сразу же спросил бармена о счете второго периода.

– Одну Жоффрион пропихнул между ног Бауэра, а потом еще одну заколотил Бонен. [В действительности счет увеличил сначала Палфорд – на пятой минуте; ассистировали Армстронг и Брюэр. Бонен забил на десятой минуте в составе тройки с Анри Ришаром и Харви, что же касается Жоффриона, то он тоже забил, но лишь на двадцатой минуте, а помогали ему Бэкстрем и Джонсон. – *Прим. Майкла Панофски.*]

– Надо же, у него уже десятая шайба!

– Все правильно. Но когда Харви удалили за подножку, Палфорд одну сквитал. Так что теперь пять–два в пользу наших.

– Я думал, они тут все будут крутые, не подступись, – говорил мне тем временем отец. – А они милые, приветливые люди, как выясняется. Нет, правда: никогда в жизни мне не было так хорошо. Что ты смеешься?

– Пойдем, пойдем, – сказал я, приобняв его. Состроив грозную гримасу, он взял мою ладонь и прижал к своему боку, где у него, оказывается, висел табельный револьвер. Тот самый револьвер, что в итоге загубит мне жизнь. Ну, почти загубит.

– Голым я больше не хожу никуда, не-ет, – пояснил он. – Вот пристанет кто-нибудь к тебе, ты скажешь мне, а уж я ему устрою продувку мозгов.

На том мы и порешили, а пока что поставили бокалы на стойку, сели рядышком – отец и сын – и потребовали дальнейшего угобжения. Бармен, однако, стоял, чесал в затылке. Зажмурился. Состроил кислую мину.

– Простите, сэр, но здесь только что были ваша жена и тесть и распорядились, чтобы ни вам, ни вам больше не наливать.

Отец вытащил из кармана бумажник, раскрыл его и показал бармену значок.

– Вы говорите с представителем закона!

Перегнувшись через стойку, я достал ближайшую бутылку "джонни уокера блэк лэйбл" и налил нам обоим виски не разбавляя.

– Где этот надутый болван? – заозирался я.

— Не надо, — сказал отец. — Такой чудесный вечер. Не сбивай меня с настроения.

Тесть обнаружился за столом на восемь человек, где он с важным видом вещал:

— "Как безумен род людской!"* — написал когда-то Шекспир, и был поразительно прав этот Бард с Эйвона! Вот мы, например, джентльмены — сидим здесь, ведем неторопливую беседу, размышляем о человеке и человечестве, о кратком нашем пребывании в сей юдоли скорби, обмениваемся мыслями в окружении родных и старых друзей. А ведь даже сейчас, покуда мы здесь сидим, с похвальной умеренностью вкушая благородный плод лозы, на стадионе "Форум" порядка семнадцати тысяч душ орут и беснуются, все силы своих крошечных мозгов сосредоточив на мельтешении черного резинового диска, которым перебрасываются по льду и отбирают друг у друга люди, никогда не читавшие Толстого и не слушавшие Бетховена. Уже одного этого достаточно, чтобы проникнуться отчаянием и утратить веру в человечество, не правда ли?

— Извините. Должно быть, произошла какая-то ошибка, — вклинился я. — Бармен говорит, будто вы распорядились не обслуживать меня и моего отца по части спиртного.

— Никакой ошибки нет, молодой человек. Моя дочь в слезах. *На своей собственной свадьбе!* А ваш уважаемый отец, молодой человек, весьма серьезно огорчил жену рабби. Кроме того, из-за него рано ушли мои добрые друзья Мендельсоны.

— Из-за того, что отец доктора Мендельсона торговал вразнос мелкой розницей и любил щупать девиц в борделях?

— Это вы так говорите. А я бы хотел вам напомнить, что девичья фамилия миссис Мендельсон — Гурски. Кому-нибудь следует отвести вашего отца домой, не то он примется рассказывать очередную отвратительную историю или вообще уткнется лицом в салат.

— Если кто-нибудь попытается вывести отсюда отца, я уйду с ним.

— И потом — как вы могли сюда, где собрались мои родные и друзья, притащить таких... таких... Хорошо, я скажу это: таких хулиганов! Вот тот ваш приятель, — сказал он, указывая на Макайвера, который сидел за столом один и что-то быстро писал, — едва поговорив с человеком, тут же убегает и что-то записывает. А вон тот, — он кивнул в сторону Буки, — был обнаружен за туалетным столиком в дамской комнате. Сидел и втягивал что-то носом через соломинку. В дамской — я повторяю — комнате!

Последовали еще какие-то упреки, но я уже не слушал: в поле зрения опять попала осаждаемая поклонниками Мириам, и я с видом лучезарного идиота направился к ней. Пол танцевальной части зала качался и уходил из-под ног, но я кое-как собрал моряцкие ноги в кучку и подплыл прямиком к ней, на ходу делая знаки другим поклонникам, чтоб расходились, причем в руке у меня была зажженная сигара, которой я орудовал не слишком осторожно.

— Нас не представили, — сказал я.

— Мое упущение. Вы ведь жених. *Мазл тов*![1]

— Н-да. Возможно.

— Я думаю, вам лучше сесть, — сказала она, направляя меня к ближайшему стулу.

1. Традиционная еврейская здравица; букв.: добрая планета (*иврит*).

— Вам тоже.

— Разве что на минутку. Уже поздно. Я поняла так, что вы занимаетесь телевидением.

— Артель напрасный труд.

— Ну, зря вы так.

— Это название моей фирмы.

— Вы шутите, — сказала она.

И тут — бог ты мой, ура! — я удостоился легкой улыбки. Ах, эта ямочка на щечке! Эти голубые глаза, за которые и умереть не жалко. Эти нагие плечи.

— Ничего, если я задам вам нескромный вопрос?

— Какой?

— Какого размера обувь вы носите?

— Тридцать девятого. А что?

— Я бываю в Торонто довольно часто. Давайте как-нибудь вместе пообедаем?

— Думаю, это ни к чему.

— А мне бы очень хотелось.

— Что за странная идея, — проговорила она, пытаясь ускользнуть. Но я задержал ее, ухватив за локоть.

— У меня в кармане пиджака два билета на самолет, который завтра летит в Париж. Полетели вместе!

— А мы успеем попрощаться с новобрачной?

— Вы самая красивая женщина из всех, кого я видел в жизни.

— За нами наблюдает ваш тесть.

— Во вторник мы сможем позавтракать в "Брассери лип". Я возьму напрокат машину, и мы поедем в Шартрез. Вы были когда-нибудь в Мадриде?

— Нет.

— На узких улочках, разбегающихся от Пласа Майор, мы ели бы вкуснющие tapas. И cochinillo asado в "Каса Ботин".

— Знаете что? Я — так и быть — сделаю вам одолжение: притворюсь, что этого разговора не было.

— Переезжайте ко мне. Будем жить вместе и любить друг друга. Пожалуйста, а, Мириам?

— Если я не уйду сейчас же, я опоздаю на поезд.

— Я разведусь с ней как только вернемся. Сделаю все, что хотите. Только скажите "да". Мы даже брать с собой ничего не станем. Все, что понадобится, купим на месте.

— Извините, — сказала она и ускользнула, оставив в моих ушах шелковистый шорох.

Посрамленный, я переместился к столу, за которым царил мой отец в окружении зачарованных молодых пар.

— А, вы про тот, что на Онтарио-стрит, — говорил он. — Мы были как раз напротив, в Четвертом отделе. Облавы в публичных домах — дело святое, а как же. Тут ведь в чем закавыка: тебя бросили на мораль, а ты молодой парень, ну и естественно — офицер внизу остается, а мы наверх, где спальни, всё тихой сапой, чтобы не спугнуть, вы ж понимаете! Ну, тут такое шоу начинается!..

Мириам была все еще в зале, но уже в пальто; она о чем-то поговорила с Букой и что-то ему передала. Затем Бука подошел к нашему столу (отец в

это время уже начал следующую историю) и сунул мне сложенную бумажку, которую я развернул на коленях и под прикрытием скатерти прочел:

Окончательный счет: Монреаль — 5, Торонто — 3. Поздравляю. [Команда Торонто в третьем периоде забила дважды. На тринадцатой минуте Маховлич (подготовил Гаррис и Эйман) и на семнадцатой Олмстед в силовой игре с подачи Эймана. — *Прим. Майкла Панофски.*]

— Бука, — сказал я. — Я влюблен. Впервые в жизни я по-настоящему, всерьез, непоправимо влюблен.

Конечно же, я не знал, что в этот момент вплотную за моей спиной стояла Вторая Мадам Панофски, которая тут же кинулась мне на шею:

— Так ведь и я тоже, дорогой мой, и я тоже, — умилилась она.

Я чувствовал себя кругом виноватым, на душе было тягостно, что скрывать. Но все равно я через пару минут выскользнул из зала отеля "Ритц" и вскочил в первую машину из очереди такси, ожидавших у подъезда.

6

— Виндзорский вокзал, — сказал я шоферу. — И побыстрее.

У меня в запасе было всего несколько минут, но — черт! черт! черт! — движение остановила толпа ликующих хоккейных болельщиков. Машины непрестанно сигналили и еле ползли. Дудели дудки. Посреди проезжей части скакали пьяные, выделывали замысловатые коленца и орали: "Мы первые! Мы первые!"

С сердцем, бьющимся чуть не в горле, я все же ухитрился в последний миг схватить купейный билет на ночной поезд до Торонто. Мириам я нашел в третьем вагоне, она сидела, углубившись в "Прощай, Колумбус", первую книгу Филипа Рота, и тут я, глупо ухмыляясь, плюхнулся на сиденье рядом с ней, как раз когда поезд дернулся и пошел.

— Привет, — сказал я.

— Глазам своим не верю, — сказала она и захлопнула книгу.

— Я тоже, и тем не менее.

— Если вы не сойдете с поезда, когда мы остановимся в Монреаль-Весте, то сойду я.

— Я люблю вас.

— Не смешите меня. Вы меня даже не знаете. Слышите? В Монреаль-Весте! Или вы, или я. Давайте, решайте быстро.

— Если сойдете вы, то и я сойду.

— Как вы могли вытворить такое в день своей свадьбы?

— Вот — вытворил.

— Вы просто напились до безобразия. Сейчас я позову проводника.

Я показал свой билет.

— Барни, пожалуйста, не мучьте меня больше. Сойдите с поезда в Монреаль-Весте.

— А если сойду, вы согласитесь пообедать со мной в Торонто?

— Нет, — сказала она, вскочила и сдернула сумку с сетки над головой. — Я ухожу к себе в купе и запираю дверь. Спокойной ночи.

— Не очень-то вы приветливы. Ведь я теперь в таком дурацком положении!

— Вы сумасшедший. Спокойной ночи.

Я все-таки сошел в Монреаль-Весте [Мои сомнения насчет хронологии описываемых событий получили подтверждение, когда я обнаружил, что хоккейный матч 9 апреля 1959 года закончился в 22.29, тогда как ночной поезд из Торонто отправляется в 22.25, следовательно, когда отец узнал окончательный счет, у него никак не могло быть времени домчаться до Виндзорского вокзала и вскочить в мамин поезд. Однако, когда я обратился за разъяснениями к матери, у нее задрожали губы. "Так и было, — сказала она. — Все так и было". Тут она заплакала, и я решил больше с этим к ней не приставать.

Я не сомневаюсь ни в правдивости отца, ни в свидетельской добросовестности матери, но думаю, Барни просто кое-что перепутал. Вероятно, Мириам вышла из отеля "Ритц" в конце второго периода, в 21.41, а такси отца попало в толпу болельщиков, когда он уже возвращался со станции Монреаль-Вест. Есть еще и такая возможность, что ночной поезд на Торонто вышел в тот день с опозданием. Я дважды писал в компанию "Канадиен пасифик", пытаясь от них добиться, в какое именно время вышел ночной поезд на Торонто 9 апреля 1959 года, но ответа жду до сих пор. — *Прим. Майкла Панофски*], стою на платформе и, качаясь, смотрю, как поезд — чух-чух-чух — набирает ход, покидая станцию. И тут — здрасьте пожалуйста — вижу, как Мириам машет мне из окошка рукой и к тому же — клянусь, мне не показалось! — смеется. Во мне все так и взыграло. В приливе новой надежды я побежал за поездом, хотел опять вскочить на подножку. Споткнулся, упал, при этом порвал брюки и оцарапал колено. Выйдя в город, чудом поймал такси.

— В "Ритц", — скомандовал я. — Ничего сегодня была игра, скажи?

— Oui-da! Mon давление подскочило выше крыши, — сказал шофер. — C'est le стресс.

Робко стучась в дверь нанятых новобрачными на ночь апартаментов в "Ритце", я крепился, готовясь к худшему, но Вторая Мадам Панофски, как ни странно, встретила меня объятиями, чем еще больше усилила мое чувство вины.

— Слава богу, ты цел! — выдохнула она. — Я уж не знала, что и думать.

— Пришлось немного проветриться, — сказал я, прижимая ее к себе.

— Это не удивительно, но...

— Наши выиграли даже без Беливо и при том, что Ракета сидел на скамье запасных. Неслабо, да?

— ...что же ты, мне-то мог бы сказать? Мы беспокоились, места себе не находили!

Тут только я заметил, что в кресле сидит тесть — кипит, вот-вот взорвется.

— Она хотела, чтобы я позвонил в полицию — не было ли несчастных случаев. Я же решил, что куда прозорливее будет проверить близлежащие бары.

— Ой, мамочки! Что с твоим коленом? Погоди, принесу полотенце, промою.

— Да не суетись ты, пожалуйста. — И, уже обращаясь к тестю, с лучезарной улыбкой: — Не хотите ли с нами выпить на посошок?

— Я уже достаточно сегодня навыпивался, молодой человек. Равно как, без всякого сомнения, и вы.

— Ну, тогда наше вам с кисточкой.

— И что — я должен принять на веру, будто бы вы полтора часа слонялись по улицам?

— Папа, он цел и невредим, остальное не важно.

Проводив папашу, Вторая Мадам Панофски усадила меня в кресло, намочила в ванной полотенце и возвратилась промывать мое оцарапанное колено.

— Если больно, скажи, пупсик, и я не буду.

— Как все несправедливо. Ты заслуживаешь мужа получше меня.

— Но теперь об этом уже поздно думать, правда же?

— Я плохо себя вел, — сказал я, и непрошеные слезы заструились по моим щекам. — Если хочешь подать на развод, я не буду стоять на твоем пути.

— Ах, какое ты чудо, — сказала она и, встав на колени, принялась снимать с меня туфли и носки. — А сейчас тебе надо поспать.

— Как, в нашу первую брачную ночь?

— Я никому не скажу.

— Ну нет! — возмутился я и принялся мять ее груди, но тут, видимо, откинулся вновь на спинку кресла и захрапел.

7

В былые времена я позволял себе надеяться, что, когда нам с Мириам будет по девяносто с лишним, мы угаснем одновременно, как Филемон и Бавкида. А милосердный Зевс возьмет, коснется своим кадуцеем, да и сварганит из нас два дерева, чтобы они ласкали друг дружку ветвями зимой и сплетались листьями по весне.

Кстати, о деревьях. Вдруг вспомнилось, как однажды под вечер на веранде нашего домика в Лаврентийских горах мы с Мириам сидели в обществе Шона О'Хирна, который то и дело поглядывал на озеро, где полицейские водолазы когда-то искали Буку. Буку, которого, если верить мне, в последний раз я видел, когда он зигзагами сбежал с холма, в два прыжка проскочил причал и, уклонившись от моей пули, плюхнулся в воду. Удивив меня неожиданной поэтичностью слога, О'Хирн вдруг поглядел на меня в упор, потом показал на деревья и говорит:

— Интересно, что сказали бы эти вязы, если бы могли говорить.

— Да что вы, О'Хирн, — откликнулась Мириам. — Тут и гадать нечего. Они сказали бы: "Мы не вязы. Мы клены".

За годы, прошедшие со времени исчезновения Буки, я даже не знаю, сколько раз я сидел на пристани, заклиная его выйти невредимым из вод. Да что там, только позавчера я видел сон, в котором Бука, протрезвевший от долгого купания, действительно вылез на причал. И принялся вытряхивать воду из уха, прыгая на одной ноге.

"Бука, не бери в голову. Я все это говорил не всерьез. Даже не знаю, что на меня нашло".

"Да ладно, мы же старые друзья, — сказал он и обнял меня. — Хорошо, что ты такой плохой стрелок".

"Эт-точно".

Но вернемся в реальность. В утреннем выпуске "Газу" сегодня напечатали такую историю, что диву даешься; надо ее вырезать и послать очаровательной мисс Морган из передачи "Кобёл с микрофоном".

ФЕМИНИСТКИ ВОЗМУЩЕНЫ КАНДАЛАМИ ДЛЯ ЖЕНЩИН

В прошлом году в Алабаме мужчин-заключенных, скованных вместе ножными кандалами, вывели на большие дороги, заставив их по двенадцать часов в день подрезать кусты и ремонтировать обочины, однако те направили губернатору ходатайство, в котором говорилось, что такое обращение равносильно дискриминации по половому признаку. В своем ответе глава Комиссии по исполнению наказаний Алабамы заявил: "Нет причин, по которым нельзя было бы поступать так же и с женщинами". Он направил приказ начальнику Государственной женской тюрьмы имени Джулии Татуайлер в Уитампке, пригороде Монтгомери, которым предписал не позже чем через три недели начать, выводя на работы женщин, также сковывать их одной цепью. Хотя трудиться они будут не на дорогах. Женщин обеспечат работой прямо на зоне, где им придется копать огороды, косить траву и собирать мусор.

Через столько лет, все еще снедаемый чувством вины, я все никак не могу приступить к описанию несчастного моего медового месяца со Второй Мадам Панофски в Париже, где в каждом кафе мне виделся призрак Клары, а настроение портила тоска по Мириам. В довершение всего к тому времени в витрине магазина "Ла Юн" уже красовалась Кларина фотография. На ней она сидит за столиком кафе "Мабийон" и, если приглядеться, поодаль можно различить Буку, Лео Бишински, Хайми Минцбаума, Джорджа Плимптона, Синбада Вайля, Седрика Ричардсона и меня. А годом позже Седрик уже принял участие в демонстрациях студентов Сельскохозяйственного и Технологического колледжей, когда они блокировали кафетерий универмага в Гринсборо (Северная Каролина), протестуя против того, что там не обслуживают негров. Тогда же (по-моему, это был тысяча девятьсот шестьдесят третий) Седрик разошелся с Мартином Лютером Кингом и примкнул к Малколму Иксу*, а потом и вообще ушел в подполье где-то в Чикаго — тогда его еще не сопровождали повсюду телохранители, эти его Дети Порока [Они называются "Дети Пророка". — *Прим. Майкла Панофски*] или как там у них эти головорезы, действующие от имени пророка Илии, именуются. Впрочем, я опять забегаю вперед.

Фотография в магазине "Ла Юн" стояла на стопке экземпляров недавно переведенной книги Клариных стихов, которая, если мне в които веки не изменяет память, к тому времени выдержала в Соединенных Штатах уже шестое издание. Мало того: на тот момент ее "Стихи мегеры" были опубликованы на шестнадцати языках, так что фонд, созданный Норманом Чернофски, как это ни удивительно, греб деньги лопатой. И тут, дабы отдать должное предполагаемым Клариным пристрастиям, Норман взял в совет директоров фонда двух черных феминисток, посеяв тем самым семена собственной гибели.

Подозревая, что маленькая, неказистая гостиница на Левом берегу может не устроить Вторую Мадам Панофски, я заказал нам номер в отеле "Крийон". И очень правильно сделал, поскольку она все еще не пришла в себя после фиаско нашей первой брачной ночи, что вполне понятно.

Я должен, между прочим, отметить, что единственный раз, когда мы со Второй Мадам Панофски до того были вдвоем, — это три сумасшедших дня, которые мы провели в Нью-Йорке, причем я там ее почти

не видел — она вовсю порхала туда-сюда. Нам еще предстояло зайти дальше взаимных щупаний и поглаживаний, в ходе которых, помнится, однажды она высвободилась из моих объятий и, воскликнув: "Тайм-аут!", принялась запихивать груди обратно в лифчик и оправлять юбку на коленях.

— Ух! — говорит. — Еще бы чуть-чуть...

А любовью мы впервые занялись на нашей кровати в отеле "Крийон", и я с удивлением обнаружил, что она не девственна.

Вообще везти Вторую Мадам Панофски в Париж было ошибкой. Ну да, конечно, теперь я мог позволить себе все эти дорогие рестораны, мимо которых в пятьдесят первом году проходил не оглядываясь: "Гран Вефур", "Лаперуз", "Тур Д'Аржан", "Клозери де Лила". Однако, сидя на террасе "Кафе де Флор" в хорошем костюме рядом с *ойсгепутцт*[1] новобрачной, я смотрел на проходящие мимо юные расхристанные парочки — кто в обнимку, кто за ручку — и чувствовал себя слишком уж похожим на тех богатых туристов, над которыми мы с Кларой, бывало, насмехались, когда сиживали здесь вместе. Это меня раздражало.

— Да отложила бы ты свой дурацкий путеводитель! Хотя бы на время, пока мы сидим здесь.

— Тебе стыдно за меня?

— Да.

— Так же, как из-за того биде?

— Вовсе не обязательно было спрашивать горничную. Я бы и сам тебе объяснил, зачем эта штуковина.

— Ты говоришь на иврите?

— Нет.

— У тебя есть университетский диплом?

— Нет.

— И что — мне за тебя стыдно?

Я начал тихо закипать.

— Мы торчим здесь уже битый час, а ты сказал мне максимум слов восемь. Я не хочу показаться неблагодарной, спасибо, что уделил мне столько внимания, но долго мы еще собираемся здесь сидеть?

— Ну, рюмку допью...

— Так. Уже одиннадцать слов. Я сюда не для того приехала, чтобы оплакивать смерть твоей первой жены.

— Да и я не для того.

— Ты беспрерывно твердишь, будто мой отец ужасный сноб, и в то же время считаешь меня недочеловеком, потому что я подумала, а не ванночка ли это для ног. Полюбовался бы ты на себя в зеркало, не хочешь?

— Не решаюсь.

— Знаешь, я не желаю больше здесь сидеть и смотреть, как ты глядишь в пространство. Нам ведь только четыре дня осталось, а у меня еще множество дел, — сказала она и вынула из сумочки лист бумаги, поделенный на три столбца: "Обязательно", "Хорошо бы" и "Если успеем". — Встретимся в нашем отеле в семь. И сделай милость, постарайся явиться достаточно трезвым, чтобы можно было идти обедать. Со своей стороны я бы это — скажем так — от души приветствовала.

1. Разодетой в пух и прах (*идиш*).

По мере того как наша комната заполнялась ее покупками, я начинал себя чувствовать персонажем пьесы того румына — ну, вы поняли, кого я имею в виду. Который написал про то, как Зеро Мостель превратился в слона. [Эжен Ионеско (1912—1994), румыно-французский драматург театра абсурда, автор "Лысой певицы", "Урока" и других пьес. — *Прим. Майкла Панофски.*] Нет, в бегемота. Пьеса называлась "Стулья"... — да, точно, а автора звали так же, как того парня, что был менеджером бейсбольной команды "Экспо" в первые годы ее существования. Его звали Джин Моуч. Спортивного деятеля, конечно, а не драматурга. *Румын по имени Джин?* Ай, да какая разница! В той пьесе сцена постепенно заполняется мебелью, пока для персонажей уже и места не остается, и нечто похожее происходило с нашим гостиничным номером, мало-помалу превращавшимся в полосу препятствий.

В ошеломлении я наблюдал, как пространство на крышке комода от края и до края заполняется бутылочками духов, одеколонов, шампуней, каких-то масел; помады выстроились рядами, как патроны; одна на другой высились упаковки мыла, ароматизированного разными отдушками; коробки со спреями, солями для ванн, пудрами; вот появилась натуральная морская губка; прибавились баночки с тонизирующими кремами и тюбики с загадочными мазями; карандаши для бровей; наборы косметики и к ним запасные блоки. Куда ни ступи, везде я спотыкался о коробки и сумки из магазинов, что на бульваре де ла Мадлен, на рю дю Фобур Сент-Оноре, на рю де Риволи, на авеню Георга Пятого и на бульваре Капуцинов. Наряды, с соответствующими аксессуарами, приобретались в бутиках Коррежа, Кардена, Нины Риччи. Вот вечерняя сумочка от Ланвена. И не зря у Второй Мадам Панофски университетский диплом! Я уже давно лягу спать, а она все сидит и аккуратно, бритовкой выпарывает красноречивые лейблы знаменитых кутюрье, чтобы отправить их домой по почте, а на их место вшивает ярлыки канадских фирм "Итон", "Огилви" и "Холт Ренфрю", которые специально привезла из Монреаля.

Мы, конечно, посетили Лувр, "Королевские корты" и музей Родена, где, вооруженная перечнем его основных работ, она быстро взглядывала на табличку, сверяла ее со своим перечнем и шла к следующему экспонату. На четвертый день нашего пребывания в Париже она обрадованно сообщила, что все необходимое мы уже видели и теперь можно перейти к той части списка, что под грифом "Хорошо бы".

Я человек импульсивный, из тех, кто лучше наделает ошибок, нежели будет жалеть об упущенных возможностях, и одной из самых грубых моих ошибок было молниеносное ухаживание и женитьба на Второй Мадам Панофски, но это меня отнюдь не извиняет, поскольку вел я себя в свой медовый месяц преотвратно. Должно быть, она не знала, что и думать, поскольку меня бросало из крайности в крайность — то я бывал угрюм, то проникался чувством вины и, становясь внимательным сверх меры, бросался помогать ей в нашей совместной деятельности. Однажды вечером, разыграв восторг от ее последнего туалета от Диора или Ланвена, который она продемонстрировала мне в нашем номере, я повел ее обедать в один из ресторанов из ее списка, а потом стал лукаво расспрашивать о родственниках, которых видел на нашей свадьбе, — этих богатых *олрайтниках*, глаза бы мои их больше не видели; с наигранным интересом я выслушивал ее ответную болтовню и наконец, как бы внезапно вспомнив, сказал:

— Да, между прочим: была там, кажется, еще одна девица — забыл, как ее звали, — в таком шифоновом многослойном платье для коктейлей, причем она, похоже, была о себе очень высокого мнения — не могу сказать, чтобы я разделял его.

— Мириам Гринберг?

— Да, что-то вроде. Она тоже из родственников?

— Едва ли. Ее даже и не приглашал никто.

— Ты хочешь сказать, что она имела наглость явиться незваной? Н-да, ну и нахалка!

— Она пришла с моим двоюродным братом Сеймуром.

Изобразив зевок, я спросил:

— А он что — ее бойфренд?

— Откуда мне знать?

— Впрочем, какая разница. Давай зайдем в "Мабийон", выпьем на сон грядущий.

— Если ты считаешь, что еще мало выпил, то пойдем лучше в "Гаррис бар".

Моя вооруженная всяческими списками дама, оказывается, ко всему подготовилась: изучив руководства по сексуальному общению (вряд ли хранимые в Еврейской публичной библиотеке), она сделала выписки на карточках, нарисовала схемы. К моему удивлению, она все знала — как надо "упиваться розой" (или, что то же самое, "нырять в муфточку"), как производят "отсос потрохами", "играют на флейте" или, отчаянно сдавив двумя пальцами, делают мужчину "стойким саксонцем"; знала о существовании позы "69" и даже "венской устрицы", хотя последнюю не очень-то еще и применишь: а ну-ка, девушка, — три, четыре! — скрестите ноги у себя на затылке! Каждую ночь я умолял ее не испытывать на мне очередной изыск. Но когда речь шла о ее удовольствиях, Вторая Мадам Панофски была настойчива и непреклонна. Она воспринимала жизнь как экзамен, который надо сдавать непрерывно.

— Интересно, что она нашла в твоем двоюродном брате Сеймуре?

— А что, мы уже всё? — спросила она, вытирая рот краем простыни.

— Это тебе решать, не мне.

— Ф-фе. Не могу понять, что люди в этом находят!

Она пошла в ванную. Долго чистила зубы. Потом полоскала горло. Потом вернулась.

— Да, ты что-то спрашивал — что-то важное?

— Да нет, совершенно ничего важного, просто я удивляюсь, что́ она могла найти в твоем братце Сеймуре, он же такой обормот.

— Ты о ком?

— Ах, я никак не могу запомнить, как ее зовут. Ну, ту девицу в голубом шифоновом платье.

— А-га. А-га. — Устремив на меня строгий взгляд, она осведомилась: — Ну-ка, скажи мне, в чем я была сегодня за ланчем?

— В платье.

— Ну да, конечно. В платье. Не в комбинации. *А какого оно было цвета?*

— Ай, да ну тебя.

— Ты что, на эту Мириам Гринберг глаз положил или как?

— Успокойся. Я просто не могу понять, что она нашла в Сеймуре.

— Так у него же машина "остин-хейли". И шестиместная парусная яхта — на каком-то из островов Вест-Индии. А в наследство ему достанет-

ся целый квартал по Шербрук-стрит и не знаю даже сколько торговых центров. Ничего себе обормот.

— Ты хочешь сказать, что она охотница за богатыми женихами?

— Знал бы ты, сколько раз я видела ее в этом же самом голубеньком платьице, ты бы вообще обалдел — ему, наверное, лет десять, да и вообще, это же prêt-à-porter[1], и она наверняка цапнула его на какой-нибудь январской распродаже в универмаге "Мэйси". Вот и скажи — почему бы ей не хотеть улучшить свое материальное положение?

А еще были ее ежедневные телефонные переговоры с мамочкой.

— Я буду краткой, мы уже на выходе. Нет, не ужинать, здесь еще только семь часов. Нет, чуть-чуть выпить: apéritifs. Идем в café на Монпарнас. Как называется? "Dôme" — так, кажется. Да, я помню, что говорила тетя Софи, и воду пью только бутылочную. Вчера вечером? А, мы ужинали в потрясающем ресторане, называется "Тур д'Аржан", тебе бы там понравилось — там можно подняться на самый верх в лифте, и чудный вид открывается: залитый огнями Нотр-Дам, у меня даже возникло такое чувство, будто сейчас на какой-нибудь горгулье повиснет Чарльз Лафтон*. Да шучу, шучу. У них коронное блюдо "утка табака", причем каждая пронумерована, и к ней дают открытку с твоим номером — я пошлю ее тебе завтра утром. А знаешь, кто там сидел, и всего за два столика от нас? Одри Хепбёрн! Да, я знаю, Джуэл большая ее поклонница, но у меня для нее есть кое-что другое. Нет, *не могла*. Ему было бы за меня неловко. Мне не позволено было даже взять меню на память! Я ведь не жила в Париже на десять центов в день, поэтому на его взгляд я вроде как военный преступник, а то и похуже. Да ну, шутка же. Нет, ма, мы прекрасно ладим. Что? А! — на мне было новое платье от Живанши, вот погоди, сама меня в нем увидишь, и обними папочку крепко-крепко и передай от меня тысячу раз спасибо. Что? Ну просто — черный шелк с шерстью и еще с таким бантом, подчеркивающим высокую талию, а юбочка коротенькая, едва колено закрывает. Н-нет, мешковатые уже отошли. С ними покончено. Ты только не говори ни слова Пирл или Арлине, пусть сами убедятся — когда они столько денег выкинули на то, что теперь стало просто какими-то прошлогодними *шматас*. *Да перестань ты беспокоиться, пожалуйста.* Когда мы вечером возвращаемся — не важно, рано, поздно, — мои жемчуга каждый раз запирают в сейф. Да, да, да. Кинокамеру тоже, я помню, какая она дорогая. Честно говоря, я кинокамеру оттуда и не беру. Он мне не разрешает с нею ходить по улицам, а то вдруг кто-нибудь примет нас за туристов! А, сейчас вспомню. Начала я с копченой семги, она была такая нежная-нежная. Нет, здесь ее не подают со сливочным сыром. Нет, Барни заказал улиток в домиках. Да, я знаю. Но он их любит. Нет, ну зачем мне-то. Или эти устрицы — вот еще! А хлеб — пришлось попросить, чтобы Барни убрал его от меня подальше, а то бы я его весь съела, да еще масло, оно из Нормандии, так и тает во рту. Потом мы оба ели утку, а на десерт crèpes[2]. Вино? Ой, я даже не знаю, но оно было красное и стоило ему кучу денег — да нет, я не к тому, чтобы он жаловался, но на официанта впечатление произвел, это уж точно: тот совсем по-другому стал на нас смотреть, а то сперва морщился, будто от нас дурно пахнет. Да, закончил, как всегда, кофе и сигарой. Ну, и рюмочкой коньяка, особого, — нет, не двумя. Они

1. Готовое платье (*франц.*).
2. Блинчики (*франц.*).

тут возят по проходу такую большущую тележку с бутылками. Нет, бокалы они здесь не подогревают. Да, но "Руби Фу" это еще не везде и это еще не конец света, а в Париже, где бы мы ни были, бокалы не подогревают. Да, я же сказала, он выпил две. Что? Хорошо, я передам, но тут ведь ему не надо садиться за руль, чтобы домой нас отвозить, и потом у нас же медовый месяц! Веселиться? Конечно. К чему, к чему это может привести в старости? Да ладно тебе. Что? Это сказал тебе доктор Зелигман? Правда? Ну, у него пока такой проблемы точно нет, где бы тут по дереву постучать. Что значит — я тебя оскорбляю? Я же теперь замужняя женщина. Мне можно. Да, ма-а-ам. Конечно. Я бужу его в семь, потом чищу зубы и мо́ю голову, а потом — угадай что? — мы вместе принимаем душ, только папочке не говори, он будет в шоке. Да и ты, наверное, сейчас покраснела. Да я шучу. Ох, видела бы ты, какие нам тут выдали банные халаты, а мыло в номере, между прочим, "ланвен". Да конечно, обязательно! Я, вообще-то, уже сунула в один из чемоданов три куска для тебя — вот, кстати, спасибо, что напомнила, надо купить еще чемодан для обновок. Ма, я знаю, что дядя Герчик может достать их для меня по оптовой цене, но — понимаешь? — мне-то нужно здесь и сейчас! Я не кричу на тебя. Нет, я не повышаю голос. Ты это вообразила. Что? Платья в талию снова в моде, а у меня пока что талия имеется. Да вовсе я не *грубиянничаю*. Сколько раз надо повторять, что для зрелой женщины у тебя потрясающая фигура. Нет, оно от Диора. Да, утром надену. Ой, как на меня все смотрели! Оно из бледно-голубой чесучи, внизу plissé, а воротник такой — как пелеринка, а сверху я надеваю новое пальто, оно от Шанель, кардиган из шерстяного бежевого букле с отделкой темно-синим шелком. Я надену его в синагогу на Рош Ашана*, Арлина умрет на месте. Вот погоди — увидишь, какие у меня теперь туфли! а сумочка! Скажи папочке, что он меня жутко балует, но я — так уж и быть, не жалуюсь. Ты только ничего ему не говори, а то ведь я ему купила шелковый платок в "Гермесе", и жемчужные запонки, и рубашку у Кардена, а что я купила тебе — не скажу, но думаю, тебе понравится. *Ма, клянусь, я о твоей фигуре говорила без всякого сарказма!* Уверена: большинство женщин твоего возраста тебе завидуют. Нет, ни Ирвинга, ни Джуэл я не забыла. И вовсе это не было бы "на меня похоже". Все, что есть в твоем списке, я постепенно покупаю. Мам, перестань. Никто никаких фотографий рабби Горнштейну не пришлет. Разумеется, прежде чем идти вместе под душ, дверь номера мы запираем, да и вообще — в наше время и в нашем возрасте это никакое не преступление. Ничего плохого в телесных радостях нет. Да, да, да. Я знаю, что тебя волнует только мое благополучие, но давай сейчас не будем в это вдаваться. *Я не говорю, что ты меня пилишь.* Что значит у меня такой тон? Вот только не начинай. Кстати, Барни вычитал в "Геральд трибюн", будто "Монреальцы" продают Ду́га Харви, и хочет знать, правда ли это. *Я знаю, что ты никогда не читаешь спортивные страницы*, но тебе что — трудно глянуть? Ма, как тут красиво — это не передать. Что? Нет, неправда. Я вовсе не говорю, что Монреаль некрасивый город. Бог мой, какая же ты сегодня обидчивая! Если бы я не знала, что этого не может быть, могла бы подумать, что у тебя месячные. *Я не злобствую.* Я понимаю, когда-нибудь и я доживу до этого, но, когда доживу, надеюсь, я буду легче смотреть на вещи. Ну вот, опять ты начинаешь. Ну голос у меня такой, другого нет, а если тебе он не нравится, мне лучше сразу повесить трубку. О'кей, о'кей. Извини меня. Нет, ходить по магазинам он терпеть не может, но за ланчем мы, ко-

нечно же, встречаемся. Что? Оно называется "Брассери Липп". Он ел choucroute[1], по-нашему *зовере кройт,* они этим славятся. Нет, погоди-ка, он начал с устриц. *Ма-ма! Я их не ела!* Но, честно говоря, не потому, что религия запрещает. Я ела яйцо под майонезом и семгу с картофелем фри. Нет, он пил пиво, а я белое вино. Ма, всего-то один стаканчик. Нет, по возвращении домой я не собираюсь записываться в "Анонимные алкоголики". Что потом? Потом он вернулся в отель вздремнуть. Слава богу, не знал, что я иду покупать белье и бюстгальтеры, это единственное, ради чего он может пойти со мной. Ему приносят стул, он садится и сидит, смотрит на проходящих женщин, улыбаясь, как кот, который только что съел канарейку. *Ма, ты что, хотела бы, чтобы он был как твой несчастный братец Сирил?* Нет, почему сразу гомосексуалист? С чего бы это? Как-никак член нашей уважаемой семьи. Он просто пятидесятипятилетний холостяк, который до сих пор живет с матерью, выписывает все мыслимые и немыслимые журналы по бодибилдингу и, несмотря ни на какие запреты, все норовит подобраться поближе к бассейну ассоциации еврейских юношей, когда там эти самые юноши купаются. Уж его гоняли-гоняли! Ну хорошо, прошу прощения. Его не гоняли. Это сплетня. Он сам туда перестал ходить. Но я считаю, что мы все наносим ему колоссальный психологический вред, заставляя притворяться тем, чем он не является. Нет, тут ты не права. Барни считает его очень умным. Ему он нравится. Они даже ходили вместе обедать, причем не раз, представляешь? Сегодня? А, сегодня в клубе на Пляс Пигаль выступает какой-то чечеточник, Барни хочет его посмотреть. Да, мам. Он хоккейный болельщик и он любит чечетку, и что, мне из-за этого с ним разводиться? А теперь мне правда-правда пора, мы уже совсем-совсем выбегаем. От Барни большой привет тебе и папе. Нет, я не выдумываю. Он сам попросил, чтобы я это сказала. Ну, пока, завтра еще поговорим.

8

— Канадская радиовещательная корпорация. Радио-Канада. Чем могу служить?

— Пожалуйста, соедините меня с "Миром искусства".

— "Мир искусства" слушает. С вами говорит Бет Робертс.

— Можно к телефону Мириам Гринберг?

— Алло.

— Привет, Мириам. Это Барни Панофски. Не забыли меня?

— О-о.

— Я вот оказался тут в Торонто и решил поинтересоваться, как у вас завтра со временем в обеденный перерыв.

— К сожалению, никак.

— Тогда, может быть, вечером?

— Я занята.

— Я слышал ваше интервью с Мейлером; вы такие четкие вопросы ему задавали!

— Спасибо.

1. Кислую капусту (*франц.*).

— Слушайте, а может быть, устроим файв-о-клок? Выпьем по чуть-чуть.

— Барни, я не встречаюсь с женатыми мужчинами.

— Да упаси Христос! Выпьем по одной, да и все. Это что, уголовное преступление? Я как раз напротив вас тут сижу в баре мотеля "Времена года".

— Пожалуйста, не становитесь назойливым.

— Ну, может быть, тогда в другой раз?

— Конечно. Может быть. Нет. Но спасибо, что позвонили.

— Да ну, не стоит благодарности.

Я пишу это воскресным вечером за письменным столом на даче в Лаврентийских горах, а вчера я смотрел по телевизору старый черно-белый фильм, сидя в обществе чем-то озабоченной и, пожалуй, слишком уж раздражительной Шанталь. "Операция 'Ураган'" — таково было название фильма, поставленного Хайми Минцбаумом в 1947 году. В главных ролях снимались: Джон Пейн, Ивонна де Карло, Дэн Дюреа и Джордж Макриди. Действие фильма начинается на американской военной базе в Англии за две недели до вторжения в Нормандию. Майор Дэн Дюреа, человек трудной судьбы, терпеть не может сержанта Джона Пейна, ленивого плейбоя и наследника большого состояния, вложенного в универмаг, поэтому он приказывает сержанту прыгнуть в оккупированную Францию с парашютом, чтобы вступить в контакт с отрядом партизан под предводительством человека, известного под конспиративной кличкой Ураган. Ураган оказывается Ивонной де Карло, и они с Пейном сразу же начинают испытывать взаимную неприязнь. Все, однако, меняется, когда Пейн, стреляя от бедра, вызволяет ее из пыточных подвалов, где она оказалась в лапах гестаповца Джорджа Макриди, который только и успел что сорвать с нее блузку. Де Карло и Пейн влюбляются и вместе на третий день Вторжения пускают под откос войсковой эшелон, направлявшийся к берегам Нормандии. А когда Дюреа и его измотанные боями воины, настроенные снова биться не на жизнь, а на смерть, входят в Сен-Пьер-сюр-Мер, они обнаруживают, что поселок уже освобожден Пейном, который на его центральной площади поливает шампанским Ивонну де Карло в окружении восхищенных селян. "А я уж думал, не дождусь вас тут!" — говорит Пейн командиру, подмигивая Ивонне де Карло. Конец фильма.

Хочу, чтобы не возникало кривотолков. Я не зазывал Шанталь к себе на уик-энд. Это она такой сюрприз мне сделала, явившись в субботу как раз к ужину, нагруженная всякой всячиной, которую накупила в "Бельгийской кулинарии" на авеню Лорье: pâté de foie gras, толстые ломти запеченной ветчины, quiche lorraine[1], баночки со свекольным и картофельным салатами, сыры, французскую булку, а на завтрак круассаны. Я принял у нее сумку с вещичками для ночевки, а затем поприветствовал, клюнув в щечки, и специально за собой проследил, чтобы это получилось непринужденно и по-отечески.

— Ну вот, вы что, не рады меня видеть? — спросила она.

— Конечно рад.

Но бутылку шампанского я открывать не стал. Нарочно. Принес ей бокал "алиготе".

— Сейчас накрою на стол, — сказала она.

1. Печеночный паштет... пирог с мясом (*франц.*).

Я объяснил, что в восемь по телевизору начнется фильм, я хочу есть и смотреть, потому что ставил его мой старый друг.

— Как трогательно, — одобрила она. — Я постараюсь не болтать.

Сесть рядом с нею на диван я отказался, устроившись на безопасном расстоянии в мягком кресле с бутылкой "макаллана" и сигарой "монтекристо номер четыре". А после фильма, как со стороны, вдруг слышу свой голос:

— Шанталь, я действительно рад тебя здесь видеть, но я хочу, чтобы спать ты сегодня пошла в какую-нибудь из комнат наверху.

— Мама вам что-нибудь о нас говорила?

— Конечно нет.

— Потому что я уже не ребенок, и моя личная жизнь ее не касается.

— Шанталь, дорогая моя, так нельзя. Я уже дедушка, а тебе нет еще и тридцати.

— Вообще-то мне тридцать два.

От нее веяло такой молодостью и очарованием, что я решил — ладно, если она откажется спать наверху, а вместо этого залезет ко мне в постель, так и быть, прогонять не буду. Я ведь слаб. Сколько могу, столько могу, и не требуйте от меня большего. Она хмуро посмотрела на меня и исчезла наверху, после чего ее дверь сразу захлопнулась. Черт! Черт! Черт! На старости лет царю Давиду постель согревали цветущие юные девы — а я чем хуже? Плеснув себе в стакан изрядную порцию виски, я подумал: может, пойти наверх, успокоить ее? Но я не сделал этого, чем в кои-то веки горжусь, и от Соланж, возможно, дождусь похвалы. До четырех я все не мог уснуть, а когда к полудню поднялся, Шанталь уже уехала, не оставив мне даже записки. А вечером позвонила Соланж:

— Она пожертвовала воскресным отдыхом, поехала в такую даль, хотела помочь со сметами на следующий месяц, а тебе только и надо было что смотреть телевизор да пьянствовать. Что ты ей там сказал, мерзавец этакий? Она, как приехала, не переставая плачет и больше вообще не хочет у тебя работать.

— Знаешь что, Соланж. Я женщин уже накушался вот аж по самое некуда. И вас с ней в том числе. Особенно вас. Сейчас я всерьез подумываю, не съехаться ли мне с Сержем.

— Я хочу знать, чем ты ее так обидел!

— Ты ей скажи просто, что я жду ее в офисе завтра в десять утра.

9

Хайми Минцбаума я видел всего несколько месяцев назад, во время последней моей поездки в Голливуд. Приехав пропихивать пробную серию, я вдруг почувствовал непреодолимый зуд вновь испытать свою испещренную печеночными пятнами руку на написании сценария. И пошел старый дурень втюхивать некую диковатую свою идею юному нахалу, который ныне руководит студией. Шелли Кацу, внуку одного из отцов-основателей, слывущему в Беверли-Хиллз белой вороной. Вместо того чтобы носиться по каньонам на "роллс-ройсах" или "мерседесах", что ему как бы на роду написано, он славится тем, что разъезжает на фордовском пикапе тысяча девятьсот семьдесят девятого года — форсированном и с бамперами, художественно изуродованными, как я подозреваю, каким-нибудь студийным декоратором. Шелли, наверное, сказал ему:

"Твоя задача сделать так, чтобы я в нем смотрелся грубым мужланом из фильма, где действие происходит в убогом городишке, скажем, на севере штата Вермонт. Неплохо бы подпустить немного ржавчинки. Молодец. Хочу, чтобы ты знал: твою работу ценят. Мы же семья!"

Служители парковок при ресторанах "Дом" и "Спаго" регулярно сшибают по пятьдесят долларов с каждого из агентов и продюсеров, кого оповестят о прибытии старого фордовского пикапа ("Машина здесь и сам тоже, внутри сидит — чтоб я сдох! Нет, больше никому не звоню. Честно"), чтобы человек быстренько прискакал на цырлах, засвидетельствовал почтение, — глядишь, *пошмузать*[1] удастся, а то и с каким-нибудь проектом воткнуться.

— Наш герой, — объяснял я этому Шелли, — что-то вроде современного Кандида.

— Кого?

— Ну того, который у Вольтера.

— А это еще кто?

Я не хочу сказать, что этот Шелли вульгарно неграмотен, нет, он, скорее, из новых *киновундеркиндов*. Если бы я упомянул Супермена, Бэтмена, Чудо-женщину или даже Человека-амфибию, он бы со знанием дела кивнул, дескать, как не понять друг друга образованным людям! Ох, молодежь нынче. Христос всемогущий! Сколь многого они лишены. Не помнят битву за Сталинград, высадку в Нормандии, не помнят ни как Рита Хейворт снимала длинную — по локоть — перчатку в фильме сорок шестого года "Гильда", ни как бьет по воротам Морис Ришар, не следили ни за осадой Иерусалима, ни за тем, как ворвался в большой бейсбол поднявший до небес дворовую команду "Монреаль ройалз" Джеки Робинсон, не видели Марлона Брандо ни в бродвейской постановке, ни в фильме "Трамвай 'Желание'", не видели сияющего Гарри Трумэна, всем показывающего первую полосу газеты "Чикаго трибюн" с огромным заголовком ДЬЮИ ПОБЕЖДАЕТ ТРУМЭНА.

— Наш главный герой, — продолжал я, — человек простодушный. Он еще, в общем-то, ребенок. Действие у меня начинается в тысяча девятьсот двенадцатом году, он на "Титанике", который отплывает в свой первый рейс, и вся публика ждет, когда он, налетев на айсберг...

— А вы знаете, что сказал Лью Грейд про это свое хламье, фильм "Поднять 'Титаник'"? "Дешевле было бы спустить Атлантику!"

— И тут вдруг — какой сюрприз! — продолжил я свой рассказ, — судно благополучно прибывает в Нью-Йорк, где нашего простодушного парнишку хватает за рукав журналистка, этакая сексуальная штучка вроде Лорен Бэколл*, которая...

— Лорен Бэколл? — удивился он. — Вы, должно быть, шутите — ей разве что бабушек играть!

— Я хотел сказать Дэми Бэсинджер, которая спрашивает его, как прошло путешествие. Скучно, отвечает он, и тут...

— Дэми Бэсинджер? Ну вы и шутник, мистер Панофски! Хочу, чтобы вы знали: я высоко ценю возможность пораскинуть мозгами вместе с человеком, который был когда-то мощным игроком, но боюсь, что мне пора переходить к другим делам. Кстати! Вы знаете, что я женился на

1. Поболтать, подольститься (*идиш*).

внучке Хайми Минцбаума Фионе? Я люблю ее. И Бог благословил нас двумя детьми.

– Их вы тоже любите?

– Вне всякого сомнения!

– Надо же.

Тут зазвонил телефон.

– Да, раз уж речь зашла о... чуть не сказал "о старом черте". Это моя жена. Извините...

– Конечно-конечно.

– Ага. Ага. А теперь успокойся, дорогая, ничего страшного. Извинись перед мисс О'Хара и скажи ей, что все о'кей. Я, кажется, как раз сейчас придумал, как все решить. Честно. Ну да. Нет. В данный момент не могу сказать. – Повесив трубку, он обратил сияющий лик ко мне. – Когда Фиона сказала Хайми, что вы приедете со мной поговорить, он спросил, не хотите ли вы отобедать с ним в "Хиллкресте". Возьмите мой лимузин. Рад служить.

Со времени, когда мы в Лондоне передрались, чувство обиды у меня уже прошло, и я был необычайно рад, что Хайми тоже хочет как-то все загладить. Нам так о многом нужно поговорить! Перед тем как ехать в "Хиллкрест", я зашел в "Брентано" и купил Хайми последний роман Берил Бэйнбридж, писательницы, которую я обожаю. Потом позвонил, вызвал лимузин.

Если бы в "Хиллкресте" официант не подвел меня к столику, за которым, клюя носом в моторизованном кресле-каталке, сидел Хайми, я бы его не узнал. На голове вместо густых вьющихся черных волос торчали отдельные клочки белого пуха, нежные как шапочки одуванчиков, которые от первого дуновения могут облететь и исчезнуть. Крепкое тело спортсмена усохло, сделавшись похожим на полупустой мешок торчащих во все стороны костей. Официант, предусмотрительно снабдивший Хайми слюнявчиком, потряс его за плечо:

– Ваш гость пришел, мистер Минцбаум!

– Какара те бам взыть, – проснувшись, сказал Хайми и протянул мне похожую на веточку трясущуюся руку (ту, которая еще действовала).

– Скажите, что вы тоже рады его видеть, – подмигнув, шепнул мне официант.

Глаза у Хайми слезились, а рот все время скашивался на сторону, будто его за невидимую ниточку дергают. На подбородке струйка слюны. Он улыбнулся, вернее, попытался это сделать, раскрыв ротовое отверстие, потом указал на мой стакан.

– Хотите выпить? – перевел официант.

– Мне сделайте "праздник весны". Большой.

– А мистеру Минцбауму, без сомнения, как обычно, – сказал официант и удалился.

Качая головой из стороны в сторону, Хайми застонал. Снова потянулся ко мне, взял меня за руку бессильными пальцами.

– Все о'кей, Хайми, – сказал я, вытирая ему глаза, а потом подбородок слюнявчиком.

Официант принес мне мой коктейль, а Хайми налил минералки "эвиан".

– Пшел ты, *мешуга шлеп*, – сказал Хайми, выпучив от натуги глаза, и, перевернув минералку, указал на мой стакан.

– Нехорошо, нехорошо, мистер Минцбаум.

– Не говорите с ним таким тоном, – сказал я, – и принесите ему "праздник весны", пожалуйста.

– Ему нельзя.

– И быстро! – нахмурился я.

– Я принесу, но вы сами будете с нею объясняться.

– С нею?

– С его внучкой. С миссис Кац.

– Покажите, что там у вас?

– Что подавать мистеру Минцбауму, я знаю, – сказал официант, раскрывая передо мной меню, – а что будете вы, – тут он сделал паузу, но потом все же добавил: – сэр?

– А что тут подают мистеру Минцбауму?

– Овощи на пару и омлет. Без соли.

– Нет, только не сегодня. Сегодня мы оба будем жареную грудинку и *латкес*. И не забудьте захватить хрен.

– Вотата уше, – сказал Хайми, радостно покачиваясь взад-вперед.

– И еще мы бы хотели бутылку "божоле". О боже, я смотрю, у мистера Минцбаума нет винного бокала. Принесите ему.

– Миссис Кац будет очень недовольна.

– Делайте, что вам велено, а с миссис Кац я все улажу сам.

– Воля ваша.

Хайми ткнул в свой разинутый рот вилкой, что-то яростно пытаясь мне внушить глазами.

– Хайми, ты даже не пытайся ничего говорить. Я все равно ни слова не понимаю.

Официант принес ему "праздник весны". Мы чокнулись и оба выпили.

– За нас, – сказал я, – и за те веселые деньки, что мы знавали вместе. Их у нас никому не отнять.

Он пригубил коктейль. Я вытер ему слюнявчиком подбородок.

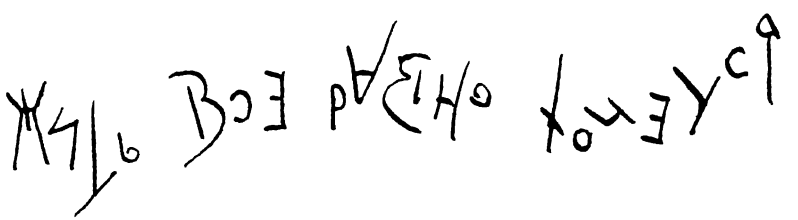
– А теперь за авиацию Восьмой армии, – сказал я, – за Дюка Снайдера, за Моцарта и за Кафку, за баб, за Доктора Джонсона и Сэнди Кофакса, за Джейн Остин и Билли Холидей*.

– Вобляп, – произнес Хайми, тихо плача.

Придвинув свой стул к нему поближе, я принялся помогать Хайми резать мясо и оладьи. Когда к нам снова подошел официант, Хайми что-то залопотал, зажестикулировал...

– По'эл, не дурак! – сказал официант и принес Хайми блокнот и карандаш.

Хайми долго возился, старался, что-то писал, вырывал страницу, комкал, снова начинал, что-то бормотал, борясь с одышкой. Наконец он вручил мне то, что ему удалось накорябать печатными буквами:



Скоро мы были оба пьяны, но, по счастью, компрометирующую нас посуду уже убрали – к тому моменту, когда в зал величаво вплыла Дражайшая Супруга Фиона, за которой, с видом легавой, идущей по следу, тащил-

ся Шелли; они вошли и двинулись мимо столиков, лучась благожелательностью к тем, кто по-прежнему входит в список самых-самых, других же, тех, кто не сто́ит ответных любезностей, удостаивали лишь краткого кивка. Наконец приблизились к нам. Коренастая Дражайшая Супруга предстала перед нами вся в драгоценностях, упакованная в шифоновое вечернее платье, у черного бархатного ворота скрепленное усыпанной бриллиантами застежкой и оттопыривающееся все больше не там, где надо. Шелли был в смокинге и лиловой рубашке с плиссированным жабо (мне такие рубашки всегда напоминают стиральную доску), к этому галстук в виде веревочки с какой-то индейской висюлькой и ковбойские сапоги ручной работы — видимо, для защиты от ядовитых змей, если вдруг придется с риском для жизни пересекать проспект Родео Драйв.

— Ну что, старые негодники, — наверное, не наговоритесь никак? — сказала Дражайшая Фиона и, наморщив аккуратненький, скульптурно выточенный хирургом носик, запечатлела на практически лысом черепе Хайми алый оттиск накрашенных губ. — Я слышала, веселая у вас была жизнь, когда вы в молодости вместе пребывали в развратном Пар-ри.

— Какого черта Шелли не предупредил меня, что он не может говорить?

— Ну ладно, ладно. Так тоже нельзя. Вам не хватает чуткости, вот и все. Хайми просто временами бывает трудно понять. Не правда ли, дедуля?

Дальнейшее смутно, помню только, что официант отвел Фиону в сторонку, после чего она на меня накинулась:

— Вы что, в самом деле давали ему пить крепкие напитки и есть жареное мясо с вином?

Хайми, вращая глазами, пытался быть услышанным:

— Бляпо шебо жо!

— У него недержание, — сообщила Дражайшая Фиона. — А вы ведь не придете убирать за ним в три часа утра.

— Вот только не говорите мне, что вы придете!

— Так вышло, что именно сегодня мисс О'Хара на ночь отпросилась.

Помню, Хайми поставил регулятор на реверс, откатился от стола, остановился, а потом дал полный вперед и устремился в сторону Дражайшей Внучки. Та взвизгнула, но Шелли успел выхватить ее с пути опасного снаряда. Впрочем, может, ничего подобного и не было, это опять я лезу в собственную память, что-то там подстраиваю, подкручиваю, меняя реальность. Но по-моему, разозленный Хайми, который стукачей всегда терпеть не мог, стал потом гоняться за официантом, пытаясь взять его на таран, однако при попытке слишком круто повернуть *редлштуль* налетел на какую-то женщину за чужим столиком. Хотя, может быть, я только хотел бы, чтобы весь этот бедлам имел место. Наслаждаясь собственным рассказом, испытываешь большой соблазн что-то где-то иногда нарочно усложнить. Честно говоря, я вообще прирожденный лакировщик действительности. Хотя, с другой стороны, разве не это главное в ремесле писателя? — пусть он даже и новичок зеленый, вроде меня.

Во всяком случае, обмен гневными репликами произошел несомненно. Все более визгливым голосом меня отчитывая, Дражайшая Фиона назвала меня безответственным пьяницей. Тогда я с ледяной вежливостью осведомился, собственные ли у нее груди или с искусственным наполнением, поскольку, на мой искушенный взгляд, они какие-то не

одинаковые и разной плотности. На это Шелли отозвался в том смысле, что сейчас он даст мне по морде. Приняв вызов, я выплюнул на ладонь зубные протезы, спрятал их в карман пиджака и встал наизготовку. Дражайшая Фиона закатила обильно накрашенные глаза.

— Что за отвратный тип, — сказала она. — Пойдем отсюда.

И она пошла вон из зала, толкая перед собой каталку с Хайми, несмотря на то что он продолжал протестующе бормотать.

Когда я вышел на поиски лимузина, которым был "рад служить" Шелли, швейцар объяснил, что миссис Кац велела водителю ехать домой.

— В таком случае, — сказал я, благоухая "божоле", которым Фиона на прощание облила мою рубашку, — мне нужно такси.

— Куда едете, сэр?

— В "Беверли Уилшир".

Швейцар подозвал светловолосого, необычайно мускулистого верзилу парковщика.

— За двадцать пять баксов Клинт вас отвезет, — сказал швейцар. — Это не считая чаевых.

Клинт выкатил с парковки чужой "роллс-ройс" и с шиком доставил меня в "Беверли Уилшир". В полной раздерганности чувств я сразу направился в "Приют Фернандо", сел там к стойке и потребовал себе "курвуазье Х. О.", что было с моей стороны глупостью, потому что я и так выпил более чем достаточно, да и не выдерживал я уже коньяк в столь поздний час.

— Что с вами, шалунишкой этаким, приключилось? — спросила сидевшая по соседству молодая женщина, указывая на мою рубашку.

Это была рыженькая красотуля в облегающей трикотажной кофте с большим декольте и с очаровательными веснушками на кокетливо улыбающейся мордочке. Юбка на ней была длинная, по щиколотку, с высоким разрезом сбоку.

— Можно вас угостить? — спросил я.

— От бокала французского шампанского не откажусь.

Мы с Петулой ("Хотите ласково — можете звать меня Пет, — сказала она, — только не заласкайте") принялись обмениваться банальностями, причем даже самые хромые мои шутки она всякий раз вознаграждала игривым пожатием моего колена. Я подал знак бармену налить еще.

— Ой, гляньте-ка! — вскинулась она. — Если мы и дальше собираемся работать, что называется, в интерактивном режиме — а что мешает? это же свободная страна! — почему бы нам тогда не захватить себе вон тот столик в углу, пока до него кто-нибудь другой не добрался?

Втянув живот, я взял свою даму под руку и, волоча ее непомерно тяжелую сумку, потащился за ней к облюбованному столику. При этом я был весь преисполнен радости: в пьяном обалдении мне померещилось даже, будто другие мужчины в баре — молодые, из тех, что уже не видят во мне конкурента (будто старый конь борозду испортит!), — поглядывают на меня с завистью. И вдруг она зазвенела. *Эта ее чертова сумка!* В испуге я пихнул ее девице в руки. Та покопалась и вытащила сотовый телефон. "Да. Ага. Нет, я тут вроде как не одна. Скажи им, я передаю привет, и пускай он обожает Бренду", — сказала она и спрятала аппаратик.

За соседним столом, тесно прижавшись, сидели двое немолодых мужчин, оба в джинсах и свитерах команды "Лос-Анджелес кингз".

— А что, это правда, — спросил один, у которого свитер был с номером 99, — что студию (название он произнес, понизив голос) продают япошкам?

— Ты знаешь, — сказал его приятель, — это только между нами, но я видел документы. Там остаются сущие пустяки — точки над "i" расставить.

— Только не говори мне, — тем временем щебетала Петула, наглаживая мое колено, — что ты какой-нибудь продюсер. Да я бы и тогда не стала приставать к тебе со всякой там работой — ты ж понимаешь, мне это даром не надо, так что не волнуйся. Кстати, как ты думаешь, сколько мне лет?

— Двадцать восемь.

— Ай, шалунишка, смеешься надо мной? Мне вроде как тридцать четыре, и часики в моем теле уже тикают: тик-так, тик-так, даже сейчас, пока мы тут сидим да друг на дружку смотрим. А ну-ка, дай на тебя взгляну. Ну, я бы сказала, что тебе вроде как года пятьдесят четыре — в таком что-нибудь духе. Я угадала?

Ни за что не желая лезть в пиджак за постыдными очками для чтения, я притворился, будто изучаю карту вин (сплошной туман), и заказал бутылку "вдовы клико" и "курвуазье Х.О.".

— Ух, какой же ты хитренький! — подтолкнув меня локтем, воскликнула она.

Мясо и *латкес* во мне делали свое дело, живот распирало, и приходилось изо всех сил напрягаться, чтобы не опозорить себя раскатистым пердежом на весь зал. Тут, к счастью, моей даме понадобилось в "комнату маленьких девочек", что позволило мне пустить шептунка и наконец-то вздохнуть с облегчением, сохраняя невинный вид в ответ на хмурый взгляд мужчины с подветренного столика справа, чья жена принялась демонстративно обмахиваться меню.

На обратном пути Петулу ненадолго перехватил сидевший в одиночестве молодой человек с серьгой в ухе. Я не удостоил его взглядом.

— Что ему надо? — спросил я.

— Что надо, что надо... — проворчала она, окинув меня взглядом, в котором сквозила *вельтшмерц*[1], — что всем мужикам от нас надо?

Мы стали пить шампанское (причем я себе плескал еще и коньячку); при этом я — куда тут денешься? — полез в свой кладезь специально подобранных случаев из жизни и начал без зазрения совести сыпать именами. Но она никогда не слышала ни о Кристофере Пламмере, ни о Жане Беливо, а Пьер Элиот Трюдо, которому я был когда-то представлен, отыграл вообще не в ту степь.

— А, ну тогда типа передай ему от меня, что мне *дико* нравятся его "Дунсбери", — ответствовала она, приняв канадского премьер-министра за американского автора газетных комиксов, тоже Трюдо, только Гарри. Подавив зевок, она добавила: — Слушай, давай типа допьем в темпе да пойдем уже в твой номер. Но ты вроде как понимаешь, конечно, что я профессиональный эскорт, правда же?

— А-а.

— Ну что ты так скуксился, малыш, — сказала она и, расстегнув защелку своей непомерной сумки, мельком продемонстрировала мне хранящийся в ней кассовый аппарат для обработки кредитных карт. — Мое агентство принимает все кредитки, кроме "Американ экспресс".

— А можно поинтересоваться, почем берете?

— Я не беру, а принимаю гонорар, который зависит, ну, вроде как от ассортимента с учетом фактора длительности.

1. Мировая скорбь (*нем.*).

Тут она снова полезла в сумку и выудила оттуда ламинированную пластиком карточку, которая удостоверяла, что у нее нет СПИДа.

– Знаете, Петула, у меня был очень длинный день. Давайте-ка просто допьем и распрощаемся. Без обид.

– Что ж, спасибо за потерянное время, дедуля, – сказала она, осушила свой бокал и направилась прямиком к тому столику, за которым в одиночестве сидел ее сутенер с серьгой в ухе.

Я подписал чек и встал, пошатываясь, так что вряд ли выглядел внушительно, когда нетвердой походкой покидал бар. Оказавшись в своем номере, я был так зол на Мириам, что не мог спать. "Вот, полюбуйся, во что я превратился, – думал я. – В моем-то возрасте болтаюсь по барам, флиртую, как дурак, с блядьми – а все из-за того, что ты бросила меня". В постель я лег с книгой Босуэлла "Жизнь Сэмюэла Джонсона" – я эту книгу беру с собой во все поездки: хочу, чтобы ее нашли рядом с постелью, если я вдруг ночью преставлюсь, – и вот, читаю: "Боюсь, однако, что, вступив в общение с Сэвиджем*, давно ведущим жизнь беспутного городского гуляки, Джонсон хотя и не отступал от благих своих принципов, но все же не полностью соответствовал тому мнению, которое сложилось о нем в дни большей его простоты и праведности у его друга мистера Гектора; теперь же он, пусть незаметно и незначительно, но все же вынужден бывал предаваться излишествам, каковые причиняли значительное беспокойство его благородному уму". Тут шрифт перед глазами начал прыгать, и мне пришлось книгу отложить.

Можно было бы, думал я, усугубив унижение, получить все же некое подобие разрядки, включив телевизор на каком-нибудь из порноканалов, но такую мысль я отбросил. Вместо этого с бьющимся сердцем призвал к себе образ доброй старой безотказной миссис Огилви. Настоящей англичанки миссис Огилви, приехавшей из Кента, где ее отец держал мануфактурную лавку – то есть заведение, аналогичное тому, что у нас в колониях, где язык, по ее мнению, испорчен американизмами, принято называть магазином галантереи. Вновь я спугнул ее, влетев в спальню, где застал в позиции, которую увидеть и умереть – миссис Огилви, эту набожную прихожанку, регулярно поющую в хоре церкви Святого Иакова, я увидел в трусиках и поясе с чулками в момент, когда она задумчиво склонилась, улавливая груди чашками бюстгальтера, прежде чем застегнуть его. Нет, стоп. Для этого рановато. Я заставил видеомагнитофон своей памяти переключиться в режим ускоренной перемотки назад, чтобы начать просмотр персональной мягкой эротики с момента моего появления в то утро у нее в квартире.

Сладостная миссис Огилви, которая вела у нас уроки французского и литературы и часто читала нам вслух из журнала "Джон О'Лондон'с уикли", была взрослой двадцатидевятилетней женщиной и совершенно, абсолютно – как я думал – недоступной. А потом настало то воскресенье, когда она выбрала меня себе в помощники, чтобы красить стены и потолки в ее двухкомнатной квартирке.

– Будешь хорошим работником, – сказала она, – накормлю обедом. En français, s'il vous plaît?

– Простите, миссис Огилви?

– Работник?

– Ouvrier.

– Très bien[1].

1. По-французски, пожалуйста... Работник... Очень хорошо (*франц.*).

Мы начали с крошечной кухоньки и все то невероятно мучительное утро непрестанно друг на друга натыкались, что неизбежно в столь вызывающе тесном пространстве. Дважды тыльная сторона моей ладони случайно пробегала по ее грудям, и я боялся, как бы рука от этого не загорелась. Потом она залезла на стремянку — настала ее очередь красить потолок. Ух ты-ы!

— Ну-ка, помоги мне слезть, милый, — сказала она.

Потеряв равновесие, на краткий миг она оказалась в моих объятиях.

— Упс!

— Извините, — проговорил я, помогая ей выровняться.

— Извинением ты у меня не обойдешься, — сказала она, взъерошив мне волосы.

В полдень мы сделали перерыв, поели бутербродов из рыбного паштета с булкой, усевшись в уголке на кухонных табуретках. Еще она открыла банку с помидорами, один плюхнула на тарелку мне, другой себе.

— Давай, пока сидим здесь, не будем терять времени. Через две недели экзамены, ты не забыл? Ну-ка, скажи мне, как правильно называется то, что в вашем обезьянствующем доминионе (да кое-где и в Штатах) частенько называют мальпостиком?

— Детская коляска?

— Молодец. А как в Британии называют птичку-невеличку, которая здесь известна как синица?

— Не знаю.

— Сися.

— Ай, да ну! — сказал я, чуть не подавившись паштетом.

— Ну да, мы называем их сисями, но ты-то о другом подумал, я знаю, противный мальчишка! А теперь скажи, пожалуйста, откуда взялось слово "алиби"?

— Из латыни.

— Правильно.

В этот момент она заметила у себя на юбке белый потек краски. Встала, смочила тряпочку скипидаром и, задрав юбку, разложила подол на столе, чтобы стереть пятно. Юбка на ней была в складку, коричневая. [На странице 15 ("ИЛ", 2007, № 8) об этой юбке сказано, что она была "твидовая". — *Прим. Майкла Панофски.*] Как сейчас ее вижу. Я думал, сердце у меня вот-вот выпрыгнет из груди и вылетит в форточку. Затем, повращав бедрами, она вернула юбку на правильное место.

— Ах, господи. Я стала мокрая во всех неприличных местах. Пойду переоденусь. Извини, душенька, — сказала она и протиснулась мимо меня, мягким прикосновением грудей навсегда оставив на моей спине ожог, после чего исчезла в спальне.

Я зажег сигарету, выкурил ее, а учительница все не возвращалась. Отчаянно хотелось писать, но, чтобы попасть в туалет, нужно было пройти через ее спальню. Может, в кухонную раковину? — подумал я. Нет. Вдруг она войдет и застигнет меня за этим? Не в силах больше сдерживаться, я зашел в гостиную и увидел, что дверь в спальню приоткрыта. Черт с ним, подумал я в нетерпении. И вошел в спальню, где миссис Огилви в трусах и поясе с чулками стояла, наклонясь, и в задумчивости медлила застегивать лифчик.

— Простите, — сказал я, весь вспыхнув. — Я не знал, что...

— Какая разница!

— Мне просто нужно в туалет.

— Ну так и иди давай, — буркнула она неожиданно грубым тоном.

Когда, совершенно одуревший от вожделения, я вышел, она была уже одета. Включила радио, и оттуда запели:

> В восемь поезд свистнул — время выпить пришло.
> Теннесси уже, наверно, недалеко;
> Подбрось угля лопату, чтобы ход не падал,
> А вот уже и Чаттануга за стеклом!

[На странице 15 ("ИЛ", 2007, № 8) по радио пели "Спят-ка злые". — *Прим. Майкла Панофски.*]

Вот тут-то я и расхрабрился настолько, что подступил к ней, сунул руки ей под свитер и стал расстегивать лифчик. Она не противилась. Наоборот, повергнув меня в сладостный ужас, скинула туфли.

— Не пойму, что на меня такое нашло, — проговорила она и стянула с себя юбку. Я потащил вниз ее трусы.

— Какой ты нетерпеливый! Надо же, разыгрался. Attendez un instant[1]. Ну-ка, скажи, что джентльмену не к лицу, ну?

Мать! Бать! Хрять!

— Ну, не помнишь? — прошептала она, запустив быстрый язычок мне в ухо. — Джентльмен никогда не должен...

— Спешить! — торжествующе выпалил я.

— Молодец! Ну-ка, дай руку. Вот здесь, ага. О! Да, s'il vous plaît!

Вот тут-то я и подошел к моменту, когда, лежа в одиночестве в гостиничном номере, где на прикроватной тумбочке мокнут в стакане зубные протезы, можно бы протянуть руку и взять в нее себя непосредственно. В моем дряхлом возрасте что остается? — только самообслуживание. И это бы, конечно, помогло мне забыться сном, однако не тут-то было. Черта лысого! В этот миг воображаемая миссис Огилви шлепнула меня по руке, резко ее с себя скинув.

— Ты что себе такое позволяешь? Коварный уличный сорванец! Наглый жиденок! Быстро надевай свои вонючие тряпки, купленные наверняка на распродаже, и убирайся вон!

— Что я опять не так сделал?

— Грязный старикашка. За кого ты меня принимаешь — за уличную девку, которую можно подклеить в баре? А вдруг туда вошла бы Мириам и увидела тебя во всем блеске твоего маразма? Или кто-нибудь из твоих внуков? Ты dégoûtant, méchant[2]. Будешь мне сегодня учить "Оду западному ветру" Шелли, а в понедельник утром в классе наизусть прочтешь.

— Это же Китс.

— Чепухи твоей и слушать даже не желаю!

Во сне ко мне пришла Мириам, опять с каким-то протоколом моих грехов в руке.

— Тебе нравится думать, будто ты Хайми доброе дело сделал, встал на защиту его прав, но я-то тебя знаю. Слишком хорошо знаю.

— Мириам, что за ерунда?

— На самом деле ты скормил ему всю эту еду и выпивку потому, что не простил тот случай, когда он, ничего тебе не сказав, взял за основу сценария рассказ Буки. Ты, как всегда, мстил.

— Да вовсе нет!

1. Всему свое время (*франц.*).
2. Отвратителен, мерзок (*франц.*).

– Ты никогда никому ничего не прощал.

– А ты? – закричал я, просыпаясь. – А ты?

Я проснулся рано, как у меня всегда выходит вне зависимости от того, когда я заснул; встал, страдая от прегрешений вчерашнего вечера: башка трещит, в глазах песок, нос заложен, горло дерет, в легких жар, руки-ноги будто свинцом налиты. Проделал обычные процедуры: принял душ, всунул на место освеженные мятой жвала – хотя бы только для того, чтобы перед бритьем восстановить форму вваливающихся щек, после чего позвонил в рум-сервис, использовав надежный старый трюк, позволяющий добиться, чтобы завтрак принесли бегом. Ему я научился у Дадди Кравица.

– Доброе утро, мистер Панофски.

– Ничего себе доброе! Я заказал завтрак сорок пять минут назад, и вы дали слово, что мне принесут его не позднее чем через полчаса.

– Кто принимал заказ, сэр?

– Буду я еще запоминать, кто там у вас заказы принимает, но я просил свежевыжатый апельсиновый сок, яйца в мешочек, ржаной поджаренный хлеб, чернослив, "Нью-йорк таймс" и "Уолл-стрит джорнал".

Пауза, потом опять ее голос:

– Что-то я не могу найти ваш заказ, сэр.

– Да вы там все, наверное, нелегальные иммигранты, не иначе!

– Дайте мне десять минут.

– Смотрите только, чтобы мне не пришлось звонить вам в третий раз!

Через двенадцать минут завтрак был у меня на столе и официант рассыпáлся в извинениях по поводу задержки. Я запил апельсиновым соком чеснок, проглотил таблетки от давления, от холестерина, противовоспалительные, те, что для хорошего настроения на каждодневной жизненной помойке, и шарики витамина С, потом полез в "Уолл-стрит джорнал" справиться, как там поживают мои акции. Так, "Мерк" поднялся на полтора пункта, "Шлумбергер" держится стабильно, "Американ хоум продактс" чуточку соскользнул, "Ройал датч" два пункта набрал, остальные ни то ни се. Как там страница некрологов в "Нью-йорк таймс"? Пусто – ни друга, ни врага. Тут зазвонил телефон. В трубке раздался елейный голосок телепродюсера с Би-би-си (тот еще тип: из тех, что выпрашивают у таксистов пустые бланки квитанций и прибирают к рукам баночки от порционного джема, оставшиеся после завтрака в гостинице). Звонит из вестибюля. Бог мой, я же о нем совсем забыл!

– Я думал, мы договорились на десять тридцать, – сказал я.

– Нет, вообще-то на полдевятого.

Я пересекся с ним пару дней назад в баре "Поло лаундж", где он поведал мне, что делает документальный фильм про тех, кто попал в голливудские черные списки. У меня было настроение покуражиться, и я принялся вешать ему лапшу про всяких этих попавших в опалу типов, с которыми я познакомился через Хайми в Лондоне в тысяча девятьсот шестьдесят первом году, и в итоге согласился дать по этому поводу интервью в надежде, что его увидит Майк. Нет, просто потому что захотелось покрасоваться, понадувать щеки.

Сидя под жаркими лампами, щурясь и симулируя задумчивость, я сказал:

– Сенатор Маккарти был беспринципный пьяница. Клоун. Это бесспорно, однако сейчас, когда охота на ведьм давно отошла в прошлое, задним числом я понимаю, что на него следует смотреть как на самого

проницательного и значительного кинокритика всех времен. Эйджи* перед ним просто мальчик. – Потом, не забыв для эффекта выдержать побольше паузу, я прихлопнул их всех пыльным мешком: – Уж он конюшни здорово почистил, этого не отнимешь!

– Да, честно говоря, – не сразу нашелся, что сказать, телеведущий, – такой трактовки слышать мне еще не доводилось.

Нарочито запинаясь, будто бы с трудом подыскивая слова, я продолжал:

– Для меня лично проблема в некоей внутренней дихотомии: к людям, которых имеют в виду, говоря о "Голливудской десятке", я испытывал большое уважение именно как к людям, в чисто человеческом плане, но не как к писателям даже второго ряда. Как о писателях я не могу говорить о них всерьез. Это была кучка марионеток, которые и в политике-то действовали по чужой указке, а главное, всю энергию вкладывали именно в свою дурацкую, продиктованную виной и стыдом, политическую возню, так что на дело, на творчество у них уже и сил не оставалось. Вот скажите мне, Францу Кафке нужен был плавательный бассейн?

(Один–ноль в мою пользу: кажется, я слышу сдавленный смешок.)

– Я не люблю это говорить, это я только для Би-би-си, эксклюзивно. Истина в том, что, как бы ни были мне неприятны политические взгляды Ивлина Во, я лучше брякнусь на диван с одним из его романов, чем стану смотреть, когда по ночному каналу ТВ в который раз крутят какой-нибудь из их сентиментальных, либерально-предсказуемых фильмов.

И тыры-пыры, тыры-пыры в том же духе. Потом прервался, чтобы поджечь первую за этот день сигару, затянулся, снял очки и, глядя прямо в камеру, говорю:

– Напоследок, чтобы нам всем было о чем подумать, прочту-ка я пару подходящих строчек из Уильяма Батлера Йейтса: "Их лучшее не убеждает вовсе, / Тогда как худшее полно разящей силы". Вот, боюсь, что в те дни оно так и было.

Готово, засандалил! Довольный продюсер поблагодарил меня за оригинальность мысли.

– Материальчик получился – супер! – сказал он.

10

Зазвонил телефон, я даже испугался – никто не знал, что вчера я поехал на дачу. Это, конечно, была Кейт.

– Откуда ты узнала, что я здесь? – спросил я.

– Интуиция. Наитие. Слушай, мы ведь в среду вечером разговаривали! Что тебе стоило сказать, что уезжаешь? Звоню Соланж – та тоже понятия не имеет, куда ты делся. Вашему консьержу...

– Кейт, прости, пожалуйста.

– ...пришлось впустить ее в квартиру! Я так беспокоилась – с ума чуть не сошла.

– Да, надо было позвонить. Каюсь.

– Не стоило бы тебе сейчас там по лесам слоняться. Ни к чему, да и не на пользу.

– Это уж, дорогая, позволь мне самому судить.

— И вообще. В Монреале тебе делать больше нечего. Майкл в Лондоне. Савл в Нью-Йорке. Ты же не король Лир, которого все дети выгнали. Можешь хоть завтра к нам переехать. Я позабочусь о тебе.

— Боюсь, что я чересчур закоснел в своих привычках, чтобы перед кем-то отчитываться. Даже перед тобой, Кейт. Кроме того, у меня пока что друзья здесь. Но я обещаю приехать навестить тебя. Скоро. Может, на следующий уик-энд.

Нда, только придется тогда сидеть и слушать бесконечные разглагольствования Гевина о необходимости реформы налогообложения. Потом вникать в сюжет последнего кинофильма, который он посмотрел. Подчиняясь приказу Кейт, он сводит меня на стадион "Мэйпл лиф гарденс" и будет с наигранным энтузиазмом смотреть хоккей.

— Между прочим, ты знаешь, что я тут нашел в старом ящике? Твою тетрадку с сочинениями за пятый класс.

— Продай дачу, папа.

— Нет, Кейт. Пока не могу.

Не могу, потому что мне необходимо время от времени удаляться в свой домик у озера, на место вменяемого мне преступления, чтобы побродить со стаканом в руке по пустым комнатам, где звучал когда-то смех Мириам и радостные вопли детей. Я тут листаю древние альбомы с фотографиями и, как старый дурак, хлюпаю носом. Вот мы с Мириам на старинном мосту "Понте Веккьо" во Флоренции. А вот на террасе кафе "Золотая голубка", где я рассказывал ей про тот раз, когда сидел там с Букой и Хайми Минцбаумом. Вот Мириам сидит на нашей кровати, тихая и безмятежная, и кормит грудничка Савла. Я играю ей на пианино ее любимого Моцарта. А теперь сижу, слезы катятся у меня по щекам, а я нянчу, прижимаю к груди ее старые садовые галоши. Или нюхаю ее ночную рубашку, которую спрятал, когда Мириам собирала вещи. Представляю себе, что вот так меня и найдут когда-нибудь. Брошенного мужа. Умершего от тоски. С ее ночнушкой, прижатой к *шнобелю*.

— Что это там старый *аид* в кулаке зажал? — спросит профессор Блэр Хоппер, бывший Гауптман. — У него там что — номер счета в швейцарском банке на старой тряпке записан?

— Мой бедный, любимый, прости меня, — заплачет Мириам и, упав на колени, прижмется щекой к моей холодной руке. — Ты был прав. Он *поц*, *чмо* и *шлепер*!

Тут я восстаю из мертвых, как эта — как ее звали-то? — этакая была завлекушечка [Глен Клоуз. — *Прим. Майкла Панофски*], якобы утопленная в ванне в том фильме с сыном Кирка Дугласа, таким же уродом, как и его папаша, только у меня в руке не будет ножа. А, вот: "Рядовое влечение". [Фильм называется "Роковое влечение", там действительно играет Майкл Дуглас. Снят студией "Парамаунт" в 1987 году. Только в северной Америке его кассовые сборы составили 156 645 693 доллара. — *Прим. Майкла Панофски.*] Я поднимаюсь и дрожащим голосом говорю: "Я прощаю тебя, дорогая!"

Нельзя сбиваться на жалость к себе. По многим причинам. Хотя, конечно, соблазнительно. Однако частенько в такие моменты мои грезы вдруг пронзает голос Второй Мадам Панофски, которая тоже ведь со мной здесь жила:

— Я тебе что, не нравлюсь, а, Барни?

Оторвав взгляд от книги, я хмурюсь, всем своим видом показывая, что мне помешали, и говорю:

— Ну что ты, нравишься, почему нет?

— Ты презираешь моих родителей, которые никогда не делали тебе ничего плохого. Это ведь ты вытворил, правда же?

— Вытворил что?

— Послал моей бедной матери письмо на бланке канцелярии Букингемского дворца (откуда ты только добыл его?), где говорилось, что ее кандидатура рассматривается на предмет вручения ей к Новому году Ордена Британской империи за ее благотворительную деятельность.

— Ничего подобного я не делал.

— Она целыми днями ждала у окошка, когда придет почтальон, а потом ей пришлось отменять прием, который по этому случаю уже был запланирован. Наверное, ты был доволен, что унизил ее так жестоко.

— Да не я это! Клянусь!

— Барни, мне бы хотелось, чтобы ты дал нам шанс. Сказал бы, что́ мне сделать, чтобы ты был счастлив.

— Да счастлив я, счастлив, счастлив.

— Так почему же ты со мной даже не разговариваешь?

— Поправь меня, если я ошибаюсь. Сейчас-то мы что с тобой делаем? Разве не разговариваем?

— Я говорю, ты слушаешь или делаешь вид. Вон — даже книгу не отложил.

— Вот. Отложил. И что дальше?

— Да ничего, иди ты к черту, нужен больно!

Здесь я искал уединения, но, когда стал печально знаменит, вокруг повадились маячить какие-то машины, из которых выходили люди поглазеть на дом убийцы. К берегу близко подходили катера и глушили подвесные моторы, чтобы всяким мерзавцам проще было вставать и щелкать фотоаппаратами. Однако в самом начале второго супружества мне и впрямь удавалось иногда спрятаться здесь от жены.

— Дорогая, в этот уик-энд, мне кажется, тебе не хочется ехать на дачу. Сейчас самые слепни. Да и комарье после этих дождей слетится тучами. Сходи лучше на свадьбу к Сильверманам. За меня извинись, а я там вызову Бенуа — пусть придет, починит крышу, а то ведь течет!

К тому времени моего отца уже выперли из полиции на пенсию, и он иногда сваливался ко мне как снег на голову — правда, далеко не каждый уик-энд.

— С моим-то богатейшим опытом я мог бы запросто устроиться куда-нибудь в охрану, если бы эти *хазеры* не отобрали у меня лицензию на оружие.

— А почему они ее отобрали?

— Почему-почему. Потому что моя фамилия Панофски, вот почему.

Дошло до того, что Иззи стал звонить высокопоставленному чину из Главного управления полиции провинции Квебек, который когда-то был его шофером.

— Чуть не месяц прошел, а я все не мог до него дозвониться. Ну, думаю, неужто не соображу, как его на чистую воду выманить. И сообразил, а то нет! Попросил одну подружку, чтобы своим голосом сказала, что она оператор, а звонок междугородний, из Лос-Анджелеса — простое человеческое любопытство, ты ж понимаешь, он-то не ожидал, ну и ответил. Я говорю, слушай, ты, жопа с ручкой, ты что там о себе вообразил? Если бы я звонил папе римскому, и то быстрее бы к нему пробился. Он говорит: ох, Панофски, я сейчас так занят, так занят! А я говорю: не засирай мне мозги, когда ты у меня служил, ты был не очень занят. Мне,

говорю, не нужно никаких особых привилегий. Но погляди вокруг — в этом городе у каждого паршивого латиноса есть разрешение, а я ищу работу в охране, и без револьвера я голый. Ну, в общем, расколол его на это дело. Теперь все в порядке, и мне отдали два револьвера, моих любимых. Один короткоствольный — красавец! — а второй "тайгер". В общем, теперь у меня и эти, и еще я купил два ствола: вот, один оставляю тебе, кладу в ящик тумбочки у кровати, понял?

— Да на кой он мне?

— А вдруг кто-нибудь вломится — ты же черт знает в какой дали тут от всего живого, — ну, и сделаешь ему продувку мозгов.

На большинство уик-эндов, чтобы не сидеть в мучительной тиши, Вторая Мадам Панофски приглашала к нам своих родителей либо других столь же нежеланных гостей. Я в свою очередь для самозащиты выработал некоторые особые летние ритуалы. Исчезал, например, в озере на час или два с маской и ластами, возился там под водой, выискивая стаи окуней. Под предлогом того, что я слишком мало двигаюсь, слабею и жирею, каждое субботнее утро в любую погоду клал в рюкзак бутерброды с колбасой, немного фруктов, бутылку виски, термос с кофе и книгу, садился в свое еловое [Кедровое. — *Прим. Майкла Панофски*] каноэ и плыл, как этакий современный Робинзон, на ту сторону озера, где большая гора. Греб и во всю глотку орал — либо "Спят-ка злые, злые псые, мявчи екаты — йе!", либо "И бинго, и банго, и бонго! Я требую высылки в Конго!.."

Гора, которая тогда еще значилась на картах как Орлиная Голова, давно переименована и называется теперь Монгру в честь оголтелого расиста аббата Лионеля Гру — его здешние сепаратисты почитают теперь как героя. Взобравшись на вершину, я устраивался на поляне в тени навеса, который сам когда-то построил; там я завтракал, попивал виски и читал, пока не засну.

В дом возвращался обычно уже в хорошем подпитии и под предлогом головной боли иногда ухитрялся избежать как общего обеда, так и следующих за ним игр в шарады или "эрудит". Потому что, сев за семейный стол, я неизбежно тут же ссорился с тестем, который провозглашал, например, что Ричард Никсон во время "кухонных дебатов" с Никитой Хрущевым в Москве был выше собеседника на голову.

— Папа хочет предложить твою кандидатуру для членства в клубе "Элмридж".

— Что ж, с его стороны это очень мило, только мне-то зачем? Я не играю в гольф.

— Откровенно говоря, — вступает теща, — я вас не понимаю: это же ради вас — вы сможете там знакомиться с нужными людьми, завязывать контакты, как-то восполнять отсутствие тех возможностей, которыми люди нашего круга пользуются не задумываясь. Вот сын мистера Бернарда, например. Он член клуба. И Харви Шварц тоже.

— И мы поигрываем иногда втроем, — приосанивается тесть.

— Смотрите, как это пошло на пользу тому же Максиму Гольду, а он в гольф тоже не играет. Ведь когда мальчишкой приехал из Венгрии, он еле говорил по-английски!

Довольно гнусный этот Гольд, ставший теперь невероятно богатым, управлял тогда фармацевтической компанией, и самым ходким товаром у них была плазма крови.

— Откровенно говоря, — ответил я, — я не хотел бы принадлежать к клубу, куда принимают таких, как Максим Гольд, который делает деньги

на крови. Более того, — тут я поглядел на тестя с самой вежливой улыбкой, какую сумел изобразить, — я не способен понять, как это взрослые мужчины, во всем остальном вполне зрелые, могут тратить целый вечер на то, чтобы заталкивать в лунку маленький белый мячик. Только подумаешь об этом, и никакой веры в человечество не остается, вы так не считаете?

— Это шутка, папа, он тебя нарочно дразнит.

— Да ладно, что ж я, шуток не понимаю, что ли? Но там по крайней мере мы на свежем воздухе...

— Не отравленном сигарным дымом, — вставляет теща, обмахиваясь газетой.

— ...наслаждаясь тем, что дарит нам благодетельная мать Природа, не выясняем между собою отношения на кулаках, как это делают хулиганы, играющие в хоккей. Что скажете на это, Барни?

Да, многое у меня связано с этой хижиной, она вся так и вибрирует от воспоминаний. Вот, взять хотя бы такое, к примеру:

Однажды летним вечером — ну да, конечно, это же всего два года назад было! — сидел я в кресле-качалке на веранде, которой дом весь опоясан вкруговую. Курил "монтекристо", потягивал коньяк и пребывал в полном довольстве и расслабленности, вспоминая все то хорошее, что со мной здесь происходило, как вдруг послышался хруст гравия под шинами автомобиля на подъездной дорожке. Это Мириам, подумал я, и во мне вся душа взмыла к небу. Мириам вернулась! Тут прямо передо мной остановился двухдверный "мерседес" и оттуда неловко выполз разряженный как картинка *ойсгешпройбельт*[1] с неуверенной улыбкой на физиономии. А сам тщедушненький такой, костлявый старикашка, причем явно без понятия о том, насколько он глупо выглядит. Это оказался бедняга Норман Чернофски, давно ушедший на пенсию из своего Нью-Йоркского университета и растерявший остатки когда-то пышных седых волос. Теперь Норман носил парик.

— Черт бы меня побрал, — проговорил я, не придумав ничего уместнее.

— Я сюда приехал, потому что хочу, чтобы вы услышали, как это дело понимаю я. Мне кажется, претендовать на это вы в полном праве.

Бедный, простодушный, кроткий Норман! Он постарел, весь сморщился, однако так и остался, как потом выяснилось, склонен к истерической сентиментальности. Наряд его был, конечно, диковат, Норман выглядел в нем карикатурой на альфонса, но, увидев на его штанах пятно от соуса, я эти *шматас* ему простил.

— Прежде чем вы начнете говорить, — сказал я, — хочу предупредить вас, что я недавно общался с вашей женой.

Потом я пригласил его в гостиную.

— Вы общались с Флорой. Или вы думаете, я сам о ней не волнуюсь?

Норман начал с того, что напомнил мне о нашей встрече в вестибюле гостиницы "Алгонкин", произошедшей бог знает сколько лет назад и словно на другой планете, когда я подписал отказ от прав на Кларины работы, про которые мы оба думали, что они коммерческой ценности не представляют. Однако, к обоюдному нашему удивлению, Кларина репутация вдруг взлетела в поднебесье, и книжка рисунков пером, которые она машинально корябала, попивая кофе, стала год за годом расходиться ты-

1. Разодетый, расфуфыренный человек (*идиш*).

сячами экземпляров, так же как и ее "Стихи мегеры", переведенные на множество языков. "Фонд Клары Чернофски", торжественно основанный как, скорее всего, бесполезный жест любви и памяти, начал аккумулировать миллионы. Вначале офис фонда помещался в крошечной клетушке, служившей Норману кабинетом, он ни свет ни заря садился там под голой лампочкой и выстукивал ответы на корреспонденцию на портативной пишущей машинке, строго учитывая каждый цент, потраченный на бумагу, конверты, ленту для машинки, скрепки и копирку. Да-да, копировальную бумагу — вдруг кто-то там среди вас найдется достаточно старый, чтобы помнить, с чем ее едят. А как же! В те дни мы не только копиркой пользовались, нам, когда мы звонили по телефону, отвечали настоящие человеческие существа, а не электронные машинки с записанными на них всякими "ха-ха". В те стародавние времена не надо было становиться инженером по космической технике, чтобы справиться с прибором для включения и выключения собственного телевизора, — а то придумали какую-то замысловатую хреновину с двадцатью кнопками. Ну на кой, спрашивается, черт их так много! Врача вызывали на дом. Равинами были всегда мужчины. Детей растили мамы, а не содержали их, как поросят, в сетчатых вольерах центров по уходу. Слово "софт" в странах, где понимают по-английски, означало чулки-носки-перчатки. И не было разделения зубных врачей на специалистов по деснам, по коренным зубам и по передним, по сверлёжке и по удалению — один зубодер делал все. А если официант вдруг плеснет на твою подружку горячим супом, хозяин предлагал оплатить химчистку плюс ставил на стол бутылку за счет заведения, и обиженная дамочка не вчиняла иск на квинтильон долларов — экая, понимаешь ли, цаца: у нее от этого "вкус к жизни пропал"! Если ресторан был итальянским, в нем подавали что-то похожее на макароны, иногда даже с котлетами. Не было таких блюд, как спагетти с копченой семгой или лапша "лингвини" всех цветов радуги, и не подавали всякие там рожки-ракушки с вегетарианской зеленоватой блямбой сверху, которая выглядит в точности так, будто пес наблевал. Опять я разошелся. Все-то меня заносит! Извините.

Душная нора, служившая офисом фонда, много лет назад уступила место пятикомнатным апартаментам на Лексингтон-авеню; теперь там постоянно трудится восемь человек, не считая юрисконсультов и менеджера по инвестициям, настоящего кудесника фондовой биржи. Миллионы скапливаются в фонде не только благодаря гонорарам и умелому размещению капитала, много денег поступает и в виде пожертвований. Когда Норман перестал со всем этим справляться, он взял в совет директоров двух афроамериканских феминисток — поэтессу Джессику Питерс, чьи стихи печатались в журналах "Нью-Йоркер" и "Нэйшн", и ученую даму Ширли Уэйд, преподававшую "культурологию" в Принстоне. Две эти кошмарные сестренки, в свою очередь, притащили историчку Дорис Мандельбаум, сочинившую собственный и, мягко выражаясь, спорный вариант *ейстории* "От Боадицеи до Мадонны".

Как раз эта самая мисс Мандельбаум и затеяла бунт, заметив, что у них в фонде выстроена все та же набившая оскомину фаллократическая структура, этакий, можно сказать, "гендерный оксюморон" — как это так! нельзя, чтобы главным начальником феминистской организации был мужчина, а значит по сути своей сторонник патриархальной семьи. Да и по какому праву? Только потому, что он Кларин

родственник? А где он был, когда она пала жертвой мужского бесчувствия? Посрамленный Норман с готовностью согласился уступить главенство, и его место передали ученой даме Ширли Уэйд. Однако Норман продолжал держать руку на пульсе, а глаз — на финансовой отчетности. В тысяча девятьсот девяносто втором году он на совете директоров обычным своим робким, извиняющимся тоном все же задал вопрос: так ли уж нужна была сестренкам прогулка на литературную конференцию в Найроби с пикником в Париже — ведь на все это уходят средства фонда!

— Наверное, если бы мы съездили в Тель-Авив, вы бы не задавали подобных вопросов? — услышал он в ответ.

Потом Норман имел наглость усомниться в законности оплаты фондом их обедов во "Временах года", в "Цирке", "Лютеции" и "Русской чайной".

— А что, для обсуждения дел нашего фонда надо собираться в грязной забегаловке где-нибудь в Гарлеме и есть там свиной рубец? Это будет кошерно?

— О господи, — проговорил Норман, покраснев.

— Хватит уже тут перед нами потрясать пенисом, Норм!

— И вообще, нам надоела ваша снисходительная манера...

— ...и ваши сексистские намеки...

— ...и ваш расизм!

— Как вы можете обвинять меня в... Да разве не я взял в совет директоров и вас, и вас, Ширли?

— *Ой-вей, бубеле*[1], вам же от этого было хорошо внутри, разве не так? Это согревало ваши *кишкес*!

— Можно было, придя домой, сказать женушке: у нас теперь даже *шварцики* в правлении есть!

В результате на экстренном заседании правления, проведенном (без Нормана) годом позже в "Прибежище басков", они всё решили и послали ему заказное письмо с уведомлением, что он выведен из состава правления фонда имени Клары Чернофски, который отныне будет именоваться фондом имени Клары Чернофски для Женжчин.

— Черт возьми, Норман, почему же вы не обратились к адвокату и не выкинули вон всю эту шатию?

— Да это запросто, только они тогда возьмут да и напишут письмо в "Таймс", в котором заклеймят меня как расиста.

— Ну и что?

— Так ведь они будут правы, как вы не понимаете? Я перед ними раскрылся как расист; вы тоже расист, только я теперь признаю это, они мне на это глаза открыли! И я сексуально предубежден. И я лицемер. На работу в университет я — да, ходил с нашивкой "ВИЧ+" на пиджаке, но вы знаете что? Я ведь перестал посещать тот итальянский ресторанчик на Девятой улице, куда мы с Флорой наведывались годами, а почему? Официанты там многие голубые, и некоторые вдруг так исхудали! Что если кто-то из них, чистя на кухне картошку, порежет палец и не обратит на это внимания?

Эти женщины заставили меня получше к себе присмотреться. И что вы думаете? Пришлось признать, что мне действительно было хорошо

1. Дорогуша (букв.: бабуся) (*идиш*).

внутри, я чувствовал себя таким благородным, когда взял двух афроамериканок в совет директоров, ведь в глубине души я чего от них ожидал? — благодарности! Вы знаете, я им сказал однажды, что и сам ненавижу Шамира, и вообще я за образование палестинского государства, это правда, но в чем тут подоплека, вот вопрос! Может, я просто пытаюсь к ним подольститься? Смотрите: Чернофски такой хороший еврей! Он не выкручивает руки арабским детям на Западном берегу. Однажды на правлении Джессика приперла меня к стенке — признавайтесь, мол: если увидите, как трое моих сыновей идут к вам, скажем, по Сорок Шестой улице, вы же срочно перейдете на другую сторону — вдруг ограбят? У всех троих те самые прически — ну, знаете: с плоской макушкой, — но один стипендиат Джульярдской консерватории, а двое других учатся в Гарварде. Идет дождь, они ловят такси, и все машины проносятся мимо. Причем если бы таксистом был я — я, может, поступал бы так же. И вы тоже. Джесси Джексон* как ляпнет что-нибудь насчет засилья евреев — все сразу в шоке, а я вот слышал, что вы, например, называете афроамериканцев *шварциками*, и думаю, выйди ваша дочь за такого замуж, вы бы не бросились на радостях открывать шампанское. Я также вынужден признать, что они обе — и Джессика Питерс, и Ширли Уэйд — куда умней меня. Но вместо того чтобы радоваться... Вот! Опять я за свое. Радоваться, не радоваться! — вскричал он, молотя себя кулаком по лбу. — Какое я имею право вообще судить о наличии или отсутствии умственного превосходства афроамериканцев? Абсолютно никакого. Но в то время я втайне возмутился. А потом думаю: столько лет проработав, я выше ассистента в университете так и не поднялся, а вот Ширли в Принстоне — профессор, хотя на кафедру ее взяли только по закону о квотировании меньшинств. Да, ну и что? И Ширли, и Джессика обе шустрые и за словом в карман не лезут. Я на собраниях правления не смел рта открыть, так они меня затуркали — своими колкостями они с кого угодно спесь собьют.

Едем дальше. Когда они проголосовали, чтобы им выплачивать по тридцать тысяч долларов в год за то, что они участвуют в заседаниях правления, я встал на дыбы, но — слушайте! — как же я сам себе при этом нравился! Я прямо чувствовал этот вкус. Вкус денег. А Джессика, с этакой еще улыбочкой, и говорит: а что, Норман, если это вас так оскорбляет, вам, наверное, деньги вовсе не нужны, так откажитесь от зарплаты в фонде! Нет, сказал я в ужасе, я не могу этого сделать, потому что тогда создастся впечатление, будто я критикую моих уважаемых коллег. Это может быть истолковано как моральное их осуждение.

Хотите обо мне услышать вещи еще более стыдные? Пожалуйста. Джессика не только умница, она еще и красавица, и про нее говорят, что она спит со всеми подряд. А я вот никогда не занимался любовью с негритянкой. Господи, о чем я говорю? В свои шестьдесят три года я вообще никогда не спал ни с кем, кроме моей Флоры. Мог умереть и так и не узнать — вдруг я жутко обделен в жизни и с кем-нибудь другим было бы много лучше. Короче, на заседаниях правления я стал ловить себя на том, что поглядываю на Джессику — на ее груди, на то, как она кладет ногу на ногу, и она замечала это — могу поклясться, что замечала. Сидит себе в короткой юбочке, будто не видит, как она у нее задралась, — сидит и этак умственно рассуждает о Генри Джеймсе, Марке Твене и такие закладывает виражи, такие идеи подкидывает, я бы ничего похожего в жизни не придумал за все тридцать лет преподавания, и тут у меня что? — эрекция! Для наших собраний я заказывал ланч в ресторане внизу, и однажды принес-

ли куски курятины с картофельным салатом; Ширли только хотела передать мне тарелку с четвертью грудки, а Джессика ее руку отводит и говорит: я, говорит, думаю, Норман не об этом мечтает — ему бы *черного* мяса! И обе разражаются утробным смехом, а я сижу весь красный. Боже, как мне стыдно! Я такая свинья. А Дорис — что ж, и Дорис тоже, я не выносил, когда она принималась меня поддразнивать, но она ведь права была насчет меня. Я не хотел бы, чтобы моя дочь стала жить с другой женщиной. По правде говоря, мне даже и в одной комнате находиться с лесбиянкой или гомосексуалистом неловко. Почему? Я скажу. Вот, прямо словами Дорис: я не уверен в своей мужественности. Ну например: если бы я лежал в постели с закрытыми глазами и у меня бы отсасывал мужчина (простите за терминологию) — разве я почувствовал бы разницу? Разве не кончил бы точно так же? Я как о чем-нибудь подобном начну думать, у меня от страха аж горло перехватывает. Но ведь и с вами наверняка то же самое — ну, насчет того, что, если бы это делал мужчина, — вот вы и отпускаете шуточки по поводу педиков, а я — нет, я больше — ни-ни!

О'кей. Хватит. Больше Норман увиливать не будет. Ведь у вас какой вопрос на языке вертится: почему я — кавычки открыть — украл — кавычки закрыть — эти деньги. Да не было это воровством, я взял то, что мне причиталось. Нет. Меньше, чем причиталось. Судите сами: если бы не я, кто бы когда услышал о Кларе Чернофски? Это вы, что ли, печатали ее стихи за свой счет? Вы трясли этой по-тихому напечатанной книжонкой перед одним издателем, перед другим — в те дни, когда для них я был как грязь под ногами? И не вы же рассылали умоляющие письма критикам! Сколько бы стоил литературный агент? Десять процентов, я думаю, а может, и пятнадцать. Самое идею фонда кто высказал, как не я? И все миллионы, что скопились там и растут, умножаются день ото дня, — все это благодаря мне. И каждый год мы раскошеливаемся на сотни тысяч долларов в виде грантов, стипендий, да бог знает чего еще, у меня слов не хватает, и как вы думаете, хотя бы раз мне кто-нибудь сказал спасибо? И думать забудьте. И вот я сложил все те часы, что я потратил за многие годы, и прикинул — ведь стоит же моя работа пятьдесят долларов в час, а это меньше, чем заряжает какой-нибудь хренов водопроводчик, не говоря уже об адвокате, и в сумме вышло семьсот пятьдесят тысяч. Пусть это называют кражей, растратой, мошенничеством, начхать, мне это причиталось. Кстати, хотите посмеяться? Сейчас посмеетесь. Только налейте мне еще.

— Мне кажется, вам достаточно, Норман.

— Ему кажется, мне достаточно. Из ваших уст слышать забавно, — и он протянул мне бокал.

Я налил ему чуть-чуть, обильно разбавив водой.

— Зашел я перекусить в "Лютецию". Меня усадили у двери в кухню, на самом пути официантов, которые снуют туда-сюда, а я и не знаю — ни что заказывать, ни какое вино с чем пьют. Вы любите икру? В романах я про нее читал тысячу раз, а ведь какая соленая, зараза! Не понимаю, из-за чего *дер гевалт*. Я это к тому что... вы как — заметили бы, что на мне *шайтель*[1], если бы не знали меня раньше?

— Вы у меня переночуете, Норман?

— Да я уже номер снял в мотеле.

— Вряд ли это было необходимо.

1. Сыр-бор... парик (*идиш*).

— Во-первых, я не был уверен, что вы здесь и что вы меня не прогоните. Во-вторых, я путешествую с молодой женщиной, вам она может не понравиться, но это уж мое дело, если не возражаете.

Тут в нем слезливость уступила место смешливости.

— Представляете, Дорин читает только комиксы "Арчи"! В машине эта *юнге-цацка* слушает рок-музыку, жует резинку и надувает из нее пузыри. Я зверею от этого. А в мотеле мы должны каждый день остановиться не позже чем в шесть тридцать, чтобы она не пропустила по телевизору очередную передачу викторины "Своя игра"! И раздеваться перед ней неловко — этакий тощий старикашка! Простите, что спрашиваю, но как у вас с варикозом вен?

— Да есть немного.

— Барни, Барни, я уже даже не пойму, кто я, куда, зачем, что я делаю! Сяду в уборной и плачу, открыв все краны, чтобы она не услышала. За Флору жутко беспокоюсь, и дочь меня теперь ненавидит, а когда меня, наконец, поймают, сдохну ведь в тюряге с обычными уголовниками. А вы-то как нынче? — господи, я ведь даже не спросил!

— Вы уже все деньги потратили?

— Думаю, пока у меня ушло тысяч двести, может, меньше. А какая разница?

— Вы не хотите вернуть оставшееся?

— Я взял только то, что по праву принадлежало мне.

— Ответьте мне на вопрос.

— Ответьте ему на вопрос. Не пойду я в тюрьму! *Золь зайн азой*[1].

— Если вы решите вернуть то, что осталось, я могу поехать в Нью-Йорк и поговорить с правлением. Предложу им признать такое возмещение при условии, что они откажутся от обвинений в ваш адрес. Уверен, они на это согласятся.

— Как я могу на вас это взваливать?

— Я богат, Норман.

— Он богат. Надо было мне телевидением заняться, продюсировать дерьмо для болванов.

— Норман, вы начинаете сейчас походить на вашего дядюшку Хайма, *алав ха-шолем*.

— Я вам признателен за это предложение. Правда признателен. Но Флора никогда меня назад не примет. Как я могу винить ее? Да и к старым друзьям я уже после такой истории не сунусь, — сказал он и внезапно встал. — У вас, кстати, нет конфеток каких-нибудь? Орешков или шоколадки — в таком роде, а? Я обещал ей что-нибудь привезти, но сейчас все уже будет закрыто.

— Сожалею. Нет. Норман, приходите завтракать, поговорим еще. Насчет того, чтобы возместить недостающие деньги, — это я серьезно. Могу и с Флорой поговорить.

— Может, есть шоколадное масло? И хлеб в нарезке, а?

— К сожалению, нет: я теперь уже не так часто сюда наезжаю. Кстати, неплохо бы мне проветриться. Давайте, вы оставите вашу машину здесь, а я подкину вас до мотеля.

— Да это ж всего пару миль отсюда, может три. Я вполне в состоянии.

Надо было мне настоять.

1. Будь что будет (*идиш*).

В фонд имени Клары Чернофски для Женжчин
Лексингтон-авеню, 615,
г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк,
США

От Джереми Каца
Председательствующего существа Объединения "ГНУС"
Главпочтамт, а/я 124,
г. Монреаль, провинция Квебек,
18 октября 1992 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемые руководящие существа!

Всем приветик. Обращаюсь к вам за грантом от имени ГНУС (Гендерно-Независимых Устроителей Существования), однако, прежде чем приступить к делу, хочу рассказать вам кое-что о нашей организации, о своей мелкой персоне и о моих куда как более значительных друзьях.

Я нахожусь на иждивении у Джорджины, которой очень горжусь — она единственный сотрудник женского пола в подразделении монреальской полиции, предназначенном для вооруженной борьбы с бандитами и террористами. Этого положения она добилась несмотря на ситуативные сложности: ей вслед свистят, строят глазки и пристают всеми иными гендерно-провокативными способами. Вот что было хотя бы на прошлой неделе: выходит она из Десятого отдела в штатском (облегающая кофточка, микроюбка, черные колготки в сеточку и туфли на шпильках), так дежурный — представляете? — поднял брови и говорит: "Ну, Джорджи, ты прямо как никогда сегодня выглядишь!"

Что до меня, то я поддерживаю, что называется, огонь в очаге и вожусь с нашими детьми, Оскаром и Радклифом. Я обожаю Джорджину, однако порою с ней бывает трудновато. После работы Джорджина иногда заходит в "Подвальчик Сафо" (это ее любимое прибежище), там с кем-нибудь знакомится и приглашает ее домой, *не позвонив мне*. Я, в общем-то, не возражаю, но не люблю, когда меня застают в затрапезном виде. Уж всяко я предпочел бы, чтобы она, предупредив звонком, дала мне возможность переодеться во что-то более soigné[1], не говоря уже о том, что они приходят, а на столе *бумажные салфетки*!

Вчера вечером Джорджина позвонила сказать, чтобы я не ждал ее домой к обеду. Что-то там типа того, что две женжчины из патрульно-постовой службы Десятого отдела, Брунгильда Мюллер и Элен Дион, решили связать узелком свои судьбы и съехаться вместе. Ну, и все женжчины отдела устроили им девичник, заказав пару столиков в "петушатнике" — баре с мужским стриптизом к востоку от центра. Раз так, я сел побаловать себя редким удовольствием — *утренней газетой*. А там на первой странице спортивного обозрения — фотография Майка Тайсона, преступника, осужденного за изнасилование, который вскоре снова намерен претендовать на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, и тут меня внезапно осенила идея.

Сегодня утром я постелил на стол лучшую скатерть из ирландского льна и пригласил все руководство ГНУСа на чай с печенюшками без сахара.

1. Приличное (*франц.*).

Не люблю бахвалиться, но что было, то было — мою идею все встретили на ура. Вот в чем она состоит. Чтобы не растекаться по древу: не правда ли, будет просто magnifico[1], если Майка Тайсона, врага всего женского рода, человека, на которого с омерзением смотрят все представители очевидных меньшинств, кто бы они ни были, *вызвала бы на бой и отняла у него титул чемпиона мира в тяжелом весе женжчина-боец!* Это, несомненно, стало бы ПОВОРОТНЫМ ПУНКТОМ всей ЕЙСТОРИИ. С этой целью ГНУС берется прочесать страну от моря до моря в поисках такой женжчины-претендентки. Но наши финансовые возможности ограничены, потому-то мы и обращаемся в фонд имени Клары Чернофски для Женжчин с просьбой о предоставлении нам гранта в 50000 долларов. Мы добавим эти средства к тем, что собираем, продавая выпечку и устраивая благотворительные лотереи. Вы можете принять участие в выдвижении Первой Женжчины Чемпиона Мира в Тяжелом Весе. Ну как?

ГНУС с нетерпением ждет вашего ответа.

Искренне ваш,

Джереми Кац,
ГНУС.

12

Я сидел в офисе, скучал и, от нечего делать сняв трубку, услышал, как секретарша в приемной говорит:

— Добрый вечер. "Артель напрасный труд" слушает.

— Соедините меня, пожалуйста, с Барни Панофски.

— Как вас представить?

— Мириам Гринберг.

— Если вы актриса, мистер Панофски предпочел бы получить от вас письмо.

— Пожалуйста, скажите ему, что на проводе Мириам Гринберг, будьте добры.

— Сейчас посмотрю, здесь ли он.

— Мириам, вы в Монреале?

— В Торонто.

— Какое совпадение! Я как раз завтра буду в Торонто. Как насчет пообедать вместе?

— Вы невозможны, Барни. Я звоню потому, что вчера пришел ваш подарок.

— А.

— Как вы решились на такую фамильярность?

— Вы правы. Мне не следовало этого делать. Но я как увидел это в витрине "Холт Ренфрю", сразу подумал о вас.

— Я отсылаю назад.

— Как, в мой офис?

— *Можете не волноваться.*

— Я же сказал — извините.

— Этому надо положить конец. А то получается, будто я дала вам повод.

— А не лучше ли встретиться и все это обговорить?

— Тут нечего обговаривать.

1. Великолепно (*итал.*).

— Ну зачем же так сердиться!

— Вы за кого меня, вообще, принимаете?

— Ах, Мириам, Мириам, вы не поверите, но, по правде говоря, я только о вас и думаю.

— Так — стоп. В моей жизни, между прочим, присутствует мужчина.

— *Но вы ведь не живете вместе, правда?*

— А вам-то какое дело?

— Я жуткий зануда. Понимаю. Так почему бы нам не встретиться за ланчем и...

— Я же вам сказала...

— Постойте. Встретимся за ланчем. Только один раз. И если вы решите, что не хотите меня больше видеть, — ну, так тому и быть.

— Честно?

— Клянусь!

— Когда?

— Скажите, когда вам удобно, и я приду.

— В среду. В кафетерии с комплексными обедами на крыше гостиницы "Парк Плаза".

— Нет. Внизу. В гриль-баре "Принц Артур".

13

Вчера вечером я совершил ошибку. Перечитал кое-что из той гнуси, которую, важно надувая щеки, принимал за нечто вроде моей собственной "Apologia pro vita sua"* с этакими еще легкими реверансами в сторону кардинала Ньюмена. Множество отступлений, пустословие — сплошной Барни Панофски в пьяном бреду. Правда, Лоренсу Стерну* подобные излишества сошли с рук, а я чем хуже? Поверьте, со мной вам еще повезло! По крайней мере читателю не приходится ждать до конца книги третьей, пока автор соизволит народиться на белый свет. И вот еще что. Мне не требуется на шести страницах описывать, как переходят поле, а представьте, если бы эту книгу писал Томас Харди! И я умею дозировать метафоры — не то что Джон Апдайк. Когда доходит до описательных пассажей, я восхитительно лаконичен, в отличие от Ф. Д. Джеймс*, писательницы, которой я, между прочим, восхищаюсь. Ее персонаж может войти в комнату с такой новостью, что, как бомба с подожженным фитилем, уже аж шипит — сейчас бабахнет, но Ф. Д. Джеймс ничего вам не откроет, пока не узнаете, какого цвета и из какого материала шторы, какой выделки на полу ковер, какого рисунка обои, что за картины на стенах и какого качества, сколько в комнате стульев и каков их дизайн; потом очень у нее всегда важен вопрос о тумбочках: что за тумбочки у кровати — настоящий ли это антиквариат из лавки древностей в Пимлико или жалкая подделка, купленная в сети магазинов "Хилс". Ф. Д. Джеймс не только одаренная писательница, она еще и *балабуста*, настоящая хозяйка, рачительная и радушная. К тому же очень привлекательная дама, но эту мысль я ни в коем случае не должен развивать, а то сейчас меня опять куда-нибудь занесет. Или еще какой проявится мой недостаток.

По вечерам я валяюсь на своем одиноком ложе, то бишь на диване, скитаюсь по каналам телевизора и предаюсь пьянству, при этом на кофейном столике на расстоянии протянутой руки у меня всегда лежит бинокль.

Он бывает нужен, когда я смотрю "развернутые" интервью с болтливыми политиками, всякими учеными браминами, экономистами, редакторами газет, умными головами от социологии и психологии и другими дипломированными идиотами. Зачем? Затем, что эти интервью у них обычно берут в солидных будто бы кабинетах, и полки позади речистого придурка обязательно ломятся от книг. Сидит, скажем, перед нами прославленный автор новаторского исследования, проведенного на пяти тысячах канадцев, в результате которого выяснилось (ку-ку! ку-ку!), что богатые довольны своей жизнью чаще бедных и реже страдают от недоедания. Или – еще лучше – сексолог (что бы это слово, кстати, значило?), неожиданно осмелившийся предположить, что насильники чаще всего люди одинокие, в детстве сами подвергавшиеся сексуальным домогательствам или выросшие в неблагополучных семьях. Едва какой-нибудь такой умник на экране появится, я тут же хвать бинокль и давай высматривать, что у него за книжки на полках? Если там среди авторов затесался Терри Макайвер, я телевизор сразу гашу и сажусь сочинять письмо на Си-би-си, в котором подвергаю сомнению вкус и компетентность их экспертов.

Вчера спал плохо, проснулся в пять, так что утренних газет пришлось ждать до полседьмого.

Нечто интересное подкинула нам сегодня "Глоб энд мейл". Эльфрида Блауенштайнер, вдова из города Вены, здорово села в лужу. Я понял так, что она регулярно печаталась в колонках брачных объявлений австрийских газет:

> Вдова, 64, 165 см, хотела бы разделить тихую осень своей жизни с симпатичным вдовцом. Люблю хлопотать по хозяйству, работать в саду, хочу о ком-то заботиться, буду верной подругой.

Оказалось, что сия немецкая Мадам Одинокое Сердце – это крашеная блондинка в дымчатых очках, которую помимо всего прочего не оттащить от баденской рулетки и столов для игры в "очко". На ее объявления во множестве откликались одинокие старые дурни, главным образом пенсионеры, а она из них выбирала кто побогаче. По данным полиции, ее доходы от банковских счетов, недвижимости и денежных средств, перешедших к ней в результате изменения завещаний, исчислялись миллионами. Ее излюбленный modus operandi[1] состоял в том, чтобы месяцами по капелюшечке подливать в еду и питье жертвы лекарство от диабета. Это неизбежно приводило клиента к смерти, которая казалась естественной. Пока что бабуся божий одуванчик созналась в четырех убийствах, но у полиции есть подозрение, что в ее, так сказать, шкафу скелетов гораздо больше. Мне это напомнило героя Чарли Чаплина, которого тот сыграл в своем последнем фильме, "Месье Забыл-как-звали" ["Месье Верду" (студия "Юниверсал", 1947) не был последним фильмом Чаплина. Последним был "Графиня из Гонконга" (Чарльз Чаплин, 1967), где главную роль сыграл Марлон Брандо. – *Прим. Майкла Панофски*], – как тот лихо расправлялся со вдовами; интересно, неужели Эльфрида вдохновлялась теми же идиотскими соображениями? А именно: "Что значат жизни нескольких бесполезных старых олухов по сравнению с ужасами этого мира?"

1. Образ действий (*лат.*).

В мою пользу говорит уже хотя бы то, что я никогда всерьез не раздумывал о том, чтобы случайно утопить или отравить Вторую Мадам Панофски, а ведь наши совместные завтраки — это был сущий ад. Удивительно памятливая и болтливая, моя "благоверная" имела привычку за утренним кофе делиться со мной своими последними снами. Одно такое прекрасное утро настолько прочно запечатлелось в моем подчас довольно капризном мозгу, что я помню его по сию пору и не забуду никогда. Постараюсь покороче.

Предыдущим вечером в баре "Динкс" я встретил Джона Хьюз-Макнафтона, с которым мы собирались вместе на хоккей; у меня в нагрудном кармане лежали два билета. Джон был уже навеселе, тут же оказался и Зак Килер, тоже хорошо поддатый:

— Слышь, Барни, а ты знаешь, почему шотландцы ходят в килтах?

— Да мне, в общем-то, по барабану.

— А потому что, когда расстегиваешь молнию, овца может услышать!

Савл, чьи суждения я так или иначе должен учитывать, не одобряет моего хоккейного фанатства.

— В твоем возрасте, — сказал он мне недавно, — уже неприлично за этими балбесами хвостиком бегать.

Но в тот раз на игру я так и не попал. "Динкс" в два часа ночи закрылся, Джон, Зак и я вывалились на обжигающий уши мороз (снег, ветер, все как положено), такси нигде ни одного, и побрели мы пешком в какую-то нелегальную распивочную на Мактавиш-стрит, а уж когда доплелись, от наших пальто в тепле даже пар пошел.

Вполне понятно, что на следующее утро, когда Вторая Мадам Панофски в стеганом розовом пеньюаре присоединилась ко мне за завтраком, мне было не до нее. Прячась за газетой "Газетт", развернутой на спортивной странице, я читал:

Большой Жан Беливо привел...

— Ты знаешь, мне такой сон про тебя тяжелый приснился!

... "Монреальцев" к...

— Ку-ку! Я говорю, мне сон такой...

— Да слышу, слышу.

...убедительной победе со счетом пять...

— Будто мне снова шестнадцать лет — вот не могу только понять, почему в этом сне у меня волосы все еще заплетены в косу с бархатной ленточкой из магазина "Закс" на Пятой авеню, которую тетя Сара подарила мне за месяц до того, как идти выскребаться (ну, ты понял — она аборт делала). Кончилось тем, что бедняжке удалили матку, и от расстройства она тут же наняла частного детектива, чтобы он повсюду ходил и следил за дядей Сэмом. Самый его тяжкий грех, как выяснилось, состоял в том, что вместо занятий по изучению Талмуда у рабби Тейтельбойма он ходил играть в карты в заведение при парикмахерской "Бродвей" на улице Сан-Виатер. Ты ведь знаешь, где это? — как раз по соседству с тем местом, где раньше была кошерная мясная лавка Ройбена, мама у него кур всегда покупала. Ройбен был такой странный! Иногда мама брала меня с собой, так он каждый раз: "И как же это такая красоточка, а до сих пор не замужем?" В общем, чушь какая-то: я в этом сне еще с косичкой, и фигура у меня еще не развитая, но уже будто бы в парикмахерскую хожу — в салон мистера Марио, на Шербрук-стрит, у вокзала Виктория. Кстати, насчет вокзала: ты почему вчера не забрал из ма-

газина абажур? Я третий раз тебя прошу, а ты все обещаешь. Опять забыл? Более важными вещами занят? Ну как же, конечно. А вот скажи я, что в доме не осталось твоего шотландского первача, ты — *зуб даю* – тут же все бросишь и кинешься в магазин. Я у мистера Марио была любимица. "У вас такие прекрасные волосы, и так вьются! — говорил он. — Это *я* должен вам платить за право их укладывать". Он три года назад умер... нет, четыре — от рака яичек (кажется, с этого все началось).

Дрожащей рукой я поставил чашку на стол и прикурил "монтекристо № 4".

— Я удивляюсь, ты когда-нибудь слышал об эмфиземе?

— Ты продолжай, продолжай.

— Это похуже аборта будет — для мужчины то есть — потерять яички, я уже не говорю о том, что это значило для Джины, его жены (бедняжка!). Вот назови любую арию Верди, и Джина запросто могла ее исполнить слово в слово, пока моет тебе волосы. А он уже по всем органам разошелся — этот рак яичек, — так что мистеру Марио живот разрезали и снова зашили — сделать ничего было нельзя. После него остались Джина и двое детишек. Дочка работает теперь в отделе парфюмерии "Ланвен" в "Холт Ренфрю" — вот почему я туда больше не хожу: своей фамильярностью она меня раздражает. Не люблю этого. Меня совершенно не радует, когда она меня при всех зовет по имени, как закадычная подружка, да так громко, что на том конце зала слышно. А младший, Мигель, стал поваром, и, по-моему, он совладелец ресторана "Микеланджело" на улице Монкленд. Ну, там — помнишь? — чуть-чуть пройти от кинотеатра "Монкленд". Я, когда была девчонкой, смотрела там "Навеки твоя Эмбер"* — папа сразу умер бы, если бы узнал. С Линдой Дарнелл, Корнелем Уильде и Джорджем Сандерсом, помнишь? — мне он ужасно нравился. Нам надо бы на днях попробовать сходить в "Микеланджело". Сильверманы были на прошлой неделе и говорят, там и недорого, и вкусно, и между столиками места достаточно. Совсем не так, как в этих твоих любимых бистро на Сен-Дени-стрит, которые, конечно, я понимаю, напоминают тебе Париж, ты заходишь и всех этих французиков тут же о себе оповещаешь, причем громко и по-английски, то есть, как всегда, напрашиваешься на неприятности. Я понимаю, это доставляет тебе массу удовольствия. Они подслушивают, и ты, естественно, устраиваешь представление, изображаешь из себя тупого толстосума — будто бы у тебя счет в швейцарском банке, а прочесть меню по-французски ты не способен. Я помню, как в тот раз ты проорал: "Что еще, к дьяволу, за pâté? Что это такое?", произнеся это слово с ударением на первом слоге. Тебе очень в тот вечер повезло, что тебя не побили. Парень за соседним столом жутко бесился. А в "Микеланджело" Герб ел pasta y fagioli[1], а потом снова лапшу, только на сей раз lasagne по-соррентски. Собственный вес его совершенно не беспокоит, хотя, казалось бы, должен — на второй этаж взойдет, а как будто марафон пробежал. И от волдырей он из-за этого страдает. Даже и в области половых органов. Марша говорила мне: это кошмар, никакой жизни, особенно если пузырь вдруг лопнет. А Марша взяла салатик и телячьи котлеты по-милански — представляешь, это с ее-то щелями между зубов (когда мы вместе учились в школе "Юность Иудеи", она ни за что не соглашалась носить скобки), а ведь туда кусочки

1. Макароны с фасолью (*итал.*).

попадают, я просто не знаю, куда глаза девать. Однажды я проявила заботу, шепнула ей об этом, мы в тот раз были с двумя мальчиками в кафе "Мисс Монреаль"; я была с Сонни Апельбаумом, он хотел жениться на мне, и сегодня — ты только представь — я оказалась бы с мужем, разбитым болезнью Паркинсона. Я ей тихонечко так шепнула на ушко, а в ответ получила такой взгляд, такой взгляд, вот когда взглядом хотят убить, это тот самый случай, и я больше никогда ей об этом не заикалась. Однако ей все же не следует разговаривать с открытым ртом. Ах, прости, пожалуйста. Нет, я правда прошу прощения. В твоих глазах она идеал. На свадьбе у Ротштейнов ты танцевал с ней до упаду. И вы так липли при этом друг к другу, волосок между вами не просунешь. И не думай, будто никто не заметил, что вы где-то пропадали целый час вдвоем. Я знаю. Не надо мне это повторять. У нее немного закружилась голова, и ты повел ее пройтись у воды. Ага, конечно. Только вот согласитесь, сэр Галахад, что, если бы во время танца в обморок упала Норма Флейшер (она, кстати, толстая не потому, что ест много, — это у нее с эндокринной системой проблемы), ты бы и не посмотрел в ее сторону. Пройтись он ее повел. Повел ты ее в лодочный ангар. Ей такое не впервой, она на всех мужиков кидается, так что не думай, будто ты такой особенный. Надо было ей дать тебе открытку с номером, как с теми утками давали в парижском ресторане, куда ты водил меня, в этом, как его... "Тур д'Аржан".

...со счетом 5–2, но это может оказаться пирровой победой...

— Я тебе надоедаю?

— Нет.

— Тогда отложи газету в сторону, пожалуйста.

— Я и так уже отложил.

...пирровой победой, потому что Фил Гойет получил от Стэна Микиты удар клюшкой...

— Ты опять читаешь.

— Ты, кажется, начинала мне рассказывать сон.

— Я знаю, что я начинала тебе рассказывать, и расскажу, но все в свое время. Куда это мы так спешим? Вчера, между прочим, когда ты, наконец, вернулся, ты такой шум устроил! Судя по времени твоего возвращения, хоккей, видимо, длился восемнадцать периодов вместо обычных трех, а главное, как ты так сумел порвать рубашку, вот что мне интересно. Нет. Как раз это мне совсем не интересно. Но это мне напомнило — то есть твое поведение мне напомнило, — что я должна кое о чем с тобой договориться. В пятницу вечером мы идем к моим родителям встречать шабат*, так вот на сей раз ты не отвертишься. Я понимаю, для тебя это тяжкая повинность, придется надеть костюм, зато отец специально для тебя держит виски лучших сортов. Да, вот еще что я забыла. В прошлый раз новая прислуга подала тебе его со льдом. Ей за это голову с плеч, правильно? А если без шуток, то это мне надо язык отрезать — сдуру сказала тебе, что мама не выносит, когда за столом свистят! И чтобы ты не делал этого ни там, ни где-либо еще. *Никогда!* А то садится вечером в пятницу со всеми за стол, мы еще не покончили с *гефилте фиш*[1], а он уже вообразил себя кандидатом на участие в "Шоу Эда Салливэна". Так что в эту пятницу — пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не свисти ни "Спят-ка злые", ни "И бинго, и банго, и бонго! Про-

1. Фаршированной рыбой (*идиш*).

шу депортации в Конго", ни еще какие-нибудь идиотские песенки этого твоего Костыля Джонса*. Тебе смешно? Нашел, наконец, над чем посмеяться? Ну и пош-шел ты! Отцу скоро придут результаты биопсии, и если они окажутся положительными, я не знаю, что я сделаю, я, наверное, умру. Да, так на чем я остановилась?

— На том, что тебе шестнадцать, и у тебя косичка.

— Да, это в тот год было, когда мне исполнилось шестнадцать, и в честь этого события в синагоге давали обед с танцами. А я была в белом шикарном платье из магазина Бергдорфа Гудмана, в таких же белых перчатках, и шелковых чулках, и в туфлях на высоком каблуке. Отец как посмотрел на меня, у него даже слезы на глазах выступили. На этот обед пришел мистер Бернард с женой, пришли и Бернштейны, и Катански, и...

— А что подавали? — спросил я, угрожающе улыбаясь.

— *Это ты уже издеваешься?*

— Мне просто интересно.

— Ага, тебе интересно все, что важно для меня, — эту песенку я уже слышала. И ты никогда пальцем не тронул ни одной из этих твоих *шикс*, этих актрис так называемых, и вчера вечером не пил ни капли. Правильно? Нет, неправильно. Ну так вот: к твоему сведению, на тот обед распорядителем пригласили месье Анри, ради меня и на это не поскупились. Он сефард, еврей из Марокко, но не из тех, засаленных и грязных. Очень воспитанный, вежливый. Весьма умный. Представь его даме, так он ей ручку поцелует, но так, что в действительности даже не коснется. Потом вдруг оказалось, что его единственный сын — эпилептик, и это его подкосило. Он начал пить, и его бизнес пошел под гору. *И не надо на меня так смотреть! Я-то тут при чем!* Я знаю, да, это не мешает твоей работе. Пока, во всяком случае. Я бы сказала, это работа мешает твоему пьянству. Что же ты не реагируешь? Что мне надо сделать, чтобы выбить из тебя подобие улыбки? Встать на голову? Снять трусы, стоя в витрине магазина? Что-нибудь такое, чего эта молоденькая актриска, которую ты обожаешь, эта твоя Соланж не сможет никогда. Не сможет, потому что она, говорят, вообще их не носит, а я сейчас лицом к лицу как раз с тем человеком, который, я уверена, может подтвердить этот слух или опровергнуть. Да? Нет? Ну, не важно. Но в те далекие дни бизнес месье Анри процветал, и он занимался устройством праздников иногда даже не только у евреев. Его услугами пользовались старые вестмаунтские семейства, которые ни за что не позвали бы еврея, и даже такие культурные люди, как мой отец, заказывали ему устройство первого бала для своих дочерей и всякие другие праздники, о которых наверняка должны были написать в "Газетт". Ой, посмотрите на него! Он уже проявляет нетерпение. Хочешь сказать, чтобы я переходила к делу, так? А иначе ты скоро заявишь, что тебе срочно надо в туалет, и сбежишь, *прихватив с собой газету*, только я, между прочим, знаю, что сегодня ты там уже был, и знаю, *с каким результатом*. В следующий раз не забывай попрыскать дезодорантом, он для того и нужен, а ты не знал? Так вот знай. Не в каждую бутылку налито то, что пьют. Опять ни тебе улыбки, ни ха-ха. Ты, как всегда, не находишь все это остроумным. Только тебе позволено шутить. О'кей, о'кей. Тарам, тарам... да! Да, меню. Начинали мы с foie de poulet[1] — ее подавали в лодочках из огурца, а вокруг такие вроде как бы волны из маринованных

1. Куриной печенки (*франц.*).

патиссонов и лепестки цветов. Тетя Фанни не поняла, что это, и все съела — потом у нас это стало любимой семейной шуткой. Отец водил нас обедать в "Кафе Мартен", а там посередине стола всегда стоит ваза с цветами, так он каждый раз обязательно подмигнет нам и скажет: "Хорошо, что нет тети Фанни".

А еще на балу в честь моего шестнадцатилетия от стола к столу ходили мальчики, одетые бедуинами, носили корзины с лимонными и малиновыми, посыпанными шоколадной стружкой и корицей *бейглах*[1], такими необычными — никто ничего подобного в жизни не видывал. Их месье Анри сам придумал. А суп был такой вроде бульона, только — о-о-о, какой ароматный и с малю-усенькими-малюсенькими штучками из телячьего фарша в форме сердечек, обернутыми в тонкое как бумага тесто, и они там плавали. Потом всем дали немножко мятного шербета, чтобы обновить вкусовое восприятие, и гости постарше пустились между собою в разговоры — они решили, что трапеза окончена, даже и не думали, что главное блюдо впереди. А главным блюдом было седло молодого барашка и к нему на гарнир кускус и яблочные оладьи. А потом были финиковые палочки, орешки, четвертушки свежего инжира и земляника в шоколаде, причем все это как бы изливалось из бисквитных трубочек, сделанных в форме охотничьего рога.

...от Стэна Микиты удар клюшкой в начале первого периода...

— Отец подарил мне колечко с ониксом и жемчужное ожерелье с таким же браслетом и сережками. Я сходила к Бирку, мне все оценили — и нечего на меня так смотреть, вовсе я на деньгах не помешана, мне пришлось: ведь надо же застраховать, — и там сказали, что все вместе стоит полторы тысячи долларов, а это ведь был год-то еще только тысяча девятьсот сорок седьмой, так что сейчас — сам понимаешь. Еще он подарил мне туалетный набор из чистого серебра от "Маппена и Уэбба" — до сих пор у меня на трюмо стоит, и не ставь туда больше, пожалуйста, свои стаканы с виски, они на старинной коже оставляют круги, хотя тебе-то, конечно, все равно. А моя бабушка подарила мне первую в моей жизни норковую шубку с такой же муфточкой, правда муфты теперь не носят — жаль, правда? Но я с ней ни за что не расстанусь. Да ты опять читаешь!

— Вовсе нет.

— Тогда почему ты сейчас передвинул кофейную чашку?

— Да я тут разлил немножко.

— А вот скажи-ка мне одну вещь. Ты уходишь в четверг вечером на хоккей, смотришь игру, знаешь, кто какой гол забил, а на следующее утро лезешь в спортивный раздел газеты. Зачем? Думаешь, в газете счет другим окажется?

— Ты собиралась рассказать мне свой сон.

— Тебя мой сон не интересует.

— Еще как интересует.

— Потому что он про тебя?

— Да господи боже мой, ведь не я поднимал эту тему.

— Я скажу тебе, что́ интересует меня. Две недели назад Сильвия Горнштейн видела тебя в отделе женского белья в "Холт Ренфрю", она говорит, ты покупал шелковую ночную рубашку, тебе упаковали ее как подарок, а потом — и вот как раз это-то меня и интересует — завернули

1. Бубликами (*идиш*).

в посылочную бурую бумагу, словно ты собрался ее кому-то отправлять по почте. Так что этот подарок был явно не мне. Так кому же, а?

– Вообще-то...

– Да кончится это когда-нибудь или нет?!

– ...у Ирва Нусбаума скоро годовщина, он позвонил мне из Калгари и попросил купить подарок его жене и отослать ей.

– Лгун, лгун, лгун!

– Что ты мне сцены закатываешь!

– И кто же из твоих так называемых актрис надевал ее для тебя вчера ночью? Тебя дома не было до четырех утра!

– Между прочим, я был вчера в баре с Джоном и Заком, так что, если хочешь, можешь это проверить.

– Да пошел ты к чертовой матери! – вскочив с места, выкрикнула она.

...и тут "пожарник" Хабс переводит игру ближе к воротам "Ястребов". Вовремя подоспевший Большой Жан Беливо отличной передачей скидывает шайбу Дики Муру, и "Бум-Бум" с неудобной руки производит удар по воротам Глена Халла. Нет, дальнобойные стрельбы с таким голкипером не проходят, но тут Беливо, приняв точный пас от Дуга Харви, выкатывается один на один с Халлом. Бабах, бабах, бабах – 5 : 1 в нашу пользу!

14

Вторая Мадам Панофски забарабанила в дверь душа.

– Тебя к телефону, – крикнула она. – Твой отец.

Иззи сказал:

– Ты собирался взять меня сегодня на хоккей? Подарок что надо. Чертовы "Рейнджеры". Наверное, не нашел больше, с кем сходить... Так вот: я пойти не смогу. И ты не сможешь. – Тут он прервался, чтобы высморкаться. – Кончено дело.

– Какое дело?

– Страдания твоей бедной матери. Вчера ночью она во сне отошла, и я скорблю.

– Вот только выдумывать не надо.

– Слушай, поимей немного уважения. Видел бы ты ее, когда мы только поженились. Она была о-го-го! Шли годы, у нас бывали размолвки, ни у кого без этого не обходится, но дом в чистоте она держала всегда. По этой части у меня к ней нет претензий.

Зато у меня претензии имелись. Когда я был мальчишкой, отец дома бывал редко. На ужин я чуть не каждый день ел макароны с сыром, а по особым случаям мать варила сосиски и давала мне с комковатым картофельным пюре, посыпанным кукурузными хлопьями. Что она для меня действительно сделала, так это записала в школу чечетки "Мистера Тритатуша", который дважды привлекался за приставания к мальчикам. Она лелеяла в душе мечту услышать меня когда-нибудь по радио в передаче Майора Боуза "Час молодых талантов"*, и чтобы я потом прославился, но, когда я провалил местный отборочный тур, ее интерес угас. Ближе всего мы с ней сошлись, когда она уже совсем выпала из реальности и пребывала в лечебнице. Я заходил к ней в комнату, затворял дверь, нахлобучивал канотье и, жонглируя тростью, откалывал у ее кровати чечетку под такие песни как: "Гоните мух, идет пирог с повидлом" или "Позитив это ключ к процвета-

нию, негатив это путь в никуда" — эту песню Бинга Кросби она особенно любила. Она радостно повизгивала, хлопала в ладоши, слезы струились по ее щекам, а мое настроение то подымалось (наконец-то я нравлюсь маме), то падало до гнева на нее за то, что она настолько, черт ее подери, глупа.

На похоронах Иззи всплакнул — не исключено, что только ради двоих ее братьев с женами, прилетевших из Виннипега, откуда мать была родом. Мои дядья, которых я не видел со времен бар-мицвы, были людьми респектабельными. Милти был врач-педиатр, а Эли — адвокат, и оба они сразу прониклись расположением ко Второй Мадам Панофски.

— Насколько я понял, — сказал ей дядя Эли, — ваш отец — добрый друг мистера Бернарда. На будущей неделе мистер Бернард собирается произносить в нашей синагоге речь, посвященную сбору пожертвований. Скажите отцу, что, если я могу быть чем-нибудь полезен, мистер Бернард может мною располагать.

Вторая Мадам Панофски поспешила объяснить, что ее родители сейчас путешествуют и находятся в Европе, а то бы, конечно же, они тоже пришли на похороны.

— Если дела приведут его когда-нибудь в Виннипег, у него там теперь есть друг. Так ему и передайте.

Отца моего дядья не одобряли, а матери стыдились, считая ее идиоткой и позором семьи. Тем не менее дядя Милти спросил отца:

— Где вы будете сидеть *шиву*[*]?

— Мои убеждения, собственно говоря, современные, — ответствовал Иззи. — Я не зацикливаюсь на религиозных формальностях.

Мои дядья и тетушки с облегчением стали готовиться к отъезду. Оставив Вторую Мадам Панофски дома, я отвез отца в "Динкс", где мы предались скорби на свой собственный манер. Когда мы весьма уже прилично ей напредавались, Иззи захлюпал носом и стал грязным платком промокать глаза.

— Никогда больше не женюсь. Никогда.

— Да кто пойдет-то за такого старого пердуна!

— Ну, не скажи, сынок. А ведь она тебя любила, знаешь ли. Забеременела она, правда, случайно, мы тебя, признаться, не планировали.

— Да ну?

— Когда забеременела, очень беспокоилась насчет своей фигуры, а я говорю, если хочешь сделать аборт, так я устрою. Нет, говорит. Она хотела назвать тебя Скизикс, в честь пацана из комикса "Бензиновый переулок", но я топнул ногой, и мы остановились на Барни, в честь Барни Гугля.

— *Ты хочешь сказать, что именем я обязан персонажу комикса?*

— Она надеялась, что в один прекрасный день из тебя получится звезда радио.

— Вроде Чарли Маккарти или Мортимера Снерда[*]?

— Да ладно тебе. Куклы — они и есть куклы. Но если б ты хотя бы мелькнул, хотя бы на канадском радио, о! — она была бы счастлива. Передачу "Веселая компашка" она не пропускала. Помнишь? Берт Пирл. Кей Стоукс. Кто-то еще.

— Пап, тебе деньги нужны?

— У меня есть здоровье, а его и за миллионы не купишь. Что мне нужно, так это работа. Я ходил, разговаривал с мэром Кот-Сан-Люка. Я ему — ну что? А он мне — "Иззи, — говорит, — я еврей, и олдермен у меня еврей. Не очень-то это будет красиво, если и участковый будет еврей.

Среди гоев пойдут разговоры. Ты же их знаешь". В чем-то он прав. Помню, когда я еще молодой был, они шибко запрезирали Эла Джолсона*. Не настоящий, говорят, негр. Еврей, ваксой крашенный.

— Пап, ты чудо! Что бы я без тебя делал? Не нужна тебе никакая работа. Я перестрою первый этаж в своем доме и устрою там для тебя отдельную квартиру.

— Ага, конечно. И твоя миссус это допустит.

Как и предчувствовал Иззи, когда я сказал Второй Мадам Панофски, что собираюсь превратить первый этаж дома в квартиру для отца, она пришла в ярость.

— Я не потерплю рядом с собой это животное, — взвилась она.

— Он мой отец. Мне неприятно думать о том, что он, в его возрасте, живет в съемной комнатенке.

— А как бы тебе понравилось, если бы к нам переехал мой отец? А ведь он очень болен, и он так скучает без меня, день не увидит и весь в тоске.

Переезд из заплеванных меблирашек в Дорчестере в новенькую, модно обставленную квартирку на тенистой улочке пригородного Хемпстеда отца не устрашил ничуть. Он сразу там почувствовал себя дома. Месяца не прошло, а его новенькая кухня уже насквозь провоняла старческим спертым духом, сигарами "белая сова" и остатками китайской готовой еды, оставленной плесневеть на бумажных тарелках. В гостиной все кресла он тут же завалил стопками журналов и газет ("Истинный сыщик", "Народный расследователь", "Полицейская газета", "Плейбой" [На самом деле первый номер "Плейбоя" появился только в декабре 1953 года. — *Прим. Майкла Панофски*], причем уголки журнальных обложек неизменно бывали оторваны — отец из них скручивал зубочистки, не отводя при этом глаз от телевизора, когда показывали сериалы "Перри Мейсон" или "Ствол в карман и вперед". Кровать у него стояла вечно незастеленная, а пепельницы доверху полны апельсиновых шкурок, подсолнечной лузги, огрызков маринованных огурцов и сигарных окурков. И повсюду пустые бутылки из-под виски и пива.

В кухонную дверь, которая открывалась на внутреннюю лестницу, ведущую в квартиру отца, Вторая Мадам Панофски требовала врезать замок, но в этом я ей наотрез отказал. Бедный Иззи. Неустрашимый сыщик, не выпускавший из цепких рук форточников, даже когда приходилось с ними вместе выпадать из окон, гонявшийся по переулкам за грабителями банков, с наркодилерами расправлявшийся одной левой, а уличных разбойников глушивший рукоятью револьвера, Второй Мадам Панофски он боялся так, как не боялся никакого бандита. Только слыша, что я хожу по квартире один, Иззи на цыпочках выходил на лестницу, осторожно отворял дверь кухни и спрашивал:

— Как горизонт — чист?

— Да нет ее, нет.

Схватив стакан, Иззи сразу направлялся к шкафчику с напитками в столовой.

— Осторожно, папа. Она на каждой бутылке помечает уровень карандашом.

— Ха! Ты же имеешь дело с сыщиком.

— Кроме того, теперь, — сказал я, пристально на него глядя, — воды добавлять не приходится. Все уже заранее разбавлено.

— Это новая прислуга! А на вид такая скромница-недотрога!

— Черт возьми, папа, неужели ты...

— Да я ее ни разу пальцем не тронул, что бы она там ни говорила!

Особенно Иззи радовался наступлению среды — по средам Вторая Мадам Панофски уходила навестить родителей, чтобы не видеть компании, еженедельно собиравшейся у меня играть в покер. Приходили главным образом Марв Гутман, Сид Купер, Джерри Фейгельман, Герши Штейн и Нат Гольд. Помню одну такую среду, когда вместо Ната Гольда пришел Ирв Нусбаум. Тасуя карты, Нусбаум с радостной улыбкой спросил Марва:

— Ну что, как вы с Сильвией съездили, как вам Израиль?

— Что-то невероятное! Мы потрясающе провели время. Вообще, я вам скажу, то, что они там делают...

— То, что они там делают, — подхватил Ирв, адресуясь ко всей компании и начиная сдавать, — стоит несказанных миллионов, и в этом году каждому — я хочу сказать КАЖДОМУ, придется напрячься, как никогда прежде.

— Для нас этот год выдался ну такой паршивый, такой паршивый, — нахмурился Герши.

— Хуже некуда, — подтвердил Джерри.

— А как подорожали материалы! — затосковал Марв.

— А что, — поднял брови Ирв, — борьба с *федайин** разве дешевле? А абсорбция наших братьев из Йемена?

Приглашать Нусбаума было ошибкой, я слишком поздно это понял; через час азарт начал угасать, ребята с возмущением смотрели, как Ирв пододвинул к себе хрустальную чашу с фишками и принялся сортировать их по цветам и складывать в столбики. Фишки были не его, но он настаивал, что десять процентов от каждого кона должны быть перечислены в Негев, для финансирования университета Бен-Гуриона, где Ирв состоял в попечителях.

— Он никогда не отдыхает, — вздохнул Герши, с раздражением глядя на Ирва.

— А наши враги? — нисколько не смутился Нусбаум. — Разве они отдыхают?

К десяти настроение играть у всех окончательно пропало. Еще раз сдали карты, сыграли кон и решили завязывать, хотя по нашим стандартам было еще очень рано. Все стали выбирать себе закуски из того, что я выставил на отдельном столике: копченое мясо, салями, печеночный паштет, картофельный салат, маринованные огурчики, бейглах и нарезанный черный хлеб с тмином "киммель". Пересчитав еще раз фишки в хрустальной чаше, Ирв объявил:

— Мы собрали для университета Бен-Гуриона в Негеве триста семьдесят пять долларов. Если скинемся еще по двадцатке, получится ровно пятьсот. [375 долларов плюс шестью двадцать равняется 495 долларам. — *Прим. Майкла Панофски.*]

В этот самый момент Иззи, привлеченный моим обещанием еды и выпивки, ворвался в столовую, ухмыляясь и выставив перед собой короткоствольный револьвер.

— Не двигаться, — рявкнул он, приняв позу стрелка. — Это налет!

— Папа, ну ради Христа, эта твоя шутка у меня уже я не знаю где сидит. Ну глупо же!

Фыркая и не выпуская изо рта основательно изжеванной сигары, Иззи рухнул в то кресло, что было ближе к тарелкам с едой.

— Я держу в доме три ствола. — Избегая моего осуждающего взгляда, он подтащил к себе поближе тарелку с копченым мясом и, вооружившись вилкой, стал выбирать кусочки пожирнее, постные сдвигая в сторонку, а из жирных стал сооружать себе огромный бутерброд с хлебом "киммель". — Они хорошо спрятаны, а главное — в разных местах, по всему дому. Кто-нибудь задумает войти без приглашения — пусть только попробует, уж я ему сделаю продувку мозгов, запросто! — Затем он пустился в очередной заплыв по волнам своей памяти. — А вот Депрессия была, так вы знаете, сколько я тогда зарабатывал? Тысячу двести баксов в год и ни центом больше, а вот вы небось сегодня такие же деньги на кон ставили! Мог ли я на эти деньги жить? Хороший вопрос. Не надо забывать, что у меня был бесплатный автомобиль. А если вдруг охота пройтись насчет бабцов, так это тоже мне всегда пожалуйста, халява, друзья мои, — вспоминал Иззи. Потом, не расставаясь с распадающимся на части бутербродом, перешел к шкафу с напитками и плеснул себе от души "ройал крауна" с лимонадом. — Ведь оно как выходит-то? Ты куда-нибудь пришел, а там все знают, что ты из полиции, ну и рады тебе, встречают с распростертыми — понятное дело. В мясных лавках, особенно кошерных, в бакалейных, да где угодно перед тобой прямо стелются. Особенно если им, *хас вешалом*[1], твоя помощь нужна. Ну и нагружают тебя бесплатной снедью. На пошивочных фабриках тоже — вдруг ты им понадобишься при расследовании, или, например, рабочих напугать, которые хотят организовать профсоюз, или еще за каким-нибудь хреном. Депрессии я на себе не ощущал вовсе. — С этими словами он встал — огромный бутерброд в одной руке, стакан виски с лимонадом в другой, маринованный огурчик зажат в зубах, — пошевелил, глядя на меня, бровями и удалился на первый этаж в свою квартиру.

— Ну, орел... — качнул головой Нат.

— Скажи мне, Марв, — заговорил опять Нусбаум, — по пути в Израиль ты в Европе останавливался?

— Да, в Париже.

— А вот не надо было тратить свои доллары в Европе. Тем более во Франции. В сорок третьем году [16 июля 1943 года французы силами нескольких тысяч служащих полиции провели в Париже облаву на евреев, собрав тринадцать тысяч человек, в числе которых были инвалиды, беременные женщины и три тысячи детей. Евреев заперли в зимнем велодроме, где они без пищи и воды дожидались депортации в лагерь уничтожения. Эта облава была частью соглашения между правительством Пьера Лаваля и нацистами, которым оказалось нелегко справиться с транспортировкой такого количества людей за один рейс. — *Прим. Майкла Панофски*] французы собрали для отправки в газовые камеры столько евреев, что гестапо не успевало увозить.

Почувствовав неловкость, все стали надевать пальто и торопливо расходиться. Выйдя на площадку лестницы, ведущей в квартиру отца, я крикнул:

— Ты, папа, свин, *хазер*, я тебя с твоими детскими уловками насквозь вижу!

По ступенькам зашлепали тапки, появился отец с лицом пепельно-серого цвета. Временами он выглядел на пятьдесят, бывал полон энергии, а иногда, как в этот раз, казался старым и немощным.

— Что с тобой, папа? — спросил я.

1. Не приведи господи (*иврит*).

— Изжога.

— Не удивительно — после такого жирнющего бутерброда.

— Дай-ка мне "алки-зельцер" — или у нее и это под замком?

— Ну что ты опять начинаешь, папа. Я устал, — взмолился я, кидая в стакан таблетку.

Иззи взял у меня стакан, выпил залпом и звучно рыгнул.

— Барни, — сказал он дрогнувшим голосом, — я люблю тебя. — И неожиданно расплакался.

— Что случилось, папа? Скажи мне скорей. Может, я смогу помочь?

— Никто мне помочь не сможет.

Рак?

— Вот, папа, держи.

Отец взял у меня бумажный платок, высморкал нос, вытер уголки глаз. Я гладил его по руке и ждал. В конце концов он поднял залитое слезами лицо и сказал:

— Ты не можешь себе представить, что такое не иметь регулярной половой жизни!

Ну вот, опять за свое, подумал я и сердито отдернул руку, а Иззи в который раз принялся оплакивать уход мадам Ланжевен, нашей бывшей горничной.

— Сорок восемь лет, — сокрушался он, — а груди, — он постучал по отделанной кафелем кухонной стойке, — вот такой твердости!

Как только шашни отца с мадам Ланжевен обнаружились, Вторая Мадам Панофски ее тут же выгнала, несмотря на все мои возражения. А нашей новой прислуге, уроженке Вест-Индии, строго-настрого запретила заходить в квартиру на первом этаже, когда Иззи дома.

— Папа, я прошу тебя, иди, пожалуйста, спать.

Но он опять направился к шкафчику с напитками, налил себе еще виски с лимонадом.

— Твоя мать, да будет земля ей пухом, ужасно страдала от гастрита. На чем только она держалась все последние годы? На стежках и скобках. На ниточках. Столько операций! Ч-черт! Ее желудок был так изрезан, что выглядел, наверное, как лед в центре поля к концу третьего периода.

— Ну ладно, папа, это уж ты как-то... чересчур наглядно, — запротестовал я.

Иззи, оказавшийся пьянее, чем я думал, вдруг обнял меня, поцеловал в обе щеки, и его глаза вновь наполнились слезами.

— Молодец, Барни, так держать! Пока удача прет, надо успеть нахапать как можно больше.

— Какой же ты безнравственный старик! — сказал я, высвобождаясь.

Иззи зашлепал по лестнице к себе, приостановился и вновь повернулся ко мне.

— Уй-ё-о! Дверь гаража. Это ее машина. Заморская барыня вернулись. Ладно, сынок, я пошел.

А через десять дней он умер от сердечного приступа на столе в массажном салоне.

15

Чудным летним вечером тысяча девятьсот семьдесят третьего года мы с сияющей Мириам, к тому времени уже матерью троих детей, обедали

в ресторане и, как все в те дни, вовсю обсуждали уотергейтские слушания, телевизионное освещение которых смотрели чуть не весь день.

— Эти пленки его утопят, — говорила она. — Все кончится импичментом.

— Да ни черта! Выкручиваться этот мерзавец умеет как никто.

Конечно же, она была права. Как обычно. А я, как обычно, вывалил на нее свои проблемы с работой.

— Не надо было мне заказывать Марти Кляйну писать те сценарии.

— Не хочется тебе напоминать, но я ведь говорила!

— Но у него жена беременная, а чтобы перейти ко мне, он ушел с Си-би-си. Не могу же я выгнать его.

— Тогда повысь. Сделай его менеджером, продюсером, каким-нибудь директором, заведующим пепельницами. Кем угодно. Лишь бы он ничего не писал.

— Да нет, ну как же это... — заупирался я.

Как обычно, на то, чтобы переварить и принять совет Мириам, у меня ушло три дня, после чего, выдав ее идею за свою, я сделал в точности то, что она и предлагала. Между знакомыми о нас ходили анекдоты. Иногда сплетни. Бывало, придем на вечеринку — глядь, сидим уже где-нибудь в уголке или на ступеньках лестницы и, забыв обо всех окружающих, что-то друг с дружкой обсуждаем. Как-то раз сплетня сделала круг и дошла до Мириам. Она встречалась за ланчем с одной из ее так называемых подружек, в то время по уши увязшей в весьма малопристойном бракоразводном процессе, и та ей говорит:

— Я думала, Барни только на тебя смотрит. Во всяком случае, так люди говорят. А теперь — ты только, пожалуйста, не сердись, но, поскольку я и сама такого нахлебалась, я не хочу, чтобы ты была последней, кто об этом узнает. Дороти Уивер (ты ее не знаешь) видела его в прошлую среду у Джонсонов на вечеринке с коктейлями. Там твой преданный муж вовсю клеился к какой-то бабенке. Болтал с ней. На ушко нашептывал. По спинке гладил. И ушли они вместе.

— Я все про это знаю.

— Слава богу, потому что меньше всего мне хотелось бы тебя огорчать.

— Ты понимаешь, дорогая, боюсь, что той бабенкой была я, и ушли мы оттуда в "Ритц", пили шампанское, а потом — ты только никому не говори! — потом он уломал меня пойти к нему домой.

Еще, помню, обедали мы как-то раз в гостинице "Сапиньер" на горном курорте Сан-Адель. Мириам сосредоточенно изучала меню и вдруг покраснела — это я втихаря сунул руку под стол и погладил ее по шелковистому бедру. О, счастливые дни! О, ночи восторга! Наклонившись куснуть ее за ушко, я вдруг почувствовал, что она напряглась.

— Смотри, — сказала она.

Надо же, где встретились! — в дверь только что вошел с парой приятелей Янкель Шнейдер, но на сей раз он не стал останавливаться у нашего стола, чтобы оскорблять меня, хотя, сделай он это, я бы его понял. Тем не менее одним своим появлением он напомнил о нашей с ним прошлой встрече во время того самого ланча в баре отеля "Парк-Плаза" в Торонто, когда решалось, быть или не быть сближению между мной и Мириам. Ланча, который начался кошмарно. Я таким дураком себя выставил! Впоследствии, однако, мы с Мириам уже только улыбались, вспоминая то, что сделалось одной из забавнейших страниц нашей се-

мейной истории. Скорее даже мифом, который — в урезанном, конечно, виде — так полюбился нашим детям.

— А что было потом? — спросит, к примеру, Савл.

— Расскажи им, Мириам.

— Еще не хватало!

Но в тот вечер в Сан-Адели присутствие Янкеля еще будило во мне чувство вины. Краем глаза поглядывая на него, я видел не взрослого, сорокалетнего мужчину, а десятилетнего мальчишку, школьника, которому я здорово попортил жизнь.

— Не могу понять, зачем я его так мучил. Как я мог так отвратительно себя вести?

Мириам с пониманием взяла меня за руку.

О, Мириам, Мириам, как томится по тебе мое сердце! Без Мириам я не просто одинок — я словно не доделан. В наши лучшие дни я мог с нею всем поделиться, даже самыми стыдными моментами, которые во множестве преследуют меня в теперешних моих старческих воспоминаниях. Ну, вот хотя бы такой, к примеру.

В тот день, вконец испорченный для меня вычитанным из газеты "Газетт" сообщением, что Макайверу дали Премию Генерал-губернатора по литературе, я послал ему записку. Причем записку *анонимную*. Несколько строк из "Тщеты людских надежд" Сэмюэла Джонсона [На самом деле это цитата из "Молодого автора" — стихотворения, написанного Доктором Джонсоном в двадцатилетнем возрасте. — *Прим. Майкла Панофски*]:

"Трудись, — вскричал он, — глупый род людской,
Стяжай чины и суетные блага!
С презрением смотрю я и тоской
На игры эти *бренные*. Отвага
Иная мне дана — нетленный труд
Издать, чтоб он в веках меня прославил".
Печатный пресс среди бумажных груд
Его судьбу в грядущее направил,
И он уж зрит венец над головой,
И мнеет, будто лавры лоб щекочут...
Окстись, юнец: и Сеттл, и Огилбой,
И всяк пиит себя на вечность прочил.

[Джон Огилби забыт давно и прочно, так же как Элкан Сеттл*, который когда-то состоял в должности "главного поэта" города Лондона. — *Прим. Майкла Панофски.*]

Когда-то я был не только закоренелым садистом, получавшим массу удовольствия от насмешек над одноклассником заикой, но при случае — мелким воришкой, да и трусом. В детстве одной из моих обязанностей было относить в китайскую прачечную на Фермаунт-стрит и забирать оттуда наше белье. Однажды стоявший впереди меня бородатый старик в ермолке, расплачиваясь за стирку, уронил на пол пятидолларовую купюру и не заметил. Я моментально накрыл ее подошвой и — как только старик, ковыляя и шаркая, вышел за дверь — прикарманил.

В пятом классе я был тем самым хулиганом, кто написал на доске FUCK YOU, МИСС ГАРРИСОН, а пострадал за это Авик Фрид, которо-

го на неделю выгнали из школы. Мистер Лэнгстон, наш директор, вызвал меня в свой кабинет.

— Вообще-то вас, молодой человек, следовало бы выпороть, потому что, как мне стало известно, вы знали о том, что проступок совершил Фрид. Однако отвага, с которой вы уклонялись от того, чтобы доносить на товарища, меня восхищает.

— Спасибо, сэр, — сказал я и протянул руку — ладонью вверх.

Мне много в чем стоит покаяться. Был случай на праздновании шестнадцатилетия Шейлы Орнштейн, жившей в одном из лучших домов Вестмаунта, когда я, будто бы по неловкости, а на самом деле нарочно, свалил торшер, вдребезги расколотив абажур фаврильского стекла от Тиффани*. Я ненавидел и ее, и все ее семейство за их богатство. Еще бы! Зато как я возмущался, когда лет пять назад какие-то негодяи влезли в мой домик на озере и не только стащили телевизор и разные другие пожитки, но еще и насрали на мой диван! Кроме того, до сих пор я большая дрянь и злобная скотина, ликующая, когда оступаются те, кто лучше меня.

Поясню на примерах.

Я понимаю, почему наиболее проницательные из наших литераторов возражают против укоренившегося нынче обычая сочинять жизнеописания так, что это смахивает на дикарские пляски подлых людишек, с этого кормящихся, на трупах гениев. Вместе с тем, по правде говоря, ничто не дает мне услады большей, чем какой-нибудь абзац в биографии человека действительно великого, доказывающий, что он/она был абсолютнейшим дерьмом. Я обожаю читать книги про тех, кто — говоря словами одного приятеля Одена (нет, не Макниса, черт, и не Ишервуда, а другого) — "...солнцем рождены, / подобрались к нему чуть ближе и сам воздух / сиянием своим сделали зримым". [Стивен Спендер. Строки из стихотворения "Я постоянно думаю о тех, кто истинно велик". Избранные стихи, 1928—1985, с.30. Рэндом хаус. Нью-Йорк, 1986. — *Прим. Майкла Панофски.*] Вот только, *подбираясь к солнцу*, они, как теперь выясняется, пленных-то не брали!* Очень мне, например, нравится момент в жизни Т. С. Элиота, когда он запер жену в дурдом — не иначе как за то, что именно ей принадлежат некоторые его лучшие строки. А чего стоит история про Томаса Джефферсона, вся состоящая из сладенькой, грязненькой клубнички: он ведь держал рабов и, между прочим, рабынь, причем самую хорошенькую наградил сыном, признавать которого даже и не подумал. ("Как так получается, — вопрошает Доктор Джонсон, — что самый громкий вой о свободе подымают те, кто хлыстом погоняет негров?") А Мартин Лютер Кинг? Он, оказывается, грешил плагиатом и сам не свой был, до чего любил трахать белых женщин. А адмирал Бэрд, один из героев моего детства? Он всем только зубы заговаривал, на самом деле штурманского дела не знал вовсе и летать боялся так, что частенько валялся пьяный, пока самолет пилотировали подчиненные, зато насчет того, чтобы присвоить себе достижения других, был большой дока. А Франклин Делано Рузвельт обманывал Элеанору. А Джон Фицджеральд Кеннеди не писал "Профили храбрых". А Бобби Кларк специально треснул Харламова клюшкой по ногам, чтобы вывести из строя лучшего игрока в первом же матче того — помните? — многосерийного хоккейного триллера, которым стали встречи канадцев с невероятными богатырями из России. А Дилан Томас был *шноррер* — помоечник и попрошайка. А Зигмунд Фрейд подделывал истории болезни. Я мог бы продолжать и дальше, но, думаю, вы поняли идею. Впрочем, мои чувства в

любом случае оправданы моралистом столь несравненным, как Доктор Джонсон, который свое мнение о том, зачем нужны жизнеописания, высказал однажды шекспироведу Эдмонду Мэлоуну:

"Если раскрывать только светлые стороны персонажей, читателю останется лишь опустить руки и предаться унынию в полной уверенности, что *ни в чем и никогда* он не сможет им уподобиться. Священнописатели, эти непогрешительные орудия Св. Духа, повествуют как о праведных, так и о порочных деяниях людей, и моральное воздействие этого подхода таково, что оным человечество уберегается от *отчаяния*".

Короче, какое-то представление о своих слабостях я имею. Как не чужд я и самоиронии. И понимаю, что тот же человек, кто приходил в ужас от бессвязной болтовни Второй Мадам Панофски, извел потом сотни страниц бумаги, при всяком даже неудобном случае кидаясь в беспорядочные отступления, и все это единственно ради того, чтобы подольше не приближаться к тому ключевому уик-энду на озере, который, едва не погубив мою жизнь, создал мне репутацию убийцы, каковым многие видят меня поныне. Так что — хватит, приплыли: выкладываю подноготную. Буке пора за кулисы. Декорации те же, входит следователь сержант О'Хирн. А я, со своей стороны, клянусь далее говорить правду, всю правду и только правду. Я невиновен. Честно. Ну и — бог в помощь, как говорится.

16

Нет, подождите. Еще не время. К дому на озере, где будут Бука, О'Хирн, Вторая Мадам Панофски и пр., я подойду чуть погодя. Обещаю. А сейчас настал момент передачи "По вашим заявкам". Час Мириам. Черт! Кажется, что-то случилось с моим радиоприемником. Может, сдохли эти — как они там называются... Ну, вы поняли — такие хреновинки, в которых дух, ток и свет. Ее голос слышится, только если до конца ввести громкость. Что-то у меня тут все начинает распадаться. Вчера вечером барахлил телевизор. То заорет, то замрет. А когда мне его наконец настроили, меня от него оторвал стук в дверь. Это был сын соседа снизу.

— Вы что к телефону не подходите, мистер Панофски?

— Почему не подхожу? Подхожу! А что случилось, Гарольд?

— Моя мама спрашивает, чего у вас телевизор так орет? Не могли бы вы сделать его потише?

— У твоей мамы, должно быть, очень тонкий слух, но — ладно, я его прикручу.

— Спасибо.

— Ой, Гарольд, подожди.

— Да, сэр?

— Вопрос на засыпку. Если у тебя радио не фурычит, на что бы ты в первую очередь стал грешить? Оно не от сети работает, а такое — ну, облегченное, чтобы ходить с ним туда-сюда.

— А, портативное.

— Ну да, а я разве не так сказал?

— Наверное, вам надо проверить батарейки.

Гарольд ушел, а я налил себе на два пальца "карду" и глянул, что там сулит в столь поздний час программа телевидения. "Багровый пират" с Бертом Ланкастером. "Серебряная чаша" с Полом Ньюменом и Вирд-

жинией Мэйо. "Девушка из ФБР" с Цезарем Ромеро, Джорджем Брентом и Одри Тоттер. Нет уж, спасибо; но как заснуть? Что ж, пришлось отлавливать в туманных закоулках былого верную миссис Огилви, припоминая то воскресенье, когда она, одолжив у кого-то остиновский седан, пригласила меня поехать на пикник в Лаврентийские горы. Помню, меня изумило то, что мама даже приготовила нам в дорогу еду. Жуткие какие-то изыски ее собственного изобретения. Комбинированные бутерброды — на одних в слякоти недоваренного яйца лежали куски банана, другие представляли собой два куска хлеба с ореховым маслом, между которыми были расплющены сардинки.

— Не забывай: ты должен быть приличным, вежливым мальчиком, — напутствовала меня она.

Водителем миссис Огилви была плохоньким, паркуясь, умудрилась запрыгнуть на тротуар. Одета в тесное — как она только влезла в него? — летнее платье без рукавов, которое спереди было сверху донизу на пуговицах. На красный свет тормозила так, что шины шли юзом, трогалась рывком, у нее не раз глох двигатель, но мы в конце концов все-таки безаварийно выбрались на природу.

— А ты плавки взял? — спросила она.

— Забыл.

— Ах, боже мой, и я тоже забыла купальник!

Она потянулась приласкать меня, и "остин", вильнув, выкатился на встречную полосу.

— А знаешь, чья это машина? Мистера Смизерса. Он дал ее мне, чтобы я за это согласилась поехать с ним кататься лунной ночью. Фу. Ничто не заставит меня уединиться с ним на заднем сиденье. У него разит изо рта.

Мы нашли полянку и расположились на одеяле, она открыла свою корзину. Баночка пасты из килек под названием "закуска джентльмена". Шпротный паштет. Оксфордский мармелад. Булочки. Два пирога с мясом.

— Так. Я придумала игру. Ты становишься к тому дереву derrière ко мне и считаешь до vingt-cinq en français. А я беру какую-нибудь bonne-bouche[1] шоколадную конфетку с ликером и где-нибудь у себя прячу. Ты меня обыскиваешь. Нашел — съел. Только надо ее оттуда, где была, слизать, и без рук. Давай: на старт, внимание, марш! Только не подглядывай!

Ну, понятно — обернувшись, я обнаружил, что она голая лежит на одеяле, а шоколадки расположены точно там, где я и ожидал.

— Быстрее. Они начинают таять, и становится — а-я-яй! — щекотно.

Набравшись терпения, я ждал, когда она начнет стонать и ерзать, постепенно слабея, и наконец улучил миг, чтобы, отпрянув, вытереть запястьем рот. К моему удивлению, она вдруг подняла ноги да как даст мне пяткой по зубам!

— И ты знаешь, и я знаю, что ничего этого никогда не было. Предатель. Лгун. Ты все придумал, онанист паршивый, чтобы опорочить доброе имя приличной женщины, всеми уважаемой учительницы высшего разряда... настоящей лондонки, пережившей немецкие бомбежки (ах, какой тогда был у всех душевный подъем!) — и вдруг — нате вам! — отправили в эту *тифсте провинц*[2], в отсталый доминион, где ЧАЙ В ПАКЕТИКАХ... Ты все это придумал, потому что страдаешь старческой дегринголадой[3] и надеешься возбудиться, чтобы выдавить из себя пару капель

1. Спиной... двадцати пяти по-французски... лакомую (*франц.*).
2. Глухомань (*идиш*).
3. От *франц.* dégringolade — упадок, маразм.

спермы на простыню. Она у тебя кончается, дурень, ее надо беречь! Весь этот пикник ты придумал, чтобы...

— Да ни черта подобного! Ты взяла меня на...

— Конечно. Но дальше того, чтобы неуклюже, мальчишески-торопливо тискать меня, ты так и не продвинулся — тем более что вдруг явился тот мужлан, абориген франкоканадец — это ж надо, какие чукчи сходят здесь за французов! — и сказал, что мы вторглись в его владения. Остальное ты сочинил, потому что ни одна нормальная женщина никогда уже на тебя не посмотрит, развратный ты, усыхающий, испещренный печеночными пятнами вислобрюхий старый еврей, а с недавних пор к тому же и почти глухой, если уж совсем честно. Ты выдумал эту похотливую сказку потому, что до сих пор все медлишь, тянешь, готов сочинять любую дребедень, лишь бы не касаться правды о том, что произошло тогда у тебя на даче. Ну-ка, вон с кровати и марш в сортир, пора произвести маленькое жалкенькое пи-пи, которым едва ли наполнишь мензурку. Эх, бедный Бука!

17

Связь с Букой я поддерживал постоянно, он присылал мне краткие загадочные открытки оттуда, где в данный момент находился. Марракеш. Бангкок. Киото. Гавана. Кейптаун. Лас-Вегас. Богота. Бенарес:

По причине отсутствия *миквы*[1] для очищения использую Ганг.

Читаю Грина (правда, Генри). Честера (правда, Альфреда). А также Рота (правда, Йозефа)*.

А еще была открытка из того города в Кашмире — ну как же он называется? [Шринагар. — *Прим. Майкла Панофски*] — куда все наркоши ездят затариваться ганджубасом. В детстве у меня на стене комнаты висела карта, на которой после высадки союзников в Европе я отмечал продвижение фронтов. А тогда, в конце пятидесятых, я держал в офисе глобус, чтобы следить по нему за странствиями моего друга, этакого современного скитальца по его собственным "Трясинам отчаяния"*. Изредка его рассказы появлялись в "Пэрис ревью", "Зеро" и "Энкаунтере". В конце концов Бука (куда денешься?) осел в одной из мансард Гринич-виллиджа и стал завсегдатаем "Сан-Ремо" и "Львиной головы". Женщины, что называется, толпились у его ног. Среди них в один прекрасный вечер, к изумлению присутствующих, мелькнула Ава Гарднер. Он приковывал к себе внимание — нет, вызывал даже нечто вроде благоговения у юных и прекрасных дам тем, что всегда молчал, а уж если высказывал, то сразу приговор. Однажды, например, когда всплыло имя Джека Керуака, буркнул:

— Сила — это еще не все.

— Да и зачем писать с силой? — сказал присутствовавший при этом я. — Этак можно и машинку сломать. [На самом деле сей перл первым и при большом стечении народа выдал Трумен Капоте. — *Прим. Майкла Панофски.*]

1. Скопление вод (*иврит*) — бассейн для ритуального омовения при синагогах.

Аллена Гинзберга Бука тоже ни во что не ставил. Однажды, как раз когда я там тоже был, обольстительная юная дама, пытаясь произвести впечатление, сдуру процитировала при нем первые строки "Вопля":

> Я видел, как лучшие умы поколения в губительном помешательстве,
> голодные и раздетые, истерически
> шляются ночи напролет по негритянским кварталам,
> злобно нарываясь на то, чтобы им дали в глаз...

Бука почесал в затылке:

— Лучшие умы? А поконкретнее нельзя? Имена, явки...

— Я вас не понимаю.

— Исайя Берлин? Нет, староват. Но ведь не мистер же Трокки?

Среди Букиных постоянных собутыльников были Сеймур Крим и Анатоль Бруайар*. В одном Бука представлял собой полную противоположность Хайми Минцбауму — он никогда не сыпал именами, зато на адрес кафе "Львиная голова" запросто могло прийти письмо с Кубы с пометкой "для Буки", и от кого бы вы думали? — от Хемингуэя! Или зайдет вдруг Джон Чивер, пригласит его на ланч. А то забредут Норман Мейлер или Уильям Стайрон, так тоже ведь — присядут, поговорят с ним, а если его нет, осведомятся, куда подевался. Билли Холидей после ее катастрофического заключительного турне по Франции и Италии тоже наведывалась, искала с ним встречи. Приходила Мэри Маккарти. И Джон Хастон*. После того как фрагменты Букиного незаконченного романа появились в "Нью американ ревью", он и вообще стал живой легендой, но я-то знал, что все это им написано еще в Париже лет десять тому назад. Тем не менее Бука постепенно приобрел репутацию автора величайшего американского романа современности, хотя и не совсем еще завершенного. Редакторы самых уважаемых издательств Нью-Йорка наперебой, с чековыми книжками в руках, вокруг него увивались, стараясь завлечь. Как-то раз один из них прислал за Букой лимузин, чтобы отвезти его на тщательно организованный и срежиссированный обед в Саутгемптоне, и тут — здрасьте пожалуйста! — оказывается, Буки-то и нет — уехал в гости к подружке в Саг-Харбор, так что роскошный экипаж прибыл в поместье издателя пустым, отчего ореол загадочности вокруг Буки обозначился еще резче. Другой редактор пригласил его на ланч в "Русскую чайную". Источая елей, спросил:

— Нельзя ли посмотреть еще какие-нибудь страницы вашего романа?

— Это было бы нескромностью, — отвечал Бука, уткнувшись в платок прохудившимся носом. — Никак не могу справиться с этой простудой!

— Может быть, мне поговорить с вашим агентом?

— А у меня нет агента.

Сам будучи лучшим своим агентом, Бука отвечал уклончиво или вовсе уходил от ответа, а контракты ему предлагали очень выгодные. Чем дольше он тянул с окончательной договоренностью, тем выше взлетали ставки гонорара. В конце концов Бука все же подписал с издательством "Рэндом хаус" договор, по которому один аванс выражался суммой с шестью нулями, что теперь в порядке вещей, но это был еще пятьдесят восьмой год, тот год, когда "Монреальцы" взяли третий кубок Стэнли подряд, а "Бостонских мишек" в пятой встрече разнесли со счетом 5 : 3. Жоффрион и Морис Ришар забили по шайбе в первом периоде; Беливо

и опять Жоффрион во втором; а в третьем заколотил Дуг Харви — пушечным ударом с расстояния в сорок футов. Так что с памятью у старого Барни Панофски все в порядке, и не о чем тут говорить. Макароны откидывают в дуршлаг. Семеро гномов — это Засоня, Ворчун, Чихоня, Профессор, Весельчак и еще два каких-то. [Скромник и Молчун. — *Прим. Майкла Панофски.*] Институт Вейцмана находится в Хайфе. "Человека в сером фланелевом костюме" написал... нет, не Фредерик Уэйкман, кто-то другой. [Слоун Уилсон. — *Прим. Майкла Панофски.*] А Наполеона разбили неподалеку от городка, про который Костыль Джонс сочинил дурацкую песенку:

Не вода, не аква-ватер
Подмочила мне кроватер;
Я лишился дара слова —
ВАТЕРЛОО! ВАТЕРЛОО!..

Да, но я ведь говорил о Буке. Эти деньги он отчасти просадил в очко и chemin de fer, отчасти пропил, пронюхал, а что осталось, спустил по локтевой вене, а когда она от него спряталась, стал колоться в щиколотку и даже в язык. А потом звонит ко мне в офис. Был бы у меня дар предвидения, я бросил бы трубку. Но нет.

— Мне бы на твоей дачке перекантоваться какое-то время, — сказал он. — Хочу соскочить с иглы. Приютишь?

— Конечно.

— Только мне нужен метадон.

— У меня есть приятель врач, Морти Гершкович. Он достанет.

Я встретил Буку в аэропорту и поразился, как он исхудал со времени нашей последней встречи; его лоб постоянно орошался капельками пота, стекавшими по щекам несмотря на холод — погода была для конца июня нетипичная.

— Давай отметим встречу классным завтраком в "Эль-Рицо", — сказал я, взяв его под руку, — а потом поедем ко мне в Лаврентийские горы, — где, как я уведомил его, нас ждала Вторая Мадам Панофски.

— Нет, нет, нет, — испугался он. — Сперва тебе придется отвезти меня туда, где я смогу ширнуться.

— Ты ж говорил, что приехал, чтобы завязать?

— Только один раз, последний, или я просто вымру.

Мы поехали ко мне домой, где Бука сразу скинул пиджак, закатал рукав рубашки, обвязал руку галстуком и принялся выполнять сгибания-разгибания, вращать ею, дрыгать и всячески нагружать, пытаясь заставить пропавшую вену выступить, а я в это время грел зелье в ложке. Понадобились три кровопускания, прежде чем удалось правильно ввести шприц.

— Наверное, Форстер как раз под этим и разумел "простое подключение", — рискнул сыронизировать я.

— "Простите, я могу вас спросить: зачем вам шприц?" — заинтересовался аптекарь. — "Отчего же. Просто я готовлю ветчину по-техасски, а для этого ее надо всю обколоть 'джеком дэниэлсом'".

— Ну, теперь поехали завтракать?

— Я — нет. Но я рад тебя видеть.

— Я тоже.

— Сколько таких сигар ты выкуриваешь за день?

— Не считал никогда.

— Не увлекался бы ты ими, они вредные как черт-те что. Слушай, а что получилось из твоего приятеля Макайвера?

— Да ничего толком-то.

— А ведь подавал надежды, или мне казалось?

— Ммм.

Одетая в лучшие тряпки, на крыльце нас ждала Вторая Мадам Панофски и выглядела очень привлекательно, даже сексуально — это мне честность повелевает "отдать ей должное", как говорится. Она затратила массу сил, в лепешку разбилась, готовя нам обед при свечах. Но Бука задремал уже над первым блюдом (супом-пате из дробленого гороха), его голова стала склоняться, а тело оползать, временами подергиваясь. Я увел его в комнату, которая для него была предназначена, сгрузил на кровать и показал, где для него оставлен метадон. Потом вернулся к обеденному столу.

— Жаль, что так получилось, — сказал я.

— Я старалась, весь день стояла у плиты, а ты уже по дороге успел напоить его допьяна, молодец!

— Это не так.

— А теперь тебе придется сидеть и разговаривать со мной, изображая мир и согласие. Или мне принести тебе журнал?

— Ты знаешь, он ведь очень болен.

— И я не хочу, чтобы он курил в постели. Не хватало, чтобы он поджег дом.

— Он не курит. Говорит, что это вредно для здоровья.

— Ты куда пошел? Я еще баранину не подавала. Или ты тоже есть не хочешь?

— Просто хотел плеснуть себе виски.

— Так возьми и поставь бутылку на стол, чтобы не вскакивать и не бегать каждые две минуты.

— Балдеж. Неужто мы проживем пару дней без ссор?

— Ты еще ничего не знаешь. Во вторник я сдавала твой костюм в чистку, вынимала все из карманов и вот что я там нашла.

Ой-ёй-ёй. Чек из магазина "Ригал флористс", где я произвел покупку дюжины красных длинночеренковых роз.

— А, это, — проговорил я и потянулся за бутылкой.

— Я подумала, ах, как это мило с его стороны. Вымыла вазу и не смела весь день из дому шагу ступить — *вдруг пропущу доставку*!

— Наверное, они не нашли наш коттедж.

— С каждой минутой у тебя нос все длиннее и длиннее.

— Ты намекаешь, что я лгу?

— Намекаю? Нет, дорогушенька. Я *прямо* это говорю.

— Кошмар.

— *Для кого ты их покупал?*

— Между прочим, вся эта история совершенно невинна, но я отказываюсь подвергаться беспардонному допросу в моем собственном доме.

— Которой из твоих шлюх предназначались эти розы?

— Тебе будет ужасно неловко, когда розы вдруг окажутся здесь завтра утром.

— Только если ты огородами проберешься в магазин и оттуда по телефону закажешь еще дюжину. *Если ты держишь где-нибудь квартиру с проституткой, то я хочу это знать!*

– А что – думаешь, только одну?

– Я жду! Отвечай мне на вопрос!

– Я могу запросто доказать свою невиновность и ответить на твой вопрос прямо вот так, – сказал я и щелкнул пальцами, – но я не буду этого делать, потому что мне не нравится твой тон, и вообще все это оскорбительно.

– И я здесь единственная, кто ведет себя неправильно?

– Несомненно.

– *А теперь скажи мне, кому предназначались эти розы.*

– Актрисе, которую мы пытаемся привлечь к участию в пилотной серии нового проекта.

– Где она живет?

– По-моему, где-то в Утремоне. Только ведь – откуда ж мне знать? У меня для этого секретарша есть.

– Где-то в Утремоне?

– На Кот-Сан-Катрин-роуд, кажется.

– А если подумать?

– Слушай, не морочь мне голову. Баранина замечательная. Правда – очень вкусно. Почему бы нам не насладиться обедом, как это делают нормальные, цивилизованные люди?

– Я позвонила в "Ригал флористс", сказала, что я твоя секретарша...

– Как ты посмела лезть не в свое...

– ...и тамошний администратор спросил меня, не хочешь ли ты отменить свое распоряжение посылать каждую неделю дюжину длинноченренковых красных роз по некоему адресу в Торонто. Я сказала нет, но надо бы проверить, правильно ли у них записан адрес. Тут, наверное, он что-то заподозрил, потому что говорит: "Я пойду посмотрю, а потом вам перезвоню". И я повесила трубку. А теперь говори, как зовут твою блядь в Торонто.

– Так, всё, я не собираюсь оставаться здесь больше ни секунды, – сказал я, вскакивая с бутылкой "макаллана" в руке. – И терпеть допрос я больше не намерен!

– Сегодня спать будешь во второй гостевой комнате, а если твой приятель, этот наркоман, захочет узнать почему, скажи ему, чтобы спрашивал у меня. Он знает, что ты берешь уроки чечетки?

– Расскажи ему. Я не возражаю.

– Не могу дождаться, когда же ты предстанешь перед ним в соломенной шляпе и с тростью. Выглядишь ты при этом как форменный дебил.

– Ну, наверное, – согласился я.

– Мой отец тебя насквозь видел. Если бы я послушала его (земля ему пухом), не оказалась бы в таком положении.

– То есть не вышла бы замуж за человека из низов.

– По любым меркам я привлекательная женщина, – сказала она дрогнувшим голосом. – Неглупая, образованная. *Зачем тебе кто-то еще?*

– Давай-ка пойдем спать. Поговорить можно будет и утром.

Но она уже вовсю плакала.

– Зачем ты женился на мне, а, Барни?

– Это я – да, маху дал.

– На нашей свадьбе я подошла к тебе, а ты как раз говорил Буке: "Я влюблен. Впервые в жизни я по-настоящему, всерьез, непоправимо влюблен". Не передать, как я тогда была тронута. Какое чувство возникло у меня в душе! А сейчас – погляди на нас! Мы женаты чуть больше го-

да, а ты со мной любовью уже который месяц не занимался, и за это унижение я ненавижу тебя до глубины души!

— Хочу, чтобы ты знала, — сказал я, весь во власти чувства вины, — что я не изменял тебе.

— О, как мне стыдно. Убил. Какой же ты лгун! Жалкий плебей. Животное. Давай, допивай свою бутылку. Спокойной ночи.

Всю-то я бутылку не допил, но оставил едва на донышке, а когда рано утром проснулся, слышу, она говорит с матерью по телефону. Ежедневный утренний отчет Второй Мадам Панофски.

— ...баранья ножка. Нет, не новозеландская. Местная. Как где, в "Делани". Ма, я прекрасно понимаю, что в Атуотере на рынке дешевле, но мне было некогда, и потом, там вечно негде машину поставить. Я помню. Конечно, я обязательно проверю счет. Я всегда проверяю. Нет, ты была абсолютно права, что сказала — оно было пережаренным и жестким. Нет, вовсе я не постеснялась, просто снаружи мне было ждать удобнее. Ма, так нечестно. Не каждый ирландец католик, и не каждый католик антисемит. Да нет, просто ребрышко какое-то упрямое попалось. Я вовсе не говорю, что ты плохо готовишь. Что? А... — суп-пате из дробленого гороха, а потом зеленый салат с сыром. Да, это ты мне дала рецепт. Я знаю, как рабби Горнштейн его обожает, а Барни — он вообще к десертам равнодушен. Господи, да ведь он из виски получает сахара столько, что никаких десертов не надо! Я скажу ему, обязательно, но он отвечает, что вовсе не стремится жить до восьмидесяти и ходить пуская слюни в маразме. Я согласна. Конечно, сейчас это не такой уж преклонный возраст. Да бог с тобой, он прекрасно знает, что у тебя диплом Макгилла и ты рецензируешь книги для женского читательского кружка при синагоге. *Он вовсе не считает тебя глупой.* Нет, извини, поправка: он всех считает глупыми. Что? Он тебе так сказал? Ну, по правде говоря, вряд ли он сам-то прочел все семь томов Гиббона. Да не должна ты ему ничего доказывать! Ма, Фрэнк Харрис сам отвратный тип — ты помнишь, что он подарил тебе на Хануку*? Тоже мне шутник. Что? Кем он работает? А... он писатель. Старый друг Барни, еще со времен Парижа. Москович. Бернард Москович. Нет, он не канадец. Да, настоящий писатель. Ма, ты не единственная, кто о нем никогда не слышал. Прошу прощения, но я ничего подобного не говорила. Я знаю, что ты человек очень начитанный. Ма, у меня тон *вовсе не снисходительный.* Давай не будем в это вдаваться. Я говорю обычным, нормальным тоном. Такая уж я уродилась. Нет, ну вот не смогла я вчера, у меня здесь столько дел было! Я не забыла, и я звоню тебе не по обязанности. Я правда люблю тебя и понимаю, как тебе не хватает теперь папы, и что я у тебя осталась одна — это я тоже понимаю. И — раз уж мы об этом заговорили — хочу, чтобы ты не думала, будто я считаю, что тебе не следует красить волосы, просто локоны, которые он тебе делает... у них вид чересчур девчоночий для женщины твоего возраста. Мама, я очень хорошо понимаю, что когда-нибудь и я доживу до такого же возраста; я только и надеюсь, что, когда придет мое время, я буду выглядеть так же привлекательно, как ты. *И вовсе я тебя не осуждаю.* Ты сама себе противоречишь. Если я что-то говорю тебе, я осуждаю, а если не говорю и намекнет кто-то другой, тогда мне на тебя наплевать и я вовремя не предупредила. *Я не сказала, что кто-то на что-то намекает.* Мам, я тебя умоляю. Да, конечно, мы в следующем месяце вместе поедем в Нью-Йорк. Я передать тебе не могу, до чего мне не терпится. Но ты, мама, уж пожалуйста, не обижайся, но когда тебе четырнадцать, не надо зря тратить время, пытаясь влезть в

платьице двенадцатилетней. Подожди. Стоп. Никогда мне не было за тебя стыдно. Когда мне будет столько лет, сколько тебе, иметь такую фигуру, как у тебя, — это будет большим везением. Нас же за сестер принимают — разве не так подумали те продавщицы в "Блуминдейле"? А этот — помнишь, он сказал, что мы можем взять из выставленного все, что захотим, по оптовым ценам? Да ну, какие шутки. Слушай, а тебе не кажется, что Кац на тебя глаз положил? Ну при чем тут неуважение? Да, мне тоже никто не заменит папу. Но ты знаешь, немножко все же не тот у Каца товар. Да нет, не то чтобы совсем уж какие-то дешевые *шматас*, это не так. У него сплошь прекрасные копии того, что он видел на парижских показах мод, если, конечно, не принимать во внимание машинную строчку. Но вот берешь что-то у него, вроде одета как куколка, а придешь на вечеринку — глядь, хоть на одной женщине, но обязательно точно такая же вещь. Что ты говоришь, как это тебя не пригласили на юбилейный обед к Гинзбергам, тебя же всегда приглашали! Ма, это ты вообразила. Не может быть, чтобы старые друзья бросили тебя, когда не стало папы. Неправда, нет такого, чтобы людям неприятно было сидеть за столом с вдовой. В твоей возрастной группе это должно быть нормальным явлением. Прости. Я не хотела тебя обидеть. Ма, это не равнодушие, и я вовсе не жду, когда ты умрешь. Вовсе ты мне не в тягость. Но в твоей возрастной группе подобные вещи случаются. Такова жизнь. *Мама, ты не могла бы не высказывать за меня те мысли, которых у меня, может, вовсе и не было?* Неужто мы не можем больше говорить откровенно? Или теперь спокойно беседовать мы способны только о погоде? Ма, ну давай договорим, не могу же я оставить тебя в таком настроении. Ма, умоляю. Сейчас же прекрати. Ну что ты носом хлюпаешь. *Да вовсе я не раздражаюсь.* Знаешь что, позвони Малке, наверняка она так же одинока, как и ты, вместе сходите куда-нибудь пообедать, потом в баре, может, сумеете подклеить пару мальчиков. Ма, это шутка. Я отлично знаю, что ты никогда ничего подобного не сделаешь. Ну да, я знаю, она никогда за себя не платит. Ну и что? Нельзя сказать, чтобы ты была такая уж бедная. Что значит, что́ я хочу этим сказать? Да ничего, абсолютно. *Мама, я никогда не спрашивала, какое он оставил наследство, и сейчас тоже не хочу об этом слышать.* Черт. Если ты так думаешь, то завещай все обществу защиты животных, мне плевать. Или ты думаешь, я такое чудовище? Знаешь, что я в эту самую минуту чувствую? *Унижение!* А сейчас я должна с тобой попрощаться и... Мам, только в больном воображении может родиться такая мысль, будто бы я всегда ухитряюсь к концу разговора все переиначить, чтобы получилось, что обидели меня. Что? Да ладно тебе. Я сказала *тебе обидные вещи?* Ну, приведи пример. Ага. Ага. Черт. Если ты считаешь, что тебе идут эти локоны Ширли Темпл, ходи с ними. И знаешь еще что? Когда следующей зимой поедешь с Малкой во Флориду, купи себе бикини. Размером с носовой платочек. Но не рассчитывай тогда, что я приеду навестить тебя. А теперь я вешаю трубку и... Да вовсе это не обычный мой приступ злобы. Ма, вот жаль, что мы не записывали разговор на магнитофон, я бы его сейчас перемотала и дала тебе послушать, хотя бы с тем, чтоб доказать, что я ни слова не сказала о целлюлитных отложениях. У тебя до сих пор великолепные ноги. А сейчас я действительно должна вешать трубку, у меня столько дел, столько дел! Барни передает привет, целует. Нет, я не просто так это говорю. Ну, до свидания, всё, пока.

Все утро после вчерашней ссоры мы со Второй Мадам Панофски были друг с другом преувеличенно вежливы. Я варил и чистил яйца для

ее салата Niçoise[1], а она, с пониманием отнесясь к моему состоянию, сделала мне "кровавую мэри". Но молчание в кухне стояло гнетущее, пока она не включила радио, решив развлечься воскресной утренней программой Си-би-си. Писатель из Торонто жаловался, что ни один книгопродавец не выделяет его произведениям места в витрине, потому что автор не американец и не британец. "Ад, – сообщил он в заключение своей речи, – это каждое утро новый чистый лист бумаги в твоей машинке". Вторая Мадам Панофски прибавила громкость.

– Ушам своим не верю. У него берет интервью Мириам Гринберг!

– А это еще кто такая?

– Я ее противный голосок где угодно узнаю. Как только ей удалось так пробиться? Разве что передком поработала. В университете поговаривали, что она это умеет.

– Правда?

– Ты не мог бы открыть для меня ту банку анчоусов?

– Конечно, дорогая.

Бука лежал в постели весь мокрый и спуститься к завтраку был не в состоянии. Я отнес ему еду на подносе, а затем известил Вторую Мадам Панофски, что поеду в офис подписать кое-какие бумаги (помимо прочих неотложных дел), но потом непременно к ужину вернусь.

– Смотри, будь осторожен в дороге, – напутствовала она меня, подставляя щеку для поцелуя.

– Да, конечно, – отвечал я любезно. – А, кстати! Тебе ничего не надо из города привезти?

– Да вроде нет.

– Перед тем как ехать обратно, я на всякий случай позвоню.

В "Динксе" меня ждал сердитый Хьюз-Макнафтон.

– Что за срочность? – спросил он.

– Мне нужен развод.

– Прямо завтра утром?

– Именно.

Законы Квебека основаны на наполеоновском кодексе, и в 1960 году в этой богобоязненной провинции дела о разводах решались чуть ли не на уровне Палаты общин, а основанием признавалась только супружеская измена.

– Deo volente[2], – сказал Хьюз-Макнафтон, – она закрутит интрижку, и ты сумеешь это доказать. Что ты хмыкаешь?

– Заставишь ее изменить мне, как же!

– Тогда надо, чтобы она сама подала на развод. Она пойдет на это?

– Мы это с ней еще не обсуждали.

– Если она соглашается, тогда обычно процедура такая: я нанимаю проститутку, и вас в каком-нибудь убогом мотеле в Кингстоне или еще где-нибудь частный детектив с безупречной репутацией обнаруживает in flagrante delicto[3].

– Ну так пошли.

– Не так быстро. Сперва она должна на эту комедию согласиться. Кроме того, никуда не денешься от платы по прейскуранту. Lex talionis[4].

1. Как в Ницце (*франц.*).
2. Бог даст (*лат.*).
3. На месте преступления (*лат.*).
4. Закон равного возмездия (*лат.*).

Ее адвокат может содрать с тебя три шкуры — и сейчас заплатишь, и будешь платить до скончания века. Я испытал это на собственном опыте, дитя мое.

— На такое дело мне ничего не жалко.

— Это ты сейчас так говоришь. Все сперва так говорят. А пройдет лет пять, оглянешься издали, все увидится по-иному, и начнешь обвинять меня. Далее: я не хочу лезть не в свое дело, но вся эта срочность — из-за того, что ты увлекся другой женщиной, проказник? Она ждет ребенка?

— Нет. И я не увлекся. Я ее люблю.

— Это в какой-то мере объясняет глупость твоего поведения. Ты бы сперва поговорил с женой, может, она согласится обойти закон, тогда мы с ее адвокатом, глядишь, и договорились бы заранее, чтобы тебе оставили стул, стол, кровать и вторую пару носков.

— Она наследница огромного состояния.

— Господи, Барни, да ты прямо не от мира сего. Какое это имеет отношение к делу?

— Черт, сколько сейчас времени?

— Да восьмой час уже. А что?

— Я обещал к ужину вернуться.

— За руль тебе в таком состоянии садиться нельзя. Кроме того, я только что заказал нам еще по одной.

Я пошел к висевшему в углу телефону-автомату.

— Так я и знала: ты, как в город приедешь, сразу пьянствовать, — сказала она. — И что мне прикажешь делать? Развлекать твоего гостя? Я с ним едва знакома.

— В его состоянии он сейчас из комнаты носу не высунет. Точно. Принеси ему только что-нибудь поесть. Свари пару яиц. Бутерброд. Банан. Будь проще.

— Иди ты к черту.

— Завтра я приеду к ланчу.

— Стой. Не смей бросать трубку. Я тут с ума сойду. Все утро мы вели себя как два робота, словно ничего не случилось. Это просто пытка. Я должна знать, на каком я свете. Мы собираемся как-то приводить наш брак в порядок или нет?

— Разумеется, дорогая.

— Я так и думала, — сказала она и повесила трубку.

Хьюз-Макнафтон за это время успел расплатиться.

— Ну что, перемещаемся в "Джамбо"? — спросил он.

— Почему бы и нет?

— Ты ей сказал, что хочешь развестись?

— Да.

— А что она?

— Да и катись, говорит, колбаской.

— Я засек время нашей консультации, вышло три часа с минутами. При ставке сто пятьдесят в час ты должен мне четыреста пятьдесят, а сейчас у нас уже получается овертайм.

Было душно, стоял первый за лето вечер тяжкой жары, которая обещала установиться на много дней, и кондиционер в "Джамбо" не справлялся. Бар был полон — всё какие-то неприкаянные одиночки, но мы все же нашли место в тихом уголке.

— А что, если она не пойдет навстречу? — спросил я.

— Ты, по-моему, сказал...

— Нет, ну а вдруг?

— Тогда все затянется невесть на сколько и обойдется гораздо дороже. Барни, что бы ты ни делал, ты не должен признавать, что в кого-то влюблен. Жены на удивление чувствительны к этому. Да что там — бывает, они даже мстят! Лучшая стратегия для тебя — это уйти из дома, но чтобы она не думала, будто ты торопишься с разводом.

Из "Джамбо" мы перешли в монреальский "Пресс-клуб", так что домой я попал в четвертом часу утра. Но проснулся все равно в шесть. Был подавлен. Чувство вины сменялось тревогой. Я и за Буку волновался, и боялся, что, во-первых, жена измучает меня, пока согласится подавать на развод, а во-вторых, условия будут продиктованы ее матерью на пару с каким-нибудь безжалостным и цепким крючкотвором из их знакомых. Я побрился, принял душ, влил в себя жбан кофе, закурил "монтекристо" и поехал на дачу, проговаривая про себя разные варианты прельстительно-увещевательной речи (тебе же, дескать, будет лучше, если разведемся), но все они даже в моих собственных ушах звучали как-то диковато.

Второй Мадам Панофски в кухне не обнаружилось, не было ее и в супружеской кровати, которая оказалась уже заправленной. Быть может, мучимая теми же тревогами, что и я, она тоже встала рано, а теперь пошла искупаться? Жара, во всяком случае, к этому располагает. Что если написать записку — дескать, ладно, согласен на развод, — оставить на кухонном столе и в темпе свалить отсюда? Нет, это была бы трусость, — подумал я. *Ну и что, что трусость?.. Нет, Барни, нет, так поступать ты не должен.* Я решил разбудить Буку и обсудить свою проблему с ним. И тут — здрасьте пожалуйста! — лежат, голубки — моя жена и мой лучший друг, нежатся в постели. Я поверить не мог такой удаче.

— Так-так-так! — сказал я с наигранным возмущением.

— Черт. — Вторая Мадам Панофски нагишом соскочила с кровати, цапнула свою ночнушку и убежала.

— Сам виноват, — сказал Бука. — Ты же должен был позвонить перед выездом из города.

— С тобой я разберусь позже, подонок! — гаркнул я и бросился за Второй Мадам Панофски в нашу спальню, где она уже одевалась.

— А я-то ехал, спешил, думал, сейчас помиримся, — заговорил я, — вдохнем новую жизнь в наше супружество, а ты — смотрю, валяешься в кровати с моим лучшим другом!

— Это был несчастный случай. Честно, Барни.

Недаром через мой офис прошли кипы телесценариев, сплошь состоящих из словесных клише, — мне было где брать реплики для диалога.

— Ты предала меня, — сказал я.

— Я принесла ему еду, как ты просил, — захныкала она. — Его бил озноб, простыни все мокрые, и я легла с ним рядом — просто чтобы согреть его, а он начал делать всякие вещи, и я была как воск в его руках, потому что ты не прикасался ко мне месяцами, а я же не каменная, одно цеплялось за другое, ну и вот... По-моему, я даже и не понимала, что происходит, а потом было уже поздно.

— Моя жена и мой лучший друг! — воскликнул я.

Она потянулась ко мне, хотела успокоить.

— Не тронь меня, — отпрянул я, надеясь, что не пережимаю.

— Давай все разговоры об этом отложим, — сказала она. — Сейчас я не могу, сейчас я так несчастна!

— Это *ты* несчастна?

Вся в слезах, она схватила сумочку, сдернула с гвоздя ключи от машины и побежала по лестнице вниз, я за ней.

— Я буду у мамы, — бросила она через плечо.

— Скажи ей, что мы разводимся!

— Сам скажи. Нет, не смей! Ей сегодня вечером к зубному. Пломбировать канал.

У самой машины она развернулась ко мне лицом.

— Если бы ты любил меня, то никогда бы не оставил наедине с таким мужчиной.

— Я верил тебе!

— Вы лишены моральных устоев — люди вроде вас с Букой. Я так неопытна, а он такой... Я понятия не имела, что происходит. Казалось, он в таком смятении, в такой печали, и я подумала, эта его рука... думала, он сам не сознает, что гладит меня там, что это случайно... то есть я притворилась, что не замечаю — не хотела выглядеть дурой и мещанкой, затевать ссору. Я ведь — ну, он же твой лучший друг, и я... он... Ах, да какая разница! Что бы я ни делала, тебе все будет не так.

Она села в машину и опустила стекло.

— Черт. Еще и ноготь сломала. Надеюсь, ты доволен? Все на меня орешь, а ведь это он начал, богом клянусь — этот твой лучший друг. Наверняка он и первую твою жену трахал — он такой! Тоже мне друг называется. И что ты теперь собираешься с ним делать?

— С ним? Что делать, что делать... Убить его — вот что делать, а потом, может быть, и до тебя с твоей мамочкой доберусь!

— Мамочкой. Черт. Как я ей покажусь в таком виде — всю косметику забыла на трюмо. Мне нужен мой карандаш, глаза подкрашивать. И мой диазепам...

— Так поди да возьми.

— Fuck you! — взвизгнула она, вдарила по газам и рванула вперед так, что из-под задних колес полетел гравий. Когда она уже точно исчезла из виду, я каким-то невероятным танцевальным махом взлетел на крыльцо, лишь чуть придерживаясь за перила. Потом очень даже лихо отколол шим-шам и да-паппл-ка, чуть было не попавшись ей за этим занятием на глаза, потому что она, взревев двигателем, задним ходом вернулась и снова опустила окошко.

— Ладно, развлекайся себе с твоей блядью в Торонто, кто я такая, чтобы возражать, — ты мужчина, а я нет, такова жизнь. Но ты хоть знаешь теперь, что в ответ можешь получить той же монетой. Довольно поганое ощущение, не правда ли?

— А, так моя жена — мороженая рыба?

— Хочешь развод? Всегда пожалуйста. Только он будет на моих условиях, ублюдок, — сказала она и снова унеслась, ломая шестерни передач и едва не врезавшись в дерево.

Ий-яба-даба-ду! Ну, Барни Панофски, ты родился с подковой в заднице. Со звонком Хьюз-Макнафтону я решил повременить, но теперь я совершенно не нуждался ни в проститутке, ни в частном сыщике. На-хре-на-онина-ммм! Собрался, стер с лица ухмылку и с достаточно суровым, как я надеялся, видом пошел в дом разбираться с Букой. Небритый, он уже стоял внизу — тощая жердь в семейных трусах — и уже нащупал, тащил из бара бутылку "макаллана" восемнадцатилетней выдержки и два стакана.

— Здесь внизу попрохладнее, правда же?

— Ты отымел мою жену, сукин ты сын!

— Мне кажется, прежде чем обсуждать это, надо выпить.

— Выпить! Я даже не позавтракал еще.

— Завтракать еще рано, — сказал он и налил нам обоим не разбавляя.

— Как ты мог такое со мной сделать?

— Я это с ней делал, а не с тобой. А если бы ты позвонил, выезжая из Монреаля, неловкой ситуации можно было бы избежать. Я, пожалуй, пойду поплаваю.

— Нет уж, ты погоди! Так это я, получается, виноват?

— Ну, в каком-то смысле да. Ты пренебрегал супружескими обязанностями. Она сказала, что ты семь месяцев не занимался с ней любовью.

— Она тебе так и сказала?

— Ну что, поехали? — Он поднял стакан.

— Поехали.

— Заходит она ко мне в комнату, — начал он рассказ, вновь разливая по стаканам, — ставит поднос и садится ко мне на кровать в такой коротюсенькой ночнушечке. Ну, было уже довольно жарко, я могу ее понять, но подозреваю, был, был в этом некий намек. Подтекст какой-то. *Сколь?*[1]

– *Сколь.*

– Отложил я книгу. Джона Марканда — "Искренне ваш Уиллис Уэйд". Вот, кстати, еще один романист, жестоко недооцененный. В общем, после несколько принужденного обмена вежливыми банальностями ("Как жарко, правда?" — "Я так много слышала о вас". — "Как вы добры, что возитесь со мной в моем состоянии", и т. д. и т. п.) и парочки неловких пауз... Слушай, я правда пойду поплаваю. Можно я возьму твои ласты-масты?

— Черт тебя побери, Бука!

Он налил нам еще, и мы оба закурили "монтекристо".

— Я полагаю, нам самим придется сегодня готовить завтрак, — сказал он. — *À votre santé!*[2]

— Конечно. Но ты продолжай, продолжай.

— А потом, совершенно безо всякого с моей стороны понуждения, она принялась рассказывать о ваших семейных проблемах, ожидая от меня получить совет. Мол, домой тебя калачом не заманишь, чуть не каждый вечер ты просиживаешь в баре в компании пьяных неудачников и очень редко когда снисходишь до того, чтобы прийти домой прямо с работы; за столом ты с ней не разговариваешь, а ешь, уткнувшись в книгу. Или в "Хоккей ньюс" — не знаю уж, что это такое. Когда она приглашает к вам обедать другие семейные пары, своих старых подруг, ты на них наскакиваешь. Если у них правые взгляды, ты им доказываешь, что Вторую мировую войну выиграли Советы и когда-нибудь Сталина признают человеком столетия. А если они левые, с пеной у рта клянешься, что есть научные данные, доказывающие, что негры находятся на низшем интеллектуальном уровне и чрезмерно сексуальны, при этом превозносишь Никсона. Каждый раз, когда вы приходите к ее родителям обедать в шабат, ты свистишь за столом, чем оскорбляешь ее мать. Она вышла за тебя замуж вопреки возражениям отца, выдающегося интеллектуала, и что теперь? Ты пренебрегаешь ею в постели, а тут еще выясняется, что у тебя любовница в Торонто. Слушай, я подглядел, что у вас в холодильнике есть яйца под майонезом. Как ты думаешь, а?

1. Твое здоровье (*швед.*).
2. Твое здоровье (*франц.*).

Мы переместились за кухонный стол, взяв с собой бутылку и стаканы.

— *Лехаим*! — сказал он.

— *Лехаим.*

— Должен заметить, насчет поболтать она сама не своя. Как заведет, не остановишь, я думал, у меня мозга за мозгу заскочит. А потом она наклоняется убрать поднос, и там такие сисечки мелькнули! А она снова села ко мне на кровать и давай хныкать, так что мне просто ничего не оставалось, как только обнять ее и попытаться успокоить, а она и при этом все равно лепечет без умолку. Я начал ее поглаживать там, сям, и в ее протестах — таких тихих, вкрадчивых — мне послышалось явное приглашение. "Ах, ну зачем..."; "Ну не надо, перестаньте сейчас же..."; "Ах, пожалуйста, только не там..." Потом, притворяясь, будто не отвечает на мои ласки, она перешла к рассказу о том, какой ей вчера снился сон, и при этом добровольно поднимает руки, чтобы мне удобней было снять с нее ночнушку, и тут — слышь, самое забавное — я решил, что единственный способ заставить ее заткнуться это трахнуть ее, вот так оно и произошло. Бутылка-то, смотри, кажется, пуста.

Я пошел, принес еще одну.

— *Чин-чин*, — сказал он и потянулся за кухонным полотенцем, чтобы вытереть вспотевшую грудь. — Окна-то все открыты?

— Надо бы мне зубы тебе повышибать, Бука.

— Только сперва я должен искупаться. А! Еще она кучу вопросов задавала про Клару. Мне кажется, я был для нее не более чем удобный такой deus ex machina[1]. Она хотела рассчитаться с тобой за ту женщину, что у тебя в Торонто.

— Минуточку, — сказал я. Сбегал в спальню и вернулся со старым отцовским табельным револьвером, который положил на стол между нами. — Что, испугался? — спрашиваю.

— Да подожди ты с этим, дай сперва поплаваю с-маской-с-трубкой.

— Бука, ты можешь мне оказать одну огромную услугу.

— Да ради бога, все, что захочешь.

— Я хочу, чтобы ты согласился быть соответчиком на моем бракоразводном процессе. Всего-то и надо, чтобы ты подтвердил, что я пришел домой к возлюбленной жене и обнаружил тебя с ней в постели.

— А, так ты это специально, негодяй, подстроил! Воспользовался слабостью старого друга! — ухмыльнулся он, подставляя пустой стакан.

Я сгреб револьвер и наставил на него.

— Ты будешь моим свидетелем или нет?

— Я обдумаю это в пучинах вод, — сказал он, встал и, шатаясь, побрел туда, где лежали мои ласты-масты.

— Ты так напился, куда тебе плавать, балбес чертов, — заспорил я и побрел за ним, по-прежнему держа револьвер в руке.

— А давай вместе, — предложил он, начиная спускаться по крутому травянистому откосу к воде. — Нам обоим это очень не помешает. Ям-бу-бу-дуду совсем трез-ву-ву сам бум.

— Лично я пойду прилягу. Тебе бы тоже не помешало. Взгляни на себя, ты же на ногах еле стоишь. Не надо, Бука!

— Кто будет в воде вторым, моет посуду!

— Стой, — заорал я. — Стой, стрелять буду!

1. Бог из машины (*лат.*).

Оценив мою шутку, Бука дико захохотал. Он еще помедлил, надевая ласты, дважды при этом упал, потом прямо в ластах побежал вниз по склону.

— Поберегись! — крикнул я и выстрелил, направив ствол гораздо выше его головы.

Бука вскинул руки вверх, будто сдается.

— Kamerad, — воззвал он ко мне, — Kamerad! Nicht schiessen![1] Потом зигзагами спустился по откосу, пробежал по причалу и, плюхнувшись в озеро, исчез под водой.

Вернувшись в гостиную, я лег, и только начал засыпать, как зазвонил телефон.

— Я звоню сообщить вам, что в ближайшем будущем моя дочь будет жить у меня. Мне поручено предупредить вас, чтобы вы не пытались вступать с ней в общение; с любыми вопросами обращайтесь к Хайману Гольдфарбу, в Квебек.

— Ай, Златовласка, до чего же ты злобная баба!

— Как вы смеете!

— И передайте ей от меня, что у Мириам Гринберг голос вовсе не противный. У нее прекрасный голос, — сказал я и повесил трубку.

Вот ведь трепло! — подумал я. Взял и сразу все выдал. Хьюз-Макнафтон меня за это ох не похвалит!

Встав на четвереньки, я дополз до дивана и мгновенно провалился в сладостный сон. Проспал, мне показалось, несколько минут, когда какой-то рев, вроде самолетного мотора, сотряс комнату, и мне приснилось, что я лечу, а мой самолет падает. Силясь выйти из ступора, я ничего не мог понять. Где я? В Монреале? В квартире Мириам? На даче? Еле встав, ковыляя на ватных ногах, я выбрался на веранду, пытаясь определить источник рева. То был пролетающий аэроплан, но он теперь был уже так далеко, что понять, натовский ли это бомбардировщик с базы в Платтсбурге или трансатлантический лайнер, я не сумел. Тут я заметил, что на дворе сумерки. Поглядев на наручные часы, с удивлением обнаружил, что спал больше трех часов. Скользнув обратно в дом, я плеснул себе в лицо холодной воды, подошел к лестнице на второй этаж и стал звать:

— Бука!

Нет ответа.

— Эй, просыпайся, Бука-Букашка!

Но его не было ни в его комнате, ни где-либо еще в доме. Вырубился, должно быть, на причале, подумал я, но его и там не было. *О Господи, неужто утонул? Нет, нет, только не Бука! Пожалуйста, Господи!* Футов на сорок от пристани озеро все еще мелкое и прозрачно до дна. Я прыгнул в лодку, дернул стартер мотора и стал кружить по воде, вглядываясь в дно, все больше и больше впадая в панику. В конце концов кинулся снова в дом и стал звонить в местную полицию. Ждал их два нескончаемых часа, приехали, и я выдал им несколько отредактированную версию того, что произошло. Я не стал говорить о ссоре со Второй Мадам Панофски, даже не упомянул, что она вообще была на даче. Однако сообщил, что мы с Букой пили и что я умолял его не ходить купаться.

На поверхности тело Буки не плавало, и полицейские на катере, вышедшем из Меркинз-Пойнт, осмотрели весь берег, но ничего не нашли.

1. Товарищ! Не стреляй! (*нем.*)

— Может быть, он где-нибудь в водорослях запутался? — предположил я.

— Нет.

День спустя, уже вечером, полицейские вернулись, и с ними следователь.

— Меня зовут Шон О'Хирн, — представился детектив. — Думаю, нам надо бы немножко поболтать.

С тех пор как Бука плюхнулся в озеро, я больше его не видел. Готов поклясться на головах внуков — я рассказал в точности то, что было, но он и до этого много раз пропадал, и я никогда не терял надежды. Не проходит ни дня, когда я не ждал бы открытки из Ташкента, Нома или Аддис-Абебы. Или, еще лучше, чтобы он подкрался ко мне в "Динксе" сзади и прямо в ухо гаркнул: "Бу-у!"

Ладно, хватит об этом. Буке сейчас стукнуло бы семьдесят один год — нет, семьдесят два, — и я не понимаю, почему он не появился хотя бы только для того, чтобы раз и навсегда обелить меня, снять подозрения.

Окончание следует

Примечания

1. Джон Берриман (1914—1972) — американский поэт и литературовед. Покончил с собой, бросившись в Миннеаполисе с моста на лед замерзшей Миссисипи (с. 121).

2. Джеймс Босуэлл (1740—1795) — друг и биограф Сэмюэла Джонсона (с. 123).

3. Основоположником *хабада* (т. н. любавического хасидизма) в XVIII в. был ребе Шнеур Залман. В описываемое время Любавическим ребе (с 1950 по 1994 г.) был выходец из России Менахем Мендл Шнеерсон. Но кто бы он ни был, Любавический ребе непременно сказал бы что-нибудь забавное, поскольку в движении *хабад* главным методом приближения к Богу считается *хохма*, то есть мудрость, черпаемая из обыденности (из сказки, анекдота, парадоксальной притчи, на ходу сочиняемой духовным наставником) и, желательно, вызывающая просветленную улыбку. Уже само название *хабад* есть аббревиатура слов *хохма, бина и да'ат*, где *бина* и *да'ат* — выражаясь по-современному — информация и способность к ее обработке (с. 123).

4. Национальный фонд исследования детского паралича, или Фонд врожденных патологий; проведенные там исследования привели, в частности, к появлению вакцины от полиомиелита (с. 124).

5. Один из самых популярных хоккеистов в НХЛ (с. 124).

6. "Казалось мне, разнесся вопль: "Не спите! / Макбет зарезал сон!"" У. Шекспир. Макбет. Акт II, сцена 2. Перевод Ю. Корнеева (с. 132).

7. Существует легенда, будто некий джентльмен, прибывший по делу из Порлока, отвлек Колриджа, не дав ему закончить поэму о Кубла Хане, после чего вдохновение к поэту так и не возвратилось (с. 135).

8. Фильм (1945) Дэвида Лина по сценарию Ноэла Коуарда о романе прекраснодушного врача с замужней женщиной (с. 136).

9. Дэвид Селзник (1902—1965) — сын украинского еврея-иммигранта, знаменитый кинопродюсер, особенно прославившийся фильмом "Унесенные ветром" (1940). Дин Мартин (1917—1995) — певец и киноактер, артист комического жанра; пик его популярности пришелся на 60-е гг., когда еще не считалось

некорректным смеяться над шутками на тему неполноценности негров и женщин (с. 137).

10. Гедда Хоппер (1885—1966) — американская актриса, кинокритик (с. 138).

11. Джин Келли (1912—1996) — американский танцор, актер, хореограф и кинорежиссер (с. 138).

12. Отсылка к "Сказанию о Старом Мореходе" (1797—1798) С. Т. Колриджа. Старый моряк неизвестно зачем убил альбатроса и во искупление этого греха претерпел неисчислимые беды и страдания (с. 140).

13. Клиффорд Одетс (1906—1963) — американский драматург, киносценарист, актер, режиссер; придерживался леворадикальных взглядов. Генри Луис Менкен (1880—1956) — американский журналист, эссеист, критик, лингвист. Фрэнк (наст. имя Джеймс Томас) Харрис (1856—1931) — американский журналист, писатель, критик и биограф, известный главным образом благодаря своей мало правдоподобной и перенасыщенной сексуальными сценами автобиографии. Эдмонд Уилсон (1895—1972) — американский публицист, литературовед, прозаик. Стэнли Спенсер (1891—1959) — английский художник (с. 142).

14. Сэм Спейд — герой романа "Мальтийский сокол" (1930) Дэшила Хэммета (1894—1961) (с. 146).

15. В модном в 80-е гг. эклектическом религиозном учении "Нью эйдж" (новая эра) все смешано в кучу — от йоги и астрологии до пришельцев из космоса и летающих тарелок. Типичные атрибуты — карты таро и магические кристаллы. Большая роль отводилась экстрасенсам и контактерам (с. 148).

16. "Хадасса" — общеамериканская женская сионистская организация (основана в 1912 г. под названием "Дщери Сиона") (с. 151).

17. Джордж Альфред Генти (1832—1902) — английский писатель, автор низкопробного (при всей дидактичности) приключенческого чтива для подростков (с. 152).

18. Сесил Баунт Де Милль (1881—1959) — один из создателей Голливуда, продюсер, режиссер, драматург (с. 152).

19. "Исход" (1958) — роман американского писателя Леона Юриса (1924—2003) о возвращении евреев на историческую родину и становлении государства Израиль (с. 152).

20. Реальные и вымышленные особы, преимущественно комики и их персонажи (с. 153).

21. На самом деле братьев-клоунов было пятеро: Граучо (ворчун), Арфо (он играл на арфе), Чико (рояль), Зеппо (толстяк) и Гаммо (трепач). Хотя Гаммо состоял в труппе лишь в начале их карьеры, а затем (лет этак через двадцать) его сменил Зеппо (с. 153).

22. Гарри Голден (1902—1981) — американский журналист. Теодор Герцль (1860—1904) — основоположник сионизма. Герман Вук (р. 1915) — американский писатель, автор популярных романов о Второй мировой войне; в 1955 г. опубликовал роман "Марджори Морнингстар" о жизни американской еврейской общины (с. 153).

23. Юлиус Штрайхер (1885—1946) — нацистский политик и пропагандист антисемитизма. Главный редактор газеты "Штюрмер", подводившей идеологическую базу под политику геноцида. В предвоенные годы был гауляйтером Франконии. Повешен по приговору Нюрнбергского трибунала (с. 157).

24. Крупнейшая голливудская компания "Music Corporation of America" (с. 157).

25. Боадицея — вдова короля бриттов Прасатагуса, в 60 г. возглавившая восстание против римлян по всей Восточной Англии. Поначалу бритты одержи-

вали победы, вырезали 9-й легион римлян, захватили много мелких сел и даже сожгли рынок, конюшню и два амбара в Лондоне, но Рим прислал подкрепление и восстание было подавлено. Сама Боадицея отравилась (с. 158).

26. Часть Талмуда, представляющая собой притчи, нравоучительные наставления, полезные советы, случаи из жизни отдельных людей. Здесь речь идет о пасхальных чтениях (главным образом из истории Исхода), состоящих из вопросов и ответов на них (с. 159).

27. Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Перевод Т. Щепкиной-Куперник (с. 164).

28. Малколм Икс (1925—1965) — идеолог "черного национализма", герой борьбы афроамериканцев за свои права (с. 169).

29. Чарльз Лафтон (1899—1962) — английский актер. Снимался, в частности, в фильме "Горбун из Нотр-Дам" (1939) (с. 173).

30. Еврейский Новый год (празднуется в сентябре-октябре — 1-го числа седьмого месяца Тишрей) (с. 174).

31. Лорен Бэколл — американская актриса (р. 1924) (с. 178).

32. Дюк Снайдер, Сэнди Кофакс — бейсболисты. Билли Холидей (1915—1959) — американская джазовая певица (с. 180).

33. Ричард Сэвидж (1697—1743) — английский поэт, знаменитый главным образом тем, что его биографию написал Сэмюэл Джонсон. Упомянут, вероятно, потому, что попал под суд за убийство, но был оправдан (с. 184).

34. Джеймс Руфус Эйджи (1909—1955) — американский писатель, журналист, один из самых влиятельных кинокритиков в 40-е гг. (с. 188).

35. Джесси Луис Джексон (р. 1941) — один из лидеров движения американских негров за гражданские права. В 90-е гг. пробился на самый верх истеблишмента США, был советником президента Клинтона (с. 195).

36. "В защиту своей жизни" (1864) — книга кардинала Джона Генри Ньюмена (1801—1890), где он излагает, как его вера, развиваясь, из англиканской перерастала в католическую (с. 200).

37. Лоренс Стерн (1713—1768) — английский писатель, священник. Автор романа "Жизнь и мнения Тристрама Шенди", в котором авторские отступления и свободная игра ассоциаций важнее сюжета (с. 200).

38. Филис Дороти Джеймс (р. 1920) — английская писательница, мастер детектива (с. 200).

39. Американский фильм (1947) по одноименному любовному роману Кэтлин Уинзор (с. 203).

40. Считается, что шабат наступает в пятницу вечером после появления в небе первой звезды (с. 204).

41. Линдли Армстронг, он же Спайк ("Костыль") Джонс (1911—1965) — популярный американский комик, музыкант, руководитель оркестра. Любил использовать в качестве музыкальных инструментов неподходящие предметы, например, стульчак со струнами ("сортирофон"). Занимался "убийством классики" — исполнял Россини, Листа и т. п. на стиральных досках, вилках-ложках и сортирофонах. В его музыкальное наследие входят записи, в частности, таких песен, как "Спят-ка злые", "Не бейте бабушку лопатой", "Подари к Рождеству мне два зуба" (с. 205).

42. Передача "Майора" Боуза (1874—1946) держалась в эфире Эн-би-си с 1935 г. до самой смерти ведущего. Благодаря раскрутке в этой передаче на большую сцену вышли такие артисты, как Боб Хоуп и Фрэнк Синатра (с. 207).

43. Шива — семь (*иврит*). Традиционный траур по умершему. После смерти близкого человека по еврейскому обычаю полагается семь дней скорбеть, не выходя из дома и сидя при этом на низкой скамеечке не выше трех ладоней. "Си-

деть шиву" принято в доме умершего, но можно и в доме скорбящего или в ином месте (с. 208).

44. Куклы, с которыми выступал чревовещатель Эдгар Берген (с. 208).

45. Эл Джолсон (1886—1950) — американский певец и актер, звезда Голливуда 20—30-х гг., еврей из России (наст. имя Аза Йолсон). Сыграл роль негра в первом звуковом фильме "Певец джаза" (1927) (с. 209).

46. Арабские боевики (букв.: принесшие себя в жертву) (*араб.*) (с. 210).

47. Джон Огилби (1600—1676) — английский поэт и переводчик Вергилия и Гомера. Элкан Сеттл (1648—1724) — английский поэт и драматург (с. 214).

48. Имеется в виду Луис Комфорт Тиффани (1848—1933) — американский Фаберже (с. 215).

49. Вероятно, здесь имеется в виду шумный скандал, разгоревшийся в 1994—1995 гг., когда Спендер уничтожил репутацию Дэвида Ливитта, обвинив его в плагиате (тот использовал материал из мемуаров Спендера для своего романа "Пока Англия спит") (с. 215).

50. Генри Грин (наст. имя Генри Винсент Йорк, 1905—1973) — английский писатель, автор многочисленных романов; друг Грэма Грина, чье полное имя Генри Грэм Грин. Альфред Честер (1928—1971) — см. "ИЛ", 2007, № 8, прим. 17, с. 130. Йозеф Рот (1894—1939) — австрийский писатель и журналист еврейского происхождения (с. 218).

51. Отсылка к "Пути паломника" Джона Баньяна (1628—1688), где упоминается "Трясина отчаяния" (с. 218).

52. Исайя Берлин (1909—1997) — английский философ, дипломат. Александр Трокки (1925—1984) — шотландский писатель, наркоман, автор нашумевшего романа "Книга Каина". Сеймур Крим (1922—1989) — американский журналист и эссеист. Анатоль Бруайар (1920—1990) — американский писатель и литературный критик (с. 219).

53. Джон Хастон (1906—1987) — американский режиссер, сценарист, актер (с. 219).

54. Ханука — праздник в честь победы еврейских повстанцев над греко-сирийскими завоевателями в 164 г. до н. э., когда был отвоеван и заново восстановлен Иерусалимский храм (с. 223).

Игорь Клех
Вокруг да около Шульца

Как так получилось, что Бруно Шульц – автор двух тоненьких книжиц прозы и нескольких сот мазохистских "каприччос" – рос, рос, подобно туче, и постепенно затмил собой чуть не половину польского литературного небосклона? То есть оказался в итоге бóльшим поляком, чем сам Адам Мицкевич, чем Витольд Гомбрович и Виткаций, с которыми он начинал в 1930-х свое наступление на польскую литературу. Говорю это безоценочно, как о состоявшемся факте, всегда имеющем светлый аверс и теневой реверс. Найдутся желающие оспорить это утверждение, но аргументом в его пользу служат вышедшие в Польше на рубеже веков фундаментальные труды, в частности – "Шульцевский словарь", роскошно изданный иждивением польского Министерства народного образования (издательство "слово/образ территория", Гданьск, 2003). Это не "словарь языка писателя", а подготовленная коллективом филологов, биографов, арт-критиков, кино- и театроведов, психологов, религиоведов и редакторов шульцевская энциклопедия, являющаяся очередным этапом глорификации Бруно Шульца, а само шульцеведение выводящая на качественно новый уровень. Поэтому уместно будет вкратце вспомнить о зарождении и перипетиях развития этой междисциплинарной и международной маленькой науки, посвященной творчеству одного человека.

Параметры "шульцелогии"

В середине 1930-х Виткаций, Шульц и Гомбрович поддерживали, продвигали и комментировали друг друга в предпринятой совместно атаке на господствовавший в польской литературе реализм, преимущественно эпигонского толка. Одни реалисты, ошеломленные новизной шульцевского письма, как Зофья Налковская, всячески помогали Шульцу (хотя издавать первую книгу в 1933 году ему пришлось за свой счет – старший брат помог Бруно деньгами). А реалисты погорячее, сообразив, чем чревато для господствующего направления появление Шульца в литературе, набросились на него, как Выка с Наперским, исполнившие критическим "дуэтом" накануне Второй мировой войны самый агрессивный "Анти-Шульц" в истории польской культуры (и "Шульцевский словарь" отдает должное зоркости этих почти забытых ныне литераторов).

Надо учитывать, что у знаменитой троицы польских модернистов общего было не больше, чем у басенных рака, лебедя и щуки. Свидетельством тому была литературная "переписка" Гомбровича с Шульцем на страницах журнала "Студио" в 1938 году. По существу, это была полемика первого постмодерниста, с авангардистским задором, и запоздалого модерниста, с темпераментом декадента. Мировоззренчески объединяло их только неприятие мещанской морали и непобедимое нежелание взрослеть, а творчески – доминирующая роль воображения. Что позволило молодому талантливому критику Артуру Сандауэру провозгласить их представителями, а себя первооткрывателем нового художественного направления – "школы мифологов". После

© Игорь Клех, 2007

1956 года Сандауэр откопал припрятанный томагавк войны и под знаменем своих пионерских статей довоенного времени предпринял попытку добиться статуса самого авторитетного литературного критика Польши, а такое коллегами не прощается. Как никто он потрудился над переоценкой литературных ценностей, хотя можно не сомневаться, что это неизбежно произошло бы и без него. И все же Сандауэр задал уровень беспартийной литкритики. Он умел мыслить крупно и писать по существу — его статьи, комментарии и предисловия стали классикой шульцеведения.

Как известно, ревнивее всех узкие специалисты. Таким узким специалистом и главным оппонентом Сандауэра в области шульцеведения на протяжении десятилетий — от Хрущёва до Горбачёва — являлся Ежи Фицовский, переживший своего соперника, но в отличие от него Шульца лично не знавший. Последнее обстоятельство скорее всего не имело решающего значения, однако способствовало превращению в книгах Фицовского "Великого Бруно" в икону, а самого исследователя в служителя его культа (увы, такое случается иногда с биографами или переводчиками, склонными превращаться, в тяжелом случае, в двойников своих кумиров). Но и мания бывает штукой полезной. Первый и по сей день главный биограф и пропагандист Шульца Ежи Фицовский заложил фундамент научного шульцеведения, действуя как коллекционер, комментатор и публикатор. За шестьдесят лет он по крохам собрал, нашел, вывез, добыл уцелевшие рукописи, письма, рисунки и свидетельства и обнародовал львиную долю той фактической базы, к которой обращаются и которой оперируют сегодня все кому не лень. Потому Фицовский заслуженно является "священной коровой" шульцеведения во всем мире — лучшим знатоком и комментатором по частным вопросам и весьма специфическим интерпретатором.

Гений местечка

Посмертная известность, а затем и слава Шульца возрастала с каждым десятилетием. Соответственно, множились ряды шульцологов и "шульцоидов" в разных странах. Благодаря этим последним шульцеведение рисковало либо выродиться в секту, объединяющую маргиналов всех мастей, либо ему следовало отказаться от культа Шульца в духе Фицовского — то есть от удручающей однородности субъекта с объектом. То, что определялось Шульцем как "субстанциональный монизм" и служило условием творческой магии и метаморфоз, для его последователей, почитателей и идолопоклонников оборачивалось чем-то вроде эстетического аутоэротизма и не служило уже ничему, кроме развития нарциссизма. Также шульцеведению пора было перестать блуждать в трех соснах, расставленных Сандауэром: модернизм—мазохизм—мифотворчество, — что оказалось не так легко.

Складывающийся как бы сам собой миф — вещь чрезвычайно живучая, всепроникающая и всепобеждающая. Задним числом видно, что над мифологией Шульца потрудились не только люди, но и само Провидение. Во-первых, личность Шульца по-прежнему представляет собой загадку для исследователей, а тайна — непременный ингредиент всякого мифа. Во-вторых, он не только писатель, но и любопытный художник, не вполне совпадающий с писателем. В-третьих, он еврей, писавший по-польски и живший на краю трех империй поочередно, как бы в зоне их прибоя. В счастливом промежутке он жил в межвоенной Польше, а кости свои оставил земле "незалежной" Украины, только неизвестно где. При том что полвека он прожил почти безотлучно в родном Дрогобыче, старинном центральноевропейском местечке, и убит был, когда готовился бежать, в какой-то сотне метров от места, где родился. Развитая Шульцем апология детства как "гениальной эпохи", отношение к мирозданию как к Кни-

ге с картинками и пряный инфантильный эротизм обеспечивали ему почитателей немногочисленных, но надежных, как электорат КПРФ. Обилие компонентов в этом литературно-исторически-биографическом "коктейле" и игра масштабов (примерно как если бы Шагал не уехал никуда из Витебска) привлекали своим драматизмом. Уж не говоря о пропаже недописанного легендарного романа "Мессия" и о том, что двоеточие в его судьбе, поставленное на городской улице двумя выстрелами гестаповца в затылок, сделало Шульца мучеником Холокоста. Совокупность всех этих причин и обстоятельств создала раму и переплет для восприятия основного дела жизни холостого и бездетного Бруно Шульца — его уникального творческого наследия.

Симптоматично, как медленно, не без сопротивления, но верно Шульц становится Главным Писателем не только Польши, но и всей Центральной Европы (отодвинув даже Кафку — куда более зрелого, жесткого и последовательного визионера и хранителя европейских "скелетов в шкафу"). Здесь уместно привести один пассаж из поздних "Дневников" Гомбровича:

> Бруно был человеком, который отрекался от себя. Я был человеком, который себя искал. Он желал гибели. Я стремился осуществиться. Он родился невольником. Я родился паном. Он хотел унижений. Я хотел быть как можно выше и "над". Он принадлежал иудейской расе. Я происходил из польского шляхетского рода.

Но, как видим, сегодняшней Польше и ее ближайшим соседям "пропал" оказалось куда понятнее и ближе, чем "пан". Мне уже приходилось писать, как уменьшается в масштабе фигура Шульца по мере удаления от Центральной Европы со всей ее проблематикой ("О восприятии Бруно Шульца восточнее Перемышля" — эссе публиковалось в "Новой Польше"). В двух словах, речь шла о встрече большого и малого миров (Божьего по замыслу, универсалистского и мещанского по духу, местечкового) — при их лобовом столкновении Шульц, гений малого мира (Дрогобыча, Витебска), неминуемо погибнет. Но если эти миры совсем разминутся, он рискует или даже обречен выродиться до размеров полевой мыши. Размер имеет значение. В этом смысле имелся шанс у Великого княжества Литовского (отказавшегося от язычества последним в Европе чуть не в XV веке), у Речи Посполитой (соблазненной иезуитами и потерявшей в результате Украину). Шанс редко стучится дважды. Шульц и Шагал воображали свои местечки равными космосу, а предоставленный себе земшар в очередной раз катился в тартарары. То не вина их (которую Шульц, во всяком случае, искал совсем в другой области), а беда (как в сравнительно благополучном случае Шагала) и трагедия.

Человек без пола

Есть поразительная и очень недоговоренная статья в сборнике "Грех" (изданном в Гданьске упоминавшимся уже издательством "слово/образ территория" в том же 2003 году). Войцех Овчарски попытался в ней расшифровать сон Шульца, приснившийся тому в семилетнем возрасте и, по его собственному мнению, предопределивший его судьбу. Тридцать три года спустя Шульц описал его в письме знакомому профессору психологии. Речь в нем идет об отрезанном пенисе, закопанном им в ночном лесу, и последовавшем наказании — безысходном и непоправимом чувстве вины и заточении навечно в стеклянную колбу. Шульц признается, что всю жизнь пытался вникнуть в значение этого сна, но не очень преуспел, хотя чует, что собака зарыта именно здесь. Вторым сильнейшим переживанием в своей жизни, имевшим необъяснимую связь с приведенным сном, он считал впечатление от "Лесного царя" Гёте,

прочитанного ему матерью по-немецки примерно в том же возрасте. Боже, для скольких подспудно стремящихся к смерти (от По до Цветаевой) эта баллада "олимпийца" Гёте стала лакмусовой бумажкой на виктимность и суицидальность! Сам же Гёте, по свидетельству Эккермана, приблизительно так отзывался уже в старости о неожиданной смерти одного из товарищей: "Я и не думал, что он такой дурак!" Впрочем, это область, о которой судить затруднительно — если ты не самоубийца или Гёте.

Так вот, исследователь ходит вокруг да около, ищет отголоски сна Шульца в его новеллах — в транссексуализме Бьянки, самого вдохновенного женского образа в творчестве Шульца, в роковом разрыве между духовным миром сумасшедшего Отца и хтоническим миром Матерей, властных и ласковых, но оттого еще более жутких. Резюме исследователя высказано в форме осторожного предположения: Шульц не оскопил себя в том судьбоносном сне, а, отказавшись от пола, душу свою похоронил — и так и не нашел ее впоследствии ни в своем творчестве, ни в жизни.

Думаю, все же не душу, а какую-то ее существенную часть, ее центр — ее "я". И жест отказа от пола, как ни крути, означает возвращение билета Творцу — отказ от рождения и развития, глубинный подкоп под мироздание. Самые мучительные, загадочные и оттого кажущиеся нам особенно глубокими писатели — это остановившиеся на пороге, застывшие на распутье, "люди без пола". Такие, как Свифт, Гоголь, По, Ницше, Кафка, Платонов (достаточно вспомнить его "Антисексус" и бесполые утопические коммуны больших повестей — какие же это "романы", когда любовь вытеснена и подменена в них мечтой о братстве?!), Бруно Шульц. Возможно, андрогины, возможно, калеки, а может, и то и другое. Их легко принять за латентных гомосексуалов — не без этого, но между ними и явными гомосексуалами (такими, как Уайльд или Параджанов, чаще всего эстетами или орнаменталистами) непереходимая пропасть.

Судьбы таких писателей изломаны и трагичны, как судьба разведчика, а донесения — о невосполнимых потерях, утраченном времени и чудесных находках — бесценны и требуют расшифровки. И здесь, видимо, надо пока что остановиться, чтобы не дать ходу поспешным спекуляциям на том, что, кажется, удалось зацепить.

Неоклассификаторы

Выход из тупика для шульцеведения наметился с приходом неоклассификаторов, занявшихся структуризацией вязкого шульцевского космоса и включением его в более широкий культурный контекст. Самый заметный из них и энергичный — краковский профессор Ежи Яжембский. Широкий кругозор и интерес к современной словесности не позволяют ему увидеть в Бруно Шульце "альфу и омегу" всей польской литературы. В 1999 году он издал во Вроцлаве краткую монографию о жизни и творчестве Шульца, названную незатейливо просто — "Шульц". Сравните с патетикой opus magnum Ежи Фицовского: "Регионы великой ереси и околицы. Бруно Шульц и его мифология" (издательство "Пограниче", Сейны, 2002) — выход этого итогового юбилейного волюма был приурочен к 60-летию гибели Шульца и международной конференции в Варшаве по этому поводу. Надо сказать, большинство изданий польской "шульцианы", что называется, сделано с любовью — настоящие "книги с картинками", часто отмеченные призами за оформление и полиграфический уровень.

В полной мере это относится и к "Шульцевскому словарю", к которому пора, наконец, вернуться. Одним из трех его инициаторов стал вышеупомянутый Ежи Яжембский. На протяжении десяти лет со Станиславом Росеком и Влодзимежем Болецким он занимался составлением словаря, прежде чем нашлись день-

ги на его издание. "Демократическая", по определению С. Росека, структура словаря (многоголосие, странные сближения благодаря алфавиту и перекрестные отсылки) придала ему живой и отчасти химерический характер, замечательно отвечающий объекту интереса: вегетирующей во всех направлениях космогонии Шульца и такой же "ползучей" шульцелогии — с обилием персоналий, теоретических и исторических обзоров, штудий, нотаток и иллюстраций. Разброс тем такой, что глаза разбегаются, а чтение 500-страничного тома превращается в увлекательнейшее занятие.

Вообще, словари такого рода — как относительно свежий жанр — сделались чрезвычайно популярны в Польше (и не только в Польше). Хотя традиция это давняя, идущая от британцев, и в самой Польше еще в середине 1980-х увидел свет изумительный 1350-страничный "Словарь традиций и мифов культуры" Владислава Копалиньского. В 2000 году он же издал "довесок" к нему — вдвое меньший "Словарь событий, понятий и легенд XX века". Ни в том, ни в другом словаре Шульца пока что нет.

Трудности перевода

Для России Шульц, похоже, так и останется экзотическим фруктом, хотя имеются у нас его читатели и поклонники, а в русской литературной традиции присутствуют стилистически, а значит, отчасти и мировоззренчески, параллельные явления (И. Бабель, А. Эппель). Но даже *местечко*, как бытийный феномен, приобретает в России вид *заштатного городка* и порождает литературу совершенно отличного свойства (чтобы не ходить далеко: А. Платонов, Л. Добычин, А. Гаврилов). На периферии Шульца всегда будут читать пристрастнее и ценить выше, чем в центре, но так везде с этим писателем. Уже для Кракова, Львова и Петербурга он значит больше, чем для Варшавы, Киева и Москвы, а в Перемышле, Дрогобыче или Черновце кто-то может на него и молиться — потому что только это и остается, когда не остается надежды, а время остановилось.

И здесь уместно поговорить о трудностях перевода. У нас уже утвердилась традиция переводить название первой книжки Шульца как "Коричные лавки"[1]. Что правильно, точно, буквально, но, боюсь, неверно. Имелось бы в русском языке слово "цинамон" вместо "корицы", было бы замечательно — и овцы остались бы целы, и волки сыты. Что говорит "корица" русскому нюху, незнакомому с чертой оседлости и центральноевропейской выпечкой? Да почти ничего, и вспоминается разве что присыпка студенческой булочки из "Пирожковой". А уж в прилагательное так и подмывает вставить пропущенные буквы и получить какие-то "коричневые лавки". Смысл же в том, что у Шульца рассказывается о магазинчиках колониальных товаров и всяких редкостей, которые в детском воображении и памяти писателя связаны с заморскими странами, дуновением большого мира, приключениями. Поэтому ему мерещился запах пряностей, словно источаемый потемневшими панелями. И, ей-богу, переводи я эту новеллу, я бы пошел на подлог, заменил одно слово в фразе Шульца ("Я называю их [коричными] лавками ПРЯНОСТЕЙ из-за темных деревянных панелей цвета корицы, которыми обшиты стены"), что позволило бы переименовать титульную новеллу и заодно всю книгу — а потом пусть ругают все кому не лень. Но почувствуйте разницу: "Коричные лавки" и "Лавки пряностей".

То же со второй книгой Шульца: что это за "Санаторий под клепсидрой"? То, что для поляка хорошо, для русского карачун. Кто видел когда-нибудь водяные часы? Хорошо, песочные тоже иногда называют клепсидрой. Но кто из читателей в России знает то, что известно каждому в Польше: что значок "Х" ввер-

1. См. "ИЛ", 1990, № 12.

ху белого листка на дверях костела зовется клепсидрой, а под ним следует перечень умерших прихожан, которых будут отпевать в храме в этот день? Поэтому более точного и внятного названия для титульной новеллы и книги, чем "Санаторий для усопших", в нашем языке и нашей культуре мне не представляется возможным подыскать. Ведь задача в том, чтобы любой ценой дойти до своего читателя, а не сохранить любой ценой буквальную и легко доказуемую верность оригиналу автора (тогда уж лучше автору оригинала, прошу прощения за эту словесную игру). Вот и получается шифрограмма "Санатория под клепсидрой", требующая уже в названии сноски или комментария. В Англии, например, когда перевели первую книгу Шульца, переименовали ее в "Улицу Крокодилов", по названию другой новеллы этого сборника. Никто не возмутился, и английский перевод, по общему признанию замечательный, принес Шульцу множество поклонников в англоязычном мире.

Как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому, каюсь, существующие у нас переводы титульной новеллы второй книги Шульца только приближают нас, как в тумане, к этому самому гениальному, на мой взгляд, его произведению. В нем Шульц избавился от присущей ему витиеватости и так сумел передать субстанцию сновидения, логику тягостного кошмара, что превзошел в этом отношении даже Гоголя с Кафкой. О содержании я и не говорю — это был его Сон Снов. Думаю, никакого романа после этого он написать уже не смог бы. Если и найдется его "Мессия" (а папка с ним всплывала уже дважды — в США и Польше, после развала СССР), то скорее всего это окажутся самоповторы в ворохе набросков и черновиков. Хотелось бы ошибиться, к вящей радости шульцологов. Но больше, чем романа от прирожденного новеллиста (да еще романа с таким названием), я буду ждать новых русских переводов его новеллы "Санаторий для усопших" (только не "под клепсидрой"!). А не дождусь, так перечитаю по-польски. Чего и вам желаю. А также успехов в труде и счастья в личной жизни.

Современная американская поэзия. Антология

Переводы с английского
Вступление Евгения Бунимовича

Connecting poets, или Кто победил — тот и прав

Как наверняка давно уже заметил внимательный читатель-слушатель-зритель, нет у нас больше ни книг, ни фильмов, ни спектаклей, ни концертов, ни выставок. Этим ненужным словам место в словарях с пометкой *устар.*, поскольку все они замещены одним универсальным словом — проект. И, судя по всему, не только у нас, о чем поведал гениальный канадец Робер Лепаж на недавнем московском Чеховском театральном фестивале, представив на сцене МХТ им. А. Чехова свой "Проект Андерсен".

Вот и у нас — проект. Параллельное издание двух антологий-билингв: современной русской поэзии в США и современной американской поэзии в России. Задумали мы его с замечательным американским поэтом по имени Дейна Джойа, который использует свое служебное положение президента Национального фонда искусств США в личных целях пропаганды американской поэзии в мире. К сожалению, во главе нашего аналога этого американского государственного фонда поэты не предвидятся, поэтому за реализацию российской части проекта взялся наш Центр творческих проектов. И хотя соотношение финансово-организационных возможностей нашего центра и заокеанского фонда адекватно отражено в хрестоматийном соревновании Эллочки и Вандербильдихи, мы не задумываясь взялись за это небессмысленное дело, полагаясь прежде всего на качество современной русской поэзии и русской переводческой школы. Волшебное слово "проект" и двухсотлетие установления дипломатических отношений между Россией и США помогли найти скромное вспомоществование, за что отдельное спасибо Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям, Комитету по культуре Москвы и Посольству США в России. Наши партнеры и единомышленники — Библиотека иностранной литературы, Союз мастеров литературного перевода, издательство "О.Г.И." и, разумеется, журнал "Иностранная литература".

Взаимный интерес, связи и контакты между русскими и американскими поэтами по давности могут поспорить с упомянутым юбилеем дипотношений, а по взаимопониманию и взаимообогащению превосходят госконтакты на несколько порядков. Представляемая сегодня антология американской поэзии, конечно, у нас не первая, и, надеюсь, не последняя. Вспоминаются не только идеологичес-

© Евгений Бунимович. Вступление, 2007
© Григорий Стариковский. Перевод, 2007
© Дмитрий Веденяпин. Перевод, 2007
© Григорий Кружков. Перевод, 2007
© Глеб Шульпяков. Перевод, 2007
© Алексей Прокопьев. Перевод, 2007
© Юлий Гуголев. Перевод, 2007
© Марина Бородицкая. Перевод, 2007
© Лев Оборин. Перевод, 2007
© Александр Волков. Перевод, 2007
© Валерий Минушин. Перевод, 2007

ки выверенные, проваренные в чистках как соль советские издания, но и, например, десятилетней уже давности антология Вадима Месяца и Аркадия Драгомощенко. Впрочем, и в советские издания, такие, как антология, составленная Михаилом Зенкевичем и Иваном Кашкиным и вышедшая в 1939 году, и в антологии 70-х и 80-х годов мужественными усилиями составителей и переводчиков много чего замечательного все же проникало, иначе не наткнулся б я однажды в Интернете на чистосердечное признание: "Антология американской поэзии" — чуть ли не единственное, что за свою жизнь нагло стырил в библиотеке". Ну и не очень понятно к чему, но все равно нельзя не вспомнить еще и об антологии американской поэзии, которую составитель Иосиф Бродский надеялся увидеть в тумбочках всех американских гостиниц.

Даже на этом солидном фоне у представляемой сегодня на страницах журнала антологии есть свои уникальные особенности. Прежде всего (и это, быть может, главное) эту антологию составляла, пользуясь языком дипломатов, "американская сторона". Оставим на их совести выбранный нашими заокеанскими коллегами в качестве основного критерий объективности отбора, которая (объективность), на наш взгляд, в принципе невозможна в поэтической антологии. Однако любопытна уже сама попытка системного подхода в стремлении отобрать все действительно лучшее. В любом случае это американский взгляд на самое характерное и важное в современной поэзии США (все представленные поэты — дети холодной войны, годы рождения с 1945-го по 1972-й). И это уже интересно.

И еще. Пожалуй, сегодня впервые за всю историю русской поэзии верлибр перестал быть знаком эксперимента или иноязычной экзотики. По крайней мере в книгах поэтов постсоветских поколений свободный стих получил равные права с традиционным отечественным регулярным стихосложением и не менее привычны нашему современному читателю все мыслимые и даже немыслимые переходные формы от одного к другому. Все это позволяет (быть может, впервые) воспринимать современную американскую поэзию и ее русские переводы в гораздо более близком нам контексте. Впрочем, читатель с некоторым удивлением обнаружит на страницах антологии приметы возвращения в американскую поэзию традиционной рифмы, классических размеров, наряду с "экспериментальной поэзией", которая, по мнению автора предисловия Эйприл Линдрен, нарушает обычное представление читающего о том, что такое стихотворение и как оно работает. Это еще одно доказательство того, что ни в русской, ни в американской, ни в какой другой поэзии никаких законов и правил нет и быть не может, кроме разве что одного жестокого закона большой дороги: кто победил — тот и прав.

Антологию современной американской поэзии уже не в виде проекта, а в виде все-таки книги мы надеемся предъявить уже в этом году, в конце октября, в рамках пятого московского международного фестиваля "Биеннале поэтов". Несколько поэтов, представленных в антологии, будут гостями фестиваля.

Томас Лакс

Люди из соседней деревни

ненавидят людей из нашей деревни;
дай им волю, они вбили бы гвозди
в наши головы за то, что мы не снимаем шапок в их
присутствии,

они приварили бы наши ладони к затылкам
за то, что при встрече не подаем им руки.
Мы за себя постоим: то крысу утопим
в их колодце, или толченого стекла насыпим в муку.
Зуб за зуб, глаз за глаз.
Они перережут горло одному из наших парней,
а мы в ответ не пощадим их девчонку.
Они наловчились ставить в наших полях капканы,
а мы их заправски увечим, и так и этак.
Мы научили птиц воровать их пшеницу,
они посылают к нам голубей со взрывчаткой.
Зуб за зуб, глаз за глаз.
Мы не будем покупать их овец,
они остановят ввоз наших подушек.
Мы всласть наиздевались над их лучшим поэтом,
а когда это не возымело действия,
мы стали отплясывать по-ихнему.
Этого они уже не вынесли и ответили нам:
"А ваш Бог — вообще прокаженный".
Зуб за зуб, глаз за глаз.
Десять тысяч лет, десять тысяч
безжалостных лет, прекрасных.

Перевод Григория Стариковского

Юзеф Комуняка

Любовные письма моего отца

По пятницам, вернувшись с завода,
Он откупоривал банку пива
И усаживал меня
Писать письма моей матери,
Присылавшей нам открытки
С какими-то экзотическими южными цветами
В человеческий рост.
Вернись, умолял он,
Я никогда больше
И пальцем тебя не трону.
Честно говоря, я был рад, что она уехала,
И нет-нет да и припоминал всякую всячину,
Вроде той, что даже
"Лунные блики" Мэри Лу Уильямс[1]
Не могли справиться с синяками.
Из карманов его плотницкого фартука
Всегда торчали старые гвозди,

1. Мэри Лу Уильямс (1910–1981) — известная джазовая певица. (*Здесь и далее — прим. переводчиков.*)

На боку болтался молоток-гвоздодер,
А под ногами путались обрывки электропроводки.
Моя шариковая ручка послушно выводила:
Люблю, детка, родная, пожалуйста...
Мы сидели в безрадостном окружении
Вольтметров и вантузов,
Заблудившиеся в лабиринте строк.
Пятифунтовая линза на бетонном полу
Притягивала закат сквозь открытую дверь сарая.
Сжигает ли мать эти листки, думал я,
Смеется ли над нашими письмами.
Отец был безграмотным, но,
Мельком взглянув на чертеж,
Мог безошибочно указать,
Сколько именно кирпича
Пойдет на строительство каждой стены.
И — странное дело — когда этот человек,
Воровавший розы и гиацинты для своего сада,
Со стиснутыми кулаками, зажмурившись,
Стоял посреди сарая,
Мучительно выдавливая из себя простейшие слова,
Он казался мне едва ли не ангелом,
Почти святым.

Перевод Дмитрия Веденяпина

Тимоти Стил

О *вспыльчивости. Сапфические строфы*

Если рассержусь — да случится рядом
Кран с холодной водою; да помолюсь я
Божествам Молчанья и Мира (если
Есть таковые).

Аристотеля да припомню слово:
Выход гневу дашь — не избудешь гнева,
Он вернется вновь, обернется новой
Вспышкою гневной.
Да представлю я, что, идя по Аду,
Задаю вопрос: "Кто такой сердитый
Страждет там с Ахиллом?" И отвечает
Мудрый Вергилий:

"Это — тот безумец, что выл от злости
И швырял в сердцах телефона трубку;
Что орда Батыя сделала с Русью,
Вандалы — с Римом,

То несчастный дурень — с собственным браком".
Пусть урок извлеку из того примера
И пойму, что угрюмость — грех, хоть и модный
В новое время.

Сколь приятней дымящийся мирно ужин,
В меру теплый душ и халат пушистый,
И волчком крутящаяся в воронке
Мыльная пена.

Ибо что такое жизнь, как не разум,
Управляющий чувством? Конечно, страсти —
Вещь святая, но только ежели в меру
И под контролем.

Перевод Григория Кружкова

Линн Эмануэль

В *подпитии готовлю форель*

Мать пьет, чтобы забыть
Самого бесстыжего мужика на свете.
"Поехали", — шептал он, и она соглашалась.
После катанья на его мотоцикле
50 года выпуска
У нее всегда были зеленые коленки.
Стоит мне выпить — на дворе 53 год.
Мама — на Кук-стрит — готовит мясо.
От раковины до бутылки джина
Тянется кроваво-красная дорожка.
Мать — красивая несчастная женщина,
Влюбленная в парня
Такого невообразимого распутства,
Что, кажется, его ничем не пронять,
Даже — тоской.
Помню нашу общую неловкость за ужином,
Наползающую на крыльцо темноту,
Мамино платье, летящее на пол,
И теньканье пуговиц, похожее
На стук косточек о блюдце.
Стоит мне выпить, и я становлюсь, как она:
В одной руке — нож, в другой — рыба
С брюхом белым, как мое запястье.
"Обожаю тебя, всегда обожала", —
Говорила она ему. И это
Было правдой, как и то,
Что она всю жизнь пила,
Преданная процессу как таковому.

Вот она стоит у плиты
И тщательно выверенным движением
Сильно подвыпившего человека
Протягивает ему тарелку.

Перевод Дмитрия Веденяпина

Джори Грэм

Возле фрески Луки Синьорелли "Воскрешение тела"

Взгляни
    на поспешное
теней
    воплощение,
податливость
    плоти.

Ангелы —
    прозелень
крыльев —
    трубят, но
хоть бы одна
    вняла им

душа — из душ,
    устремленных
в чувственный мир,
    человечий.
Возвращение,
    но — куда?

Неужели
    телесное лучше
бытие, даже если
    гениален
художник, и каждый
    тела изгиб —

прекрасен?
    Живописцу —
хвала, но им-то
    на что совершенство?
Они прорастают
    сквозь почву,

чтобы снова
    не вынести

жизни.
Наступает
шестнадцатый век,
улицы,

серебро
дикой травы.
Эти люди,
воскресая, не знают,
что делать им
с жизнью

дареной. По двое,
по трое
уходят, прикрыв
наготу.
Глубина
перспективы.

Как нам, пришедшим
в церковь
Орвието,
уговорить их
помедлить,
как напомнить —

что приближение к цели
есть удаленье
от оной. Несть им
числа. Они
предвкушают
счастье.

В своей студии
Лука Синьорелли
во имя Бога
и Истины
проникал в тайну
тела, упорно

допытывался до чуда
воскрешения,
но плоть, ее покровы
бездонны,
неуловимы
для взгляда.

Трудно
нащупать
уходящее
из-под ног

дно. Он все-таки
смог увидеть

прекрасное — там,
за пологом плоти.
Когда его сын
погиб, он
приказал положить
его тело

на рисовальный стол
и ждал, пока,
падая, свет
не обесплотит
своей глубиной
тело,

а потом аккуратно,
мастерски,
как ваятель, врезáлся
в светотень, в каждую
кость, сухожилие,
в каждую выемку,

куда доходил
прохладный свет.
Многие дни
углубленной ласки,
мысленного членения
сыновьего тела,

пока не вызнал
простертую
перед ним плоть
и не утешился.

Перевод Григория Стариковского

Джудит Ортиц Кофер

Лавка деликатесов в испанском квартале. Ars Poetica

Возвышаясь над прилавком, его
старым кассовым аппаратом с пластиковой Мадонной
и Младенцем, примагниченными на крышку, —
среди терпких запахов из банок
с вяленой треской меж связок с бананами,
выставленными как подношение, —

она, Покровительница Изгнанников,
женщина без возраста и следов былой красоты,
каждый день торгует нашей фасованной памятью,
она выслушивает нытье пуэрториканцев, которые
жалуются, что билет в Сан-Хуан дешевле, чем фунт кофе
Bustelo, —
и болтовню кубинцев, смакующих тему
"победного возвращения" в Гавану, где никто
умереть по своей воле и то не может;
романтические бредни мексиканцев, заглядывающих,
чтобы рассказать о *долярах*,
которые можно срубить в Эль-Норте —
всем этим людям
изредка, да нужно перебросится с ней на родном, испанском,
увидеть ее лицо, широкое и плоское, как на портрете,
большие груди, покоящиеся на полных руках;
рассказывая о своих надеждах и разочарованиях, они
ловят ее взгляд, в котором теплится материнское участие,
и она провожает их всепонимающей улыбкой,
пока они блуждают в узких проходах лавки,
вслух читая надписи на этикетках, словно
это имена их бывших возлюбленных: *Suspiros, Merengues*[1] —
полузабытые сладости детства.
Целыми днями она
только и делает, что режет *jamón y queso*,
заворачивает в вощеную бумагу, перевязывает бечевкой:
обычный окорок, сыр — в A&P[2] такие дешевле,
но как объяснить это тщедушному старику,
затерявшемуся в складках собственного пальто,
который зачитывает ей, как поэму, список продуктов,
или остальным, чьи желания она исполняет как фокусник,
достающий из рукава то, что еще сохранилось в их памяти,
потчующий продуктами стран, куда путь им давно заказан.

Перевод Глеба Шульпякова

Марк Доути

Р*ассказ* Б*илла*

Когда моя сестра вернулась из Африки,
мы даже сначала не поняли, что
произошло. Вдруг Энни
стала покупать мужскую одежду и забивать
свой гардероб вещами, большого размера
и поменьше, — вещами, которые она не собиралась носить.

1. Названия легких, воздушных пирожных (*исп.*).
2. Международная сеть продуктовых супермаркетов.

Потом она стала скупать продукцию
костюмерных мастерских, сметала наряды
в пахнущих нафталином "Костюмы напрокат": "Я возьму все".
Накатившая дурь была первым признаком чего-то такого,
чему не было названия
в 1978 году. С каждым днем она все больше отдалялась от нас —

все эти вещи, которые она надевала на меня,
когда я приходил к ней в гости. Это было похоже на детство,
как будто мы снова играли, и теперь все сделаем
"по правилам".
Она была прирожденной актрисой и прекрасно
справлялась со своей ролью, складывала одежду в кучки,
говорила что-то, надевала все это на меня и говорила,
говорила.

Прошло несколько лет, она лежала в больнице при смерти,
и мама, чтобы поддержать ее,
чтобы хоть как-то быть полезной, читала книгу
под названием "Умирание" (не знаю слова пошлее и
противнее),
слишком доверяясь рекомендациям из нее;

она сидела на кровати и говорила: "Энни,
иди навстречу сиянию, иди навстречу сиянию".
Было ясно, что Энни не хочет
слышать эти наставления, сбивающие ее с толку;
она приходила в себя, хотя уже почти ушла от нас,
и смотрела на маму чуть ли не

сердито. "Ищи белый свет", —
говорила мама, и мне было непонятно,
почему именно белый,
ведь то сияние, в которое мы все когда-нибудь войдем,
у всех будет разного цвета.
Может быть, моя сестра предпочла бы темно-синее или
красное.

Если мы почти ничего не умеем сказать
друг другу, в нашем существовании поодиночке,
как мы можем надеяться на то, что и умрем одинаково?
Обычно я садился в поезд, чтобы доехать до больницы,
и иногда приходилось садиться на единственное незанятое
место
спиной по ходу движения.
Я сидел и смотрел, как, покачиваясь,

знакомая местность уплывает в небытие, и в конце концов
мне уже нравилось видеть, как все, что ты оставила здесь,
становится все более чудесным, менее отчетливым.
Может быть, сияние, в которое ты войдешь, будет как этот
габардин,

как эта фланель, как этот хаки и как этот темно-синий,
как эти шелка и эта ткань в полоску. Если ты берешь все,

тебе приходится все отдавать. Смерть,
по-видимому, требует большего уважения, чем я думал.
Как раз тогда, когда сестра успокаивалась
и, казалось, готовилась к предстоящей ей трудной работе,
мать начинала волноваться и пыталась помочь ей
все время повторяя: "Иди навстречу сиянию",

пока я не взял Энни за руку
и не сказал, что, куда бы я ни отправился,
я вернусь обратно и что, как бы тяжело ни было,
я везде найду ее, услышав, что она зовет.
"Мать, помолчи немного", — сказал я, и Энни умерла.

Перевод Алексея Прокопьева

Тони Хогланд

Два поезда

Была такая песня, называлась "Два бегущих поезда",
этот блюз с берегов Миссисипи передавали в ночное время,
программа после полуночи называлась "FM для тех, кто не спит" —
ну, я-то считал, что в ней пелось про *поезда.*
После кто-то сказал мне, что это про то, что делают муж и жена
под одеялом в постели, двигаясь взад и вперед,
постепенно, как поршни лоснящегося локомотива,
чьи штоки и клапаны стремятся остаться в согласье
достаточно долго, чтоб у них получилось "приехать"
одновременно. Вот один из поездов
уже скрывается из глаз в горах, в тоннеле,
когда же снова оба выскочат на свет,

каким-то образом другой его обходит,
два поезда, бегущие бок о бок,
сперва один, потом другой, из труб
порывы дыма в небо синевы —
такой пронзительной, что хочешь умереть.

Так что долгое время я думал, что песня была про секс.

Но потом Мэк сказал мне, что все песни про поезда
на самом деле про Иисуса, про то, что второй поезд
тенью следует за первым, то есть что Он идет за тобой по пятам,
Он откуда-то сзади следит за тобой, Он с тобой неотлучно,

Он твой кондуктор и твой машинист,
и масло, и смазка, и уголь,
Он поймает тебя, если рухнешь ты вниз,
или, только запнись, проведет тебя сквозь
темнейшее из ущелий, на самый крутой подъем,
и звук *ты-дык* Его пальцев по рельсам
и губная гармошка *ту-ту* — это протяжный плач души,
посредством чего Он тебя проведет сквозь мира кровавый
тоннель.
Так что потом я считал, что песня двух поездов — это уже
песнопенье.

Потом я уволился из Санта-Фе, и Шарон всадила
каблучок свой мне в сердце,
и я стал старше на двенадцать лет, и Дин от меня переехал,
и теперь я считаю, что песня, возможно, была о прощаниях —

мы ведь даже в иных часовых поясах,
даже разная скорость у нас, вероятно,
даже пункт назначенья у каждого свой,
простигосподи, мы ведь даже не поезда!

Но как печально, ощутив свое родство,
потом смотреть, как люди просто исчезают;
и чувствовать, как время нас уносит
вагонами миг за мигом.

Порой, сидя в кресле, я ощущаю,
что вокруг простирается такая пустота, —
как та оглохшая, безлиственная тишь,
в тот миг, когда состав прогрохотал,

а щебет глупых птиц еще не слышен, —
когда цветы, растущие у шпал,
сперва дрожат на тонких стебельках,
а после замирают и встают

посредине всего, сиротливо и прямо.

Перевод Юлия Гуголева

Гертруда Шнакенберг

Пресс-папье

В стеклянном пресс-папье царит уют:
Там снег, и домик, и в окне огонь,
И муж с женою чай на кухне пьют,
Смеясь чему-то. Я беру в ладонь

Тяжелый шар, и снег идет, и снег
Нас разделяет: вот что значит *врозь*,
В одном и том же платье целый век
И с той же чашкой. Время льется сквозь

Прозрачный мир, как этот снегопад.
Любовь застыла: вправду ли жене
Так весело, и бестревожен взгляд
Мужчины? В освещенной глубине

Они смеются, попивая чай,
И мы от них не отрываем глаз,
А там, стекла касаясь невзначай,
Заснеженная ночь глядит на нас,

На шарик света, брошенный в снегу, –
Та ночь непостижима для ума,
Но я о ней не думать не могу:
И в мыслях, и в руке моей – зима.

Ким Аддонизио

Первые стихи о тебе

Я так люблю касаться в полной тьме
твоих татуировок. Я их знаю
все назубок, я их держу в уме:
от ломких молний, пляшущих по краю
соска, до плавной голубой змеи,
что на плече застыла перед схваткой
с драконом. Обессилев от любви,
тобой насытясь, я в ночи украдкой
губами пересматриваю вновь
знакомые картинки: сносу нет им,
иссохнет кожа, охладеет кровь –
они пребудут вечно. Что-то в этом
есть жуткое. Наверно, потому
я их ласкаю, спрятавшись во тьму.

Перевод Марины Бородицкой

Мэри Джо Солтер

Добро пожаловать в Хиросиму

выходишь из вагона; впереди
горящая реклама по-английски
от Toshiba Electric. В это время
телеканал беззвучный в голове

все крутит закольцованный фрагмент,
где столб растет и высится, как пена
над кружкой пива. Хочется глотнуть
истории: когда, в каком году

безвредно стало воздухом дышать,
пить кровь и пену заводских отходов,
плывущих по теченью Оты. Впрочем,
вода чиста, на ней заваривают чай

в одной из многих солнечных кофеен,
где видно по наглядным диорамам
приготовленье пищи за стеклом:
блины с начинкой; пицца, в середине

украшенная вишней. Проходя
цветочный гипоцентр в Парке Мира
(где человек решил с лица земли
стереть то, что его однажды стерло),

ты попадаешь в светлый зал музея.
Опять стекло. На блюде выжженной травы
лежат три манекена. Как перчатки,
приделанные мамой к рукавам,

болтается на жилах мясо пальцев;
напоминанье долга: *Вспомни тех,*
кого почти полвека нет в живых;
но вдуматься — и нет поминовенья,

а только пошлость; пластиковый ужас
смеется над кошмаром настоящим,
и думаешь: *зачем они...* Внезапно
ты видишь детские наручные часы.

Удар сковал их, но они хотят
нам что-то передать сквозь циферблат,
один лишь избранный момент ловя:
четверть девятого, четверть девя...

таблица электронная ведет
сухой отчет бесчисленных смертей,
мотает пленку; рядом вновь стекло:
как будто стрекозиное крыло,

впечатанная женская рука —
в четверть девятого, но через тридцать лет, —
и сразу ясно, что надежда столь
же восстанавливаема, как боль,

и что случись на чьем-нибудь веку
вернуться всем непониманьям горя,
всем принижениям — она прорвется
сквозь эту грязь, подобно языку.

Перевод Льва Оборина

Лариса Шпорлюк

Отъединение

Вол неспешен, но земля терпелива.
Вол воюет, это война
многих миров, без связи,
как складки мехов, оторванных от гармони.
(Война за то, чтобы быть одному
в ленивом и безответном ветре,
война за то, чтобы быть
единственным ребенком на свете,
пусть даже в пробирке,
чтобы быть единственным звуком,
когда плуг врезается в одинокую землю,
и если ты одинок, ты глух
ко всякому воспоминанию о том,
каким маленьким, сильным, пухлым был когда-то,
глух к тому, сколько работы еще не сделано и
как давно не давало небо хоть какую-нибудь влагу,
глух ко всякой мысли о кнуте, о том,
как больно он бьет по ногам, когда ты идешь.)
В этой войне земля терпелива,
она знает: путы и цепи обжигают кожу,
и кожа, словно мягкая почва, слабеет,
свободно впуская в себя шипы,
и те впиваются в тебя, словно дьявол или пиявка,
и кровь сочится грустной песнью.

Перевод Александра Волкова

А. Э. Сталлингс

Гадес[1] принимает свою невесту

Приди, дитя, и дай глазам привыкнуть,
здесь в зреньи толку мало. Ты должна
на ощупь направленья узнавать,
отображать в уме их. Постепенно очертанья,
я думаю, проступят. Вот над головой
извивы бледные корней или червей,
прильнувших к мертвецам своим. Сверни здесь.
О! В этой зале ты взойдешь на трон,
возлюбленная, станешь ты царицей
для всех, кто был когда-либо рожден. Не улыбнешься?
Что ж, царице подобает церемонность.
Я повелел, чтоб трон сей сделан был
так, чтоб затмить твое воображенье.
Чернейшие алмазы и свинец
мерцают в нем изысканнее злата
и так подходят робкой красоте
твоей и бледной шее. А теперь,
вот винтовая лестница, спускайся,
здесь воздух неподвижнее и суше,
и легче дышится. Здесь комната, чтоб ты
могла развеяться. Есть ткацкий в ней станок
и шелк, размотанный из саванов тончайших,
в оттенки выкрашен редчайшей черноты.
Что за картины выйдут! Что за гобелены!
Три тени зыбкие избрал я для тебя,
ты в них подруг найдешь и преданных служанок.
Что сплетничать начнут, не опасайся,
хоть слуги к сплетням склонны. Нет у них
ни рта, ни глаз, и, значит, о тебе
они не смогут дурно отзываться.
Ступай. Ступай. Вот лучшая из комнат;
ее устроил я так, чтобы ты могла
себя здесь чувствовать как дома. Потолок,
как небо вечером, окрашен мной — однако
без звезд блескучих и луны бесстыжей.
Что? Что же притаилось там, в углу?
Там наше ложе, милая. Там ложе.
Как все-таки рука твоя дрожит!
Боюсь, пока еще в ней пульса многовато.

Перевод Юлия Гуголева

1. Гадес (Аид) — в греческой мифологии владыка царства мертвых, а также само царство. Супругой Гадеса стала Персефона — похищенная им дочь Зевса и Деметры, богини плодородия и земледелия.

Эрик Макгенри

"Плиз Плиз Ми"[1]

Не люблю "Битлз". Можете не публиковать
теперь это мое рифмованное откровение.
А тем, кто смог дочитать
до этого места, мои извинения.
Мне подружка сказала, не зная еще,
что дойдет лишь до пятой строки: "Воинственные слова"[2].
Знаю. Знаю, ведь мне подарили Алекса Чилтона,
а он мне — лучшее из "Биг стар", через "Бёрдз". Не нова
для меня их манера, и не хуже всякого лабу-
ха знаю я их дискографию. Знаю, ее открывает "Лав
ми ду", знаменуя их поворот, постепенный и огорчительный,
к желтым, все более зрелым белым и желто-горчичным
альбомам, золотым для любого фаната их чертова.

Вот почему мне плевать, что никто не увидит
этих строк. Я успел растерять всех любителей
поэзии, кому до́роги их проигранные битвы,
но не так, как обожаемые битлы.

Верю, у вкуса преимуществ масса
и что бессмысленно даже пытаться
сбить гнездо его крепкое с дерева чьей-то души.
Вот, в сущности, почему я не люблю их: наверняка —
внушают они — я один такой, а для всех они хороши,
и совершенно в другом меня убеждает музыка.

Перевод Валерия Минушина

1. "Please Please Me" — название дебютного альбома группы "Битлз" и заглавной его песни.
2. Название песни Алекса Чилтона. Алекс Чилтон (р. 1950) — американский гитарист, вокалист, автор песен и продюсер, работал с группами "Бокс топс" и "Биг стар".

Марк Харитонов
Другая жизнь

Каждая поездка за границу — попытка узнать другую страну, другую культуру, проникнуть в другую жизнь, другой мир. И при этом как бы заново, со стороны, понять что-то в своей собственной стране, в своей жизни.

Кот в шлепанцах

На Парижской книжной ярмарке в числе прочих мероприятий предполагалась моя встреча со школьниками, читателями моей книги "Учитель вранья". Герой этой сказочной истории приглашает детей в необычную школу, где учат сочинять веселые небылицы, и сами они вместе с ним попадают в увлекательный фантастический мир.

Встрече предшествовала нелегкая переписка с французской библиотекаршей О. Б. Не знаю, успела ли она уже прочесть перевод книги, но предложенная ею программа удивительно напоминала программы наших советских читательских конференций. Для начала желательно было поговорить на тему, что такое правда и что такое ложь, затем по-французски читался отрывок из книги, в завершение все вместе должны были "сделать резюме". Я в некотором испуге попытался объяснить, что книга немного о другом — о веселом сочинительстве. Для начала я хотел бы спросить детей, любят ли они врать. Хорошо, если бы они попробовали написать сочинения для моей школы. Скажите им, что учитель вранья — это я сам. Не так серьезно, повеселей. "Le professeur de mensonge — c'est moi, — с трудом подбирал я французские слова. — Plus drôle!"

Похоже, мой французский язык еще больше смутил библиотекаршу. Возможно, написала она, у вас понимают ложь и правду не так, как у нас? Возможно, тут какой-то политический подтекст? У вас, в России, была газета "Правда", у нас во Франции ничего подобного не было.

Я уже в полном смятении написал по-русски редакторше книги, попросил ее объяснить библиотекарше, что я хотел сказать. Та меня успокоила: все будет нормально.

Встреча задержалась часа на полтора. Во Франции была забастовка железнодорожников, школьники добирались из пригорода. Переводчик, имени которого я при знакомстве сначала не расслышал, нервно поглядывал на часы, у него еще были другие дела. "Это шантаж, — мрачно сказал он. — Только во Франции государственные служащие имеют право на забастовку. Работники частных предприятий должны вставать в 5-6 часов утра, чтобы пешком дойти на работу. И ничего с этим невозможно поделать. Меньшинство диктует свои условия большинству. В России большевики захватили власть, хотя тоже были меньшинством".

Когда французы стали меня представлять, он услышал, что я переводил с немецкого, спросил, знал ли я Константина Богатырева, Льва

© Марк Харитонов, 2007

Копелева. Это оказался Никита Кривошеин, сын солагерника Копелева, они вместе были в знаменитой марфинской "шарашке". Мы разговорились. Как раз незадолго перед тем я написал воспоминания о Копелеве. Я попросил у Кривошеина электронный адрес, сказал, что пришлю ему свой текст[1].

Приехавшим наконец школьникам на вид было лет 12–14. Среди них оказалось много чернокожих, арабов, они держались слегка особняком. Я тихо задал Кривошеину вопрос, который не раз повторял здесь, как прежде и в Германии: падает ли уровень образования из-за притока в школы людей, которые плохо знают язык, культуру? Он ответил мрачно: "Это катастрофа".

К встрече школьники оказались подготовленными неплохо, они читали свои сочинения для школы вранья (написанные, скорей всего, с помощью учителей). Из тем, которые я для примера предлагал когда-то библиотекарше, почти все мальчики выбрали одну: придумывали объяснения, почему они опоздали или не пришли в школу. И причины почти у всех оказывались однообразными: их по пути похищали какие-то темные личности (слово употреблялось английское: kidnapper). Лишь одну девочку похитили марсиане, и она неплохо пофантазировала о марсианских впечатлениях. Почему так однотипно работала у многих мысль?

Вопросы, которые мне стали потом задавать, тоже, думаю, были подготовлены учителями. Среди них был такой: почему на страницах книги у меня появляется кот в шлепанцах? Я ответил: "Помните, у Шарля Перро он был в сапогах? Для отдыха сменил обувь".

Дети недоуменно переглянулись. Оказалось, они не знали "Кота в сапогах", вообще не слышали имени Шарля Перро. У нас, мне кажется, его знают все.

На прощание мы со школьниками сфотографировались. Я смотрел на их улыбающиеся лица осенью, когда по телевизору показывали погромы и поджоги в парижских пригородах. Такие же подростки весело улыбались в телекамеры – некоторых, мне казалось, я готов был узнать. Скорее всего, казалось. Я написал в Париж, встревоженно спрашивал, не случилось ли чего с моими знакомыми. Нет, с ними, похоже, все обошлось.

Манифест европейских тружеников

Спустившись впервые к завтраку в ресторан брюссельского отеля "Royal crown", я не без удивления отметил, как изменился за последнее время тип деловых людей. Отель был четырехзвездочный, здесь останавливались обычно солидные бизнесмены, преимущественно это были мужчины в строгих костюмах, при стильных галстуках. Теперь в роскошном интерьере преобладали дамы, одетые разнообразно и уж никак не солидно – я очередной раз почувствовал, как успел отстать от европейской моды. Внешность многих я бы назвал нестандартной: за столик напротив уселась мужеподобная, гренадерского роста женщина, ее соседка сияла пышной лиловой прической, да и вся была – как бы это сказать? – ну да, пышная, внушительных габаритов. Представительские карточки на бюстах издалека я прочесть не мог. Современные businesswomen. Мужчины среди них просто терялись, да и выглядели как-то совсем уж непредставительно: вертлявые, мелковатые, в ношеных джинсах, курточках...

Лишь выйдя из ресторана в холл, я обратил внимание на небольшую табличку: "Sex work,

1. Вернувшись в Москву, я послал Кривошеину воспоминания о Копелеве – "позднем Копелеве", как выразился он в своем ответе. Сам он познакомился с ним еще в 1954 году, у него были другие воспоминания. "В Марфино он подарил моему отцу к 50-летию 2 тома Ленина по-французски и сам написал предлинную поэму во славу т. Сталина – наподобие Моисея, он вел жестоковыйный русский народ к светлому будущему".

human rights. European conference". В отеле "Royal crown" проходила общеевропейская конференция проституток. Точней сказать, именно "сексуальных работников". Можно даже сказать, пролетариев. Создавалась международная профессиональная организация: "International union of sex workers".

Писательское любопытство заставило меня спуститься на нижний этаж, в зал, где они собирались. Над входом висел большой бумажный плакат: "Sex workers of the world united". На столиках разложены документы, на стенах цветные фотографии, где свои достоинства в боевой готовности демонстрировали почему-то одни лишь мужчины. Они здесь тоже были, естественно, при деле: sex workers. Фотографии женщин были на удивление скромными, зато сопровождались текстами и даже стихами, где сексуальные труженицы делились своими чувствами и мыслями, обсуждали волнующие коллег проблемы. На мужчин мне смотреть было неинтересно, вообще человек в моем возрасте выглядел здесь, наверное, не совсем уместным (хотя дамы встречали и провожали меня взглядами спокойными, безразличными). Да и у самого были в Брюсселе другие дела. Я лишь взял со столика документы конференции на английском и немецком языках, чтобы потом, вечером, почитать.

Сразу показалось немного странным, что тексты манифеста "Sex workers in Europe" на обоих языках были не вполне идентичны. Английский манифест не делал различия между полами, в немецком варианте говорилось только о женщинах: "Sexarbeiterinnen in Europa". Порой вообще возникало впечатление, что речь для немцев идет преимущественно о правах лесбиянок и их партнерш – "unserer Partnerinnen", которых несправедливо считают сутенершами и эксплуататоршами: "Zuhälterinnen und Ausbeuterinnen". Формы женского рода в таком контексте как-то все же сбивали с толку. Понятней, да и демократичней звучал манифест английский – там выражался протест против нарушения человеческих прав любых работников этой самой "sex industry", как их ни называй: "the labeling of our partners as pimps and exploiters". Но, впрочем, и по-английски, и по-немецки говорилось о том же: о праве на труд, на социальное обеспечение, на участие в политической деятельности, о свободе передвижения, отмене обязательной регистрации и медицинского обследования, требовалось право на убежище независимо "от пола и сексуальной ориентации"... Тут я, впрочем, опять подумал, что в русском переводе это тоже оказывается не вполне понятно, ясней, пожалуй, звучит по-английски: "We demand the right to asylum for anyone denied human rights of the basis of a "crime of status", be it sex work, gender or sexual orientation".

Что ж, проблемы были, как я начинал понимать, действительно непростые, вникать в них, конечно, следовало более основательно. Однако посещать заседания конференции у меня времени не было. В Брюссель я приехал по приглашению фестиваля "Европалия", который периодически проводится здесь под эгидой бельгийского короля – своего рода демонстрация культурной общности европейских народов. В этом году страной-гостем оказалась Россия. Несколько месяцев по всей Бельгии выступали музыканты, театральные коллективы, проходили разные выставки. У меня были встречи с читателями в Брюсселе, в библиотеке небольшой деревушки Braine-l'Alleud, в университете города Гент. Прославленные туристические красоты достаточно описаны в путеводителях, мне, как всегда, особенно интересно было другое: разговоры, встречи, новые, иногда неожиданные люди.

Конференцию сексуальных тружеников в отеле сменила конференция натовских офицеров. Еще раз можно было наглядно почувствовать, что Брюссель действительно европейская столица. Ресторан по утрам теперь заполняли сравнительно молодые мужчины в мундирах –

совсем немногим, казалось мне, можно было дать больше сорока лет. Интеллигентного вида, спортивные, они разительно отличались от пузатых полковников, каких обычно лицезреешь на наших армейских встречах. Я только тут вдруг отметил, что вообще не видел ни в Брюсселе, ни в других здешних городах толстых, накачанных, бритоголовых мужиков, которые до сих пор модны в Москве. На улицах и площадях долго искал взглядом полицейских, увидел нескольких у королевского дворца и возле мэрии – форма их была совсем неприметная. И уж нигде не было видно привычных у нас охранников, тем более с автоматами.

В Генте, студенческом городке, где велосипедов больше, чем автомобилей, я, заглазевшись на башни, чуть не столкнулся с каким-то велосипедистом. "Не хватало приехать в Бельгию, чтобы попасть здесь под велосипед", – пошутил я. "Тем более под полицейский", – откликнулся мой бельгийский спутник. Оказывается, здесь и полицейские разъезжают на велосипедах. Время спустя мне показали на улице мужчину, он шел, держа за руки двух маленьких детей. "Это наш министр труда", – сказал мне спутник.

Вот когда действительно ощущаешь разницу – когда вглядываешься в людей. И поневоле покачиваешь головой, слыша разговоры о том, что Москва все больше подравнивается под мировые столицы.

Я продолжал думать об этом в Брюссельском аэропорту. Оформление, досмотр – все здесь проходило несравненно быстрей и проще, чем в Москве. Мое внимание привлекли стоявшие впереди два молодых хасида, с ухоженными пейсами, в лапсердаках и черных шляпах. Ясно было, что они должны были на досмотре эти шляпы снять. Я ожидал, как они это сделают – оставаться без головного убора им же не полагалось. Почему-то сразу не пришло в голову, что под шляпами у них оказались кипы. Конечно.

"Нет, все-таки не надо забывать, какие произошли перемены", – немного развеселившись, продолжал я думать уже в самолете. На телевизионном экране стрелка показывала по географической карте: мы уже пересекли границу России. И вспомнилось, как я в 1988 году впервые летел на Запад, в ФРГ, и не по экрану – глядя в иллюминатор, определял: мы уже не в Советском Союзе, уже не в Польше, уже не в ГДР. Все! Теперь меня в случае чего не вернут, я на свободе! Я не собирался оставаться в ФРГ, знал, что вернусь, но все равно было это чувство: после всех хлопот о разрешении выехать, хождения по инстанциям, после контроля – я хоть на время в свободной стране.

И тут же вспомнилось противоположное чувство, когда я за год до того возвращался из Чехословакии через Польшу, пересекал советскую границу. Пограничники с овчарками на вспаханной полосе между рядами колючей проволоки, таможенник подозрительно спрашивает, нет ли у меня "литературки". Лозунг: "Добро пожаловать в социалистический лагерь!"

Другие времена, что говорить. Но о том, что Москва все-таки еще не Брюссель, напомнило первое же впечатление в аэропорту: встречающая девушка с плакатом: "VIP-зал". Ни в одном западном аэропорту я такого, помнится, не встречал. Там, наверное, такого и быть не может.

Чьи это слова?

В Бельгию я впервые попал, когда меня в качестве стипендиата (в приглашении это называлось "лауреата") пригласили поработать на вилле Мон-Нуар (Mont-Noir). Располагалась вилла во Франции, но, как мне сказали, метрах в двухстах от бельгийской границы. На месте этой виллы находился когда-то дом Маргерит Юрсенар, сам он в прежнем виде не сохранился.

На второй же день после приезда я решил прогуляться в Бельгию. Пошел не по автомобильному шоссе, а какими-то окольными тропками, сре-

ди огородов. Раз-другой спрашивал дорогу у встречных — мне доставляло удовольствие спрашивать по-французски. Ответы я не всегда улавливал, но достаточно бывало пояснительной жестикуляции. Вволю поплутав, я наконец вышел в небольшой городок. Надписи, магазинные вывески были здесь по-французски и по-фламандски. "Это уже Бельгия или еще Франция?" — спросил я прохожего. Он взглянул на меня озадаченно. "Это Бельгия". — "А где граница? Я не заметил границы". — "Здесь нет границы". — "Но где-то она была? Я хотел ее посмотреть". — "Не знаю. Посмотрите, может быть, там".

Мои вопросы, думаю, произвели на местного жителя не меньшее впечатление, чем мой французский.

Бывший пограничный пункт (Frontière) я, кстати, почти случайно увидел некоторое время спустя — на небольшом домике это слово красовалось в качестве вывески пивной "Frontière Jupiller".

Каждый день после работы я шел погулять, по Франции или заодно по Бельгии. У дороги табличка: Ingang vorbiden (проход запрещен) — значит, уже Бельгия. Французы бы написали: issue defense. Старый фахверковый дом с камышовой крышей. Над полем неподвижно завис жаворонок, крылья время от времени трепещутся. Вдруг вертикально пикирует вниз, зависает уже почти над землей. Поля ухожены, в загонах коровы и лошади, возле каждого дома блестящие автомашины, и не одна. Уже зеленеет хмель. Крестьянин косит на тракторе луг, другой рядом ворошит сено двузубыми вилами. Рабочие штаны на помочах, светлая шляпа — персонаж Брейгеля. Он свой "Сенокос" писал, может, где-то неподалеку. Увидел меня, идущего в одних шортах, машет приветливо рукой. Я машу в ответ. Бельгийские поля не отличишь от французских. Участки размежеваны, наверно, лет 500 назад, никто уже не станет с такими вот вилами драться за землю. Разве что за сбыт продукции, но тут уже обращаются к своим правительствам.

Хотя история здесь, конечно же, всюду о себе напоминала. Французские города с голландскими названиями. По этим местам гулял Тиль Уленшпигель. Дюнкерк во Франции, Ипр в Бельгии — о каждом можно было бы многое рассказать, с каждым связаны печально известные события. Повсюду еще сохранились бетонные бункеры. Кладбища с ровными рядами солдатских крестов.

С холма, на котором располагается вилла, открывается прекрасный вид. Пастбища, группы высаженных деревьев, крыши крестьянских домов цвета обожженной глины и почти такого же цвета пашня, зелень всех оттенков, церковные шпили небольших городков. А далеко на горизонте, километрах в 30, — терриконы бывших шахт, тоже теперь горы, часть природного пейзажа. И спокойный, неподвижный воздух над всем пространством. В парке, окружающем виллу, время от времени появляется стайка щебечущих экскурсантов, все больше пожилых: седые букольки, светлые легкие куртки. Переговариваются — читают надпись у входа в мое обиталище, тычут пальцами в окружающий пейзаж. Всё — объект интереса и любования. Я возвращаюсь с прогулки, прохожу мимо туристов, достаю из кармана ключ и вхожу, чувствуя взгляды спиной — спиной достопримечательности.

Вокруг деревенская уравновешенная, благополучная жизнь. Чувствуется, как чужды этой жизни развлечения, извращения, вкусы больших городов, а ведь это большая часть Франции, во всяком случае по территории. В книжном магазине ближнего городка мне показали мои книги. Спросил, покупают ли. Нет, не особенно. В самом деле, зачем здесь читать? И о чем писать? Вечерами включаю ТВ — новости такие же спокойные, житейские. Ну, иногда наводнения, где-то выборы, где-то террористический акт. Россию не упомянули ни разу, в газетах тоже про нее ничего нет.

Как-то, включив телевизор, я попал на знаменитую игру "Кто получит миллион". Человек задумался

над вопросом: кому принадлежат слова "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"? Выбор между именами: Сталин, Маркс, Троцкий, Ленин. Ответ давал 500 000 Fr. И человек сдался — не стал отвечать. Он уже выиграл 300 000, боялся потерять. До этого были вопросы о каких-то киноактерах, телеведущих — это он знал. Человеку на вид было за 40. Значит, так изменилось поколение? Не только у нас, во Франции, думаю, тоже еще недавно все знали про Маркса, Энгельса, "Коммунистический манифест".

И еще раз, но уже по-иному, я ощутил свою принадлежность к другому поколению, когда французские знакомые повезли меня в городок Херцеле (Herzele) показать необычное кафе "Des orguels". Все оно целиком представляло собой как бы музыкальный ящик: спрятанные за стенами старинные органы беспрерывно играли танцевальную музыку. Мой спутник, музыковед и писатель Филипп Боссан (Philippe Beaussant), провел меня "за кулисы" — за одну из стен. Полки в тесном простенке сплошь были заставлены раскладными картонными книгами с названиями танцев на корешках. Хромой старик-служитель по очереди доставал их, разворачивал и, почти не допуская паузы, вводил первую страницу с пробитыми дырками между крутящимися валиками. Штырьки, попадая в отверстия, программировали мелодию для скрытого музыкального механизма, включались трубы, клавишные инструменты, барабаны.

Посетители кафе, молодые и пожилые, пили за столиками вино и пиво, иногда выходили танцевать. Танцы были, соответственно, давние, начала теперь уже прошлого, а может, конца позапрошлого столетия. Кадриль, полька, еще какие-то — французские названия мне были незнакомы. Танцующих это ничуть не смущало, они топтались под эту музыку так же, как делали это под современную. Я оставался за столиком, похлебывал свое пиво.

И вдруг уловил знакомый ритм — вальс. Это я умел. Но танцевать никто почему-то не выходил. Я решил пригласить сидевшую рядом молодую женщину. Она отказалась: "Я этого не умею". Так же ответила еще одна. Только юная дочка моих знакомых вышла со мной. Она вальс тоже не танцевала, но ее можно было вести. Другие понемногу выходили вслед за нами из-за столиков, однако топтались по-прежнему, игнорируя не слишком удобный ритм.

Я оказался в этом зале, видимо, единственным, кто еще умел — помнил — вальс. И почувствовал себя действительно в другом времени. Не в том, из которого доносилась антикварная музыка.

Варварство!

В Швейцарию я был приглашен на фестиваль Рильке. Этот фестиваль устраивается раз в два года в маленьком городке Сьерре (Sierre), в 2006 году тема его была "Рильке и Россия". В местном музее демонстрировалась выставка "Рильке—Цветаева—Пастернак", их тройственной переписке были посвящены многие выступления. В самом Сьерре поэт, по сути, не жил, останавливался лишь проездом, но совсем неподалеку можно было посмотреть знаменитую башню Мюзо (Muzot), где им были написаны "Дуинские элегии" и "Сонеты к Орфею". Сейчас в башне живут другие люди, это довольно мрачное на вид средневековое строение, потолки в жилых комнатах низкие: люди в Средние века были ниже нынешних. Непонятно, почему поэт облюбовал это не самое удобное жилье. Побывал я и на могиле Рильке, в Рароне (Rarogne). Поэт был похоронен у церковной стены, вне кладбища (священник заявил, что он не католик), рядом несколько уже совсем недавних могил. Сама церковь на скале живописна необычайно, и вид сверху великолепен.

Но опять же — что описывать туристические достопримечательности и красоты! Меня, литератора, и здесь больше всего интересовало, как в этой неправдоподобно прекрасной стране живут люди, как за-

рабатывают, какие у них проблемы. Я расспрашивал об этом новых знакомых, у некоторых побывал дома.

В соседнем городке Сион, где жила переводчица одной из моих книг Клэр де Морсье, я впервые за несколько дней увидел швейцарского полицейского. Клэр захотела по пути купить мне открытку с видом города, остановила машину возле магазина и, увидев тут же полицейского, вышла к нему. Я знаю, сказала она, что здесь останавливаться нельзя, но у меня в машине писатель из России, я хочу купить ему открытку.

Полицейский взял у нее деньги, сам пошел в магазин и сам принес мне открытку в машину.

Каковы, однако, в Швейцарии полицейские, вновь и вновь покачивал я головой, каковы здесь отношения с полицейскими! И о чем тут мог бы писать литератор, есть ли тут вообще проблемы?

Я очередной раз завел этот полушутливый разговор, прогуливаясь по Сьерре с профессором Жоржем Нива. Вдруг он, усмехнувшись, показал мне впереди плакат, вывешенный возле ящика с местной газетой. ВАРВАРСТВО! – прочел я издалека кричащие крупные буквы. Тревожная местная новость. Значит, и здесь все-таки что-то бывает.

"ВАРВАРСТВО! – прочел я снова, приблизясь. – На вокзале найдена повешенная кошка".

Ксения Старосельская
Письмо из Гданьска

...И поблекшая от пыли медовая
желтизна штукатурки,
На которой подросток записал все это...

Павел Хюлле

Все началось с письма. Письма из Гданьска. Мэр города Павел Адамович и писатель Павел Хюлле приглашают на "День рождения Вайзера". В этом году исполняется двадцать лет со дня выхода первого романа Хюлле "Вайзер Давидек" (перевод которого в 2000 году опубликовала "Иностранная литература" – к тому времени читатель нашего журнала уже знаком был с двумя его рассказами, напечатанными в 1994-м). Роман замечательный – каждому бы писателю такой дебют! Поэтическое (но – с элементами детектива; но – воспроизводящее политические реалии 50-х) повествование о детстве, о памяти, о границах познания. Книга мгновенно принесла молодому автору славу – не меньше прославился и его герой, неизвестно откуда появившийся в Гданьске и затем, летом 1957 года, таинственно исчезнувший Давидек, удивительный, наделенный необыкновенными способностями (взглядом укрощает дикого зверя, устраивает эффектные взрывы, мастерски стреляет, умеет левитировать) мальчик, о котором спустя много лет вспоминают его тогдашние друзья. Но в книге есть еще один герой (по сей день неизменно присутствующий во всем, что выходит из-под пера Павла Хюлле) – город Гданьск, в котором родился, вырос и продолжает жить – и горячо его любить, и с любовью описывать – автор.

На день рождения Вайзера были приглашены все тринадцать переводчиков романа; приехать, к сожалению, смогли только семь – авторы переводов на русский, голландский, немецкий, хорватский, английский, венгерский и иврит. Восьмой оказалась я, как "крестная мать" Хюлле (первой познакомила с ним русского читателя, перевела рассказы, затем роман "Касторп" и рекомендовала к публикации "Вайзера Давидека" и "Мерседес-бенц"). И вот все мы встретились в прекрасном Гданьске, встретились как родные и за два дня праздника успели подружиться, как могут подружиться близкие по духу, с полуслова понимающие друг друга люди. Спасибо огромное Павлу Хюлле: не каждый писатель так понимает и ценит своих переводчиков! Спасибо и за то, что он дал нам возможность еще раз – в реальности – вернуться в город, который мы, работая над его книгами, вслед за их героями исходили вдоль и поперек в своем воображении.

Гданьск, разрушенный в конце Второй мировой войны и большей частью восстановленный, необыкновенно красив и особо отмечен историей: со времени своего возникновения (ок. 980 года) он не раз менял "гражданство" и даже название, переходил из рук в руки, почти полностью сгорел в XIV веке, когда в город вступили (по приглашению польского короля Владислава I Локетека, опасавшегося угрозы со стороны бранденбургских маркграфов) рыцари Тевтонского ордена, вошел в Союз ганзейских городов и стал одним из важнейших балтийских портов, в XV веке был включен в состав Речи Посполитой, бурно развивался как круп-

© Ксения Старосельская, 2007

нейший торговый центр (его называли "львом, охраняющим ганзейские сокровища") и процветал вплоть до середины XVIII века, когда его благоденствие подкосила война со шведами; в результате первого раздела Речи Посполитой (1772) Гданьск был отдан Пруссии и превратился в Данциг, в 1807-м, после захвата наполеоновскими войсками, получил сохранявшийся до 1815 года статус Вольного города, затем был возвращен Пруссии (в этот период в городе провели водопровод и канализацию, построили много общественных зданий), а по окончании Первой мировой войны, в силу Версальского договора, вновь стал Вольным городом Гданьском с собственной конституцией. Приход к власти Гитлера в Германии изменил ситуацию в многонациональном и многоконфессиональном городе (кроме немцев и поляков там жили евреи, татары, коренные жители Поморья — кашубы, — потомки древнеславянского племени поморян, а также голландцы и шотландцы): власть постепенно захватывают нацисты, начинаются притеснения и преследования представителей не немецкой национальности; в первый же день Второй мировой войны город был обстрелян с броненосца "Шлезвиг-Гольштейн", сопротивление местного населения фашистским войскам было подавлено в течение нескольких дней, и Гданьск включили в состав Третьего рейха. После войны начинается коммунистический период жизни Гданьска, жители которого, помня о своей былой независимости, не раз вступали в борьбу с властями — не случайно в Гданьске родилась "Солидарность". И недаром он запечатлен во множестве художественных произведений, авторы которых в большинстве своем родом из Гданьска (первым приходят в голову немец Гюнтер Грасс с его "Жестяным барабаном" и поляк Стефан Хвин с "Ханеманом"). Только что вышел пятый (!) том солидного труда "Гданьск в литературе. Библиография с 997 года до наших дней", охватывающий период с 1945 по 1979 годы, где собраны тематически связанные с городом и его жителями разножанровые произведения авторов разных стран.

И вот я лечу в этот город, где волей-неволей ждешь чудес — ведь в нем и его предместьях на каждом шагу попадаешь в нездешний мир, необыкновенно живописный, сохранивший приметы прошлого. Чудеса начались сразу, еще в воздухе. Самолет уже снижался, уже летел над черепичными крышами, над верхушками деревьев, и вдруг я увидела за ними величаво плывущий по... ослепительно голубому небу белоснежный пароход. Небо сливалось с морем, никакой границы между ними не было, нам открывала ворота волшебная страна...

В ней мы прожили два до предела заполненных событиями и впечатлениями дня. В первый день утром Павел Хюлле повел своих гостей по следам Давидека и его друзей. Мы прошли по Старому городу, посмотрели на дома, где родились Даниель Фаренгейт и мать Артура Шопенгауэра (и, конечно же, вспомнили еще двоих знаменитых гданьчан — Гюнтера Грасса и Леха Валенсу), прогулялись по набережной Мотлавы, где среди складских зданий начала прошлого века на Лабазном острове высятся старинные кирпичные зернохранилища, а напротив современных портовых кранов — сооруженный еще в XV веке, крупнейший в средневековой Европе кран Журавль (Крантор), с помощью которого в былые времена грузили корабли и устанавливали мачты. Журавль — наряду с величественным (второй по величине в Европе после Кельнского собора) готическим костелом Пресвятой Девы Марии (где можно увидеть копию знаменитого "Страшного суда" Ханса Мемлинга — оригинал в Национальном музее Гданьска), ренессансной ратушей с башней высотой 82 м, фонтаном Нептуна с отлитой в 1615 году бронзовой статуей бога, резиденцией купеческих братств Двором Артуса (XIV век) и удивительной улицей Святого Духа, где перед каждым, украшенным своим символом, домом, дивной красоты резное каменное крыльцо с широкими ступенями, — одна из визитных карточек города. А

потом мы отправились в окрестности Гданьска, где когда-то пережили столько удивительных приключений Давидек и его друзья. Побывали возле старой железной дороги с разрушенным мостом (подросток Павел Хюлле с приятелями играл там в партизан, подкладывая взрывчатку — еще в 60-е годы в земле полно было неразорвавшихся снарядов и патронов), поглядели на долину среди холмов, теперь застроенную, где было когда-то стрельбище и учил друзей стрелять Давидек, и на старый арсенал, где он хранил свои запасы оружия, постояли на берегу извилистой Стшижи, которая прячется в туннель под железнодорожной насыпью, куда вошли однажды Давидек со своей подружкой Элькой и... пропали. (Над входом в туннель несколько лет назад кто-то написал белой краской "Вайзер Давидек".) И видели луг, на котором ребята однажды повстречали убежавшего из психиатрической лечебницы (она там и поныне) безумного Желтокрылого, и Брентовское кладбище, у которого своя печальная история. Некогда это кладбище было смешанным — на нем хоронили не только лютеран (в основном немцев), но и поляков-католиков, и кашубов; была там и "детская" часть, где покоятся жертвы разразившейся в 1945—1946 годах эпидемии дифтерита. На этом заброшенном после войны кладбище Давидек и его друзья обнаружили могилу маленького немца Хорста Меллера, своего ровесника, скончавшегося в возрасте 11 лет. Впоследствии могила была разорена, от надгробной плиты остался — и сейчас там лежит — обломок с едва различимой надписью готическим шрифтом, но однажды там появился (и стоит и по сей день) скромный крест с надписью по-польски: "Хорст Меллер, 1929—1936, увековеченный в 'Вайзере Давидеке' Павла Хюлле". С кладбищем связана еще одна история. Несколько лет назад ксендз, к чьему приходу принадлежало Брентовское кладбище, решил построить костел. Местные власти не давали ему земельного участка, но он решил проблему по-своему: часть кладбища была перекопана (долго потом вокруг валялись черепа и кости), и на "освободившемся" месте соорудили довольно уродливый костел с высокой увенчанной крестом башней. Вскоре после завершения строительства случился пожар, значительная часть костела сгорела, отреставрировать его по разным причинам не удается, и стоит это тяжеловесное строение на кладбищенской земле как символ тяготеющего над ней проклятия. В конце экскурсии мы зашли в красивейшую долину Самборово, называемую еще долиной Авраама в честь Антония Авраама (1869—1923) — видного кашубского общественного деятеля, ратовавшего за сохранение национальной идентичности своего народа. В 1918 году Авраам был делегирован на Парижскую мирную конференцию (на которой был заключен Версальский договор). Рассказывают, что из-за отсутствия денег он отправился в Париж пешком и путь свой начал как раз с этой долины. А перейдя нелегально границу и добравшись до Парижа, потребовал присоединения кашубских земель к получившей независимость Польше.

Вечером того же дня мы собрались в ратуше Старого города (XVI век), где сейчас находится Прибалтийский центр культуры. В сохранившем старинное убранство Мещанском зале, под сводчатым потолком с аллегорическими изображениями, горожане собрались послушать переводчиков "Вайзера Давидека". Мы сидели за "круглым" (на самом деле овальным) столом, и Павел Хюлле поочередно задавал каждому одни и те же вопросы: как и почему пришла в голову идея перевести этот роман, какие трудности встретились и как с ними справлялись, довелось ли переводчику в процессе работы побывать в описанных в книге местах, как "Давидек" был принят у него на родине? Ответы были, естественно, разные, но в одном все сошлись: выбор книги был сделан по велению сердца, переводчики сжились с ее персонажами и крепко к ним привязались. Израильтянка Мириам Паз благодаря "Вайзеру" вспомнила родной язык: из Поль-

ши она уехала маленькой девочкой и в Израиле занималась переводами с французского, однако не устояла перед предложением перевести роман на иврит — и так "вернулась к истокам". Трудности у всех тоже были разные и по-разному преодолевались. Англичанке Антонии Ллойд-Джонс и хорватке Иване Видович, например, нелегко было отыскать искаженные в речах Желтокрылого цитаты из Библии, а Ивана еще и долго боролась с названиями растений. А вот переводчику на русский Вадиму Климовскому сложнее (и интереснее!) всего было разгадывать то, о чем на страницах романа впрямую не сказано, что спрятано между строк, — в богатстве и глубине невысказанных мыслей он видит и особое достоинство книги, и ее притягательность. Голландец Кароль Лесман долго искал издательство — никто не хотел публиковать неизвестного польского автора, — пока не появились восторженные рецензии на немецкое издание "Вайзера". Кстати, для немки Ренаты Шмидгаль это был первый опыт художественного перевода, с которым она прекрасно справилась (работая над книгой, Рената неоднократно приезжала в Гданьск, исходила все те места, по которым снова прошла сегодня, засыпáла Павла вопросами — и стала его постоянной переводчицей). Забавно прозвучало признание венгерки Ноэми Кертес в том, что ее поставил в тупик "рыбный суп" — метафора, которую употребляет Хюлле, описывая прибрежную полосу моря: жарким летом природа продемонстрировала свои "злодейские возможности" — в ленивых волнах у берега покачивались мертвые тушки тысяч колюшек ("...нам подсунули рыбный суп, в который хотелось только с отвращением плюнуть"). В Венгрии рыбный суп — густой, острый, *красного* цвета — поди соотнеси этот образ с морем!

На следующий день мы погрузились на кораблик с набережной вблизи Журавля. Под водительством Хюлле в темно-синем с золотыми пуговицами пиджаке и капитанской фуражке (в море шкипер на некоторое время доверил ему штурвал) проплыли по Мотлаве и Мертвой Висле, в устье которой миновали полуостров Вестерплатте, где в первую сентябрьскую неделю 1939 года героически оборонялась горстка польских солдат; в их честь там установлен хорошо видный с воды 25-метровый монумент — памятник Защитникам Побережья, напоминающий вбитый рукояткой в землю меч. Из Мертвой Вислы наш корабль вышел в Гданьский залив и оттуда — в открытое море. Тем же путем, вдоль берега, мимо курортного Сопота, огромного современного Нового порта и внутреннего Старого вернулись в город.

В тот же день мы еще посмотрели фильм Войцеха Марчевского "Вайзер Давидек" (2001), где вместе с подростками играют великолепные актеры Кристина Янда и Ежи Штур. А вечером в переполненном Мещанском зале главный редактор краковского "Знака" (Хюлле — постоянный автор этого издательства) Ежи Ильг "допрашивал" писателя — тема беседы была заявлена как: "Хюлле, какого вы не знаете". Ильг задавал вопросы, Павел на них отвечал. Мы узнали много о его детстве в Гданьске — "городе-мифе"; услышали, как Хюлле и Ильг познакомились на семинаре в университете, где студенты рассказывали о своих любимых писателях (для Хюлле таким писателем был Венедикт Ерофеев; любопытно, что он сравнивал "Москва—Петушки" с "У подножия вулкана" Малькольма Лаури). Узнали, что литературные наставники Хюлле вовсе не Томас Манн и не Богумил Грабал, чьими произведениями навеяны "Касторп" и "Мерседес-бенц (хотя обóих он очень любит и ценит), а русские писатели: Бунин, Лесков, Чехов, Набоков, Бабель — и из польских Ярослав Ивашкевич (который начинал писать по-русски). Попутно мы услышали, что Хюлле "не страдает грехом многословия": в его книгах "ровно столько слов, сколько нужно". Еще мы узнали, во скольких ипостасях выступает писатель: он журналист, эссеист, публицист, фельетонист, пишет стихи. А кроме того, увлека-

ется фотографией (кое-какие снимки нам были показаны). Был в жизни Павла Хюлле период (полтора года), когда он служил в чиновничьей должности руководителя программами Гданьского телевидения. Этот период Хюлле вспоминает как самый скверный в жизни: "скучная бюрократическая работа"; возможно, когда-нибудь он сочинит об этом одноактную пьесу.

Зашла, конечно же, речь о недавно опубликованном новом романе "Тайная вечеря", вызвавшем острую полемику в польской прессе. И неслучайно: избрав временем действия ближайшее будущее (вероятно, середину или конец второй декады нашего века), Хюлле затрагивает больные точки сегодняшнего дня — и говорит об этом отважно, жестко, страстно и, как всегда, ярко и талантливо. В Гданьске к описываемому моменту многое изменилось: кое-какие улицы переименованы (появилась, в частности, аллея Качинских[1]), на каждом шагу магазины, торгующие винами с этикеткой "Монсиньоре" (Монсиньоре — местный влиятельный ксендз, в котором каждый поляк легко угадывает реального священнослужителя — прелата Янковского), рядом с костелами выросли мечети, на улицах гремят взрывы — то ли это дело рук исламских фундаменталистов, то ли какого-то безумца, а может быть, взрывы устраиваются по приказу Монсиньоре. Описанный в романе один-единственный день оказывается необычайно важным для его главных героев: волей-неволей они мысленно пересматривают свою жизнь со всеми ее приметами, характерными для целого поколения — примерно пятидесятилетних сейчас — поляков. Но не только об этом речь в "Тайной вечере" — на ее страницах остро поставлены и горячо обсуждаются спорные проблемы современного искусства и религии.

Покончив с книгой, Ильг поинтересовался, не увлекся ли в последнее время Павел сутяжничеством: у всех на слуху громкий, продолжавшийся два года судебный процесс. Прелат Янковский подал в суд на Хюлле за то, что последний оскорбил его в своем фельетоне. Хюлле обвинил Янковского в том, что тот в своих проповедях использует расистский язык, "говорит как гауляйтер, как генсек, а не как священнослужитель. <...> Не знаю, сколько еще раз я услышу в костеле Святой Бригиды, что евреи погубили нашу страну, а Европейский союз стремится к уничтожению Польши". Янковский — известная в Польше фигура. С 1980 года он был капелланом "Солидарности", пылким ее защитником. Однако начиная с 1989 года с ним происходит разительная метаморфоза. В его проповедях постоянно звучат антисемитские и крайне националистические мотивы; критику общественности вызывает его нескрываемое стремление к богатству и почестям. Он действительно организовал продажу австралийского вина под маркой "Монсиньоре" — якобы для приходских нужд. В 2004 году церковные власти отстранили Янковского от руководства приходом в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах по отношению к малолетним прислужникам. Несмотря на то, что у прелата в Польше много сторонников (существует даже Комитет в защиту Янковского), процесс против Хюлле он проиграл. (Как проиграли и подавшие на Хюлле в суд — "за нарушение тишины в позднее время" — соседи.)

Завершил беседу Ильга с Хюлле стандартный вопрос: над чем сейчас писатель работает? Ответ был краток: "Я, как всегда, развиваю свои дурные наклонности".

Ну а окончательным завершением праздника был вечер у Хюлле дома, где далеко за полночь продолжались прерываемые хоровым пением (горе соседям!) литературные споры, обмен мнениями, впечатлениями, планами на будущее и просто задушевные беседы единомышленников, "товарищей по оружию".

1. Братья Качинские — президент (Лех) и премьер-министр (Ярослав) сегодняшней Польши.

Мастер-класс Н. С. Павловой

Павлова Н.С. *Природа реальности в австрийской литературе.* — М.: Языки славянской культуры, 2005

На обложке книги Н. С. Павловой изображен фрагмент картины известного австрийского художника Густава Климта "Древо жизни". Сюжет этот как нельзя лучше отвечает предмету исследования и авторскому подходу — пристальному всматриванию в ветвистое "древо" австрийской культуры. Древо это представлено в книге достаточно полно — с мощными ветвями и даже некоторыми побегами, выросшими за века XIX и XX. Отсутствие таких важных имен, как И. Бахман, П. Хандке, Э. Елинек, Э. Яндль, в данном случае не столь принципиально: дело не в энциклопедичности охвата, а в том, что мы сталкиваемся с попыткой раскрыть саму субстанцию австрийской культуры. Что удалось увидеть в ней Нине Павловой — фигуре в отечественной германистике очень авторитетной, даже, можно сказать, харизматической?

Первое (в чем опять-таки можно усмотреть сходство с картиной Климта) — пронизанность исследуемой культуры глубинными барочными смыслами: древнейшим, "исконно австрийским" сочетанием безудержной и конкретной в своей чувственности радости жизни со столь же бесконечной и неустранимой мыслью о смерти (оно, это сочетание, обозначено в книге как "зыбкость готовой исчезнуть жизни" и особенно убедительно проанализировано в главах о Франце Грильпарцере, Райнере Марии Рильке, Роберте Музиле и Эдене фон Хорвате).

Та же пара противоположностей, но по-иному проявленная — это соединение своеобразно воспринятого и переработанного просвещенческого рационализма (отсюда неистощимый интерес австрийских писателей к языку, к его логике, границам и возможностям) и непосредственного сенсуализма — "чувства жизни", ощущения "плотности" окружающих вещей. В исследовании Павловой этому соответствуют особая оптика, особая методика анализа: стремление обнаружить структурообразующие особенности текста в сочетании с подходом к нему как к естественно сложившемуся живому организму.

Идет ли речь о тяжеловесных и, как кажется, абсолютно лишенных субъективности описательных пассажах Адальберта Штифтера и Хаймито фон Додерера, о лирической эзотерике Пауля Целана и Георга Тракля, о "неклассическом" театре Грильпарцера, Хорвата или Бернхарда, о сложнейшей модернистской прозе Франца Кафки и Райнера Марии Рильке, всякий раз разговор об авторе и его тексте начинается — нет, не с собственного веского слова о них, не с апелляции к традиции их изучения (хотя отсылки к отечественной научной литературе, в первую очередь к трудам А. В. Михайлова, и к зарубежным исследованиям довольно многочисленны и абсолютно корректны). Разговор начинается с призыва к "вслушиванию" и "всматриванию" в очередной текст, то есть, по сути, с попытки понять Другого. Исследователь как бы вступает в диалог с автором текста, отказываясь от каких бы то ни было предвзятых суждений. За первичным "давайте посмотрим" (или "послушаем") следует осо-

знание сложности материала. Например, о "Покое и молчании" экспрессиониста Георга Тракля говорится: "Первое эстетическое впечатление читателя, воспитанного на классической лирике XVIII–XIX веков, — бессвязность текста. События только обозначены, но, кажется, не приведены в связь..."

Профессор Павлова не оставляет читателя один на один с этой сложностью (ведь, наверное, она и на занятиях в университете приходит на помощь своим студентам, увязшим в заковыристом тексте). Не оставляет, но и не берет на себя авторитарной функции носителя непреложной истины. "Возможно ли, <...> что все существенное и нужное еще не увидено, не опознано и не сказано? <...> Да, возможно" — эта цитата из "Записок" рильковского Мальте Лауридса Бригге недаром дважды приведена в книге. Правильно поставленный, соответствующий рассматриваемому материалу вопрос для этой книги не менее важен, чем ответ.

Путь от вопроса к ответу (а именно здесь реализуется с наибольшей полнотой отмеченное уже сочетание непосредственного восприятия текста и интереса к его структуре) почти всегда связан у Н. С. Павловой с обращением к некоей обобщающей — чаще всего жанровой — категории. Так, сложное стихотворение Тракля на глазах проясняется благодаря наложению на него жанровой матрицы *баллады*, то же происходит с зашифрованным и закодированным смыслом целановского текста, когда исследовательница ненавязчиво сопоставляет его интонацию и композиционно-речевую форму с архаическим *заклинанием*. Аналогичным образом проступает смысл гротесковых персонажей и ситуаций романа Э. Канетти "Ослепление" — благодаря их соотнесению с логикой *карнавала* (соотнесению, заметим, проделанному с вдумчивой осторожностью: показано не только чем похож канеттиевский карнавал на бахтинский, но и чем он от него отличен). А суть страстных "ругательных" монологов в драмах Томаса Бернхарда высвечивается методом приведения их к жанровому знаменателю *инвектив*. Нечто подобное происходит и с прозаическими историями Бернхарда, их сюжетной организацией: они вдруг начинают восприниматься совершенно по-новому, как только произносится магическое слово *анекдот*. Ведь в логике поведения бернхардовских "чудаков" действительно есть своя фабула и кульминация, характерные для анекдота: то, что мы подразумеваем, когда говорим о его "соли".

Внимание к структурным особенностям прослеживается и в пространной главе о "Процессе" Франца Кафки, целиком построенной на интерпретации различных форм несобственно-прямой речи, столь часто употребляемой в этом романе. Вывод исследовательницы о том, что в заключительных эпизодах слово героя, хотя и остается в рамках несобственно-прямой речи, получает больший простор, подкреплено очень вескими аргументами. Этот вывод, сделанный на основе наблюдений над грамматическим строем предложений, оказывается чрезвычайно важным для интерпретации *содержания* "Процесса". "Впервые в романе Кафки, — пишет Павлова, — слово повествователя заражается словом протагониста, что свидетельствует о выходе последнего из оков связанности чужим контекстом, как, возможно, и связанности вообще". Заявленная здесь концепция "освобождения" сознания героя Кафки, возможно, вступит в противоречие с другой, постструктуралистской традицией толкования "Процесса" (представленной, в частности, работами Ж. Делеза и Ф. Гваттари), в рамках которой акцент делается

не на внутренней, как у Павловой, а на внешней динамике развития образа, на линейности и децентрированности мира Кафки, на его — этого мира — физиологических и пространственных особенностях. Однако противоречие между интерпретациями может на поверку оказаться мнимым, обусловленным лишь принадлежностью исследователей к разным научным традициям, разницей в их оптике.

Еще один секрет Н. С. Павловой, которым она делится с нами в рамках своего аналитического мастер-класса, имеет компаративистскую природу. Рассуждая о том или ином австрийском авторе (особенно мало известном русскому читателю), она нередко облегчает доступ к нему, сравнивая его с тем или иным немецким писателем из тех, что лучше знакомы читающей публике и (или) с писателем русским. Чаще всего такие сопоставления обусловлены хронологической или жанровой близостью либо установленной автором генетической связью. Так, Грильпарцер, "недопонятый" русской публикой в начале XX века (несмотря на то, что его пьесу перевел А. Блок), становится много доступнее благодаря сравнению — по контрасту — с Шиллером; Г. Тракль сопоставляется с Гёте и Гёльдерлином, тексты Э. Канетти делаются прозрачнее в свете эстетики немецкого конструктивизма благодаря сравнению с А. Дёблином и Г. Бюхнером (с пьесой "Войцек"). Параллель, проводимая для лучшего понимания драматургии Хорвата (по принципу внешнего сходства и глубинных отличий), — "эпический театр" Б. Брехта.

Если сопоставление "немецкого" с "австрийским" строится, как правило, по контрасту (эту контрастность двух соседних культур ощущали и ощущают до сих пор сами австрийские авторы, начиная с Ф. Грильпарцера и Г. фон Гофмансталя и кончая нашим современником Р. Менассе), то с "русским" сравнение чаще проводится по аналогии. Так, внешнюю бессобытийность пьес Бернхарда русскому читателю легче понять через призму чеховских драм. Проблема вины и наказания у Ф. Кафки проецируется, разумеется, на Достоевского ("Процесс" оказывается тогда своеобразной параллелью к "Двойнику" и "Преступлению и наказанию"). Как показывает Павлова, гротеск Канетти в ряде аспектов подобен гоголевскому, а в зашифрованно-откровенном стихотворении "Сосчитай миндалины..." Целан и вовсе звучит в унисон Осипу Мандельштаму.

Русская и австрийская культуры как глубинно родственные явления — вот несомненный лейтмотив исследования, четче всего просматриваемый в особенно яркой (в том числе и по богатству театральных, живописных, музыкальных и архитектурных аналогий) главе "Образ Вены в русской культуре (1890—1910)", читать которую интересно не только потому, что ты узнаешь новое о "чужом" — о венском Сецессионе, Р. Штраусе, А. Шницлере, архитекторе Й. Ольбрихе, — но и потому, что снова задумываешься о "своем": В. Мейерхольде, А. Блоке, К. Сомове. "Свое" от соприкосновения с "чужим" вдруг начинает играть новыми красками. Такая перспектива разворачивает заданную изначально ситуацию — русский филолог-германист рассказывает, какой ему видится австрийская литература, — ровно на 180 градусов и создает "зеркальный эффект". Посмотреть на австрийскую литературу глазами Н. С. Павловой для нас, русских читателей, это, помимо прочего, — значит лучше понять себя, увидеть себя со стороны.

Л. Н. Полубояринова

Новый сеанс обратной связи

Обзор писем на читательскую анкету, опубликованную в 2006 году, № 12

Подведены итоги очередного опроса-конкурса, который "Иностранная литература" раз в несколько лет проводит среди своих читателей. Обзор итогов начнем с информации приятной: списков наших лауреатов. 10 бесплатных подписок на 2008 год были разыграны среди тех, кто верно ответил на все без исключения вопросы предложенного в № 12 (2006) чайнворда (правильные ответы см. в конце обзора):

1. А. Бешкарев, преподаватель-филолог, г. Сыктывкар.
2. С. Закирин, научный работник, г. Новосибирск.
3. П. Крайкина, биолог, г. Апатиты.
4. А. Молочников, учитель математики, г. Санкт-Петербург.
5. Н. Молчанова, инженер-химик, г. Москва.
6. В. Мурзинцева, программист (на пенсии), г. Новосибирск.
7. К. Петрова, инженер-строитель (на пенсии), г. Москва.
8. Е. Сагирьянц, преподаватель зарубежной литературы, г. Ростов-на-Дону.
9. О. Тучина, преподаватель философии, г. Краснодар.
10. М. Шеланкова, филолог, г. Бийск.

Среди всех читателей, которые прислали нам письма, мы разыграли 20 книг из серии "Иллюминатор" издательства "Иностранка". Вот имена тех, кому повезло:

1. Л. Альт, г. Омск.
2. А. Воецкий, преподаватель зарубежной литературы, г. Кривой Рог (Украина).
3. Н. Ефимова, библиотекарь, г. Санкт-Петербург.
4. В. Заставный, магистр государственного управления, г. Запорожье (Украина).
5. А. Киченко, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой зарубежной литературы, г. Черкассы (Украина).
6. И. Кононенко, психолог, г. Шахты.
7. Т. Красилова, кандидат химических наук (на пенсии), г. Москва.
8. А. Кушхабцева, научный сотрудник, г. Нарткала (Кабардино-Балкария).
9. Н. Митрофанова, экономист, г. Рязань.
10. Г. Мокеева, кандидат физико-математических наук, г. Нижний Новгород.
11. С. Мощук, юрисконсульт, г. Брест (Беларусь).
12. Е. Панышева, менеджер, г. Санкт-Петербург.
13. М. Петрова, геолог, г. Новосибирск.
14. Т. Позднякова, г. Удомля.
15. Н. Полякова, экономист, г. Горноправдинск (Ханты-Мансийский АО).
16. Т. Пономарева, историк, зав. библиотекой, г. Североморск.
17. Ю. Сердюк, юрист, г. Переславль-Залесский.
18. В. Стеблянский, социолог, г. Ставрополь.

19. И. Удлер, преподаватель-американист, г. Челябинск.
20. Л. Фельдман, инженер-строитель, г. Москва.

Уже по этим спискам можно понять, что аудитория "ИЛ" сохранила свое многообразие: и профессиональное, и географическое. Отметим также, что наш среднестатистический читатель, похоже, несколько помолодел, а кроме того, "переместился" из крупных городов в менее населенные: такие, как Апатиты, Бийск, Североморск, Шахты...

Что касается старшего поколения, то здесь заметным стало присутствие преподавателей-филологов, использующих "ИЛ" в учебном процессе. Вот что они пишут:

Выписываем в складчину, "всем миром" (я и мои студенты). Получаемый нами экземпляр прочитывается моими коллегами и студентами, каждый из них становится пропагандистом журнала (А. Воецкий). *Журнал очень динамичен и универсален (проверяла на своих студентах), а также романтичен: романы О. Памука тому доказательство. "ИЛ" всегда была нарасхват, а сейчас особенно притягательна (Е. Сагирьянц). Начало чтения, всегда с последней страницы, с анонса на следующий номер – что дальше? Обязательно переписать на карточки содержание – для коллег, аспирантов, студентов, кому на что стоит обратить внимание* (А. Киченко). *С помощью журнала я сформировала у очень многих поколений студентов любовь к мировой литературе и стремление читать и думать* (И. Удлер).

Большинство читающих нас делает это уже много лет (и даже десятилетий). И большинство из них считает, что журнал продолжает держать прежний уровень (со всеми плюсами и минусами подобного положения):

Не хуже и не лучше – такой же умный и интересный, как и 10 лет назад. Время меняется, "ИЛ" меняется, читатели – тоже, и пока все это созвучно происходит (Т. Пономарева). *Журнал остается на своем высоком уровне все годы, что я его читаю. Я доверяю вашему журналу, поскольку в нем печатается лучшее из мировой литературы и в лучшем переводе* (Л. Фельдман). *На этот раз никаких перемен в худшую или лучшую сторону отметить не могу – прежний весьма высокий уровень* (А. Бешкарев). *Журнал в целом остался по-хорошему консервативным изданием...* (С. Мощук). *Хуже ваш журнал определенно не стал; в заметно лучшую сторону изменилось оформление: привлекательная красочная обложка, включение иллюстративного материала в тексты; радует традиционно высокий уровень эссеистики; интересны номера, посвященные той или иной национальной литературе или какому-то литературному жанру* (Г. Мокеева). *"ИЛ" стала несколько иной, не хуже, не лучше. Раньше, в 60-х годах, видно было мнение "ИЛ" по поводу напечатанного. Теперь мнения "ИЛ" не видно. Оно, конечно, есть, но переводной текст (с которым можно спорить) его забивает* (К. Петрова). *Абсолютно уверен, что журнал не стал хуже. Разумеется, лет 15 назад выбор был богаче по понятным причинам. Просматриваю те номера: вот это материал! Сейчас же идет повседневный литературный процесс, довольно обыденный, и что из публикуемого станет классикой – покажет время* (В. Стеблянский). *Журнал, в основном, держит свой высокий уровень. Однако открытий новых писателей уровня М. Брэдбери, К. Исигуро, К. Филиповича стало меньше* (Ю. Сердюк). *За последние пять лет журнал не стал ни лучше ни хуже. Он просто перестал быть знаковым. Возможно, время такое наступило. Возможно, повинен современный авторский массив. Но жур-*

нал, к сожалению, перестал вести меня за собой. <...> ...в связи с неоднократно взятыми "ИЛ" высотами, хотелось бы большего... (В. Заставный). *Видимо, не лучше и не хуже, просто журнал перестал быть практически единственным источником иностранной литературы. Тот же, кто ищет качественного чтения – полагается на "ИЛ"* (П. Крайкина).

Лишь немногие считают, что журнал стал безоговорочно лучше:

Лучше или хуже стал журнал? Несомненно, лучше. Номера бывают разные, но чисто скучных за последние 15–20 лет я не знаю. А вот полностью яркие бывают. Простое доказательство улучшения или устойчивости "планки" в том, что мне, извините, воспитаннице журнала, приученной к высшему пилотажу в чтении, не скучно с "ИЛ" и ни разу не было ощущения, что вместо обещанного яства подсунули жвачку (Н. Митрофанова). *Я работала библиотекарем, и у меня была возможность сравнить публикации журнала за несколько десятилетий. Мне с каждым годом интереснее читать журнал, читаю все от начала до конца и с нетерпением жду каждого номера* (Е. Панышева). *Да, журнал стал лучше. Более тщательно подбираются произведения для публикации, появились и продолжаются интересные рубрики* (М. Петрова).

Критических отзывов примерно столько же, но они более конкретны:

В целом, журнал-2005 показался нам самым интересным за последние годы, разнообразным, динамичным. Не могу сказать этого о 2006 годе. Без большей части произведений-2006 я, как читатель, могу обойтись, и это не радует. Видимо, финансовые проблемы не позволяют журналу напечатать произведения, о которых на ваших же страницах и говорится: и в рейтингах, и библиографических обзорах, получается: видит око... а прочесть нельзя (М. Шеланкова). *Трудно сказать, номера разные, иногда кажется, что "калибр" авторов слабее по сравнению с журналами 90 гг. (А. Воецкий). Последние 2-3 года, по-моему, некоторый спад... хотя... возможно, я просто жду слишком многого после шквала отличной литературы, а главное – новых имен, обрушившихся в 90-е* (А. Молочников). *Удивляюсь, как можно целый год печатать посредственные и даже отвратительные вещи и только в конце года напечатать в одном-двух журналах то, что интересно читателям. Выходит, если "хочете", то можете* (Я. Русь, пенсионер, г. Днепропетровск, Украина).

Лучшими публикациями большой прозы за последние три года читатели сочли роман Кадзуо Исигуро "Не покидай меня" (2006, № 7) и повесть Амели Нотомб "Любовный саботаж" (2006, № 3). Среди малой прозы оказались отмечены рассказы Вуди Аллена (2004, № 7), среди поэзии – стихи Альфреда Теннисона (2006, № 5) и Болеслава Лесьмяна (2006, № 7). В жанре документальной прозы лучшей стала публикация китаянки Чжан Жун "Дикие лебеди, или Три дочери Китая" (2005, № 9), а в жанре "малого нон-фикшн" – фрагменты бесед Фредерика Бегбедера и Жан-Мишеля де Фалько "Я верую – я тоже нет" (2006, № 9).

Отрадно, что читатели особо обращают внимание на качество перевода и на авторские тексты наших лучших переводчиков и поэтов:

Польско-русская война под бело-красным флагом" Д. Масловской – великолепный перевод! (Н. Ефимова). *Особо хочется отметить блестящие переводы поэзии и интересные вступительные статьи и комментарии А. Гелескула и Г. Кружкова – не только к Лесьмяну и Теннисону, но и к другим авторам*

(Т. Красилова). *Работа Ольги Седаковой "Заметки переводчика" – конгениально!* (А. Воецкий).

Наименее удачными были по результатам опроса признаны романы Салима Баши "Пес Одиссея" (2006, № 4) и Фредерика Бегбедера "Романтический эгоист" (2006, №2). Встречаются также субъективные мнения общего характера:

Практически никогда не читаю стихи, может быть только японцев. (Уж простите меня за это.) Свежую мысль найти сложно; еще сложнее придать банальной мысли новую форму. Стих претендует на то и другое и обманывает (П. Крайкина). *...менее всего привлекли внимание публикации чешских, греческих, норвежских писателей* (Т. Баклашкина, домохозяйка, г. Ступино Моск. обл.).

Самым противоречивым автором (помимо Бегбедера) оказался американец Кристофер Бакли: его роман "Флоренс Аравийская" (2006, № 5–6, 2006) занял третье место как в категории лучших, так и худших публикаций. Здесь "яблоком раздора" между читателями стала, вероятно, сюжетная легкость романа, делающая его близким к массовой культуре, – что многие читатели, по всей видимости, считают для "ИЛ" малоприемлемым.

В ряде писем читатели вступают друг с другом в заочные переклички – и мнения их бывают диаметрально противоположными. Например, поразному оцениваются польские авторы:

Не произвел особого впечатления номер с польской литературой (Н. Полякова). *Продолжают удивлять польские писатели: П. Хюлле "Касторп", З. Ментцель, Д. Масловская. "Последние истории" О. Токарчук – это истории о самой Польше, о ее прошлом, настоящем и будущем* (В. Мурзинцева).

И особенно – Вислава Шимборская, по поводу которой "схлестнулись" два читателя из Украины:

Вислава Шимборская. Стихи. Хреновый перевод. И за такие стихи Нобелевскую премию? Мир перевернулся, стал идиотическим (Я. Русь). *Публикация В. Шимборской (№ 6, 2006) – просто супер* (А. Киченко).

(Заметим в скобках, что перевод сборника Шимборской Асаром Эппелем был удостоен ежегодного почетного диплома независимых критиков "зоИЛ".)

Специальный "французский" номер также был воспринят неоднозначно:

Очень понравилась информация о переводчиках с их фотографиями. Весь № 9 (2006) "Франция: писатель, издатель, читатель" (В. Мурзинцева). *Особенно не оправдал ожидания тематический (№ 9) номер, посвященный французской литературе: все вещи кажутся написанными одним автором, причем уже давно – то ли кризис французской литературы, то ли "трудности перевода* (Т. Красилова).

Некоторые письма, как нам показалось, требуют особого отклика редакции:

Журнал стал лучше, несомненно, но почему при этом сохраняется (правда, несколько видоизмененно) традиция "журнальных вариантов", "глав из романа", "фрагментов романа"? Половина публикаций за год – не многовато ли изначально неудачных "вариантов", с разрушенной внутренней целостностью художественного текста? Пример тому – "Возможность острова" М. Уэльбека (№ 2, 2006) под абсолютно чужой "ИЛ" рубрикой "Сигнальный экземпляр" (!?). Мне кажется, что дайджест – не ваш жанр и надо бы "ИЛ" от него отказаться раз и навсегда. Стратегия "ИЛ" – не охват всего, что "засвечивается" на книжном рынке (вам за ним, увы, не угнаться), а прочерчивание пунктира из наиболее ярких, знаковых вспышек. И донесены они должны быть в их полном "свечении". "Возможность острова" – пример того, что нельзя делать с художественным текстом и что должно быть чуждо духу и идее "ИЛ"(А. Киченко). *"Возможность острова" Уэльбека – это не неудача, но мнение "ИЛ" должно же как-то сопровождать. Кроме того, не надо выборок, печатайте все. Не обрезали же вы Хэма с Ремарком* (К. Петрова).

И противоположное мнение:

Удачная задумка – рубрика "Сигнальный экземпляр". Будет ли продолжение? (О.Тучина).

По поводу рубрики "Сигнальный экземпляр" хотелось бы напомнить нашим читателям, что существует такое понятие, как "авторские права". И если права на публикацию романа куплены издательством (а финансово успешные издательские "гиганты" делают это оперативно и не скупясь), то максимум, на что может претендовать журнал – это предваряющая книжное издание (и согласованная с издательством) публикация *фрагментов* романа. Не будем скрывать, что такие публикации всякий раз вызывали бурные споры на заседаниях редколлегии "ИЛ", однако мы все-таки пришли к выводу открыть рубрику "Сигнальный экземпляр", чтобы читатели (особенно в провинции), не имеющие шансов познакомиться с книжным изданием, получили бы возможность составить самое общее представление о яркой новинке.

Примерно то же можно сказать и о выкладывании публикаций "ИЛ" для открытого доступа в сетевом "Журнальном зале". Многие пользователи Интернета жалуются, что мы не выкладываем крупных произведений, ограничиваясь двумя-тремя первыми страницами. Но дело здесь не в том, что мы такие жадные, а в тех же авторских правах: ведь мы покупаем права только на разовую журнальную (бумажную) публикацию ограниченным тиражом.

Прокомментируем также некоторые субъективные мнения об отдельных переводах:

Стоило ли публиковать "Море" Джона Бэнвилла, если учесть, что в одной из опубликованных в "ИЛ" бесед кого-то из наших критиков с кем-то из английских писателей этот роман назван не самым удачным произведением Бэнвилла? (Т. Красилова). *К неудачным публикациям я бы отнесла "Пир" М. Спарк" (перевод, на мой взгляд, просто ужасный)* (Н. Ефимова).

Напомним читателям (журнал об этом уже сообщал), что переводчица обоих романов Е. Суриц была удостоена двух престижных премий: журнальной премии "Инолит" (за "Море") и премии за перевод англоязычной литературы "Единорог и Лев" (за "Пир"). А ведь в жюри этих премий работали не самые худшие эксперты... Вот уж действительно на вкус и на цвет...

И еще одно пожелание:

Нельзя ли один из номеров посвятить китайской литературе и опубликовать перечень произведений писателей Китая, печатавшихся в ИЛ с 1975 г.? (О. Осечкина, психолог, г. Магнитогорск).

Мы думаем, но в ближайших планах его нет. Зато есть "индийский" и "греческий".

И в заключение – радующая нас подборка хвалебных откликов на "ИЛ". Признаться, подобное коллективное признание в любви приводит нас в некоторое смущение (ведь мы всего лишь заняты своим делом, пытаясь выполнять его профессионально и качественно). Но поверьте, такие отзывы прибавляют нам сил и уверенности. Мы постараемся быть "на уровне" и оправдывать ваши надежды.

При огромных размерах книжного рынка, обилии новых имен, разном качестве литературы для меня "ИЛ" служит ориентиром в море новинок, мерилом качества, определенным фильтром. Благодаря вам у меня появились новые любимцы (Р. Гари, Дж. М. Кутзее, А. Нотомб и др.) (Н. Молчанова). *Раньше выписывала ваш журнал, чтобы побыстрее прочесть какой-нибудь роман (вроде "Имени розы"), теперь же книги издаются одновременно с публикацией, больше начинаешь ценить чисто журнальные рубрики, интервью, весь этот разноголосый хор – все это не дает потеряться, особенно если живешь на краю света. (...) Хочется пожелать журналу еще много лет издаваться и не меняться. "Не отпускайте" своих читателей* (Т. Пономарева). *Хотелось бы особенно поблагодарить коллектив журнала за бережное отношение к Слову – мудрое, взвешенное. И за меткое, яркое (по своей глубине отражения содержания) оформление каждого номера. (...) Журнал открывает новые горизонты вне времени и пространств. Я думаю, что "Иностранная литература" являет собой один из самых по-настоящему духовных проектов русской культуры* (И. Кононенко). *Чтение "ИЛ" в основном воспитало мой вкус, предпочтения в выборе книг и просто вошло в сокращающийся перечень радостей, украшающих и скрашивающих мое пребывание на земле* (Н. Митрофанова). *Ваш журнал для меня единственный путеводитель в мире иностранной литературы* (Е. Панышева). *Простите, даже если придется просить милостыню, обязательно выпишу журнал* (Е. Сагирьянц).

Ответы на чайнворд:

1. Теннисон. 2. Нотомб. 3. "Бал". 4. Лимерик. 5. "Касторп". 6. Пинчон. 7. Неруда. 8. Акройд. 9. Дидье. 10. "Если..." 11. Исаак. 12. Кэндзабуро. 13. "... острова". 14. Абэ. 15. Эстерхази. 16. "Инолиттл". 17. Луца. 18. Айтматов. 19. Вайнштейн. 20. Найпол. 21. Лист.

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Паланик Ч. *Фантастичнее вымысла* / Пер. с англ. А. Бушуева, Т. Бушуевой. — М.: АСТ, АСТ Москва, Хранитель, 2007. — 288 с. — 20000 экз. (п)

В перерывах между сочинением романов Чак Паланик, автор "Бойцовского клуба" и "Удушья", ездил по США и писал короткие очерки про разные любопытные вещи, которые ему пришлось повидать. В какой-то момент он решил издать их под одной обложкой, добавив к ним несколько автобиографических рассказов, а также свои интервью со звездами, включая писателя Айру Левина и певца-сатаниста Мэрилина Мэнсона. Читается как подборка черновиков к романам Паланика.

Хенди П. *Дневник заштатной звезды* / Пер. с англ. Александра Рахубы. — М.: Фантом Пресс, 2007. — 416 с. — (Зебра) 3000 экз. (п)

Жизнь британского телеведущего-неудачника во всем ее безрадостном великолепии. Мы проживаем с героем целый год от января до декабря и наблюдаем его редкие взлеты и частые падения. Телевизионщикам эта книга пригодится как пособие под ориентировочным названием "Не делай, как я", люди, далекие от жизни СМИ, просто посмеются над едким юмором Пола Хенди, а поклонники британской литературы отметят явное сходства героя "Дневника" с Адрианом Моулом. Чему, впрочем, изрядно порадуются.

Барикко А. *Гомер. Илиада* / Пер. с итал. Екатерины Кисловой — М.: Иностранка, 2007. — 176 с. — (Иллюминатор) 7000 экз. (п)

Изящная игра ума: берем "Илиаду" Гомера, выкидываем из текста все сцены с участием богов, расписываем оставшееся по ролям, как будто бы для чтения в театре. Что же получается? Дайджест? Вовсе нет, получается заново переосмысленный классический текст. Тут важно, как подходить к этой задаче. Если бережно, то все будет хорошо. Самое удивительное, что Гомер остается Гомером даже в трансформированном виде.

Кинг С. *История Лизи*: Роман / Пер. с англ. Виктора Вебера. — М.: АСТ, АСТ Москва, 2007. — 640 с. — 45000 (п)

Вдова известного писателя-лауреата два года не хотела входить в рабочие апартаменты покойного мужа и разбирать его архив. Но затем все-таки решилась взглянуть на его бумаги. И напрасно. У Лизи, а именно так зовут несчастную вдову, и раньше были проблемы с психикой, а теперь совсем пиши пропало: нахлынули воспоминания, а в голове начал звучать голос мертвого классика. В общем, нормальный Кинг — молодая женщина и ее кошмары. От обычного романа Кинга отличается только тем, что на сей раз в тексте вроде бы нет никакой фантастики. Вся фантастика — у Лизи в голове.

Памук О. *Новая жизнь*: Роман / Пер. с турецк. Аполинарии Аврутиной. — СПб.: Амфора, 2007. — 352 с. — (Читать модно!) 20000 экз. (п)

Этот роман Памук написал в 1995 году, через пять лет после феноменального успеха своей "Черной книги" и через два года после того, как закончил писать сценарий фильма "Закрытое лицо". "Новая жизнь" вышла очень кинематографичной, некоторые сцены книги выглядят чуть ли не покадровым режиссерским сценарием. А в остальном обычный текст Памука. Налицо все необходимые компоненты: интеллектуал, который не может найти себе места в жизни, загадочная красавица и Турция на распутье между Востоком и Западом.

Эггерс Д. *Душераздирающее творение ошеломляющего гения*: Роман / Пер. с англ. Евгения Кулешова. — М.: Эксмо, 2007. — 624 с. — (Книга, о которой говорят) 4000 экз. (п)

Довольно загадочная история — тридцатилетний парень по имени Дейв Эггерс опубликовал — придав им форму романа — пятисотстраничные мемуары про свою юность, за которые американская критика немедленно провозгласила его новым Сэлинджером. Прямо скажем, на это сравнение Эггерс напрашивался как мог: как и когда-то Сэлинджер, он дает читателю шанс полностью отождествить себя со своим юным героем, который немного странный, немного не от мира сего.

Най Р. *Покойный г-н Шекспир*. Перевод с англ. Александра Сафонова. — М.: Эксмо, 2007. — 512 с. — (Истории истории) 5000 экз. (п)

Английская версия хармсовских анекдотов про Пушкина. В роли Хармса — шотландский писатель-мизантроп Роберт Най, в роли Пушкина — Уильям Шекспир. Книга написана от лица актера труппы театра "Глобус", который на старости лет вспоминает драматурга и учителя и рассказывает откровенные байки вперемежку с достоверными фактами. Впрочем, в какой-то момент одно становится неотличимо от другого. Отменный сборник всех возможных легенд о Шекспире под одной обложкой.

Кристева Ю. *Смерть в Византии*: Роман / Пер. с франц. Т. Чугуновой. — М.: АСТ, АСТ Москва, Хранитель, 2007. — 352 с. — 5000 экз. (п)

Кто бы мог подумать, что марксистка и маоистска, бахтинистка и постмодернистка француженка болгарского происхождения Юлия Кристева в конце жизни начнет вместо трактатов про интертекстуальность писать криптологические детективы? Однако именно это и произошло. В романе есть и мафия, и сектанты, и загадочные убийства, и древние рукописи, а раскрыть все зловещие преступления можно, только глубоко погрузившись в историю Византии. Читателю Кристева уступок не делает и в "легком жанре" задает ему трудную работу для ума, но тех, кто любит запутанные интеллектуальные триллеры, эта книга повеселит.

Лисс Д. *Ярмарка коррупции*: Роман / Пер. с англ. Ирины Нелюбовой. — СПб: Азбука-классика, 2007. — 448 с. — 10000 экз. (п)

Еще один пример отличного исторического детектива. Дэвид Лисс придумал героя, с помощью которого он уже второй раз рассказывает про Англию первой четверти XVIII века. Бенжамин Уивер, еврей, бывший боксер, а ныне частный сыщик, рискуя жизнью, ведет самые запутанные дела. Поскольку Уивер оторвался от иудейской общины, но так и не принят англичанами, он идеальный рассказчик — в меру свой и в меру чужой в Лондоне. Поэтому он описывает английское общество XVIII века и изнутри, и со стороны. А с ним вместе по старинному Лондону путешествует и читатель.

Харрис Р. *Империй*: Роман / Пер. с англ. А. Новикова, Ю. Кириченко. — М.: Эксмо, 2007. — 480 с. — 7100 экз. (п)

Роберт Харрис прославился в середине 90-х великолепными романами "Фатерлянд" и "Энигма", после которых в его творчестве наступил некоторый спад. Особенно провальной была книга "Помпеи". В новом романе Харрис снова обращается к древнеримской тематике: на этот раз он рассказывает нам свою версию жизни Марка Туллия Цицерона. Как и "Помпеи", роман полон анахронизмов, но на сей раз упрекать Харриса в том, что он недостаточно хорошо знает историю, не хочется. Ведь пишет-то он не столько про древних римлян, сколько про нас, своих современников. По сути дела, перед нами книга про наше время, про кризис демократии и про ее последних защитников.

Момо [Момчило] Капор
Momo [Momčilo] Kapor
[р. 1937]. Сербский писатель, драматург, журналист. Лауреат многих национальных литературных и театральных премий.

Автор романов *Трепачи* [*Foliranti*, 1974], *Провинциал* [*Provincijalac*, 1976], *С семи до трех* [*Od sedam do tri*, 1980], *Подходящий день для смерти* [*Lep dan za umiranje*, 2000; рус. перев. 2002], *Последний рейс на Сараево* [*Poslednji let za Sarajevo*, 2000; рус. перев. 2006]. В *ИЛ* печаталась первая часть его романа *Книга жалоб* [1991, № 7].
Публикуемый роман печатается по изданию *Зелена чоја Монтенегра* [Подгорица: Октоих, 1999].

Сергей Михайлович Иванов
[р. 1946]. Доктор исторических наук, кандидат экономических наук. Специалист в области социальнополитической и экономической истории Османской империи и республиканской Турции, а также истории и теории международных экономических отношений. Член Общества востоковедов РАН.

Автор около пятидесяти научных работ, в их числе трех монографий. Имеет публикации на английском и турецком языках. Последняя книга – *Османская империя в мировой экономической системе* [*вторая половина XIX – начало XX века*] [СПб., 2005].
В *ИЛ* публикуется впервые.

Анджей Стасюк
Andrzej Stasiuk
[р. 1960]. Польский поэт, прозаик и драматург. Лауреат национальной литературной премии *Нике* [2005], премии Фонда культуры и др.

Автор поэтического сборника *Стихи любовные и нет* [*Wiersze miłosne I nie*, 1994], сборников рассказов *Стены Хеврона* [*Mury Hebronu*, 1992], *Дукля* [*Dukla*, 1997; рус. перев. 2004] и др., романов *Белый ворон* [*Biały kruk*, 1995] и *Девять* [*Dziewięć*, 1999; рус. перев. 2004], сборников эссе *По дороге в Бабадаг* [*Jadąc do Babadag*, 2004] и *Фадо* [*Fado*, 2006], а также пьес *Две (телевизионные) пьесы о смерти* [*Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci*, 1998], *Темный лес* [*Ciemny las*, 2007] и др. В *ИЛ* печатались его рассказы [1998, № 4; 2001, № 5].
Пьеса публикуется по изданию *Noc* [wydawnictwo Czarne, 2005].

Игорь Юрьевич Клех
[р. 1952]. Современный русский прозаик и эссеист. Член Союза российских писателей, Русского ПЕН-центра. Лауреат Пушкинской премии фонда А. Тёпфера [Гамбург, 1993], премии Берлинской академии искусств [1995], премии имени Юрия Казакова за лучший русский рассказ года [2000].

Печатается с конца 80-х годов. В 90-е в журналах *Новый мир*, *Дружба народов*, *Октябрь* публиковались его повести *Хутор во Вселенной*, *Зимания*. *Герма*, *Диглоссия*, *Крокодилы не видят снов*, *Смерть лесничего*. Автор книг прозы *Инцидент с классиком* [1998], *Книга с множеством окон и дверей* [2002], *Охота на фазана* [2002], *Светопреставление* [2004] и др.
В *ИЛ* опубликованы его эссе *Нисхождение автора* [1999, № 8] и рецензия *Освобожденная память* в рубрике *Среди книг* [2006, № 12].

Евгений Абрамович Бунимович
[р. 1954]. Русский поэт, эссеист. Основатель и президент Московских международных биеннале поэтов. Лауреат премии Союза журналистов России [1998], премии Москвы в области литературы и искусства [2002], кавалер ордена Академических пальмовых ветвей [Франция].

Автор книг стихов *Просто нет такого города Парижа* [1989], *Потому что живу* [1992], *Стихи* [1994], *Естественный отбор* [2001], *Зал ожидания / La salle d'attente* [2002], сборников статей и эссе *Уроки и перемены* [1999], *Вверх по лестнице, которой нет* [2001] и др. Стихи переводились на английский, французский, немецкий, испанский, польский, датский и др. языки.
Был участником опубликованнного в *ИЛ* круглого стола *О современной зарубежной поэзии* [2004, № 10].

Томас Лакс
Thomas Lux
[р. 1946].
Американский поэт. Удостоен грантов фонда Гуггенхайма и Национального фонда по делам искусств Конгресса США.

Автор поэтических сборников *Улица часов* [*The Street of Clocks*, 2001], *Место для колыбели* [*The Cradle Place*, 2004] и др.

Юзеф Комуняка
Yusef Komunyakaa
[р. 1947]. Американский поэт, профессор Нью-Йоркского университета. Лауреат Пулицеровской премии [1993], поэтической премии Рут Лили, поэтической премии Хейнса; удостоен грантов Национального фонда по делам искусств Конгресса США.

Автор 12 сборников стихотворений, в том числе *Родная речь неона: новые и избранные стихотворения* [*Neon Vernacular: New and Selected Poems*, 1993], *Райские воры* [*Thieves of Paradise*, 1998], *Обзывая богов* [*Talking Dirty to the Gods*, 2000].

Тимоти Стил
Timothy Steele
[р. 1948]. Американский поэт. Лауреат премии Роберта Фицджеральда [2004].

Автор поэтических сборников *Диаграмма цветов* [*The Color Wheel*, 1994], *Сапфические строфы и неопределенности* [*Sapphics and Uncertainties*, 1995], *Навстречу зимнему солнцестоянию* [*Toward the Winter Solstice*, 2006] и др.

Линн Эмануэль
Lynn Emanuel
[р. 1949]. Американский поэт, профессор английского языка в Питсбургском университете.

Автор поэтических сборников *Отель "Фиеста"* [*Hotel Fiesta*, 1984], *Раскопки* [*The Dig*, 1992], *И вдруг...* [*Then, Suddenly*, 1999].

Джори Грэм
Jory Graham
Американский поэт, профессор Гарвардского университета. Лауреат Пулицеровской премии [1995] в номинации *поэзия*, удостоена гранта фонда Макартура.

Автор многих поэтических сборников, в том числе *Сон единого поля* [*The Dream of the Unified Field*, 1995], *Никогда* [*Never*, 2002], *Повелитель. Стихотворения* [*Overlord: Poems*, 2005].

Джудит Ортиц Кофер
Judith Ortiz Cofer
Американский поэт. Имеет звание *Заслуженный профессор*, преподает английский язык и писательское мастерство в Университете штата Джорджия.

Автор романа *Смысл Консуэло* [*The Meaning of Consuelo*, 2003], сборника стихотворений *История любви, начатая на испанском* [*A Love Story Beginning in Spanish*, 2005] и др.

Марк Доути
Mark Doty
[р. 1953]. Американский поэт. Имеет звание профессора, преподает в Хьюстонском университете. Лауреат премии Национальной ассоциации литературных критиков США [1993].

Автор семи поэтических сборников, в том числе *Моя Александрия* [*My Alexandria*, 1993] и *Школа искусств* [*School of the Arts*, 2005].

Тони Хогланд
Tony Hoagland
[р. 1953]. Американский поэт. Профессор Хьюстонского университета и Колледжа Уоррена Уилсона. Удостоен грантов фонда Гуггенхайма и Американской академии искусств и литературы.

Один из его сборников, *Что я называю нарциссизмом* [*What Narcissism Means to Me*, 2003], был включен в шортлист премии Национальной ассоциации литературных критиков США.

Гертруда Шнакенберг
Gjertrud Schnackenberg
Американский поэт. Лауреат премии Лэйвана для молодых поэтов и Римской литературной премии, которую вручает Американская академия искусств и литературы.

Автор книг *Сверхъестественная любовь. Стихи 1976–1992 гг.* [*Supernatural Love: Poems 1976–1992*, 2000], *Трон Лабдака. Поэма* [*The Throne of Labdacus: A Poem*, 2001].

Ким Аддонизио
Kim Addonizio
Американский поэт. Финалист Национальной литературной премии США, лауреат грантов фонда Гуггенхайма и Национального фонда по делам искусств Конгресса США.

Автор поэтического сборника *Что мне снится на улице* [*My Dreams Out in the Street*, 2007] и др., романов *Что это такое – любовь?* [*What Is This Thing Called Love*, 2004] и *Красотки* [*Little Beauties*, 2005].

Мэри Джо Солтер
Mary Jo Salter
Американский поэт.

Автор пяти сборников стихотворений, в том числе *Поцелуй в пространстве. Стихотворения* [*A Kiss in Space: Poems*, 1999] и *Открытые ставни. Стихотворения* [*Open Shutters: Poems*, 2003]. Ее новая книга *Звонок в будущее* [*A Phone Call to Future*] будет выпущена издательством Alfred Knopf в 2008 г.

Лариса Шпорлюк
Larissa Szporluk
Американский поэт. Занимает должность адъюнкт-профессора английского языка в Государственном университете Боулинг-Грин. Лауреат премий Барнард-колледжа и штата Айова в области поэзии. Удостоена гранта Национального фонда по делам искусств Конгресса США.

Автор четырех поэтических сборников. Последний – *Эмбрионы и идиоты* [*Embryos and Idiots*, 2007].

А. Э. Сталлингс
A. E. Stallings
Американский поэт. Лауреат премии Ричарда Уилбера [1999], премии издательства Pushcart. Дважды [1994, 2000] публиковалась в серии *Лучшая поэзия Америки*. Живет в Афинах с мужем и сыном.

Автор сборников стихотворений *Архаическая улыбка* [*Archaic Smile*, 1999] и *Гапакс* [*Hapax*, 2006]. В 2007 г. в издательстве Penguin Classics будет издан ее перевод поэмы Лукреция *О природе вещей*.

Эрик Макгенри
Eric McHenry
[р. 1972]. Американский поэт. Живет в Сиэтле, штат Вашингтон.

Его первый сборник стихотворений – *Колыбельные посудной щетки* [*Potscrubber Lullabies*, 2006].

Марк Сергеевич Харитонов
[р. 1937]. Прозаик, эссеист, переводчик с немецкого. Лауреат русской Букеровской премии [1992], французской премии за лучшую эссеистическую книгу года [1997].

В его переводе выходили произведения С. Цвейга, Г. Гессе, Ф. Кафки, Э. Канетти и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986] и польского ПЕН-клуба [2004].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, С. Хвина, Г. Кралль, Е. Анджеевского, М. Хласко, Е. Пильха, О. Токарчук и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3–4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7–9], М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], П. Хюлле *Кастерп* [2005, № 12], повестей Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и З. Ментцеля *Все языки мира* [2006, № 10], теленовелл Т. Ружевича *Телетрендели* [2006, № 8], фрагментов из книги Я. Андермана *Фотографии* [2006, № 8] и др.

Лариса Николаевна Полубояринова
Кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского университета.

Автор книги *История западноевропейской литературы XIX века. Германия, Австрия, Швейцария* [в соавторстве с А. В. Белобратовым и А. Г. Березиной] и статей по истории немецкоязычной литературы.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Василий Николаевич Соколов
[р. 1946]. Литературовед, журналист, переводчик с сербского.

В его переводе опубликованы романы Боры Чосича *Роль моей семьи в мировой революции* и *За что боролись*, а также роман Момо Капора *Подходящий день для смерти*. В *ИЛ* в его переводе опубликованы фрагменты книг Боры Чосича *Словарь попа Теодора* [2004, № 3] и *Катарина* [2006, № 10].

Марина Тихоновна Курганская
Переводчик с польского и английского языков.

Перевела воспоминания В. Шпильмана *Пианист*, роман А. Стасюка *Девять*, рассказы К. Филиповича, О. Токарчук, Т. Ружевича, А. Юревича, П. Хюлле, Е. Сосновского и др. В ее переводе (совместно с М. Тихоновым) вышла книга Дж. Рэдуэй *Читая любовные романы*. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы фрагменты книги А. Стасюка *Зима* [2001, № 5], стихотворения В. Шимборской [2003, № 5], рассказы Т. Ружевича [2005, № 5] и др.

Григорий Геннадьевич Стариковский
[р. 1971]. Поэт, переводчик, филолог-античник. С 1992 г. живет в США.

Автор книги стихов *На углу* [2005]. Переводил стихи Г. Тракля, Л. Арагона, Дж. Джойса, С. Беккета, Э. Хекта, Д. Махуна, античных поэтов и др. В *ИЛ* публиковались его переводы стихов Л. Арагона [2002, № 5], Л. Глик [2004, № 4], П. Каванаха [2006, № 3], Р. Крили [2006, № 4], Э. Берни [2006, № 11], П. Лейна [2006, № 11], М. Ондатже [2006, № 11], Д. Махуна [2007, № 6], П. Малдуна [2007, № 6], Л. Макниса [2007, № 6], эссе Ш. Хини [2007, № 6].

Дмитрий Юрьевич Веденяпин
[р. 1959]. Поэт и переводчик поэзии и прозы.

Автор книг стихов *Покров* [1993] и *Трава и дым* [2002]. В его переводах публиковались стихи англоязычных, немецких, французских, фламандских поэтов, а также сборники рассказов И. Б. Зингера *Последняя любовь* [1999], *Страсти* [2001] и *Каббалист с Восточного Бродвея* [2003]. В *ИЛ* напечатаны его переводы романов М. Каннингема *Дом на краю света* [1997, № 8—9] и *Часы* [2000, № 9], Б. Чатвина *Утц* [2005, № 4], рассказы И. Б. Зингера [2003, № 5], А. Миллера [2005, № 10], стихи Ч. Симика [2003, № 1], В. Шимборской [2003, № 5], А. Дагена [2004, № 4], М. Светлицкого [2006, № 8], Т. Кинселлы [2007, № 6].

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат премии *ИЛлюминатор* [2002] и Государственной премии по литературе [2003].

Автор пяти сборников стихов [последний — *Гостья*, 2004]. В его переводах вышли книги У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], Уоллеса Стивенса *Тринадцать способов нарисовать дрозда* [2002], Джона Китса *Гиперион и другие стихотворения* [2004], Джона Донна *Алхимия любви* [2005], сборники *Книга NONсенса* [2000], *Лекарство от Фортуны* [2002], *Единорог* [2003], *Поэты английского Возрождения* [2006] и др. В 2003 г. вышла книга избранных переводов *Англасахаб: 115 английских, ирландских и американских поэтов*. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Глеб Юрьевич Шульпяков
[р. 1971]. Поэт, переводчик, эссеист.

Автор поэтических сборников *Щелчок* [2001] и *Желудь* [2007], книги эссе и литературных очерков *Персона Grappa* [2002], романа *Книга Синана* [2005], книги путевых очерков *Дядюшкин сон и другие эссе* [2005]. Составитель и переводчик книг У. Х. Одена *Чтение и Письмо* [1998] и *Уистен Оден. Застольные беседы с Аланом Ансеном* [2003]. В его переводе публиковались стихи современных британских поэтов К. Смита, С. Хилл, Д. Константайна и др. В *ИЛ* в его переводе печатались стихи Р. Хасса [1999, № 6] и Т. Хьюза [2000, № 6], а также его статья *Живот архитектора* [2004, № 3].

Алексей Петрович Прокопьев
[р. 1957]. Поэт, переводчик с немецкого, английского и шведского языков. Лауреат премии журнала *Лик Чувашии* за переводы чувашского фольклора [1995].

Автор поэтического сборника *Снежная Троя* [2003]. В его переводах выходили стихи Р. М. Рильке, Г. Бенна, Г. Тракля, Г. Гейма, О. Уайльда, Дж. Мильтона, Э. Паунда, Т. Транстрёмера. В *ИЛ* в его переводе публиковались сонеты А. Грифиуса [2006, № 2] и стихи Б. Хансона [2007, № 3].

Юлий Феликсович Гуголев
[р. 1964]. Поэт, переводчик. Лауреат премии *Московский счёт* [2007].

Автор книг *Полное. Собрание сочинений* [2000], *Командировочные предписания* [2006], публикаций в журналах *Знамя*, *Интерпоэзия*, *Октябрь* и др. В его переводах публиковались стихи Шеймаса Хини в журнале *Арион* [1998] и Тома Полина в сборнике *Мёд и мазут. Шесть ирландских поэтов* [2000].

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков. Лауреат премии *Единорог и Лев* [2006].

Автор стихотворных сборников *Я раздеваю солдата* [1994], *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], *Оказывается, можно* [2005], а также многочисленных книг для детей. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, английских поэтов-кавалеров XVII века, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Лонгфелло, Р. Бёрнса, П. Ронсара, П. Верлена, А. Милна, Э. Фарджен и др. В *ИЛ* в ее переводах печатались стихи Д. Паркер, Г. К. Честертона, Дж. Чосера, В. Набокова, Р. Фэйнлайт, Р. Браунинга, Р. Крили, Р. Геррика и др.

Лев Владимирович Оборин
[р. 1987]. Студент историко-филологического факультета РГГУ. Поэт, переводчик с английского.

В его переводах публиковались произведения Ш. Сильверстайна, О. Нэша, Э. Лира, А. Э. Хаусмана. В *ИЛ* напечатаны в его переводе стихи А. Э. Хаусмана [2006, № 6] и рассказ С. Цейтлина *Ханья, Крит* [2007, № 5].

Александр Александрович Волков
[р. 1962]. Переводчик с английского и французского языков.

В его переводах выходили в свет произведения В. С. Найпола, Дж. К. Оутс, Ш. Джексон, С. Крейна, Д. Г. Лоуренса, Ловкрафта, С. Жапризо, Буало-Нарсежака. В *ИЛ* публиковались его переводы произведений У. Лакёра, Х. Шварца, Дж. Ласдана, Р. Фулгама, Э. Гибера.

Валерий Григорьевич Минушин
[р. 1939]. Переводчик с английского.

В его переводах издавалась проза Г. Миллера, Л. Даррелла, И. Во, К. Эмиса, У. Харриса, У. Голдинга, Д. Уоллеса и др., эссе В. Набокова, стихи Д. Г. Лоуренса, Л. Ферлингетти, Д. Левертов, У. К. Уильямса, Д. Уолкотта, У. Стивенса, Э. Парди, М. Этвуд и др. В *ИЛ* печатались его переводы стихов Л. Ферлингетти [1970, № 11] и Д. Уолкотта [1997, № 12].

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины американского художника Дональда Бичлера [р. 1956] *В Санта-Кларе* [1987–1988].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая) Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 29.08.2007
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2281.
Тираж 7030 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[10] 2007

"ЖИЗНЬ НЕ ЗДЕСЬ" МИЛАНА КУНДЕРЫ В РУБРИКЕ "СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР" / ПОЭТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ ПАБЛО ПИКАССО / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: "КЛОНИРОВАТЬ ХРИСТА?" ДИДЬЕ ВАН КОВЕЛЕРА / РАССКАЗЫ РАЙМОНДА КАРВЕРА / "РОССИЯ СЛЫШИТ, КАК ПОЕТ АМЕРИКА..." В РУБРИКЕ "ДИСКУССИЯ"

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2007, №9, 1-288